

MARK TWAIN

*The Adventures
of Huckleberry
Finn*





MARK TWAIN

*The Adventures
of Huckleberry
Finn*



MARK TWAIN

*The Adventures
of Huckleberry
Finn*

TEXT AND CRITICISM



MOSCOW
RADUGA PUBLISHERS
1984

Предисловие, составление раздела критики Г. П. ЗЛОБИНА
Комментарии к роману А. И. ПОЛТОРАЦКОГО
Комментарии к разделу критики Г. П. ЗЛОБИНА
Художник Б. А. АЛИМОВ
Редактор С. Б. БЕЛОВ

Марк Твен. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. Роман. На англ.
яз.—М.: Радуга.—1984.— 368 с.

Классик американской литературы Марк Твен (1835-1910) - один из основателей национальной реалистической традиции. Роман "Приключения Гекльберри Финна" занимает уникальное место в истории американской литературы: намеченные в нем темы и образы нашли развитие у таких выдающихся писателей XX века, как Ш. Андерсон, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй.

В книге помещена также подборка работ американских и английских литературоведов, посвященных этому роману Марка Твена, - от первых прижизненных рецензий до работ последних лет.

Издание включает предисловие и комментарии.

© Предисловие, составление раздела критики,
комментарии, издательство "Радуга", 1984.

Т $\frac{4703000000 - 518}{031 (01) - 84}$ 457 - 84

CONTENTS

<i>Г. Злобин. Вечно юный Гек Финн и его критики</i>	5
---	---

MARK TWAIN. THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN	23
---	----

CRITICISM

Unsigned Review	231
Brander Matthews	231
Robert Bridges	234
Thomas Sergeant Perry	235
Andrew Lang	237
Frank R. Stockton	239
Walter Besant	241
Barrett Wendell	245
William Dean Howells	246
Archibald Henderson	250
Reuben Post Halleck	251
Albert Bigelow Paine	252
John Macy	253
H. L. Mencken	255
Waldo Frank	256
Van Wick Brooks	258
Stuart P. Sherman	261
Vernon Louis Parrington	262
Stephen Leacock	265
V. F. Calverton	266
Bernard De Voto	268
Theodore Dreiser	273
Sterling Brown	276
James T. Farrell	277
Ralph Ellison	280
Dixon Weeter	284
T. S. Eliot	287
W. H. Auden	293
Wright Morris	297
Philip Foner	300
Walter Blair	303
Henry Nash Smith	307
Maxwell Geismar	308

КОММЕНТАРИИ	313
-----------------------	-----



"Нужно быть очень примитивным человеком, чтобы восхищаться Марком Твенем".

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

"По-моему мнению, Марк Твен был первым истинно американским писателем, и все мы его наследники".

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Первое упоминание о замысле "Приключений Гекльберри Финна" относится к моменту завершения работы над "Приключениями Тома Сойера". Твен поделился им с Уильямом Д. Хоуэллсом в письме от 5 июля 1875 года: "Придет время, я возьму мальчугана 12 лет и проведу его по жизни (это будет рассказ от первого лица). Только не Тома Сойера. Он не годится".

Обсуждая с Хоуэллсом рукопись "Тома Сойера", Твен признается через несколько месяцев: "...мне удалось устоять перед сильным искушением подробно описать жизнь Гека у вдовы" (письмо от 23 ноября). Вычитывая гранки романа, он делает первые наброски продолжения, названные "Товариш Тома Сойера". В письме, датированном 9 августа 1876 года, Твен сообщал тому же Хоуэллсу: "Месяц назад... взялся за новую книгу для мальчишков... Написал уже четырехста страниц, почти половину. Это автобиография Гека Финна".

То, что Твен назвал "почти половиной" книги, в окончательной редакции составит первые 16 глав, доведенных до того момента, как Гек и Джим обнаруживают, что из-за тумана проплыли Каир, откуда собирались подняться по Огайо в "свободные" штаты.

Существует множество предположений, почему писатель отложил рукопись. Одни объясняют это чисто "техническими" причинами: автор просто не придумал, что ему делать со своими героями дальше. Другие связывают начало внутреннего конфликта Гека с моральным состоянием Твена в ту пору. Не исключено, что тут был один из тех случаев, о которых писатель говорит в "Автобиографии": книга "устала", что это связано с его порывистым, непоседливым характером и привычкой, как он выражался, держать на литературных стапелях по несколько незаконченных кораблей.

Твен снова взялся за рукопись только через три с лишним года, зимой 1879 года, и написал еще две главы, рассказывающие о пребывании Гека у Грэнджерфордов. Предполагают также, что на следующее лето он придумал Короля и Герцога и тут же

сочинил главу XIX, а может быть, и XX. Затем опять последовал длительный перерыв. И лишь летом 1883 года книга "пошла". "Уж не знаю, сколько лет я не исписывал столько бумаги, как в последние три с половиной недели... — сообщает Твен Хоуэллсу 20 июля. — Закончил одну небольшую книжку и работаю над большой, которая осталась недописанной года два-три назад. Еще месяц, полтора, ну два — и я ее закончу".

Концовка, очевидно, тоже не сразу далась Твену: английское издание романа увидело свет 4 декабря 1884 года. В Америке "Приключения Гекльберри Финна" появились в феврале следующего — этой книгой начало свою деятельность издательство "Чарльз Уэбстер и компания", только что учрежденное Твеном вместе с мужем племянницы. В том же году петербургский журнал "Изящная словесность" напечатал первый русский перевод "Гека".

Систематическая работа над "Томом Соьером" с лета 1874 года (роман был опубликован в декабре 1876 года) расшевелила память писателя. И вот уже редактируемый Хоуэллсом "Атлантик" в восьми выпусках следующего года печатает серию очерков "Старые времена на Миссисипи" (*Old Times on the Mississippi*). Они воскрешали и пору детства, и романтику лоцманского ремесла, и конечно же, воссоздавали образ Большой Реки — великолепной вольной коварной стихии и одновременно столбовой дороги Америки середины XIX века, где кочевали, трудились, торговали, искали приключений, буйствовали пестрые людские массы. Главные мотивы сказочной притчи "Принц и нищий" (*The Prince and the Pauper*) — естественное равенство людей, противопоставление простодушного, по-детски чистого взгляда на мир косным условностям, царящим в обществе, построенном на жесткой социальной иерархии, — тоже по-своему подготавливали "Гека Финна".

Решающую же роль в окончательном оформлении замысла романа сыграла поездка Твена по Миссисипи в апреле-мае 1882 года. Результатом этой поездки стала книга "Жизнь на Миссисипи" (*Life on the Mississippi*), вышедшая ровно через год. Твен включил в нее целиком очерки "Старые времена..." (главы IV—VII), но основная часть книги посвящена именно впечатлениям от плавания по маршруту Сент-Луис—Новый Орлеан и отсюда — две тысячи миль вверх по реке до Сент-Пола, крайней точки судоходства.

В главе III, где писатель воскрешает "картинки прошлого", читаем: "...я здесь вставляю главу из книги, над которой урывками работал в течение пяти-шести лет: может быть, я кончу ее лет через пять-шесть". Сама глава, получившая в твеноведении название "Фрагмент "На плоту" (*Raft Passage*) и представляющая собой образец tall-tale — фольклорной небылицы с буйного Запада, в "Приключения Гекка Финна" не попала. Зато книга в

целом содержит множество ситуаций, мотивов, наблюдений, которые так или иначе вошли в роман. Наиболее очевидные из них — пейзажные зарисовки, сатирическая глава "Чудо-дом", отвечающий "мечте всякого обывателя о великолепии", которая в сокращенном виде стала описанием обиталища Грэнджерфордов, и рассказ о старинной вражде Дарнеллов и Уотсонов (глава XXVI), вылившейся в сцены нелепого кровавого раздора между Грэнджерфордами и Шепердсонами.

Дело, разумеется, не в таких прямых параллелях, а в целом ряде косвенных переключек, которые сообщают обоим произведениям идейно-тематическую близость, причем не меньшую, пожалуй, чем сюжетная связь "Гекльберри Финна" с "Томом Сойером". Несмотря на жанровые различия, "Жизнь на Миссисипи" и роман о Геке дополняют друг друга. Одна книга выразила сложное, неоднозначное, но уже окрашиваемое горечью отношение к послевоенной поднимающейся Америке; в другой писатель воссоздал довоенное провинциальное прошлое своей страны, уловив те моменты, которые впоследствии развились в неразрешимые противоречия. Можно сказать, что "Приключения Тома Сойера", "Жизнь на Миссисипи" и "Приключения Гекльберри Финна" составляют целостный эпос Большой Реки, Америки середины прошлого столетия¹.

Как это нередко бывает, успех книг Марка Твена у читающей публики никак не соответствовал сдержанному отношению к нему со стороны тогдашнего культурного истеблишмента. Несмотря на статьи и рецензии Брета Гарта, Хоузлса, видных обозревателей Джорджа Т. Ферриса, Эдвина П. Уиппла и других, предрекавших Сэмюэлю Клеменсу большую будущность, критика в целом ставила Твена в ряд популярных юмористов, таких, как Артимес Уорд, Петролеум В. Нэсби, Джош Биллингс, а то и просто называла его зубоскалом с Запада и шутком. Твен отчасти сам давал к этому повод и в печати, и с подмостков. Современники рассказывают, что в зале начинался хохот, едва он раскрывал рот. Потом писателя начал раздражать ярлык "забавного парня", но многие все равно видели в нем человека, который смешил — и только.

"Том Сойер" остался не замечен критикой, несмотря на тридцатитысячный тираж. Появление "Принца и нищего" вызыва-

¹ Общие вопросы творчества Марка Твена разобраны в монографиях советских литературоведов: М. Боброва. Марк Твен. Критико-библиографический очерк. М., ГИХЛ, 1952; М. Мендельсон. Марк Твен. 3-е изд., М., Молодая гвардия, 1964; А. С. Ромм. Марк Твен. М., Наука, 1977; А. И. Старева. Марк Твен и Америка. М., Сов. писат., 1963.

ло было интерес рецензентов, но их сурово оборвал Джон Никол из университета Глазго: "Преуспевающий сочинитель бурлесков вряд ли преуспеев в чем-либо другом... Пожалуй, как никто из живущих авторов, Марк Твен понизил уровень литературной речи людей, говорящих по-английски... Среди нового племени американских циников он самый натуральный".

"Приключения Гекльберри Финна" были встречены, можно сказать, в штыки. Особенно негодовала Новая Англия, средоточие пуритански-изысканной, "жантильной" традиции в американской литературе. Неумолимая приверженка "нежного реализма" в литературе для детей Луиза Мэй Олкотт, написавшая "Маленьких женщин" (1868) и "Маленьких мужчин" (1871), возмущалась: "Если мистер Клеменс не имеет сказать нашим целомудренным мальчуганам и девчушкам ничего лучшего, то ему вообще не стоит писать для детей". Библиотечный комитет в Конкорде, штат Массачусетс, изъял книгу из круга чтения на том основании, что она "оказывает вредное моральное влияние на молодежь". В том же духе высказывались обозреватели, которые не рассматривали роман как книгу для детей. Бостонский "Эдвертайзер" упрекал Твена в том, что он культивирует "дух непочтения", и выражал надежду, что автор в будущем использует талант и трудолюбие "с большей честью для себя и большей пользой для страны". Рецензент арканзасской газеты "Трзвелер" счел книгу "вульгарной и грубой". "Было время, — поучал он, — когда такие почти непристойные шутки находили поклонников, однако теперь публика становится все более утонченной".

Непонимание и нападки на Твена так умножились, что Джозл Чэндлер Харрис, автор "Сказок дядюшки Римуса", счел необходимым заступиться за собрата по перу. В связи с 50-летием Твена он писал редактору журнала "Критик": "...среди наших художественных сочинений нет более полезной книги, чем "Гек Финн". В ней все — история, романтика, жизнь... Мы видим людей, которые живут и растут на наших глазах, мы смеемся вместе с ними, и делим их горести, и незаметно усваиваем урок честности, справедливости и милосердия".

"Старым девам обоего пола ни за что не понять и не полюбить Гека", — с полемической остротой писал Брандер Мэтьюз, которому принадлежит первый развернутый отзыв о романе. Статьи Мэтьюза и другого видного литературоведа Томаса С. Перри имели принципиальное значение для верной оценки романа. Подлинность и многогранность образа Гека; мастерское преломление романых событий сквозь призму восприятия невежественного, но смекалистого подростка, позволившее писателю обойтись без "указательных столбов" (Перри) и "нудных рассуждений на моральные, политические и социоло-

гические темы" (Мэтьюз); типичность и индивидуализированность других характеров, в частности Джима; фольклорные мотивы в произведении, о которых говорит Мэтьюз, и, с другой стороны, его историческая достоверность, подмеченная Перри ("чрезвычайно ценная хроника важной части нашей пестрой американской цивилизации"), — эти наблюдения так или иначе вошли в последующую твениану.

Главный вывод, к которому приходят оба критика, — правдивость, реализм изображения. "Литература достигает высот, когда подражает жизни, а не служит средством для наставлений" (Перри). "Мистер Клеменс черпает из жизни, однако поднимает произведение из сферы фотографии в область искусства" (Мэтьюз) — см. с. 236 и 234 наст. изд.

Множество литературных и внелитературных факторов в 90-е годы (предпринимательская деятельность Твена, слухи о его доходах, начало выпуска в 1897 году первого собрания сочинений, семилетнее пребывание в Европе, где Твен водил знакомства со знаменитостями, и триумфальное возвращение на родину осенью 1900 года) привело к тому, что постепенно в умах американцев складывалось представление о Твене как о живом классике. О нем уже пишется первая в Америке книга — "Марк Твен. Его жизнь и произведения. Биографический очерк" Уилла Клеменса (1892). Популярный писатель Фрэнк Стоктон печатает в солидном журнале статью "Марк Твен и его недавние произведения", где выдвигается мысль о художнической смелости писателя, о философской насыщенности и трагической подкладке его юмора. В 1894 году критик Чарлз Ведер сравнивает Клеменса с Карлейлем, добавив, что ему в высшей степени свойственна "любовь к свободе" и сочувствие униженным и угнетенным". Через три года Б. Мэтьюз заявил: "Я думаю, что американцам не потребуется столетие, чтобы понять величие "Гека Финна".

И все же в целом величие Твена раньше поняли по другую сторону Атлантики, в Англии. "Я прочитал книгу четырежды и готов завтра же прочитать в пятый раз", — отзывался о "Геке" Роберт Л. Стивенсон вскоре после публикации романа. А Бернард Шоу отчеканил: "Америка дала миру двух выдающихся писателей — Эдгара По и Марка Твена".

Однако это случилось несколько позже, а пока, в 90-е годы, английский филолог и историк Эндрю Лэнг сблизит Гека с Одиссеем, назвав его приключения "великим американским романом", а автора — "одним из величайших современных творцов художественной литературы" (с. 237). Лэнгу вторил его соотечественник, прозаик Уолтер Безант: "В литературе нет более полнокровного и достоверного образа [подростка], чем образ Гекльберри Финна", и " всю жизнь он будет жить в настоящем..." (с. 243).

Академическая наука в США долго отказывала Твену в настоящем признании. В двухтомной "Американской литературе. 1607—1885" Чарлза Фрэнсиса Ричардсона (1887—1888) Твен лишь упомянут в главе "Пограничные области нашей литературы" среди "профессиональных остроумцев, подвигающихся в газетах", и автор недоумевал, почему в Европе их принимают за выразителей национального духа. Твен не фигурирует в ряду "новых романистов" — У. Хоуэллса, Г. Джеймса, Э. Хейла, Ф. Крофорда и других, которых разбирал в "Истории американской литературы" (1897) профессор Пенсильванского колледжа Фред Льюис Пэтти. Однако три странички о Твене в разделе "Юмористы" заканчиваются красноречивым признанием: написанное им "несет обаяние незаурядной личности, сугубо американской и так же не поддающейся определению, как обаяние бабьего лета". Зато уже в 1900 году Баррет Уэнделл из Гарварда, консервативный и весьма строгий судья достижений отечественной словесности, вынужден был констатировать в своей "Истории американской литературы", что "Гек Финн" занял место "среди немногих в любой литературе книг, которые так или иначе сохраняют для потомков понятную картину состояния целого общества" (с. 245).

Твен встречал двадцатый век в зените славы и как бы в новом качестве.

В 1898 году, находясь в Вене, оторванный от событий, Твен принял на веру призывы реакционных деятелей помочь Кубе избавиться от гнета испанской монархии. Однако военные действия на далеких Филиппинах встревожили Твена. 15 октября 1900 года, в день возвращения в Штаты после многолетнего отсутствия, он заявил: "...Я понял, что мы стремимся не освободить, а поработить филиппинский народ... Поэтому я — антиимпериалист. Я против того, чтобы американский орел вцеплялся когтями в чужие земли". Это выступление открывает серию блестящих политических памфлетов писателя, направленных против разбойничьей международной политики США и других колониальных держав.

Открытая гражданская позиция, занятая писателем, вызвала замешательство среди критиков. Хороший юморист, но слон в посудной лавке идей — таков был едва ли не общий их приговор.

Лучше других разобрался в новой ситуации Хоуэллс. Его большая статья "Марк Твен. Разбор" была помещена в той же, февральской, книжке "Норт американ ревью" за 1901 год, где был напечатан знаменитый твеновский памфлет "Человеку, Ходящему во Тьме" (*To a Person Sitting in Darkness*), и, надо думать, не случайно.

Хоуэллс первым, быть может, показал многогранность фигуры своего друга — художника и гражданина, наметил существенную связь трех сторон его дарования — рассказчика-юмориста, романиста, публициста, подчеркнул его независимость от литературных условностей, свободную поэтику его произведений, прямой — "линкольнов" — стиль. Чрезвычайно интересен у Хоуэллса анализ истоков твеновского творчества вообще и юмора в частности. "Косноязычная поэзия" старого Запада, где человек — "более всего продукт обстоятельств и окружающих условий", стала "частью его существа" (с. 247). Столкновение сурового нравственного кодекса фронта и новейшей, буржуазной цивилизации вызвало у Твена не только "честный смех", но и "почти трагическую напряженность, которая доминирует в звучании его произведений". С другой стороны, по происхождению и воспитанию Твен был южанином и как таковой "первым, если не единственным", выразил абсурдность извращенных идеалов Юга. "Можно предположить, — заключает Хоуэллс, — что вздорная несообразность рабовладельческой демократии, взращенной Декларацией независимости, фарсовое зрелище белых трудящихся, владеющих чернокожими трудящимися, так или иначе обостряли восприимчивость контрастов, каковая является источником юмора". Таким образом, глубокая содержательность комического у Твена, которую подметил Стоктон, его трагическая изнанка получили у Хоуэллса историческое обоснование.

На той же почве, которая питала уникальный комический талант Твена, возникло его "безошибочное чувство справедливости", а "критика жизни и литературы" сделала писателя "признанным авторитетом в общественных делах".

Кончина Сэмюэля Ленгхорна Клеменса вызвала поток печатного слова о нем. Новейшая капитальная библиография работ о Твене, составленная Томасом Э. Тенни (1977), содержит около ста сорока публикаций, помеченных 1910 годом.

На общем фоне выделяются первая монография — "Мой Марк Твен. Воспоминания и критика" Хоуэллса, где писатель поставлен выше Эмерсона, Лонгфелло, Дж. Лоуэлла, О. У. Холмса — он "Линкольн нашей литературы", и книга Хендерсона "Марк Твен", в которой особо рассмотрена его международная известность. В 1912 году выходит трехтомная биография Твена, написанная его литературным секретарем Альбертом Б. Пейном. В учебной "Истории американской литературы" (1911) Рейбена П. Халлека, как само собой разумеющееся, писатель назван "историком целой эпохи" (с. 251). Даже Ф. Пэтти несколько изменил точку зрения. По-прежнему настаивая, что книги Твена "не являются книгами истинного художника", он все же признавал: после него "наша литература не замыкается более Бостоном и прилегающими местностями — она раскинулась широко, как

сам континент" ("История американской литературы", 1915). Чуть позднее академическая "Кембриджская история американской литературы" профессорским пером Стюарта Шермана канонизировала писателя как истинного Сына Америки: "Твен — воплощение американских обещаний, свидетельство достижений страны и общества, в котором он был рожден и воспитан" (с. 261).

Прошло всего шесть лет, и начался Великий пересмотр. Непосредственным поводом послужили посмертные "взрывчатые" публикации писателя — "Таинственный незнакомец" (*The Mysterious Stranger*, 1916) и "Что такое человек?" (*What Is Man*, 1917). Мгновенно возникла проблема "пессимизма", "мизантропии", "трагедии" Твена, который, казалось, скрывал свои истинные мысли и чувства.

Сигнал к атаке подал Уолдо Фрэнк публицистической книгой "Наша Америка" (1919), где ставил себе задачей "критику капиталистической системы в культурном аспекте". Фрэнк избрал мишенью двух наиболее читаемых и почитаемых писателей — Джека Лондона и Марка Твена. Обоих он, не обинуясь, посчитал духовными недорослями. Первый — "ребенок, живший в физически развитом теле", второй — тоже обиженный, "измученный ребенок", который вслед за веком уверовал, что самый "страшный грех — быть не на виду и бедным", и потому надел маску популярного шута. И только один-единственный раз за всю его "долгую исковерканную жизнь" душа Твена "вырвалась из оков ложных запретов, ложных идеалов и обрела голос" — это случилось в "Геке Финне" (с. 256).

Затем последовал главный удар — книга Вана Вика Брукса "Пытка Марка Твена" (1920), ставшая вехой не только в твенииане, но и литературно-общественной мысли. Брукс приложил к Твену тезис, выдвинутый им в предыдущей работе "Америка на пороге зрелости" (1915): мало кто из отечественных писателей XIX века обладал творческой и человеческой смелостью, чтобы "отвлечь душу Америки от накопления долларов".

Брукс первым с максимальной остротой поставил вопрос о противоречиях в сознании Твена, о непоследовательности его житейских и писательских установок, разнородности его творческих результатов, но решал его односторонне, не диалектически, то и дело отрываясь от реальной обстановки второй половины XIX века в Штатах.

Три фактора, по Бруксу, обусловили "застопорившееся развитие" (arrested development) потенциального сатирика Клеменса. Первый — кальвинистское воспитание Сэмюэля под надзором волевой, "репрессивной" матери, положившее начало раздвоению его личности на яркую "индивидуальность" и массовидный "тип". Второй — грубый климат Запада, этой

"пустыни человеческого песка", где прошли молодые годы Твена. Третий фактор — "жантильная", благопристойная обстановка Хартфорда, Новой Англии. Писатель загубил в себе творческое начало, потому что подчинился вкусам и понятиям "Позолоченного века", "воспринял ценности и идеалы буржуазии". Критик сравнивает Твена со львом на цирковой арене, который, рыча, все-таки делает то, что велит ему дрессировщик с хлыстом. Главными дрессировщиками, по мнению Брукса, были жена Твена и его советник и друг Хоуэллс.

Да, Твен имел обыкновение читать домашним свои новые вещи, однако делал это в основном для того, чтобы проверить на слух написанное. Да, он прислушивался к мнению Хоуэллса, однако Хоуэллс вовсе не был безусловным приверженцем "жантильной" традиции, каким его считали. Напротив, со временем он начал проповедовать реализм, написал ряд социальных романов, проникся социалистическими идеями. Исследователи-текстологи, досконально изучившие рукописи Твена, пришли к выводу, что влияние миссис Клеменс и мистера Хоуэллса сильно преувеличено.

Да, Твен любил общество, развлечения, искал знакомства с сильными мира сего. Увлекающаяся натура, он поддавался соблазнам изобретательства, предпринимательства, богатства, даже бросал из-за этого писать...

Зато он же, первым из его современников, еще в "Позолоченном веке" начал художественную критику финансового прожектерства, торгашества, губительной власти иллюзий обогащения. Само название романа стало обозначением целого периода в истории США — времени, когда в стране беззастенчиво действовала "демократия добычи". Развращающая власть денег, разложение морали и нравов из-за законов собственности — эта классическая тема мировой литературы была ключевой в творчестве Твена (и в "Геке Финне" тоже).

Если Твен не сумел реализовать себя как художник, то каким образом появился этот роман, который, по выражению Брукса, "вольной, яркой, сверкающей стрелой пронзил тусклый небосвод американской литературы"? Критик дает объяснение столь же нехитрое, сколь и неубедительное: "цензоры" Твена просто не придавали значения этой книге — что за интерес в полуграмотном деревенском бродяжке! "Нужно ли другое объяснение этой самозабвенной красоте, вечной свежести "Гекльберри Финна"? По Бруксу, даже получается, что мы должны быть благодарны, что писателя держали в узде — иначе он не знал бы "радости освобождения". Что до пессимизма позднего Твена, проблемы, которую критик считает центральной, то он отнюдь не результат некоего "субъективного огорчения".

Конечно, материальные затруднения, погнавшие шестидеся-

тилетнего писателя в кругосветную поездку для публичных чтений, неожиданная смерть любимой им старшей дочери Сюзи, болезнь и кончина жены, собственное нездоровье — все это не могло не сказаться на самочувствии Твена. Он переживает личный кризис и известный спад творческой энергии. Большие вещи не даются ему. Повести "Том Сойер за границей" (*Tom Sawyer Abroad*, 1894) и "Том Сойер — сыщик" (*Tom Sawyer, Detective*, 1896), где он снова вернулся к своим героям Тому, Геку и Джиму, не идут в сравнение с двумя предыдущими шедеврами. Страдает рыхлостью последний том, посвященный Жанне д'Арк. В повести "Таинственный незнакомец", эссе "Что такое человек", некоторых других произведениях действительно звучат мысли о том, что человек труслив, низок и беспомощен перед необъяснимыми силами вселенной. Но такие высказывания следует рассматривать в общественно-исторических рамках, а не только исходя из фактов личной биографии Твена. И тогда выяснится, что они связаны с его глубочайшим разочарованием — не в человеке, нет, а в буржуазной Америке, вызваны разбазариванием ее демократических ценностей, возвышением монополий, разнузданной внешней политикой правительства. В одном из последних фрагментов "Автобиографии", датированных июлем 1908 года, читаем: "Республика осталась только по названию, а фактически республики уже давно не было".

Беда Брукса в том, что его истолкование творчества Твена скорее психологично, чем исторично, причем в его психологический анализ попала немалая доза фрейдизма. Он гадает, чем мог бы стать писатель, вместо того, чтобы разобраться, чем он был на самом деле. Брукс упускает из виду, что в твеновские времена американская литература еще не избавилась от ложно-романтического "жантильного" духа, предъявляет писателю такие упреки, которые справедливы разве что по отношению к современникам сурового критика, то есть писателям нашего столетия.

Теория Брукса нашла немало сторонников. "Твен умер и сам заплатил за погребение", — писал ему Шервуд Андерсон. "У Марка Твена были задатки величайшего в мире сатирика... но ему не дали выразить себя как художника", — вторил Бруксу Эптон Синклер в книге "Искусство мамоны, очерк экономической интерпретации" (*Mammon Art. An Essay in Economic Interpretation*, 1925). "Ему (Хоуэллсу) удалось укротить Марка Твена, может быть, величайшего из наших писателей, и облачить свирепого старого дикаря в интеллектуальный фрак и цилиндр", — говорил в Нобелевской речи Синклер Льюис (1930). Лишь Хемингуэй в 1935 году заметил: "Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется "Гекльберри Финн"... До "Гекльберри Финна"

ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появилось”.

Чем же объясняется столь суровое отношение к Твену со стороны многих представителей прогрессивной литературы 20–30-х годов?

Прежде всего самим характером этого периода — переломного, критического, кризисного. Первая мировая война и революция в России вызвали необратимые сдвиги в общественном сознании страны. Великая депрессия 30-х годов, как никогда, обнажила классовые противоречия и вообще поставила под сомнение осуществимость “Американской мечты”. Либеральные и демократические силы проникались резко критическим духом в отношении отечественной истории, культуры, общественных институтов. Усилилось влияние марксистских идей переустройства жизни на справедливых началах...

Инвективы Брукса были направлены не столько против Твена, сколько против изжившей себя “благопристойной” культуры и — главное — против самодовольной, занятой стяжательством, потерявшей душу Америки. По сути дела Фрэнк, Брукс, Синклер, Драйзер и другие со всей остротой поставили вопрос о судьбе художника, творческого начала, самого существования искусства в условиях капиталистических отношений. Другое дело, что занятая злободневными социальными и общекультурными вопросами, вовлеченная в общественно-литературную борьбу, радикальная творческая интеллигенция нередко подчиняла свою деятельность требованиям текущего момента. Это мешало диалектическому пониманию художественного наследия, верно-му соотношению “полезного прошлого” (термин Брукса) и новых идейно-эстетических ценностей. Сказывались также слабость передовой критической мысли в США, упрощенно социологический подход к искусству, вообще характерный для того периода¹.

В американской твениане распространено мнение, что наиболее весомый ответ бруксовой теории содержится в книге “Америка Марка Твена” (1932) Бернарда Де Вото. Тот действительно резко полемизировал с автором “Пытки” буквально по всем пунктам, и в свою очередь, выстроил довольно стройную, “положительную” концепцию. Твен, по Де Вото, — истинно национальный художник, рожденный особой культурой “границы”

¹ В дальнейшем Брукс, оставшийся на демократических позициях, существенно скорректировал свое мнение, хотя и не изменил его целиком. В автобиографической книге “Дни Феникса” (*Days of the Phoenix, The Nineteen Twenties I Remember*, 1957) он писал, что настоящий Марк Твен “был, вероятно, большим защитником справедливости и противником условности, чем я его изобразил; точно так же я почти просмотрел его юмор, который имел положительную ценность”.

и выразивший свое знание народной жизни Запада специфическим складом юмора¹.

Гораздо диалектичнее был Вернон Л. Паррингтон. Специальный раздел в третьем томе его знаменитого труда имеет заголовок "Марк Твен — детище границы", и под ним мог бы подписаться Де Вото. С другой стороны, словно соглашаясь с Бруксом, Паррингтон говорит о "тяжелом внутреннем конфликте, травмировавшем писателя". Это был результат его одиночества посреди интеллектуальной толпы Атлантического побережья. Автор "Основных течений американской мысли" (1930) снимает кажущееся противоречие емкой и по-настоящему историчной формулировкой: "Чтобы понять Твена, надо понять "Позолоченный век" (с. 263). Паррингтона часто упрекали и продолжают упрекать в невнимании к литературе как искусству слова. Упреки справедливы; однако справедливо и то, что он ставил другую задачу — раскрыть содержание, движение идей в отечественном искусстве слова. Применительно к Твену, он вылушил "сердцевину философии" писателя: решение Гека не выдавать Джима — это "победа над священным законом племени, утверждение индивидуальной воли вопреки обществу". А это в условиях Америки 80-х годов прошлого века — совсем не мало.

В США осмысление творчества Твена при всех исключениях и отклонениях шло в русле господствующей в американском литературоведении культурно-исторической традиции. Эта традиция достигла завершения в коллективной "Литературной истории Соединенных Штатов" под редакцией Роберта Спиллера и других (1948), подготовка которой заняла около семи лет, и одновременно ясно обнаружила ограниченность своей методологии, заключающуюся прежде всего в эклектизме, в намерении примирить разноречивые взгляды на отечественную классику. Сбалансированная, изящная глава о Твене, написанная Диксоном Уэктером, соединяет культурно-исторический подход с психобиографическими догадками. Уэктер абсолютизирует сомнительный тезис, будто главный источник вдохновения Твена — воспоминания о детстве. Становится понятно, почему лишь мимоходом говорится об обострившемся "чувстве реализма" в "Геке Финне", "одном из подлинных шедевров американской и мировой литературы", а Твен — художник-новатор и облич-

¹ В 1942 году Де Вото выпустил книгу "Марк Твен за работой" (*Mark Twain at Work*), где радикально пересмотрел свою концепцию, парадоксально сблизившись с Бруксом. Однако причину "психической раны" он усматривает лишь в личных несчастьях, которые постигли Твена в 90-х годах. Отсюда и вывод: поздние сочинения Твена пронизаны безысходным пессимизмом, "его искусство выражало условия перемирия, подписанного с Судьбой".

тель общественных порядков — отодвигается на второй и третий план.

Уэктер практически обошел еще одну важную сторону романа — изображение Джима, вообще роль этого характера, хотя проникательные литераторы давно обратили на это внимание. Так, С. Ликок счел главным достоинством романа самобытные "картины американских институтов, прежде всего рабства, увиденные незамутненным умственным взором подростка Гека, пафос и обаяние негритянского народа, которые светятся сквозь душу Джима" (с. 266).

Естественно, что на проблематике рабовладения и образа Джима сосредоточились по мере роста самосознания афро-американцев черные литераторы. В историческом обзоре "Негр в американской прозе" (1937) Стерлинг Браун отмечал: "Джим — лучший образ среднего негра-раба (именно раба, а не трагического мулата и не благородного дикаря) в литературе XIX века — неграмотного, суеверного, но не теряющего надежду на свободу" (с. 277). В широком историческом и философском контексте разработана эта проблема у Ралфа Эллисона (эссе "Литература XX века и черный лик человечности", 1946).

Не обязательно целиком разделять мнение Эллисона: в отличие от современных авторов для Эмерсона, Торо, Мелвилла, Уитмена, Твена гуманизм воплощался в человеке с черной кожей. Но он глубоко прав, говоря, что конфликт в сознании Гека, "столкновение прав собственности с правами человека" отражает коренную проблему "демократической этики", а "великое проявление межрасового братства" сообщает роману редкую актуальность.

"Марк Твен часто бывал предметом той или иной критической моды", — заметил Фаррелл. Он, конечно, не мог предполагать, что пройдет совсем немного времени, и автор "Гекльберри Финна", его книги подвергнутся настоящей вивисекции со стороны приверженцев многочисленных направлений, течений, школ, возникших в литературоведении США и других стран Запада. Большинство из них так или иначе были связаны с новейшими субъективистскими, релятивистскими, иррационалистическими социологическими и философско-эстетическими теориями.

Одну из таких ранних насильственных операций над "Гекком Финном" проделал небезызвестный критик — консерватор и формалист — Лайонел Триллингу в предисловии к нью-йоркскому изданию романа в 1948 году. Затем оно вошло в его книгу "Либеральное воображение" (*The Liberal Imagination*, 1950), которая немало способствовала переоценке достижений передовой демократической культуры страны.

Величие "Гека Финна", по Триллингу, в том, что это, прежде всего, хорошее чтение для мальчишек и в нем "говорится

правда", потому что именно мальчишки превыше всего ставят честность. Однако "лучший ключ" к роману он усматривает в строках другого миссурийца Т. С. Элиота:

О богах я не много знаю, но думаю, что река —
Коричневая богиня...

("Драй Селвейджес", 3-я часть "Четырех квартетов")

"Гекльберри Финн" — великая книга, потому что она о богине, то есть о силе, которая, как видно, обладает собственным разумом и волей", — категорически формулирует Триллинг. Это не иносказание, не фигура речи, а прямая посылка критика, которая, варьируясь и разветвляясь, пронизывает весь его анализ. Гек — верный и суеверный "слуга реки-богини", "по моральным и эстетическим соображениям он находится в ссоре с единственной формой христианства, которую он знает, и его интенсивная душевная жизнь проистекает, можно сказать, из его поклонения реке".

Однозначно символическая трактовка романа "позволяет" почти что выхолостить содержание романа, свести его к "гимну старой, навсегда ушедшей Америке", от которой осталась лишь река-богиня, и она безмолвно течет против "доллара-бога" новых времен...

Вообще обладающий незаурядной способностью перелицовывать чужие мысли Элиот подхватил триллинговские тезисы и облек их в отточенные пассажи логической теоремы. Метод его анализа чрезвычайно показателен для формально-символистской школы. С романа снимается верхний, "видимый уровень" — "картины социальной жизни по берегам Миссисипи", а остальное разнимается на две главные части — Мальчика и Реку. Гек, конечно же, — вековая одинокая созерцательная фигура, как Улисс, Фауст, Гамлет, Дон Жуан, "у него нет ни начала, ни конца". Река — "естественная сила, которая целиком определяет курс человеческого существования", "диктатор", "бог". Вместо живой плоти прозы нам предлагают умозрительную символическую систему, Гек "приемлет Бога-реку", и это подчинение человека придает ему достоинство. Ибо без какого-либо Бога человек даже неинтересен..."

Откровенное пренебрежение как текстом романа, так и его историко-литературным контекстом со стороны Триллинга и Элиота вызвало недовольство добросовестных ученых. Наиболее резко высказался профессор Лео Маркс из Амхерстовского колледжа. Рассуждения о символике романа, о его композиции он справедливо расценивает как уход от проблемы его нравственного содержания, "подмену критериев истины критериями техники". Вывод исследователя категоричен: "Сегодняшние литературоведы, а также романисты и поэты... слабо отзываются на вопросы того, что можно назвать социальной или политиче-

ской моралью..." Полемика Л. Маркса с Элнотом и Триллингом — яркий пример того, как сугубо частная, казалось бы, литературоведческая проблема может стать полем борьбы идей.

Одним из устойчивых направлений в литературоведческой мысли США остается фрейдизм. Рьяным его сторонником с самого начала заявил о себе Лесли Фидлер, сказавший однажды, что ни одно учение XX века не дало литературе больше, чем психоанализ. Это он в свое время провозгласил на страницах псевдорадикального журнала "Партизан ревью" (июнь 1952), что отношения Гека и Джима носят гомосексуальный характер. Впоследствии Фидлер скорректировал свое сенсационное открытие, однако следы неопределенности несет и его книга "Любовь и смерть в американском романе" (1960). Глава о романе, не без претензии названная "Гек Финн — Фауст в Раю детства", являет собой попытку подключить Твена к традиции философского экзистенциализма, оживившегося в 50—60 годы на американской почве, объявить его чуть ли не родоположником модернистской литературы. По Фидлеру, Гек — эта мифологическая фигура, изобретенная Твеном, — бежит не от Папаша, и не от вдовы Дуглас, и не ради того, чтобы спасти Джима, а от труда, обязанностей, нормальных человеческих связей. Бежит в ничто, в антиобщество; его цель — само бегство. "В отношении к своему делу, в конечном решении принять то, что в наши дни называют "бременем свободы", Гек выступает первым экзистенциальным героем, невероятным предком камюзанского "постороннего" или героем Жана Поля Сартра..."

К концу 50-х годов в Штатах наметился резкий количественный рост твеннаны, который, судя по всему, не дал пока адекватных качественных, научных результатов¹. Шла, казалось бы, интенсивная разработка разных аспектов творчества Твена — историзма, юмора, автобиографичности, стиля. Однако исследовательская мысль сосредоточивалась чаще всего на второстепенных вопросах, робела перед обобщениями, повторяла сказанное прежде.

На этом пестром и довольно-таки плоском фоне выделяются капитальные труды известного ученого Филипа Фонера "Марк Твен — социальный критик" (1958) и старейшины критического цеха в США Максудлла Гейсмара "Марк Твен — американский пророк" (1970), высоко оцененные прогрессивной печатью страны.

Фонер — историк, а не литературовед, и это определяет специфику книги. Тщательно изучив твеновские тексты, привлекая много непубликовавшихся материалов, корректно используя

¹ Обзор работ о Твене начала 60-х годов содержится в статье М. Мендельсона "Борьба вокруг наследия американской литературы" в кн.: Современное литературоведение США, М., Наука, 1969.

добытое другими, он проследил обстоятельства создания и раскрыл содержательное богатство основных произведений писателя, в том числе "Гекльберри Финна" (с. 300), обстоятельно рассмотрел взгляды Клеменса на политику, историю, религию, расовые проблемы. Особое внимание уделено антиимпериалистическим памфлетам писателя. Опираясь на марксистскую методологию, автор органично вписал литературную и общественную деятельность Твена в конкретно-исторические условия второй половины XIX — начала XX века. Ни один серьезный американский исследователь не обходится теперь без ссылок на книгу Фонера.

Гейсмар называет себя "литературным критиком исторической школы". Его эссеистическая книга отличается широким захватом и полемическим задором. Твен предстает в ней во весь рост как "грозный гений", раньше многих распознавший прирожденные и благоприобретенные болезни американского общества.

В отличие от Д. Узктера и других авторов, он считает, что обращение Твена к золотой поре детства отнюдь не способ ухода от действительности. Напротив, "плот и река" — таково название главы, посвященной "Геку Финну", — "спасли" писателя, помогли ему устоять перед соблазнами богатства и популярности, вырасти в пророка и бунтаря (с. 311). Силу романа критик видит прежде всего в том, что он обесценивает, подвергает осмеянию все взрослые ценности и цели общества — тщеславие, частную собственность, конкуренцию, деньги, успех, славу.

Гейсмар ведет убедительную полемику с буржуазными критиками. "Критической ортодоксии", расхожим представлениям, будто разочарованность и мизантропия водили пером позднего Твена, он противопоставляет доказательства того, что "чем большего успеха достигал Клеменс, тем более бунтарским, радикальным, даже революционным становился его дух".

"Классической называется книга, которую все хвалят, и никто не читает", — иронизировал Марк Твен. Он знал, что говорил. Его "Приключения Гекльберри Финна" никоим образом не уподобить той недостижимо "высокой", изысканной музейной картине, которую благоговейно созерцают издали, любясь игрой линий и красок. Роман Твена — это классика для всех и на каждый день. Книга дышит внутренней свободой, жизненной энергией, буйным юмором — и неизбывной печалью. Она ненавязчиво преподает уроки совестливости и справедливости, которые всегда нужны человеку, как хлеб и воздух.

Если верно, что основной движущей силой истории США середины XIX века было противоречие между северными и южными штатами по вопросу рабовладения, то "Приключения

Гекльберри Финна" своеобразно преломляют центральный конфликт периода. Черный раб, осмелившийся на бегство из неволи, и бездомный подросток, из тех, кого на Юге зовут white trash ("белая шваль"), помогающий "ниггеру" скрыться, бросают вызов существующим порядкам. Отказ Гека от богатства и побег Джима, служащие завязкой основного действия, означают нарушение высшего закона американского общества — закона собственности.

Что бы ни писал Твен — путевые очерки, романы, новеллы, — он оставался прежде всего рассказчиком. Дело не только в прирожденном даре, но и в его близости к grass roots — "корням травы", к простым людям, к устному народному творчеству американского Запада.

Искусство рассказа, говорил Твен, заключается в том, чтобы сделать так, словно рассказ течет как бы сам по себе. И он течет в книге, как течет Миссисипи — поворачивая, петляя, обходя препятствия, вбирая притоки комической стихии и стихии трагедийной, то перекачивая мелководе, то замедляя движение на глубине. Течет вольно и своевольно, подчиняясь неумовленным ритмам бытия и искусства.

В романе Твен доверил рассказ полуграмотному мальчишке и последовательно, на всем протяжении книги выдержал его бесхитростную манеру речи. Рассказ Гека — это провинциальное, окрашенное фольклором просторечье, ставшее фактом большого искусства. Под пером Твена американская литература впервые громко заговорила языком народа. Если существует такое понятие — американская школа реализма, то ее источник здесь — в этом вечно юном шедевре национальной и мировой словесности.

Конечно, Гек самостоятельно не сумел бы так увидеть свинью с поросятами, растянувшуюся посреди улицы в арканзасском городишке, или так лирично рассказать о восходе на реке, или дать такое тонкое, полное скрытого сарказма описание внутреннего убранства дома Грэнджерфордов. Принципиальное художественное достижение в романе — точное совмещение двух "видений" — авторского и Гекова, слияние двух голосов — мужского и детского в один, который с мудрой простотой ведет повествование.

Рассказ Гека — не только хроника виденного, слышанного, случившегося. Истории, которые он рассказывает о себе и Джиме, его план побега от Папаши и идея избавления от Короля и Герцога, его сметливость и находчивость в трудную минуту расширяют русло повествования и демонстрируют возможности реалистического воображения, его триумф над воображением романтическим. Том выдумывает "по правилам", как в книжках. Гек — согласно тому, что подсказывают реальные обстоятельства. Том Сойер в этом романе, как и в ранней книге, носящей его имя, пребывает в раю детства, он играет. Геку Финну

не до игр: он живет в сложном, холодном, полном опасностей мире взрослых. Рассказ Гека — это в первую очередь история взросления души, рождение нравственного сознания, выбивающегося из рамок общепринятых житейских и религиозных представлений. Решение, которое он принимает в знаменитой главе XXXI, выношено им умом и сердцем, он пришел к нему после долгих внутренних колебаний. Одно дело — мальчишеское обещание Джиму не выдавать его, когда они впервые встретились на Джексоновом острове. И совершенно другое — самому помогать негру бежать. Гек не ставит деньги ни во что, но выкрасть раба, посягнуть на чужую собственность — это, по всем понятиям той среды, подлость, за которую положена небесная кара. "Не важно, виноват ты или нет. — совесть с этим не считается и все равно тебя донимает". Совестьливому подростку трудно отличить истинную порядочность от ложной, но Гек перебарывает предубеждения. Моменты его глубоких душевных переживаний переданы в форме, которую можно считать начатками внутреннего монолога.

Чрезвычайно важно, что новое знание приходит к юному герою через постижение другого человека, причем такого, который считается всеми существом иного, низшего порядка. Взрослое "я" рождается из чувства общности с другими, из "мы". Дружба белого и черного, свободная от высокомерия и угодливости, от сантиментов и прикрас — качественная веха в изображении расовых отношений, надолго сообщившая книге актуальный смысл.

Давно замечено, что заключительные главы — Томовы затеи устроить побег уже отпущенному на волю рабу — носят комедийный характер, пародируют штампы авантюрно-романтической литературы и т.д. Вместе с тем несомненно иронически-нисходящее отношение Гека к выдумкам приятеля. И не прочитывается ли в желании Тома "растянуть на восемьдесят лет" освобождение Джима более глубокий и серьезный смысл?

Бесполезно гадать, почему Твен закончил роман так, а не иначе. На такие догадки уже изведено море чернил. Напиши он иначе, это была бы другая книга. Любая, более "позитивная" развязка, скорее всего, нарушила бы внутреннюю логику образа Гека. А он должен был остаться таким, какой он есть — суеверный и практичный, совестливый и насмешливый, свободолюбивый подросток с фронтира.

В этом секрет его вечной юности.

В этом секрет того, почему "Приключения Гекльберри Финна" читают спустя сто лет.

И будут читать долго.

Г. Зюбин

THE ADVENTURES
OF
HUCKLEBERRY
FINN



NOTICE

Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be banished; persons attempting to find a plot in it will be shot.

BY ORDER OF THE AUTHOR,
PER G. G., CHIEF OF ORDNANCE.

EXPLANATORY

In this book a number of dialects are used, to wit: the Missouri negro dialect; the extremest form of the backwoods Southwestern dialect; the ordinary "Pike County" dialect; and four modified varieties of this last. The shadings have not been done in a haphazard fashion, or by guesswork; but painstakingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with these several forms of speech.

I make this explanation for the reason that without it many readers would suppose that all these characters were trying to talk alike and not succeeding.

THE AUTHOR

CHAPTER I

You don't know about me without you have read a book by the name of *The Adventures of Tom Sawyer*; but that ain't no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I never seen anybody but lied one time or another, without it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly—Tom's Aunt Polly, she is—and Mary, and the Widow Douglas is all told about in that book, which is mostly a true book, with some stretchers, as I said before.

Now the way that the book winds up is this: Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. We got six thousand dollars apiece—all gold. It was an awful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher he took it and put it out at interest, and it fetched us a dollar a day apiece all the year round—more than a body could tell what to do with. The Widow Douglas she took me for her son, and allowed she would sivilize me; but it was rough living in the house all the time, considering how dismal regular and decent the widow was in all her ways; and so when I couldn't stand it no longer I lit out. I got into my old rags and my sugar-hogshead again, and was free and satisfied. But Tom Sawyer he hunted me up and said he was going to start a band of robbers, and I might join if I would go back to the widow and be respectable. So I went back.

The widow she cried over me, and called me a poor lost lamb, and she called me a lot of other names, too, but she never meant no harm by it. She put me in them new clothes again, and I couldn't do nothing but sweat and sweat, and feel all cramped up. Well, then, the old thing commenced again. The widow rung a bell for supper, and you had to come to time. When you got to the table you couldn't go right to eating, but you had to wait for the widow to tuck down her head and grumble a little over the victuals, though there warn't really anything the matter with them—that is, nothing only everything was cooked by itself. In a barrel of odds and ends it is different; things get mixed up, and the juice kind of swaps around, and the things go better.

After supper she got out her book and learned me about Moses

and the Bulrushers, and I was in a sweat to find out all about him; but by and by she let it out that Moses had been dead a considerable long time; so then I didn't care no more about him, because I don't take no stock in dead people.

Pretty soon I wanted to smoke, and asked the widow to let me. But she wouldn't. She said it was a mean practice and wasn't clean, and I must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to anybody, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stand it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, "Don't put your feet up there, Huckleberry"; and "Don't scrunch up like that, Huckleberry—set up straight"; and pretty soon she would say, "Don't gap and stretch like that, Huckleberry—why don't you try to behave?" Then she told me all about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; *she* was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it. But I never said so, because it would only make trouble, and wouldn't do no good.

Now she had got a start, and she went on and told me all about the good place. She said all a body would have to do there was to go around all day long with a harp and sing, forever and ever. So I didn't think much of it. But I never said so. I asked her if she reckoned Tom Sawyer would go there, and she said not by a considerable sight. I was glad about that, because I wanted him and me to be together.

Miss Watson she kept pecking at me, and it got tiresome and lonesome. By and by they fetched the niggers in and had prayers, and then everybody was off to bed. I went up to my room with a piece of candle, and put it on the table. Then I set down in a chair by the window and tried to think of something cheerful, but it warn't no use. I felt so lonesome I most wished I was dead. The stars were shining, and the leaves rustled in the woods ever so mournful; and I heard an owl, away off, who-whooping about somebody that was dead, and a whip-powill and a dog crying about somebody that was going to die; and the wind was trying to whisper something to me, and I couldn't make out what it was, and so it made the cold shivers run over me. Then away out in the woods I heard that kind of a sound that a ghost makes when it wants to tell about something that's on its mind and can't

make itself understood, and so can't rest easy in its grave, and has to go about that way every night grieving. I got so downhearted and scared I did wish I had some company. Pretty soon a spider went crawling up my shoulder, and I flipped it off and it lit in the candle; and before I could budge it was all shriveled up. I didn't need anybody to tell me that that was an awful bad sign and would fetch me some bad luck, so I was scared and most shook the clothes off of me. I got up and turned around in my tracks three times and crossed my breast every time; and then I tied up a little lock of my hair with a thread to keep witches away. But I hadn't no confidence. You do that when you've lost a horseshoe that you've found, instead of nailing it up over the door, but I hadn't ever heard anybody say it was any way to keep off bad luck when you'd killed a spider.

I set down again, a-shaking all over, and got out my pipe for a smoke; for the house was all as still as death now, and so the widow wouldn't know. Well, after a long time I heard the clock away off in the town go boom—boom—boom—twelve licks; and all still again—still than ever. Pretty soon I heard a twig snap down in the dark amongst the trees—something was a-stirring. I set still and listened. Directly I could just barely hear a "*me-yow! me-yow!*" down there. That was good! Says I, "*me-yow! me-yow!*" as soft as I could, and then I put out the light and scrambled out of the window on to the shed. Then I slipped down to the ground and crawled in among the trees, and, sure enough, there was Tom Sawyer waiting for me.

CHAPTER II

We went tiptoeing along a path amongst the trees back toward the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson's big nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute, listening. Then he says:

"Who dah?"

He listened some more; then he came tiptoeing down and stood right between us; we could 'a' touched him, nearly. Well, likely it was minutes and minutes that there warn't a sound, and we all there so close together. There was a place on my ankle that got to itching, but I dasn't scratch it; and then my ear begun to itch; and next my back, right between my shoulders. Seemed like I'd die if I couldn't scratch. Well, I've noticed that thing plenty times since. If you are with the quality, or at a funeral, or trying to go to sleep when you ain't sleepy—if you are anywheres where it won't do for you to scratch, why you will itch all over in upward of a thousand places. Pretty soon Jim says:

"Say, who is you? Whar is you? Dog my cats ef I didn' hear sumf'n. Well, I know what I's gwyne to do: I's gwyne to set down here and listen tell I hears it ag'in."

So he set down on the ground betwixt me and Tom. He leaned his back up against a tree, and stretched his legs out till one of them most touched one of mine. My nose begun to itch. It itched till the tears come into my eyes. But I dasn't scratch. Then it begun to itch on the inside. Next I got to itching underneath. I didn't know how I was going to set still. This miserableness went on as much as six or seven minutes; but it seemed a sight longer than that. I was itching in eleven different places now. I reckoned I couldn't stand it more'n a minute longer, but I set my teeth hard and got ready to try. Just then Jim begun to breathe heavy; next he begun to snore—and then I was pretty soon comfortable again.

Tom he made a sign to me—kind of a little noise with his mouth—and we went creeping away on our hands and knees. When we was ten foot off Tom whispered to me, and wanted to tie Jim to the tree for fun. But I said no; he might wake and make a disturbance, and then they'd find out I warn't in. Then Tom said he hadn't got candles enough, and he would slip in the kitchen and get some more. I didn't want him to try. I said Jim might wake up and come. But Tom wanted to resk it; so we slid in there and got three candles, and Tom laid five cents on the table for pay. Then we got out, and I was in a sweat to get away; but nothing would do Tom but he must crawl to where Jim was, on his hands and knees, and play something on him. I waited, and it seemed a good while, everything was so still and lonesome.

As soon as Tom was back we cut along the path, around the garden fence, and by and by fetched up on the steep top of the hill the other side of the house. Tom said he slipped Jim's hat off of his head and hung it on a limb right over him, and Jim stirred a little, but he didn't wake. Afterward Jim said the witches bewitched him and put him in a trance, and rode him all over the state, and then set him under the trees again, and hung his hat on a limb to show who done it. And next time Jim told it he said they rode him down to New Orleans; and, after that, every time he told it he spread it more and more, till by and by he said they rode him all over the world, and tired him most to death, and his back was all over saddle-boils. Jim was monstrous proud about it, and he got so he wouldn't hardly notice the other niggers. Niggers would come miles to hear Jim tell about it, and he was more looked up to than any nigger in that country. Strange niggers would stand with their mouths open and look him all over, same as if he was a wonder. Niggers is always talking about witches in the dark by the kitchen fire; but whenever one was talking and letting on to know all about such things, Jim would happen in and say, "Hm! What you know 'bout witches?" and that nigger was corked up and had to take a back seat. Jim always kept that five-center piece round his neck with a string, and said it was a charm the devil give to him with his

own hands, and told him he could cure anybody with it and fetch witches whenever he wanted to just by saying something to it; but he never told what it was he said to it. Niggers would come from all around there and give Jim anything they had, just for a sight of that five-center piece; but they wouldn't touch it, because the devil had had his hands on it. Jim was most ruined for a servant, because he got stuck up on account of having seen the devil and been rode by witches.

Well, when Tom and me got to the edge of the hill-top we looked away down into the village and could see three or four lights twinkling, where there was sick folks, maybe; and the stars over us was sparkling ever so fine; and down by the village was the river, a whole mile broad, and awful still and grand. We went down the hill and found Joe Harper and Ben Rogers, and two or three more of the boys, hid in the old tanyard. So we unhitched a skiff and pulled down the river two mile and a half, to the big scar on the hill-side, and went ashore.

We went to a clump of bushes, and Tom made everybody swear to keep the secret, and then showed them a hole in the hill, right in the thickest part of the bushes. Then we lit the candles, and crawled in on our hands and knees. We went about two hundred yards, and then the cave opened up. Tom poked about amongst the passages, and pretty soon ducked under a wall where you wouldn't 'a' noticed that there was a hole. We went along a narrow place and got into a kind of room, all damp and sweaty and cold, and there we stopped. Tom says:

"Now, we'll start this band of robbers and call it Tom Sawyer's Gang. Everybody that wants to join has got to take an oath, and write his name in blood."

Everybody was willing. So Tom got out a sheet of paper that he had wrote the oath on, and read it. It swore every boy to stick to the band, and never tell any of the secrets; and if anybody done anything to any boy in the band, whichever boy was ordered to kill that person and his family must do it, and he mustn't eat and he mustn't sleep till he had killed them and hacked a cross in their breasts, which was the sign of the band. And nobody that didn't belong to the band could use that mark, and if he did he must be sued; and if he done it again he must be killed. And if anybody that belonged to the band told the secrets, he must have his throat cut, and then have his carcass burnt up and the ashes scattered all around, and his name blotted off the list with blood and never mentioned again by the gang, but have a curse put on it and be forgot forever.

Everybody said it was a real beautiful oath, and asked Tom if he got it out of his own head. He said some of it, but the rest was out of pirate-books and robber-books, and every gang that was high-toned had it.

Some thought it would be good to kill the *families* of boys that told the secrets. Tom said it was a good idea, so he took a pencil and wrote it in. Then Ben Rogers says:

"Here's Huck Finn, he hain't got no family; what you going to do 'bout him?"

"Well, hain't he got a father?" says Tom Sawyer.

"Yes, he's got a father, but you can't never find him these days. He used to lay drunk with the hogs in the tanyard, but he hain't been seen in these parts for a year or more."

They talked it over, and they was going to rule me out, because they said every boy must have a family or somebody to kill, or else it wouldn't be fair and square for the others. Well, nobody could think of anything to do—everybody was stumped, and set still. I was most ready to cry; but all at once I thought of a way, and so I offered them Miss Watson—they could kill her. Everybody said:

"Oh, she'll do. That's all right. Huck can come in."

Then they all stuck a pin in their fingers to get blood to sign with, and I made my mark on the paper.

"Now," says Ben Rogers, "what's the line of business of this Gang?"

"Nothing only robbery and murder," Tom said.

"But who are we going to rob?—houses, or cattle, or—"

"Stuff! stealing cattle and such things ain't robbery; it's burglary," says Tom Sawyer. "We ain't burglars. That ain't no sort of style. We are highwaymen. We stop stages and carriages on the road, with masks on, and kill the people and take their watches and money."

"Must we always kill the people?"

"Oh, certainly. It's best. Some authorities think different, but mostly it's considered best to kill them—except some that you bring to the cave here, and keep them till they're ransomed."

"Ransomed? What's that?"

"I don't know. But that's what they do. I've seen it in books; and so of course that's what we've got to do."

"But how can we do it if we don't know what it is?"

"Why, blame it all, we've *got* to do it. Don't I tell you it's in the books? Do you want to go to doing different from what's in the books, and get things all muddled up?"

"Oh, that's all very fine to *say*, Tom Sawyer, but how in the nation are these fellows going to be ransomed if we don't know how to do it to them? that's the thing *I* want to get at. Now, what do you *reckon* it is?"

"Well, I don't know. But per'aps if we keep them till they're ransomed, it means that we keep them till they're dead."

"Now, that's something *like*. That'll answer. Why couldn't you said that before? We'll keep them till they're ransomed to death; and a bothersome lot they'll be, too—eating up everything, and always trying to get loose."

"How you talk, Ben Rogers. How can they get loose when there's a guard over them, ready to shoot them down if they move a peg?"

"A guard! Well, that *is* good. So somebody's got to set up all night and never get any sleep, just so as to watch them. I think that's foolish—

ness. Why can't a body take a club and ransom them as soon as they get here?"

"Because it ain't in the books so—that's why. Now, Ben Rogers, do you want to do things regular, or don't you?—that's the idea. Don't you reckon that the people that made the books knows what's the correct thing to do? Do you reckon *you* can learn 'em anything? Not by a good deal. No, sir, we'll just go on and ransom them in the regular way."

"All right. I don't mind; but I say it's a fool way, anyhow. Say, do we kill the women, too?"

"Well, Ben Rogers, if I was as ignorant as you I wouldn't let on. Kill the women? No; nobody ever saw anything in the books like that. You fetch them to the cave, and you're always as polite as pie to them; and by and by they fall in love with you, and never want to go home any more."

"Well, if that's the way I'm agreed, but I don't take no stock in it. Mighty soon we'll have the cave so cluttered up with women, and fellows waiting to be ransomed, that there won't be no place for the robbers. But go ahead, I ain't got nothing to say."

Little Tommy Barnes was asleep now, and when they waked him up he was scared, and cried, and said he wanted to go home to his ma, and didn't want to be a robber any more.

So they all made fun of him, and called him cry-baby, and that made him mad, and he said he would go straight and tell all the secrets. But Tom give him five cents to keep quiet, and said we would all go home and meet next week, and rob somebody and kill some people.

Ben Rogers said he couldn't get out much, only Sundays, and so he wanted to begin next Sunday; but all the boys said it would be wicked to do it on Sunday, and that settled the thing. They agreed to get together and fix a day as soon as they could, and then we elected Tom Sawyer first captain and Joe Harper second captain of the Gang, and so started home.

I clumb up the shed and crept into my window just before day was breaking. My new clothes was all greased up and clayey, and I was dog-tired.

CHAPTER III

Well, I got a good going-over in the morning from old Miss Watson on account of my clothes; but the widow she didn't scold, but only cleaned off the grease and clay, and looked so sorry that I thought I would behave awhile if I could. Then Miss Watson she took me in the closet and prayed, but nothing come of it. She told me to pray every day, and whatever I asked for I would get it. But it warn't so. I tried it. Once I got a fish-line, but no hooks. It warn't any good to me without hooks. I tried for the hooks three or four times, but somehow I

couldn't make it work. By and by, one day, I asked Miss Watson to try for me, but she said I was a fool. She never told me why, and I couldn't make it out no way.

I set down one time back in the woods, and had a long think about it. I says to myself, if a body can get anything they pray for, why don't Deacon Winn get back the money he lost on pork? Why can't the widow get back her silver snuff-box that was stole? Why can't Miss Watson fat up? No, says I to myself, there ain't nothing in it. I went and told the widow about it, and she said the thing a body could get by praying for it was "spiritual gifts." This was too many for me, but she told me what she meant—I must help other people, and do everything I could for other people and look out for them all the time, and never think about myself. This was including Miss Watson, as I took it. I went out in the woods and turned it over in my mind a long time, but I couldn't see no advantage about it—except for the other people; so at last I reckoned I wouldn't worry about it any more, but just let it go. Sometimes the widow would take me one side and talk about Providence in a way to make a body's mouth water; but maybe next day Miss Watson would take hold and knock it all down again. I judged I could see that there was two Providences, and a poor chap would stand considerable show with the widow's Providence, but if Miss Watson's got him there warn't no help for him any more. I thought it all out, and reckoned I would belong to the widow's if he wanted me, though I couldn't make out how he was a-going to be any better off then than what he was before, seeing I was so ignorant, and so kind of low-down and ornery.

Pap he hadn't been seen for more than a year, and that was comfortable for me; I didn't want to see him no more. He used to always whale me when he was sober and could get his hands on me; though I used to take to the woods most of the time when he was around. Well, about this time he was found in the river drowned, about twelve mile above town, so people said. They judged it was him, anyway; said this drowned man was just his size, and was ragged, and had uncommon long hair, which was all like pap; but they couldn't make nothing out of the face, because it had been in the water so long it warn't much like a face at all. They said he was floating on his back in the water. They took him and buried him on the bank. But I warn't comfortable long, because I happened to think of something. I knowed mighty well that a drowned man don't float on his back, but on his face. So I knowed, then, that this warn't pap, but a woman dressed up in a man's clothes. So I was uncomfortable again. I judged the old man would turn up again by and by, though I wished he wouldn't.

We played robber now and then about a month, and then I resigned. All the boys did. We hadn't robbed nobody, hadn't killed any people, but only just pretended. We used to hop out of the woods and go charging down on hog-drivers and women in carts taking garden stuff to market, but we never hived any of them. Tom Sawyer

called the hogs "ingots," and he called the turnips and stuff "julery," and we would go to the cave and powwow over what we had done, and how many people we had killed and marked. But I couldn't see no profit in it. One time Tom sent a boy to run about town with a blazing stick, which he called a slogan (which was the sign for the Gang to get together), and then he said he had got secret news by his spies that next day a whole parcel of Spanish merchants and rich A-rabs was going to camp in Cave Hollow with two hundred elephants, and six hundred camels, and over a thousand "sumter" mules, all loaded down with di'monds, and they didn't have only a guard of four hundred soldiers, and so we would lay in ambuscade, as he called it, and kill the lot and scoop the things. He said we must slick up our swords and guns, and get ready. He never could go after even a turnip-cart but he must have the swords and guns all scoured up for it, though they was only lath and broomsticks, and you might scour at them till you rotted, and then they warn't worth a mouthful of ashes more than what they was before. I didn't believe we could lick such a crowd of Spaniards and A-rabs, but I wanted to see the camels and elephants, so I was on hand next day, Saturday, in the ambuscade; and when we got the word we rushed out of the woods and down the hill. But there warn't no Spaniards and A-rabs, and there warn't no camels nor no elephants. It warn't anything but a Sunday-school picnic, and only a primer class at that. We busted it up, and chased the children up the hollow; but we never got anything but some doughnuts and jam, though Ben Rogers got a rag doll, and Joe Harper got a hymn-book and a tract; and then the teacher charged in, and made us drop everything and cut. I didn't see no di'monds, and I told Tom Sawyer so. He said there was loads of them there, anyway; and he said there was A-rabs there, too, and elephants and things. I said, why couldn't we see them, then? He said if I warn't so ignorant, but had read a book called *Don Quixote*, I would know without asking. He said it was all done by enchantment. He said there was hundreds of soldiers there, and elephants and treasure, and so on, but we had enemies which he called magicians, and they had turned the whole thing into an infant Sunday-school, just out of spite. I said, all right; then the thing for us to do was to go for the magicians. Tom Sawyer said I was a numskull.

"Why," says he, "a magician could call up a lot of genies, and they would hash you up like nothing before you could say Jack Robinson. They are as tall as a tree and as big around as a church."

"Well," I says, "s'pose we got some genies to help *up*—can't we lick the other crowd then?"

"How you going to get them?"

"I don't know. How do *they* get them?"

"Why, they rub an old tin lamp or an iron ring, and then the genies come tearing in, with the thunder and lightning a-ripping around and the smoke a-rolling, and everything they're told to do they up and do

it. They don't think nothing of pulling a shot-tower up by the roots, and belting a Sunday-school superintendent over the head with it—or any other man."

"Who makes them tear around so?"

"Why, whoever rubs the lamp or the ring. They belong to whoever rubs the lamp or the ring, and they've got to do whatever he says. If he tells them to build a palace forty miles long out of di'monds, and fill it full of chewing-gum, or whatever you want, and fetch an emperor's daughter from China for you to marry, they've got to do it—and they've got to do it before sun-up next morning, too. And more: they've got to waltz that palace around over the country wherever you want it, you understand."

"Well," says I, "I think they are a pack of flatheads for not keeping the palace themselves 'stead of fooling them away like that. And what's more—if I was one of them. I would see a man in Jericho before I would drop my business and come to him for the rubbing of an old tin lamp."

"How you talk, Huck Finn. Why, you'd *have* to come when he rubbed it, whether you wanted to or not."

"What! and I as high as a tree and as big as a church? All right, then; I *would* come; but I lay I'd make that man climb the highest tree there was in the country."

"Shucks, it ain't no use to talk to you, Huck Finn. You don't seem to know anything, somehow—perfect saphead."

I thought all this over for two or three days, and then I reckoned I would see if there was anything in it. I got an old tin lamp and an iron ring, and went out in the woods, and rubbed and rubbed till I sweat like an Injun, calculating to build a palace and sell it; but it warn't no use, none of the genies come. So then I judged that all that stuff was only just one of Tom Sawyer's lies. I reckoned he believed in the Arabs and the elephants, but as for me I think different. It had all the marks of a Sunday-school.

CHAPTER IV

Well, three or four months run along, and it was well into the winter now. I had been to school most all the time and could spell and read and write just a little, and could say the multiplication table up to six times seven is thirty-five, and I don't reckon I could ever get any further than that if I was to live forever. I don't take no stock in mathematics, anyway.

At first I hated the school, but by and by I got so I could stand it. Whenever I got uncommon tired I played hookey, and the hiding I got next day done me good and cheered me up. So the longer I went to school the easier it got to be. I was getting sort of used to the widow's ways, too, and they warn't so raspy on me. Living in a house and

sleeping in a bed pulled on me pretty tight mostly, but before the cold weather I used to slide out and sleep in the woods sometimes, and so that was a rest to me. I liked the old ways best, but I was getting so I liked the new ones, too, a little bit. The widow said I was coming along slow but sure, and doing very satisfactory. She said she warn't ashamed of me.

One morning I happened to turn over the salt-cellar at breakfast. I reached for some of it as quick as I could to throw over my left shoulder and keep off the bad luck, but Miss Watson was in ahead of me, and crossed me off. She says, "Take your hands away, Huckleberry, what a mess you are always making!" The widow put in a good word for me, but that warn't going to keep off the bad luck, I knowed that well enough. I started out, after breakfast, feeling worried and shaky, and wondering where it was going to fall on me, and what it was going to be. There is ways to keep off some kinds of bad luck, but this wasn't one of them kind; so I never tried to do anything, but just poked along low-spirited and on the watch-out.

I went down to the front garden and clumb over the stile where you go through the high board fence. There was an inch of new snow on the ground, and I seen somebody's tracks. They had come up from the quarry and stood around the stile awhile, and then went on around the garden fence. It was funny they hadn't come in, after standing around so. I couldn't make it out. It was very curious, somehow. I was going to follow around, but I stooped down to look at the tracks first. I didn't notice anything at first, but next I did. There was a cross in the left bootheel made with big nails, to keep off the devil.

I was up in a second and shinning down the hill. I looked over my shoulder every now and then, but I didn't see nobody. I was at Judge Thatcher's as quick as I could get there. He said:

"Why, my boy, you are all out of breath. Did you come for your interest?"

"No, sir," I says; "is there some for me?"

"Oh, yes, a half-yearly is in, last night—over a hundred and fifty dollars. Quite a fortune for you. You had better let me invest it along with your six thousand, because if you take it you'll spend it."

"No, sir," I says. "I don't want to spend it. I don't want it at all—nor the six thousand, nuther. I want you to take it; I want to give it to you—the six thousand and all."

He looked surprised. He couldn't seem to make it out. He says:

"Why what can you mean, my boy?"

I says, "Don't you ask me no questions about it, please. You'll take it—won't you?"

He says:

"Well, I'm puzzled. Is something the matter?"

"Please take it," says I, "and don't ask me nothing—then I won't have to tell no lies."

He studied awhile, and then he says:

"Oho-o! I think I see. You want to *sell* all your property to me not give it. That's the correet idea."

Then he wrote something on a paper and read it over, and says:

"There; you see it says 'for a consideration.' That means I have bought it of you and paid you for it. Here's a dollar for you. Now you sign it."

So I signed it, and left.

Miss Watson's nigger, Jim, had a hair-ball as big as your fist, which had been took out of the fourth stomach of an ox, and he used to do magic with it. He said there was a spirit inside of it, and it knowed everything. So I went to him that night and told him pap was here again, for I found his tracks in the snow. What I wanted to know was, what he was going to do, and was he going to stay? Jim got out his hair-ball and said something over it, and then he held it up and dropped it on the floor. It fell pretty solid, and only rolled about an inch. Jim tried it again, and then another time, and it acted just the same. Jim got down on his knees, and put his ear against it and listened. But it warn't no use; he said it wouldn't talk. He said sometimes it wouldn't talk without money. I told him I had an old slick counterfeit quarter that warn't no good because the brass showed through the silver a little, and it wouldn't pass nohow, even if the brass didn't show, because it was so slick it felt greasy, and so that would tell on it every time. (I reckoned I wouldn't say nothing about the dollar I got from the judge.) I said it was pretty bad money, but maybe the hair-ball would take it, because maybe it wouldn't know the difference. Jim smelt it and bit it and rubbed it, and said he would manage so the hair-ball would think it was good. He said he would split open a raw Irish potato and stick the quarter in between and keep it there all night, and next morning you couldn't see no brass, and it wouldn't feel greasy no more, and so anybody in town would take it in a minute, let alone a hair-ball. Well, I knowed a potato would do that before, but I had forgot it.

Jim put the quarter under the hair-ball, and got down and listened again. This time he said the hair-ball was all right. He said it would tell my whole fortune if I wanted it to. I says, go on. So the hair-ball talked to Jim, and Jim told it to me. He says:

"Yo' ole father doan' know yit what he's a-gwyne to do. Sometimes he spec he'll go 'way, en den ag'in he spec he'll stay. De bes' way is to res' easy en let de ole man take his own way. Dey's two angels hoverin' roun' 'bout him. One uv 'em is white en shiny, en t'other one is black. De white one gits him to go right a little while, den de black one sail in en bust it all up. A body can't tell yit which one gwyne to fetch him at de las'. But you is all right. You gwyne to have considable trouble in yo' life, en considable joy. Sometimes you gwyne to git hurt, en sometimes you gwyne to git sick; but every time you's gwyne to git well ag'in. Dey's two gals flying' 'bout you in

yo' life. One uv 'em's light en t'other one is dark. One is rich en t'other is po'. You's gwyne to marry de po' one fust en de rich one by en by. You wants to keep 'way fum de water as much as you kin, en don't run no resk, 'kase it's down in de bills dat you's gwyne to git hung."

When I lit my candle and went up to my room that night there sat pap—his own self!

CHAPTER V

I had shut the door to. Then I turned around and there he was. I used to be scared of him all the time, he tanned me so much. I reckoned I was scared now, too; but in a minute I see I was mistaken—that is, after the first jolt, as you may say, when my breath sort of hitched, he being so unexpected; but right away after I see I warn't scared of him worth bothering about.

He was most fifty, and he looked it. His hair was long and tangled and greasy, and hung down, and you could see his eyes shining through like he was behind vines. It was all black, no gray; so was his long, mixed-up whiskers. There warn't no color in his face, where his face showed; it was white; not like another man's white, but a white to make a body sick, a white to make a body's flesh crawl—a tree-toad white, a fish-belly white. As for his clothes—just rags, that was all. He had one ankle resting on t'other knee; the boot on that foot was busted, and two of his toes stuck through, and he worked them now and then. His hat was laying on the floor—an old black slouch with the top caved in, like a lid.

I stood a-looking at him; he set there a-looking at me, with his chair tilted back a little. I set the candle down. I noticed the window was up; so he had clumb in by the shed. He kept a-looking me all over. By and by he says:

"Starchy clothes—very. You think you're a good deal of a big-bug, *don't* you?"

"Maybe I am, maybe I ain't," I says.

"Don't you give me none o' your lip," says he. "You've put on considerable many frills since I been away. I'll take you down a peg before I get done with you. You're educated, too, they say—can read and write. You think you're better'n your father, now, don't you because he can't? *I'll* take it out of you. Who told you you might meddle with such hifalut'n foolishness, hey?—who told you you could?"

"The widow. She told me."

"The widow, hey?—and who told the widow she could put in her shovel about a thing that ain't none of her business?"

"Nobody never told her."

"Well, I'll learn her how to meddle. And looky here—you drop that

school, you hear? I'll learn people to bring up a boy to put on airs over his own father and let on to be better'n what *he* is. You lemme catch you fooling around that school again, you hear? Your mother couldn't read, and she couldn't write, nuther, before she died. None of the family couldn't before *they* died. *I* can't; and here you're a-swelling yourself up like this. I ain't the man to stand it—you hear? Say, lemme hear you read."

I took up a book and begun something about General Washington and the wars. When I'd read about a half a minute, he fetched the book a whack with his hand and knocked it across the house. He says:

"It's so. You can do it. I had my doubts when you told me. Now looky here; you stop that putting on frills. I won't have it. I'll lay for you, my smarty; and if I catch you about that school I'll tan you good. First you know you'll get religion, too. I never see such a son."

He took up a little blue and yaller picture of some cows and a boy, and says:

"What's this?"

"It's something they give me for learning my lessons good."

He tore it up, and says:

"I'll give you something better—I'll give you a cowhide."

He set there a-mumblin' and a-growlin' a minute, and then he says:

"*Ain't* you a sweet-scented dandy, though? A bed; and bedclothes; and a look'n'-glass; and a piece of carpet on the floor—and your own father got to sleep with the hogs in the tanyard. I never see such a son. I bet I'll take some o' these frills out o' you before I'm done with you. Why, there ain't no end to your airs—they say you're rich. Hey?—how's that?"

"They lie—that's how."

"Looky here—mind how you talk to me; I'm a-standing about all I can stand now—so don't gimme no sass. I've been in town two days, and I hain't heard nothing but about you bein' rich. I heard about it away down the river, too. That's why I come. You git me that money to-morrow—I want it."

"I hain't got no money."

"It's a lie. Judge Thatcher's got it. You git it. I want it."

"I hain't got no money, I tell you. You ask Judge Thatcher; he'll tell you the same."

"All right. I'll ask him; and I'll make him pungle, too, or I'll know the reason why. Say, how much you got in your pocket? I want it."

"I hain't got only a dollar, and I want that to—"

"It don't make no difference what you want it for—you just shell it out."

He took it and bit it to see if it was good, and then he said he was going down-town to get some whisky; said he hadn't had a drink all day. When he had got out on the shed he put his head in again, and cussed me for putting on frills and trying to be better than him; and when I reckoned he was gone he come back and put his head in again,

and told me to mind about that school, because he was going to lay for me and lick me if I didn't drop that.

Next day he was drunk, and he went to Judge Thatcher's and bullyragged him, and tried to make him give up the money; but he couldn't, and then he swore he'd make the law force him.

The judge and the widow went to law to get the court to take me away from him and let one of them be my guardian; but it was a new judge that had just come, and he didn't know the old man; so he said courts mustn't interfere and separate families if they could help it; said he'd rather not take a child away from its father. So Judge Thatcher and the widow had to quit on the business.

That pleased the old man till he couldn't rest. He said he'd cowhide me till I was black and blue if I didn't raise some money for him. I borrowed three dollars from Judge Thatcher, and pap took it and got drunk, and went a-blowing around and cussing and whooping and carrying on; and he kept it up all over town, with a tin pan, till most midnight; then they jailed him, and next day they had him before court, and jailed him again for a week. But he said *he* was satisfied; said he was boss of his son, and he'd make it warm for *him*.

When he got out the new judge said he was a-going to make a man of him. So he took him to his own house, and dressed him up clean and nice, and had him to breakfast and dinner and supper with the family, and was just old pie to him, so to speak. And after supper he talked to him about temperance and such things till the old man cried, and said he'd been a fool, and fooled away his life; but now he was a-going to turn over a new leaf and be a man nobody wouldn't be ashamed of, and he hoped the judge would help him and not look down on him. The judge said he could hug him for them words; so *he* cried, and his wife she cired again; pap said he'd been a man that had always been misunderstood before, and the judge said he believed it. The old man said that what a man wanted that was down was sympathy, and the judge said it was so; so they cried again. And when it was bedtime the old man rose up and held out his hand, and says:

"Look at it, gentlemen and ladies all; take a-hold of it; shake it. There's a hand that was the hand of a hog; but it ain't so no more; it's the hand of a man that's started in on a new life, and'll die before he'll go back. You mark them words—don't forget I said them. It's a clean hand now; shake it—don't be afeard."

So they shook it, one after the other, all around, and cried. The judge's wife she kissed it. Then the old man he signed a pledge—made his mark. The judge said it was the holiest time on record, or something like that. Then they tucked the old man into a beautiful room, which was the spare room, and in the night some time he got powerful thirsty and clumb out on to the porch-roof and slid down a stanchion and traded his new coat for a jug of forty-rod, and clumb back again and had a good old time; and toward daylight he crawled out again, drunk as a fiddler, and rolled off the porch and broke his left arm in

two places, and was most froze to death when somebody found him after sun-up. And when they come to look at that spare room they had to take soundings before they could navigate it.

The judge he felt kind of sore. He said he reckoned a body could reform the old man with a shotgun, maybe, but he didn't know no other way.

CHAPTER VI

Well, pretty soon the old man was up and around again, and then he went for Judge Thatcher in the courts to make him give 'up that money, and he went for me, too, for not stopping school. He caught me a couple of times and thrashed me, but I went to school just the same, and dodged him or outrun him most of the time, I didn't want to go to school much before, but I reckoned I'd go now to spite pap. That law trial was a slow business—appeared like they warn't ever going to get started on it; so every now and then I'd borrow two or three dollars off of the judge for him, to keep from getting a cowlhiding. Every time he got money he got drunk; and every time he got drunk he raised Cain around town; and every time he raised Cain he got jailed. He was just suited this kind of thing was right in his line.

He got to hanging around the widow's too much, and so she told him at last that if he didn't quit using around there she would make trouble for him. Well, *wasn't* he mad? He said he would show who was Huck Finn's boss. So he watched out for me one day in the spring, and caught me, and took me up the river about three mile in a skiff, and crossed over to the Illinois shore where it was woody and there warn't no houses but an old log hut in a place where the timber was so thick you couldn't find it if you didn't know where it was.

He kept me with him all the time, and I never got a chance to run off. We lived in that old cabin, and he always locked the door and put the key under his head nights. He had a gun which he had stole, I reckon, and we fished and hunted, and that was what we lived on. Every little while he locked me in and went down to the store, three miles, to the ferry, and traded fish and game for whisky, and fetched it home and got drunk and had a good time, and licked me. The widow she found out where I was by and by, and she sent a man over to try to get hold of me; but pap drove him off with the gun, and it warn't long after that till I was used to being where I was, and liked it—all but the cowhide part.

It was kind of lazy and jolly, laying off comfortable all day, smoking and fishing, and no books nor study. Two months or more run along, and my clothes got to be all rags and dirt, and I didn't see how I'd ever got to like it so well at the widow's, where you had to wash, and eat on a plate, and comb up, and go to bed and get up regular, and be forever bothering over a book, and have old Miss Watson peck-

ing at you all the time. I didn't want to go back no more. I had stopped cussing, because the widow didn't like it; but now I took to it again because pap hadn't no objections. It was pretty good times up in the woods there, take it all around.

But by and by pap got too handy with his hiek'ry, and I couldn't stand it. I was all over welts. He got to going away so much, too, and locking me in. Once he locked me in and was gone threc days. It was dreadful lonsome. I judged he had got drowned, and I wasn't ever going to get out any more. I was scared. I made up my mind I would fix up some way to leave there. I had tried to get out of that cabin many a time, but I couldn't find no way. There warn't a window to it big enough for a dog to get through. I couldn't get up the chimbly; it was too narrow. The door was thiek, solid oak slabs. Pap was pretty careful not to leave a knife or anything in the cabin when he was away; I reckon I had hunted the place over as much as a hundred times; well, I was most all the time at it, because it was about the only way to put in the time. But this time I found something at last; I found an old rusty wood-saw without any handle; it was laid in between a rafter and the clapboards of the roof. I greased it up and went to work. There was an old horse-blanket nailed against the logs at the far end of the cabin behind the table, to keep the wind from blowing through the chinks and putting the candle out. I got under the table and raised the blanket, and went to work to saw a section of the big bottom log out—big enough to let me through. Well, it was a good long job, but I was getting toward the end of it when I heard pap's gun in the woods. I got rid of the signs of my work, and dropped the blanket and hid my saw, and pretty soon pap come in.

Pap warn't in a good humor—so he was his natural self. He said he was down-town, and everything was going wrong. His lawyer said he reckoned he would win his lawsuit and get the money if they ever got started on the trial; but then there was ways to put it off a long time, and Judge Thatcher knowed how to do it. And he said people allowed there'd be another trial to get me away from him and give me to the widow for my guardian, and they guessed it would win this time. This shook me up considerable, because I didn't want to go back to the widow's any more and be so cramped up and sivilized, as they called it. Then the old man got to cussing, and cussed everything and everybody he could think of, and then cussed them all over again to make sure he hadn't skipped any, and after that he polished off with a kind of a general cuss all round, including a considerable parcel of people which he didn't know the names of, and so called them what's-his-name when he got to them, and went right along with his cussing.

He said he would like to see the widow get me. He said he would watch out, and if they tried to come any such game on him he knowed of a place six or seven mile off to stow me in, where they might hunt till they dropped and they couldn't find me. That made me pret-

ty uneasy again, but only for a minute; I reckoned I wouldn't stay on hand till he got that chance.

The old man made me go to the skiff and fetch the things he had got. There was a fifty-pound sack of corn meal, and a side of bacon, ammunition, and a four-gallon jug of whisky, and an old book and two newspapers for wadding, besides some tow. I toted up a load, and went back and set down on the bow of the skiff to rest. I thought it all over, and I reckoned I would walk off with the gun and some lines, and take to the woods when I run away. I guessed I wouldn't stay in one place, but just tramp right across the country, mostly night-times, and hunt and fish to keep alive, and so get so far away that the old man nor the widow couldn't ever find me any more. I judged I would saw out and leave that night if pap got drunk enough, and I reckoned he would. I got so full of it I didn't notice how long I was staying till the old man hollered and asked me whether I was asleep or drowned.

I got the things all up to the cabin, and then it was about dark. While I was cooking supper the old man took a swig or two and got sort of warmed up, and went to ripping again. He had been drunk over in town, and laid in the gutter all night, and he was a sight to look at. A body would 'a' thought he was Adam—he was just all mud. Whenever his liquor begun to work he most always went for the govment. This time he says:

"Call this a govment! why, just look at it and see what it's like. Here's the law a-standing ready to take a man's son away from him—a man's own son, which he has had all the trouble and all the anxiety and all the expense of raising. Yes, just as that man has got that son raised at last, and ready to go to work and begin to do suthin' for *him* and give him a rest, the law up and goes for him. And they call *that* govment! That ain't all, nuther. The law backs that old Judge Thatcher up and helps him to keep me out o' my property. Here's what the law does: The law takes a man worth six thousand dollars and up'ards, and jams him into an old trap of a cabin like this, and lets him go round in clothes that ain't fitten for a hog. They call that govment! A man can't get his rights in a govment like this. Sometimes I've a mighty notion to just leave the country for good and all. Yes, and I *told* 'em so; I told old Thatcher so to his face. Lots of 'em heard me, and can tell what I said. Says I, for two cents I'd leave the blamed country and never come a-near it ag'in. Them's the very words I says, look at my hat—if you call it a hat—but the lid raises up and the rest of it goes down till it's below my chin, and then it ain't rightly a hat at all, but more like my head was shoved up through a jint o' stove-pipe. Look at it, says I—such a hat for me to wear—one of the wealthiest men in this town if I could git my rights.

"Oh, yes, this is a wonderful govment, wonderful. Why, looky here. There was a free nigger there from Ohio—a mulatter, most as white as a white man. He had the whitest shirt on you ever see, too,

and the shiniest hat; and there ain't a man in that town that's got as fine clothes as what he had; and he had a gold watch and chain, and a silver-headed cane—the awfulest old gray-headed nabob in the state. And what do you think? They said he was a p'fessor in a college, and could talk all kinds of languages, and knowed everything. And that ain't the wust. They said he could *vote* when he was at home. Well, that let me out. Thinks I, what is the country a-coming to? It was 'lection day, and I was just about to go and vote myself if I warn't too drunk to get there; but when they told me there was a state in this country where they'd let that nigger vote, I drawed out. I says I'll never vote ag'in. Them's the very words I said; they all heard me; and the country may rot for all me—I'll never vote ag'in as long as I live. And to see the cool way of that nigger—why, he wouldn't 'a' give me the road if I hadn't shoved him out o' the way. I says to the people, why ain't this nigger put up at auction and sold?—that's what I want to know. And what do you reckon they said? Why, they said he couldn't be sold till he'd been in the state six months, and he hadn't been there that long yet. There, now—that's a specimen. They call that a govm't that can't sell a free nigger till he's been in the state six months. Here's a govm't that calls itself a govm't, and lets on to be a govm't, and thinks it is a govm't, and yet's got to set stock-still for six whole months before it can take a-hold of a prowling, thieving, infernal, white-shirted free nigger, and —"

Pap was a-going on so he never noticed where his old limber legs was taking him to, so he went head over heels over the tub of salt pork and barked both shins, and the rest of his speech was all the hottest kind of language—mostly hove at the nigger and the govm't, though he give the tub some, too, all along, here and there. He hopped around the cabin considerable, first on one leg and then on the other, holding first one shin and then the other one, and at last he let out with his left foot all of a sudden and fetched the tub a rattling kick. But it warn't good judgment, because that was the boot that had a couple of his toes leaking out of the front end of it; so now he raised a howl that fairly made a body's hair raise, and down he went in the dirt, and rolled there, and held his toes; and the cussing he done then laid over anything he had ever done previous. He said so his own self afterwards. He had heard old Sowberry Hagan in his best days, and he said it laid over him, too; but I reckon that was sort of piling it on, maybe.

After supper pap took the jug, and said he had enough whisky there for two drunks and one delirium tremens. That was always his word. I judged he would be blind drunk in about an hour, and then I would steal the key, or saw myself out, one or t'other. He drank and drank, and tumbled down on his blankets by and by; but luck didn't run my way. He didn't go sound asleep, but was uneasy. He groaned and moaned and thrashed around this way and that for a long time. At last I got so sleepy I couldn't keep my eyes open all I could do,

and so before I knowed what I was about, I was sound asleep, and the candle burning.

I don't know how long I was asleep, but all of a sudden there was an awful scream and I was up. There was pap looking wild, and skipping around évery which way and yelling about snakes. He said they was crawling up his legs; and then he would give a jump and scream, and say one had bit him on the cheek—but I couldn't see no snakes. He started and run round and round the cabin, hollering "Take him off! take him off! he's biting me on the neck!" I never see a man look so wild in the eyes. Pretty soon he was all fagged out, and fell down panting; then he rolled over and over wonderful fast, kicking things évery which way, and striking and grabbing at the air with his hands, and screaming and saying there was devils a-hold of him. He wore out by and by, and laid still awhile, moaning. Then he laid stiller, and didn't make a sound. I could hear the owls and the wolves away off in the woods, and it seemed terrible still. He was laying over by the corner. By and by he raised up part way and listened, with his head to one side. He says, very low:

"Tramp—tramp—tramp; that's the dead; tramp—tramp—tramp; they're coming after me; but I won't go. Oh, they're here! don't touch me—don't! hands off—they're cold; let go. Oh, let a poor devil alone! "

Then he went down on all fours and crawled off, begging them to let him alone, and he rolled himself up in his blanket and wallowed in under the old pine table, still a-begging, and then he went to crying. I could hear him through the blanket.

By and by he rolled out and jumped up on his feet looking wild, and he see me and went for me. He chased me round and round the place with a clasp-knife, calling me the Angel of Death, and saying he would kill me, and then I couldn't come for him no more. I begged, and told him I was only Huck, but he laughed *such* a screechy laugh, and roared and cussed, and kept on chasing me up. Once when I turned short and dodged under his arm he made a grab and got me by the jacket between my shoulders, and I thought I was gone; but I slid out of the jacket quick as lightning, and saved myself. Pretty soon he was all tired out, and dropped down with his back against the door, and said he would rest a minute and then kill me. He put his knife under him, and said he would sleep and get strong, and then he would see who was who.

So he dozed off pretty soon. By and by I got the old split-bottom chair and clumb up as easy as I could, not to make any noise, and got down the gun. I slipped the ramrod down it to make sure it was loaded, and then I laid it across the turnip-barrel, pointing towards pap, and set down behind it to wait for him to stir. And how slow and still the time did drag along.

CHAPTER VII

"Git up! What you 'bout?"

I opened my eyes and looked around, trying to make out where I was. It was after sun-up, and I had been sound asleep. Pap was standing over me looking sour—and sick, too. He says:

"What you doin' with this gun?"

I judged he didn't know nothing about what he had been doing, so I says:

"Somebody tried to get in, so I was laying for him."

"Why didn't you roust me out?"

"Well, I tried to, but I couldn't; I couldn't budge you."

"Well, all right. Don't stand there palavering all day, but out with you and see if there's a fish on the lines for breakfast. I'll be along in a minute."

He unlocked the door, and I cleared out up the river-bank. I noticed some pieces of limbs and such things floating down, and a sprinkling of bark; so I knowed the river had begun to rise. I reckoned I would have great times now if I was over at the town. The June rise used to be always luck for me; because as soon as that rise begins here comes cordwood floating down, and pieces of log rafts—sometimes a dozen logs together; so all you have to do is to catch them and sell them to the woodyards and the sawmill.

I went along up the bank with one eye out for pap and t'other one out for what the rise might fetch along. Well, all at once here comes a canoe; just a beauty, too, about thirteen or fourteen foot long, riding high like a duck. I shot head-first off of the bank like a frog, clothes and all on, and struck out for the canoe. I just expected there'd be somebody laying down in it, because people often done that to fool folks, and when a chap had pulled a skiff out most to it they'd raise up and laugh at him. But it warn't so this time. It was a drift-canoe sure enough, and I clumb in and paddled her ashore. Thinks I, the old man will be glad when he sees this—she's worth ten dollars. But when I got to shore pap wasn't in sight yet, and as I was running her into a little creek like a gully, all hung over with vines and willows, I struck another idea: I judged I'd hide her good, and then, 'stead of taking to the woods when I run off, I'd go down the river about fifty mile and camp in one place for good, and not have such a rough time tramping on foot.

It was pretty close to the shanty, and I thought I heard the old man coming all the time; but I got her hid; and then I out and looked around a bunch of willows, and there was the old man down the path a piece just drawing a bead on a bird with his gun. So he hadn't seen anything.

When he got along I was hard at it taking up a "trot" line. He abused me a little for being so slow; but I told him I fell in the river, and that was what made me so long. I knowed he would see I was wet, and

then he would be asking questions. We got five catfish off the lines and went home.

While we laid off after breakfast to sleep up, both of us being about wore out, I got to thinking that if I could fix up some way to keep pap and the widow from trying to follow me, it would be a certainer thing than trusting to luck to get far enough off before they missed me; you see, all kinds of things might happen. Well, I didn't see no way for a while, but by and by pap raised up a minute to drink another barrel of water, and he says:

"Another time a man comes a-prowling round here you roust me out, you hear? That man warn't here for no good. I'd a shot him. Next time you roust me out, you hear?"

Then he dropped down and went to sleep again; what he had been saying give me the very idea I wanted. I says to myself, I can fix it now so nobody won't think of following me.

About twelve o'clock we turned out and went along up the bank. The river was coming up pretty fast, and lots of driftwood going by on the rise. By and by along comes part of a log raft—nine logs fast together. We went out with the skiff and towed it ashore. Then we had dinner. Anybody but pap would 'a' waited and seen the day through, so as to catch more stuff; but that warn't pap's style. Nine logs was enough for one time; he must shove right over to town and sell. So he locked me in and took the skiff, and started off towing the raft about half past three. I judged he wouldn't come back that night. I waited till I reckoned he had got a good start; then I out with my saw, and went to work on that log again. Before he was t'other side of the river I was out of the hole; him and his raft was just a speck on the water away off yonder.

I took the sack of corn meal and took it to where the canoe was hid, and shoved the vines and branches apart and put it in; then I done the same with the side of bacon; then the whisky-jug. I took all the coffee and sugar there was, and all the ammunition; I took the wadding; I took the bucket and gourd; took a dipper and a tin cup, and my old saw and two blankets, and the skillet and the coffee-pot. I took fish-lines and matches and other things—everything that was worth a cent. I cleaned out the place. I wanted an ax, but there wasn't any, only the one out at the woodpile, and I knowed why I was going to leave that. I fetched out the gun, and now I was done.

I had wore the ground a good deal crawling out of the hole and dragging out so many things. So I fixed that as good as I could from the outside by scattering dust on the place, which covered up the smoothness and the sawdust. Then I fixed the piece of log back into its place, and put two rocks under it and one against it to hold it there, for it was bent up at that place and didn't quite touch ground. If you stood four or five foot away and didn't know it was sawed, you wouldn't never notice it; and besides, this was the back of the cabin, and it warn't likely anybody would go fooling around there.

It was all grass clear to the canoe, so I hadn't left a track. I followed around to see. I stood on the bank and looked out over the river. All safe. So I took the gun and went up a piece into the woods, and was hunting around for some birds when I see a wild pig; hogs soon went wild in them bottoms after they had got away from the prairie-farms. I shot this fellow and took him into camp.

I took the ax and smashed in the door. I beat it and hacked it considerable a-doing it. I fetched the pig in, and took him back nearly to the table and hacked into his throat with the ax, and laid him down on the ground to bleed; I say ground because it was ground—hard packed, and no boards. Well, next I took an old sack and put a lot of big rocks in it—all I could drag—and I started it from the pig, and dragged it to the door and through the woods down to the river and dumped it in, and down it sunk, out of sight. You could easy see that something had been dragged over the ground. I did wish Tom Sawyer was there; I knowed he would take an interest in this kind of business, and throw in the fancy touches. Nobody could spread himself like Tom Sawyer in such a thing as that.

Well, last I pulled out some of my hair, and blooded the ax good, and stuck it on the back side, and slung the ax in the corner. Then I took up the pig and held him to my breast with my jacket (so he couldn't drip) till I got a good piece below the house and then dumped him into the river. Now I thought of something else. So I went and got the bag of meal and my old saw out of the canoe, and fetched them to the house. I took the bag to where it used to stand, and ripped a hole in the bottom of it with the saw, for there warn't no knives and forks on the place—pap done everything with his clasp-knife about the cooking. Then I carried the sack about a hundred yards across the grass and through the willows east of the house, to a shallow lake that was five mile wide and full of rushes—and ducks too, you might say, in the season. There was a slough or a creek leading out of it on the other side that went miles away, I don't know where, but it didn't go to the river. The meal sifted out and made a little track all the way to the lake. I dropped pap's whetstone there too, so as to look like it had been done by accident. Then I tied up the rip in the meal-sack with a string, so it wouldn't leak no more, and took it and my saw to the canoe again.

It was about dark now; so I dropped the canoe down the river under some willows that hung over the bank, and waited for the moon to rise. I made fast to a willow; then I took a bite to eat, and by and by laid down in the canoe to smoke a pipe and lay out a plan. I says to myself, they'll follow the track of that sackful of rocks to the shore and then drag the river for me. And they'll follow that meal track to the lake and go browsing down the creek that leads out of it to find the robbers that killed me and took the things. They won't ever hunt the river for anything but my dead carcass. They'll soon get tired of that, and won't bother no more about me. All right; I can stop any-

where I want to. Jackson's Island is good enough for me; I know that island pretty well, and nobody ever comes there. And then I can paddle over to town nights, and slink around and pick up things I want. Jackson's Island's the place.

I was pretty tired, and the first thing I knowed I was asleep. When I woke up I didn't know where I was for a minite. I set up and looked around, a little scared. Then I remembered. The river looked miles and miles across. The moon was so bright I could 'a' counted the drift-logs that went a slipping along, black and still, hundreds of yards out from shore. Everything was dead quiet, and it looked late, and *smelt* late. You know what I mean—I don't know the words to put it in.

I took a good gap and a stretch, and was just going to unhitch and start when I heard a sound away over the water. I listened. Pretty soon I made it out. It was that dull kind of a regular sound that comes from oars working in rowlocks when it's a still night. I peeped out through the willow branches, and there it was a skiff, away across the water. I couldn't tell how many was in it. It kept a-coming, and when it was abreast of me I see there warn't but one man in it. Thinks I, maybe it's pap, though I warn't expecting him. He dropped below me with the current, and by and by he came a-swinging up shore in the easy water, and he went by so close I could 'a' reached out the gun and touched him. Well, it *was* pap, sure enough—and sober, too, by the way he laid his oars.

I didn't lose no time. The next minute I was a-spinning downstream soft, but quick, in the shade of the bank. I made two mile and a half, and then struck out a quarter of a mile or more toward the middle of the river, because pretty soon I would be passing the ferry-landing, and people might see me and hail me. I got out amongst the driftwood, and then laid down in the bottom of the canoe and let her float. I laid there, and had a good rest and a smoke out of my pipe, looking away into the sky; not a cloud in it. The sky looks ever so deep when you lay down on your back in the moonshine; I never knowed it before. And how far a body can hear on the water such nights! I heard people talking at the ferry-landing. I heard what they said, too—every word of it. One man said it was getting towards the long days and the short nights now. T'other one said *this* warn't one of the short ones, he reckoned—and then they laughed, and he said it over again, and they laughed again; then they waked up another fellow and told him, and laughed, but he didn't laugh; he ripped out something brisk, and said let him alone. The first fellow said he 'lowed to tell it to his old woman—she would think it was pretty good; but he said that warn't nothing to some things he had said in his time. I heard one man say it was nearly three o'clock, and he hoped daylight wouldn't wait more than about a week longer. After that the talk got further and further away, and I couldn't make out the words any more; but I could hear the mumble, and now and then a laugh, too, but it seemed a long ways off.

I was away below the ferry now. I rose up, and there was Jackson's Island, about two mile and a half down-stream, heavy-timbered and standing up out of the middle of the river, big and dark and solid, like a steamboat without any lights. There warn't any signs of the bar at the head—it was all under water now.

It didn't take me long to get there. I shot past the head at a ripping rate, the current was so swift, and then I got into the dead water and landed on the side towards the Illinois shore. I run the canoe into a deep dent in the bank that I knowed about; I had to part the willow branches to get in; and when I made fast nobody could 'a' seen the canoe from the outside.

I went up and set down on a log at the head of the island, and looked out on the big river and the black driftwood and away over to the town, three mile away, where there was three or four lights twinkling. A monstrous big lumber-raft was about a mile up-stream, coming along down, with a lantern in the middle of it. I watched it come creeping down, and when it was most abreast of where I stood I heard a man say, "Stern oars, there! heave her head to stabboard!" I heard that just as plain as if the man was by my side.

There was a little gray in the sky now; so I stepped into the woods, and laid down for a nap before breakfast.

CHAPTER VIII

The sun was up so high when I waked that I judged it was after eight o'clock. I laid there in the grass and the cool shade thinking about things, and feeling rested and ruther comfortable and satisfied. I could see the sun out at one or two holes, but mostly it was big trees all about, and gloomy in there amongst them. There was freckled places on the ground where the light sifted down through the leaves, and the freckled places swapped about a little, showing there was a little breeze up there. A couple of squirrels set on a limb and jabbered at me very friendly.

I was powerful lazy and comfortable—didn't want to get up and cook breakfast. Well, I was dozing off again when I thinks I hears a deep sound of "boom!" away up the river. I rouses up, and rests on my elbow and listens; pretty soon I hears it again. I hopped up, and went and looked out at a hole in the leaves, and I see a bunch of smoke laying on the water a long ways up—about abreast the ferry. And there was the ferryboat full of people floating along down. I knowed what was the matter now. "Boom!" I see the white smoke squirt out of the ferryboat's side. You see, they was firing cannon over the water, trying to make my carcass come to the top.

I was pretty hungry, but it warn't going to do for me to start a fire, because they might see the smoke. So I set there and watched the cannon-smoke and listened to the boom. The river was a mile wide

there, and it always looks pretty on a summer morning—so I was having a good enough time seeing them hunt for my remainders if I only had a bite to eat. Well, then I happened to think how they always put quicksilver in loaves of bread and float them off, because they always go right to the drowned carcass and stop there. So, says I, I'll keep a lookout, and if any of them's floating around after me I'll give them a show. I changed to the Illinois edge of the island to see what luck I could have and I warn't disappointed. A big double loaf come along, and I most got it with a long stick, but my foot slipped and she floated out further. Of course I was where the current set in the closest to the shore—I knowed enough for that. But by and by along comes another one, and this time I won. I took out the plug and shook out the little dab of quicksilver, and set my teeth in. It was "baker's bread"—what the quality eat; none of your low-down corn-pone.

I got a good place amongst the leaves, and set there on a log, munching the bread and watching the ferryboat, and very well satisfied. And then something struck me. I says, now I reckon the widow or the parson or somebody prayed that this bread would find me, and here it has gone and done it. So there ain't no doubt but there is something in that thing—that is, there's something in it when a body like the widow or the parson prays, but it don't work for me, and I reckon it don't work for only just the right kind.

I lit a pipe and had a good long smoke, and went on watching. The ferryboat was floating with the current, and I allowed I'd have a chance to see who was aboard when she come along, because she would come in close, where the bread did. When she'd got pretty well along down towards me, I put out my pipe and went to where I fished out the bread, and laid down behind a log on the bank in a little open place. Where the log forked I could peep through.

By and by she come along, and she drifted in so close that they could 'a' run out a plank and walked ashore. Most everybody was on the boat. Pap, and Judge Thatcher, and Bessie Thatcher, and Joe Harper, and Tom Sawyer, and his old Aunt Polly, and Sid and Mary, and plenty more. Everybody was talking about the murder, but the captain broke in and says:

"Look sharp, now; the current sets in the closest here, and maybe he's washed ashore and got tangled amongst the brush at the water's edge. I hope so, anyway."

I didn't hope so. They all crowded up and leaned over the rails, nearly in my face, and kept still, watching with all their might. I could see them first-rate, but they couldn't see me. Then the captain sung out: "Stand away!" and the cannon let off such a blast right before me that it made me deaf with the noise and pretty near blind with the smoke, and I judged I was gone. If they'd 'a' had some bullets in, I reckon they'd 'a' got the corpse they was after. Well, I see I warn't hurt, thanks to goodness. The boat floated on and went out of sight around the shoulder of the island. I could hear the booming now and

then, further and further off, and by and by, after an hour, I didn't hear it no more. The island was three mile long. I judged they had got to the foot, and was giving it up. But they didn't yet awhile. They turned around the foot of the island and started up the channel on the Missouri side, under steam, and booming once in a while as they went. I crossed over to that side and watched them. When they got abreast the head of the island they quit shooting and dropped over to the Missouri shore and went home to the town.

I knowed I was all right now. Nobody else would come a-hunting after me. I got my traps out of the canoe and made me a nice camp in the thick woods. I made a kind of a tent out of my blankets to put my things under so the rain couldn't get at them. I caught a catfish and haggled him open with my saw, and towards sundown I started my camp-fire and had supper. Then I set out a line to catch some fish for breakfast.

When it was dark I set by my camp-fire smoking, and feeling pretty well satisfied; but by and by it got sort of lonesome, and so I went and set on the bank and listened to the currents washing along, and counted the stars and drift-logs and rafts that come down, and then went to bed; there ain't no better way to put in time when you are lonesome; you can't stay so, you soon get over it.

And so for three days and nights. No difference—just the same thing. But the next day I went exploring around down through the island. I was boss of it; it all belonged to me, so to say, and I wanted to know all about it; but mainly I wanted to put in the time. I found plenty strawberries, ripe and prime; and green summer grapes, and green razberries; and the green blackberries was just beginning to show. They would all come handy by and by, I judged.

Well, I went fooling along in the deep woods till I judged I warn't far from the foot of the island. I had my gun along, but I hadn't shot nothing; it was for protection; thought I would kill some game nigh home. About this time I mighty near stepped on a good-sized snake, and it went sliding off through the grass and flowers, and I after it, trying to get a shot at it. I clipped along, and all of a sudden I bounded right on to the ashes of a camp-fire that was still smoking.

My heart jumped up amongst my lungs. I never waited for to look further, but uncocked my gun and went sneaking back on my tiptoes as fast as ever I could. Every now and then I stopped a second amongst the thick leaves and listened, but my breath come so hard I couldn't hear nothing else. I slunk along another piece further, then listened again; and so on, and so on. If I see a stump, I took it for a man; if I trod on a stick and broke it, it made me feel like a person had cut one of my breaths in two and I only got half, and the short half, too.

When I got to camp I warn't feeling very brash, there warn't much sand in my craw; but I says, this ain't no time to be fooling around. So I got all my traps into my canoe again so as to have them out of

sight, and I put out the fire and scattered the ashes around to look like an old last-year's camp, and then clumb a tree.

I reckon I was up in the tree two hours; but I didn't see nothing, I didn't hear nothing—I only *thought* I heard and seen as much as a thousand things. Well, I couldn't stay up there forever; so at last I got down, but I kept in the thick woods and on the lookout all the time. All I could get to eat was berries and what was left over from breakfast.

By the time it was night I was pretty hungry. So when it was good and dark I slid out from shore before moonrise and paddled over to the Illinois bank—about a quarter of a mile. I went out in the woods and cooked a supper, and I had about made up my mind I would stay there all night when I hear a *plunkety-plunk, plunkety-plunk*, and says to myself, horses coming; and next I hear people's voices. I got everything into the canoe as quick as I could, and then went creeping through the woods to see what I could find out. I hadn't got far when I hear a man say:

"We better camp here if we can find a good place; the horses is about beat out. Let's look around."

I didn't wait, but shoved out and paddled away easy. I tied up in the old place, and reckoned I would sleep in the canoe.

I didn't sleep much. I couldn't, somehow, for thinking. And every time I waked up I thought somebody had me by the neck. So the sleep didn't do me no good. By and by I says to myself, I can't live this way; I'm a-going to find out who it is that's here on the island with me; I'll find it out or bust. Well, I felt better, right off.

So I took my paddle and slid out from shore just a step or two, and then let the canoe drop along down amongst the shadows. The moon was shining, and outside of the shadows it made it most as light as day. I poked along well on to an hour, everything still as rocks and sound asleep. Well, by this time I was most down to the foot of the island. A little ripply, cool breeze begun to blow, and that was as good as saying the night was about done. I give her a turn with the paddle and brung her nose to shore; then I got my gun and slipped out and into the edge of the woods. I sat down there on a log, and looked out through the leaves. I see the moon go off watch, and the darkness begin to blanket the river. But in a little while I see a pale streak over the treetops, and knowed the day was coming. So I took my gun and slipped off towards where I had run across that camp-fire, stopping every minute or two to listen. But I hadn't no luck somehow; I couldn't seem to find the place. But by and by, sure enough, I caught a glimpse of fire away through the trees. I went for it, cautious and slow: By and by I was close enough to have a look, and there laid a man on the ground. It most give me the fantods. He had a blanket around his head, and his head was nearly in the fire. I set there behind a clump of bushes in about six foot of him, and kept my eyes on him steady. It was getting gray daylight now. Pretty soon he gapped and

stretched himself and hove off the blanket, and it was Miss Watson's Jim! I bet I was glad to see him. I says:

"Hello, Jim!" and skipped out.

He bounced up and stared at me wild. Then he drops down on his knees, and puts his hands together and says:

"Doan' hurt me—don't! I hain't ever done no harm to a ghos'. I alwuz liked dead people, en done all I could for 'em. You go en git in de river ag'in, and whah you b'longs, en doan' do nuffn to Ole Jim, 'at 'uz alwuz yo' fren'."

Well, I warn't long making him understand I warn't dead. I was ever so glad to see Jim. I warn't lonesome now. I told him I warn't afraid of *him* telling the people where I was. I talked along, but he only set there and looked at me; never said nothing. Then I says:

"It's good daylight. Le's get breakfast. Make up your camp-fire good."

"What's de use er makin' up de camp-fire to cook strawbries en sich truck? But you got a gun, hain't you? Den we kin git sumfn better den strawbries."

"Strawberries and such truck," I says. "Is that what you live on?"

"I couldn't git nuffin else," he says.

"Why, how long you been on the island, Jim?"

"I come heah de night arter you's killed."

"What, all that time?"

"Yes-indeedy."

"And ain't you had nothing but that kind of rubbage to eat?"

"No, sah—nuffn else."

"Well, you must be most starved, ain't you?"

"I reck'n I could eat a hoss. I think I could. How long you ben on de islan'?"

"Since the night I got killed."

"No! W'y, what has you lived on? But you got a gun. Oh, yes, you got a gun. Dat's good. Now you kill sumfn en I'll make up de fire."

So we went over to where the canoe was, and while he built a fire in a grassy open place amongst the trees, I fetched meal and bacon and coffee, and coffee-pot and frying-pan, and sugar and tin cups, and the nigger was set back considerable, because he reckoned it was all done with witchcraft. I caught a good big catfish, too, and Jim cleaned him with his knife, and fried him.

When breakfast was ready we lolled on the grass and eat it smoking hot. Jim laid it in with all his might, for he was most about starved. Then when we had got pretty well stuffed, we laid off and lazied.

By and by Jim says:

"But looky here, Huck, who wuz it dat 'uz killed in dat shanty ef it warn't you?"

Then I told him the whole thing, and he said it was smart. He said Tom Sawyer couldn't get up no better plan than what I had. Then I says:

"How do you come to be here, Jim, and how'd you get here?"

He looked pretty uneasy, and didn't say nothing for a minute. Then he says:

"Maybe I better not tell."

"Why, Jim?"

"Well, dey's reasons. But you wouldn't tell on me ef I 'uz to tell you, would you, Huck?"

"Blamed if I would, Jim."

"Well, I b'lieve you, Huck. I—I *run off*."

"Jim!"

"But mind, you said you wouldn't tell—you know you said you wouldn't tell, Huck."

"Well, I did. I said I wouldn't, and I'll stick to it. Honest *injun*, I will. People would call me a low-down Abolitionist and despise me for keeping mum—but that don't make no difference. I ain't a-going to tell, and I ain't a-going back there, anyways. So now, le's know all about it."

"Well, you see, it 'uz dis way. Ole missus—dat's Miss Watson—she pecks on me all de time, en treats me pooty rough, but she alwuz said she wouldn't sell me down to Orleans. But I noticed dey wuz a nigger trader roun' de place considerable lately, en I begin to git on-easy. Well, one night I creeps to de do' pooty late, en de do' warn't quite shet, 'en I hear old missus tell de widder she gwyne to sell me down to Orleans, but she didn't want to, but she could git eight hund'd dollars for me, en it 'uz sich a big stack o' money she couldn't resis'. De widder she try to git her to say she wouldn't do it, but I never waited to hear de res'. I lit out mighty quick, I tell you."

"I tuck out en shin down de hill, en 'spec to steal a skift 'long de sho' som'ers 'bove de town, but dey wuz people a-stirring yit, so I hid in de ole tumbledown cooper shop on de bank to wait for everybody to go 'way. Well, I wuz dah all night. Dey wuz somebody roun' all de time. 'Long 'bout six in de mawnin' skifts begin to go by, en 'bout eight er nine every skift dat went 'long wuz talkin' 'bout how yo' pap come over to de town en say you's killed. Dese las' skifts wuz full o' ladies en genlmen a-goin' over for to see de place. Sometimes dey'd pull up at de sho' en take a res' b'fo' dey started acrost, so by de talk I got to know all 'bout de killin'. I 'uz powerful sorry you's killed, Huck, but I ain't no mo' now."

"I laid dah under de shavin's all day. I 'uz hungry, but I warn't afeard; becase I knowed ole missus en de widder wuz goin' to start to de camp-meet'n right arter breakfas' en be gone all day, en dey knows I goes off wid de cattle 'bout daylight, so dey wouldn't 'spec to see me roun' de place, en so dey wouldn't miss me tell arter dark in de evenin'. De yuther servants wouldn't miss me, kase dey'd shin out en take holiday soon as de ole folks 'uz out'n de way."

"Well, when it come dark I tuck out up de river road, en went 'bout two mile er more to whah dey warn't no houses. I'd made up

my mine 'bout what I's a-gwyne to do. You see, ef I kep' on tryin' to git away afoot, de dogs 'ud track me; ef I stole a skift to cross over, dey'd miss dat skift, you see, en dey'd know 'bout whah I'd lan' on de yuther side, en whah to pick up my track. So I says, a raff is what I's arter; it doan' *make* no track.

"I see a light a-comin' roun' de p'int bymeby, so I wade' in en shove' a log ahead o' me en swum more'n half-way acrost de river, en got in 'mongst de drift-wood, en kep' my head down low, en kinder swum agin de current tell de raff come along. Den I swum to de stern uv it en tuck a-holt. It clouded up en 'uz pooty dark for a little while. So I clumb up en laid down on de planks. De men 'uz all 'way yonder in de middle, whah de lantern wuz. De river wuz a-risin', en dey wuz a good current; so I reck'n'd 'at by fo' in de mawnin' I'd be twenty-five mile down de river, en den I'd slip in jis b'fo' daylight en swim asho', en take to de woods on de Illinoi side.

"But I didn' have no luck. When we 'uz mos' down to de head er de islan' a man begin to come aft wid de lantern. I see it warn't no use fer to wait, so I slid' overboard en struck out fer de islan'. Well, I had a notion I could lan' mos' anywhers, but I couldn't—bank too bluff. I 'uz mos' to de foot er de islan' b'fo' I foun' a good place. I went into de woods en jedged I wouldn' fool wid raffs no mo', long as dey move de lantern roun' so. I had my pipe en a plug er dog-leg en some matches in my cap, en dey warn't wet, so I 'uz all right."

"And so you ain't had no meat nor bread to eat all this time? Why didn't you get mud-turkles?"

"How you gwyne to git 'm? You can't slip up on um en grab um; en how's a body gwyne to hit um wid a rock? How could a body do it in de night? En I warn't gwyne to show myself on de bank in de daytime."

"Well, that's 'o. You've had to keep in the woods all the time, of course. Did you hear 'em shooting the cannon?"

"Oh, yes. I knowed dey was arter you. I see um go by heah—watched um thoo de bushes."

Some young birds come along, flying a yard or two at a time and lighting. Jim said it was a sign it was going to rain. He said it was a sign when young chickens flew that way, and so he reckoned it was the same way when young birds done it. I was going to catch some of them, but Jim wouldn't let me. He said it was death. He said his father laid mighty sick once, and some of them caught a bird, and his old granny said his father would die, and he did.

And Jim said you mustn't count the things you are going to cook for dinner, because that would bring bad luck. The same if you shook the table-cloth after sundown. And he said if a man owned a beehive and that man died, the bees must be told about it before sun-up next morning, or else the bees would all weaken down and quit work and die. Jim said bees wouldn't sting idiots; but I didn't believe that, because I had tried them lots of times myself, and they wouldn't sting me.

I had heard about some of these things before, but not all of them. Jim knowed all kinds of signs. He said he knowed most everything. I said it looked to me like all the signs was about bad luck, and so I asked him if there warn't any good-luck signs. He says:

"Mighty few—an' dey ain't no use to a body. What you want to know when good-luck's a-comin' for? Want to keep it off?" And he said: "Ef you's got hairy arms en a hairy breas', it's a sign dat you's a-gwyne to be rich. Well, dey's some use in a sign like dat, 'kase it's so fur ahead. You see, maybe you's got to be po' a long time fust, en so you might git discourage' en kill yo'sef 'f you didn't know by de sign dat you gwyne to be rich bymeby."

"Have you got hairy arms and a hairy breast, Jim?"

"What's de use to ax dat question? Don't you see I has?"

"Well, are you rich?"

"No, but I ben rich wunst, and gwyne to be rich ag'in. Wunst I had foteen dollars, but I tuck to specalat'n', en got busted out."

"What did you speculate in, Jim?"

"Well, fust I tackled stock."

"What kind of stock?"

"Why, live stock—cattle, you know. I put ten dollars in a cow. But I ain't gwyne to resk no mo' money in stock. De cow up 'n' died on my han's."

"So you lost the ten dollars."

"No, I didn't lose it all. I on'y los' 'bout nine of it. I sole de hide en taller for a dollar en ten cents."

"You had five dollars and ten cents left. Did you speculate any more?"

"Yes. You know that one-laigged nigger dat b'longs to old Misto Bradish? Well, he sot up a bank, en say anybody dat put in a dollar would git fo' dollars mo' at de en' er de year. Well, all de niggers went in, but dey didn't have much. I wuz de on'y one dat had much. So I stuck out for mo' dan fo' dollars, en I said 'f I didn' git it I'd start a bank mysef. Well, o' course dat nigger want' to keep me out er de business, bekase he says dey warn't business 'nough for two banks, so he say I could put in my five dollars en he pay me thirty-five at de en' er de year."

"So I done it. Den I reck'n'd I'd inves' de thirty-five dollars right off en keep things a-movin'. Dey wuz a nigger name' Bob, dat had ketched a wood-flat, en his marster didn't know it; en I bought it off'n him en told him to take de thirty-five dollars when de en' er de year come; but somebody stole de wood-flat dat night, en nex' day de one-laigged nigger say de bank's busted. So dey didn' none uv us git no money."

"What did you do with the ten cents, Jim?"

"Well, I 'uz gwyne to spen' it, but I had a dream, en de dream tole me to give it to a nigger name' Balum—Balum's Ass dey call him for short; he's one er dem chuckleheads, you know. But he's lucky, dey

say, en I see I warn't lucky. De dream say let Balum inves' de ten cents en he'd make a raise for me. Well, Balum he tuck de money, en when he wuz in church he hear de preacher say dat whoever give to de po' len' to de Lord, en boun' to git his money back a hund'd times. So Balum he tuck en give de ten cents to de po', en laid low to see what wuz gwyne to come of it."

"Well, what did come of it, Jim?"

"Nuffn never come of it. I couldn' manage to k'leck dat money no way; en Balum he couldn'. I ain' gwyne to len' no mo' money 'dout I see de security. Boun' to git yo' money back a hund'd times, de preacher says! Ef I could git de ten *cents* back, I'd call it squah, en be glad er de chanst."

"Well, it's all right anyway, Jim, long as you're going to be rich again some time or other."

"Yes; en I's rich now, come to look at it. I owns mysef, en I's wuth eight hund'd dollars. I wisht I had de money, I wouldn' want no mo'."

CHAPTER IX

I wanted to go and look at a place right about the middle of the island that I'd found when I was exploring; so we started and soon got to it, because the island was only three miles long and a quarter of a mile wide.

This place was a tolerable long, steep hill or ridge about forty for high. We had a rough time getting to the top, the sides was so steep and the bushes so thick. We tramped and clumb around all over it, and by and by found a good big cavern in the rock, most up to the top on the side towards Illinois. The cavern was as big as two or three rooms bunched together, and Jim could stand up straight in it. It was cool in there. Jim was for putting our traps in there right away, but I said we didn't want to be climbing up and down there all the time.

Jim said if we had the canoe hid in a good place, and had all the traps in the cavern, we could rush there if anybody was to come to the island, and they would never find us without dogs. And, besides, he said them little birds had said it was going to rain, and did I want the things to get wet?

So we went back and got the canoe, and paddled up abreast the cavern, and lugged all the traps up there. Then we hunted up a place close by to hide the canoe in, amongst the thick willows. We took some fish off of the lines and set them again, and begun to get ready for dinner.

The door of the cavern was big enough to roll a hog'shead in, and on one side of the door the floor stuck out a little bit, and was flat and a good place to build a fire on. So we built it there and cooked dinner.

We spread the blankets inside for a carpet, and eat our dinner in there. We put all the other things handy at the back of the cavern. Pretty soon it darkened up, and begun to thunder and lighten; so the birds was right about it. Directly it begun to rain, and it rained like all fury, too, and I never see the wind blow so. It was one of these regular summer storms. It would get so dark that it looked all blue-black outside, and lovely; and the rain would thrash along by so thick that the trees off a little ways looked dim and spider-webby; and here would come a blast of wind that would bend the trees down and turn up the pale underside of the leaves; and then a perfect ripper of a gust would follow along and set the branches to tossing their arms as if they was just wild; and next, when it was just about the bluest and blackest—*fst!* it was as bright as glory, and you'd have a little glimpse of tree-tops a-plunging about away off yonder in the storm, hundreds of yards further than you could see before; dark as sin again in a second, and now you'd hear the thunder let go with an awful crash, and then go rumbling, grumbling, tumbling, down the sky towards the under side of the world, like rolling empty barrels down-stairs—where it's long stairs and they bounce a good deal, you know.

"Jim, this is nice," I says. "I wouldn't want to be nowhere else but here. Pass me along another hunk of fish and some hot corn-bread."

"Well, you wouldn't 'a' ben here 'f it hadn't 'a' ben for Jim. You'd 'a' ben down dah in de woods widout any dinner, en gittin' mos' drowned, too; dat you would, honey. Chickens knows when it's gwyne to rain, en so do de birds, chile."

The river went on raising and raising for ten or twelve days, till at last it was over the banks. The water was three or four foot deep on the island in the low places and on the Illinois bottom. On that side it was a good many miles wide, but on the Missouri side it was the same old distance across—a half a mile—because the Missouri shore was just a wall of high bluffs.

Daytimes we paddled all over the island in the canoe. It was mighty cool and shady in the deep woods, even if the sun was blazing outside. We went winding in and out amongst the trees, and sometimes the vines hung so thick we had to back away and go some other way. Well, on every old broken-down tree you could see rabbits and snakes and such things; and when the island had been overflowed a day or two they got so tame, on account of being hungry, that you could paddle right up and put your hand on them if you wanted to; but not the snakes and turtles—they would slide off in the water. The ridge our cavern was in was full of them. We could 'a' had pets enough if we'd wanted them.

One night we caught a little section of a lumber-raft—nice pine planks. It was twelve foot wide and about fifteen or sixteen foot long, and the top stood above water six or seven inches—a solid, level floor. We could see saw-logs go by in the daylight sometimes, but we let them go; we didn't show ourselves in daylight.

Another night when we was up at the head of the island, just before daylight, here comes a frame-house down, on the west side. She was a two-story, and tilted over considerable. We paddled out and got aboard—clumb in at an upstairs window. But it was too dark to see yet, so we made the canoe fast and set in her to wait for daylight.

The light begun to come before we got to the foot of the island. Then we looked in at the window. We could make out a bed, and a table, and two old chairs, and lots of things around about on the floor, and there was clothes hanging against the wall. There was something laying on the floor in the far corner that looked like a man. So Jim says:

"Hello, you! "

But it didn't budge. So I hollered again, and then Jim says:

"De man ain't asleep—he's dead. You hold still—I'll go en see."

He went, and bent down and looked, and says:

"It's a dead man. Yes, indeedy; naked, too. He's ben shot in de back. I reck'n he's ben dead two er three days. Come in, Huck, but doan' look at his face—it's too gashly."

I didn't look at him at all. Jim throwed some old rags over him, but he needn't done it; I didn't want to see him. There was heaps of old greasy cards scattered around over the floor, and old whisky-bottles, and a couple of masks made out of black cloth; and all over the walls was the ignorantest kind of words and pictures made with charcoal. There was two old dirty calico dresses, and a sun-bonnet, and some women's underclothes hanging against the wall, and some men's clothing, too. We put the lot into the canoe—it might come good. There was a boy's old speckled straw hat on the floor; I took that, too. And there was a bottle that had had milk in it, and it had a rag stopper for a baby to suck. We would 'a' took the bottle, but it was broke. There was a seedy old chest, and an old hair trunk with the hinges broke. They stood open, but there warn't nothing left in them that was any account. The way things was scattered about we reckoned the people left in a hurry, and warn't fixed so as to carry off most of their stuff.

We got an old tin lantern, and a butcher-knife without any handle, and a bran-new Barlow knife worth two bits in any store, and a lot of tallow candles, and a tin candlestick, and a gourd, and a tin cup, and a ratty old bedquilt off the bed, and a reticule with needles and pins and beeswax and buttons and thread and all such truck in it, and a hatchet and some nails, and a fish-line as thick as my little finger with some monstrous hooks on it, and a roll of buckskin, and a leather dog-collar, and a horseshoe, and some vials of medicine that didn't have no label on them; and just as we was leaving I found a tolerable good currycomb, and Jim he found a ratty old fiddle-bow, and a wooden leg. The straps was broke off of it, but, barring that, it was a good enough leg, though it was too long for me and not long enough for Jim, and we couldn't find the other one, though we hunted all around.

And so, take it all around, we made a good haul. When we was ready to shove off we was a quarter of a mile below the island, and it was pretty broad day; so I made Jim lay down in the canoe and cover up with the quilt, because if he set up people could tell he was a nigger a good ways off. I paddled over to the Illinois shore, and drifted down most a half a mile doing it. I crept up the dead water under the bank, and hadn't no accidents and didn't see nobody. We got home all safe.

CHAPTER X

After breakfast I wanted to talk about the dead man and guess out how he come to be killed, but Jim didn't want to. He said it would fetch bad luck; and besides, he said, he might come and ha'n't us; he said a man that warn't buried was more likely to go a-ha'nting around than one that was planted and comfortable. That sounded pretty reasonable, so I didn't say no more; but I couldn't keep from studying over it and wishing I knowed who shot the man, and what they done it for.

We rummaged the clothes we'd got, and found eight dollars in silver sewed up in the lining of an old blanket overcoat. Jim said he reckoned the people in that house stole the coat, because if they'd 'a' knowed the money was there they wouldn't 'a' left it. I said I reckoned they killed him, too; but Jim didn't want to talk about that. I says:

"Now you think it's bad luck; but what did you say when I fetched in the snake-skin that I found on the top of the ridge day before yesterday? You said it was the worst bad luck in the world to touch a snake-skin with my hands. Well, here's your bad luck! We've raked in all this truck and eight dollars besides. I wish we could have some bad luck like this every day, Jim."

"Never you mind, honey, never you mind. Don't you git too peart. It's a-comin'. Mind I tell you, it's a-comin'."

It did come, too. It was a Tuesday that we had that talk. Well, after dinner Friday we was laying around in the grass at the upper end of the ridge, and got out of tobacco. I went to the cavern to get some, and found a rattlesnake in there. I killed him, and curled him up on the foot of Jim's blanket, ever so natural, thinking there'd be some fun when Jim found him there. Well, by night I forgot all about the snake, and when Jim flung himself down on the blanket while I struck a light the snake's mate was there, and bit him.

He jumped up yelling, and the first thing the light showed was the varmint curled up and ready for another spring. I laid him out in a second with a stick, and Jim grabbed pap's whisky-jug and begun to pour it down.

He was barefooted, and the snake bit him right on the heel. That

all comes of my being such a fool as to not remember that wherever you leave a dead snake its mate always comes there and curls around it. Jim told me to chop off the snake's head and throw it away, and then skin the body and roast a piece of it. I done it, and he eat it and said it would help cure him. He made me take off the rattles and tie them around his wrist, too. He said that that would help. Then I slid out quiet and throwed the snakes clear away amongst the bushes; for I warn't going to let Jim find out it was all my fault, not if I could help it.

Jim sucked and sucked at the jug, and now and then he got out of his head and pitched around and yelled; but every time he come to himself he went to sucking at the jug again. His foot swelled up pretty big, and so did his leg; but by and by the drunk begun to come, and so I judged he was all right; but I'd druther been bit with a snake than pap's whisky.

Jim was laid up for four days and nights. Then the swelling was all gone and he was around again. I made up my mind I wouldn't ever take a-holt of a snake-skin again with my hands, now that I see what had come of it. Jim said he reckoned I would believe him next time. And he said that handling a snake-skin was such awful bad luck that maybe we hadn't got to the end of it yet. He said he druther see the new moon over his left shoulder as much as a thousand times than take up a snake-skin in his hand. Well, I was getting to feel that way myself, though I've always reckoned that looking at the new moon over your left shoulder is one of the carelessest and foolishhest things a body can do. Old Hank Bunker done it once, and bragged about it; and in less than two years he got drunk and fell off of the shot-tower, and spread himself out so that he was just a kind of a layer, as you may say; and they slid him edgeways between two barn doors for a coffin, and buried him so, so they say, but I didn't see it. Pap told me. But anyway it all come of looking at the moon that way, like a fool.

Well, the days went along, and the river went down between its banks again; and about the first thing we done was to bait one of the big hooks with a skinned rabbit and set it and catch a catfish that was as big as a man, being six foot two inches long, and weighed over two hundred pounds. We couldn't handle him, of course; he would 'a' flung us into Illinois. We just set there and watched him rip and tear around till he drowned. We found a brass button in his stomach and a round ball, and lots of rubbage. We split the ball open with the hatchet, and there was a spool in it. Jim said he'd had it there a long time, to coat it over so and make a ball of it. It was as big a fish as was ever caughted in the Mississippi, I reckon. Jim said he hadn't ever seen a bigger one. He would 'a' been worth a good deal over at the village. They peddle out such a fish as that by the pound in the market-house there; everybody buys some of him; his meat's as white as snow and makes a good fry.

Next morning I said it was getting slow and dull, and I wanted to get a stirring-up some way. I said I reckoned I would slip over the river and find out what was going on. Jim liked that notion; but he said I must go in the dark and look sharp. Then he studied it over and said, couldn't I put on some of them old things and dress up like a girl? That was a good notion, too. So we shortened up one of the calico gowns, and I turned up my trouser-legs to my knees and got into it. Jim hitched it behind with the hooks, and it was a fair fit. I put on the sun-bonnet and tied it under my chin, and then for a body to look in and see my face was like looking down a joint of stove-pipe. Jim said nobody would know me, even in the daytime, hardly. I practised around all day to get the hang of the things, and by and by I could do pretty well in them, only Jim said I didn't walk like a girl; and he said I must quit pulling up my gown to get at my britches-pocket. I took notice, and done better.

I started up the Illinois shore in the canoe just after dark.

I started across to the town from a little below the ferry-landing, and the drift of the current fetched me in at the bottom of the town. I tied up and started along the bank. There was a light burning in a little shanty that hadn't been lived in for a long time, and I wondered who had took up quarters there. I slipped up and peeped in at the window. There was a woman about forty year old in there knitting by a candle that was on a pine table. I didn't know her face; she was a stranger, for you couldn't start a face in that town that I didn't know. Now this was lucky, because I was weakening; I was getting afraid I had come; people might know my voice and find me out. But if this woman had been in such a little town two days she could tell me all I wanted to know; so I knocked at the door, and made up my mind I wouldn't forget I was a girl.

CHAPTER XI

"Come in," says the woman, and I did. She says: "Take a cheer."

I done it. She looked me all over with her little shiny eyes, and says:

"What might your name be?"

"Sarah Williams."

"Where 'bouts do you live? In this neighborhood?"

"No'm. In Hookerville, seven mile below. I've walked all the way and I'm all tired out."

"Hungry, too, I reckon. I'll find you something."

"No'm, I ain't hungry. I was so hungry I had to stop two miles below here at a farm; so I ain't hungry no more. It's what makes me so late. My mother's down sick, and out of money and everything, and I come to tell my uncle Abner Moore. He lives at the upper end of the town, she says. I hain't ever been here before. Do you know him?"

"No; but I don't know everybody yet. I haven't lived here quite

two weeks. It's a considerable ways to the upper end of the town. You better stay here all night. Take off your bonnet."

"No," I says; "I'll rest awhile, I reckon, and go on. I ain't afeard of the dark."

She said she wouldn't let me go by myself, but her husband would be in by and by, maybe in a hour and a half, and she'd send him along with me. Then she got to talking about her husband, and about her relations up the river, and her relations down the river, and about how much better off they used to was, and how they didn't know but they'd made a mistake coming to our town, instead of letting well alone—and so on and so on, till I was afeard I had made a mistake coming to her to find out what was going on in the town; but by and by she dropped on to pap and the murder, and then I was pretty willing to let her clatter right along. She told about me and Tom Sawyer finding the twelve thousand dollars (only she got it twenty) and all about pap and what a hard lot he was, and what a hard lot I was, and at last she got down to where I was murdered. I says:

"Who done it? We've heard considerable about these goings-on down in Hookerville, but we don't know who 'twas that killed Huck Finn."

"Well, I reckon there's a right smart chance of people *here* that 'd like to know who killed him. Some think old Finn done it himself."

"No—is that so?"

"Most everybody thought it at first. He'll never know how nigh he come to getting lynched. But before night they changed around and judged it was done by a runaway nigger named Jim."

"Why *he*—"

I stopped. I reckoned I better keep still. She run on, and never noticed I had put in at all.

"The nigger run off the very night Huck Finn was killed. So there's a reward out for him—three hundred dollars. And there's a reward out for old Finn, too—two hundred dollars. You see, he come to town the morning after the murder, and told about it, and was out with 'em on the ferryboat hunt, and right away after he up and left. Before night they wanted to lynch him, but he was gone, you see. Well, next day they found out the nigger was gone; they found out he hadn't ben seen sence ten o'clock the night the murder was done. So then they put it on him, you see; and while they was full of it, next day, back comes old Finn, and went boo-hooing to Judge Thatcher to get money to hunt for the nigger all over Illinois with. The judge gave him some, and that evening he got drunk, and was around till after midnight with a couple of mighty hard-looking strangers, and then went off with them. Well, he hain't come back sence, and they ain't looking for him back till this thing blows over a little, for people thinks now that he killed his boy and fixed things so folks would think robbers done it, and then he'd get Huck's money without having to bother a long time with a lawsuit. People do say he warn't any too good to do it. Oh, he's

sly, I reckon. If he don't come back for a year he'll be all right. You can't prove anything on him, you know; everything will be quieted down then, and he'll walk in Huck's money as easy as nothing."

"Yes, I reckon so, 'm. I don't see nothing in the way of it. Has everybody quit thinking the nigger done it?"

"Oh, no, not everybody. A good many thinks he done it. But they'll get the nigger pretty soon now, and maybe they can scare it out of him."

"Why, are they after him yet?"

"Well, you're innocent, ain't you! Does three hundred dollars lay around every day for people to pick up? Some folks think the nigger ain't far from here. I'm one of them—but I hain't talked it around. A few days ago I was talking with an old couple that lives next door in the log shanty, and they happened to say hardly anybody ever goes to that island over yonder that they call Jackson's Island. Don't anybody live there? says I. No, nobody, says they. I didn't say any more, but I done some thinking. I was pretty near certain I'd seen smoke over there, about the head of the island, a day or two before that, so I says to myself, like as not that nigger's hiding over there; anyway, says I, it's worth the trouble to give the place a hunt. I hain't seen any smoke sence, so I reckon maybe he's gone, if it was him; but husband's going over to see—him and another man. He was gone up the river; but he got back to-day, and I told him as soon as he got here two hours ago."

I had got so uneasy I couldn't set still. I had to do something with my hands; so I took up a needle off of the table and went to threading it. My hands shook, and I was making a bad job of it. When the woman stopped talking I looked up, and she was looking at me pretty curious and smiling a little. I put down the needle and thread, and let on to be interested—and I was, too—and says:

"Three hundred dollars is a power of money. I wish my mother could get it. Is your husband going over there to-night?"

"Oh, yes. He went up-town with the man I was telling you of, to get a boat and see if they could borrow another gun. They'll go over after midnight."

"Couldn't they see better if they was to wait till daytime?"

"Yes. And couldn't the nigger see better, too? After midnight he'll likely be asleep, and they can slip around through the woods and hunt up his camp-fire all the better for the dark, if he's got one."

"I didn't think of that."

The woman kept looking at me pretty curious, and I didn't feel a bit comfortable. Pretty soon she says:

"What did you say your name was, honey?"

"M—Mary Williams."

Somehow it didn't seem to me that I said it was Mary before, so I didn't look up—seemed to me I said it was Sarah; so I felt sort of cornered, and was afeard maybe I was looking it, too. I wished the

woman would say something more; the longer she set still the uneasier I was. But now she says:

"Honey, I thought you said it was Sarah when you first come in?"

"Oh, yes'm, I did. Sarah Mary Williams. Sarah's my first name. Some calls me Sarah, some calls me Mary."

"Oh, that's the way of it?"

"Yes'm."

I was feeling better then, but I wished I was out of there, anyway. I couldn't look up yet.

Well, the woman fell to talking about how hard times was, and how poor they had to live, and how the rats was as free as if they owned the place, and so forth and so on, and then I got easy again. She was right about the rats. You'd see one stick his nose out of a hole in the corner every little while. She said she had to have things handy to throw at them when she was alone, or they wouldn't give her no peace. She showed me a bar of lead twisted up into a knot, and said she was a good shot with it generly, but she'd wrenched her arm a day or two ago, and didn't know whether she could throw true now. But she watched for a chance, and directly banged away at a rat; but she missed him wide, and said, "Ouch!" it hurt her arm so. Then she told me to try for the next one, I wanted to be getting away before the old man got back, but of course I didn't let on. I got the thing, and the first rat that showed his nose I let drive, and if he'd 'a' stayed where he was he'd 'a' been a tolerable sick rat. She said that was first-rate, and she reckoned I would hive the next one. She went and got the lump of lead and fetched it back, and brought along a hank of yarn which she wanted me to help her with. I held up my two hands and she put the hank over them, and went on talking about her and her husband's matters. But she broke off to say:

"Keep your eye on the rats. You better have the lead in your lap, handy."

So she dropped the lump into my lap just at that moment, and I clapped my legs together on it and she went on talking. But only about a minute. Then she took off the hank and looked me straight in the face, and very pleasant, and says:

"Come, now, what's your real name?"

"Wh-hat, mum?"

"What's your real name? Is it Bill, or Tom, or Bob?— or what is it?"

I reckon I shook like a leaf, and I didn't know hardly what to do. But I says:

"Please to don't poke fun at a poor girl like me, mum. If I'm in the way here, I'll—"

"No, you won't. Set down, and stay where you are. I ain't going to hurt you, and I ain't going to tell on you, nuther. You just tell me your secret, and trust me. I'll keep it; and, what's more, I'll help you. So'll my old man if you want him to. You see, you're a runaway 'prentice, that's all. It ain't anything. There ain't no harm in it. You've

been treated bad, and you made up your mind to cut. Bless you, child, I wouldn't tell on you. Tell me all about it now, that's a good boy."

So I said it wouldn't be no use to try to play it any longer, and I would just make a clean breast and tell her everything, but she mustn't go back on her promise. Then I told her my father and mother was dead, and the law had bound me out to a mean old farmer in the country thirty mile back from the river, and he treated me so bad I couldn't stand it no longer; he went away to be gone a couple of days, and so I took my chance and stole some of his daughter's old clothes and cleared out, and I had been three nights coming the thirty miles. I traveled nights, and hid daytimes and slept, and the bag of bread and meat I carried from home lasted me all the way, and I had a-plenty. I said I believed my uncle Abner Moore would take care of me, and so that was why I struck out for this town of Goshen.

"Goshen, child? This ain't Goshen. This is St. Petersburg. Goshen's ten mile further up the river. Who told you this was Goshen?"

"Why, a man I met at daybreak this morning, just as I was going to turn into the woods for my regular sleep. He told me when the roads forked I must take the right hand, and five mile would fetch me to Goshen."

"He was drunk, I reckon. He told you just exactly wrong."

"Well, he did act like he was drunk, but it ain't no matter now. I got to be moving along. I'll fetch Goshen before daylight."

"Hold on a minute. I'll put you up a snack to eat. You might want it."

So she put me up a snack, and says:

"Say, when a cow's laying down, which end of her gets up first? Answer up prompt now—don't stop to study over it. Which end gets up first?"

"The hind end, mum."

"Well, then, a horse?"

"The for'rard end; mum."

"Which side of a tree does the moss grow on?"

"North side."

"If fifteen cows is browsing on a hillside, how many of them eats with their heads pointed the same direction?"

"The whole fifteen, mum."

"Well, I reckon you *have* lived in the country. I thought maybe you was trying to hocus me again. What's your real name, now?"

"George Peters, mum."

"Well, try to remember it, George. Don't forget and tell me it's Elexander before you go, and then get out by saying it's George Ele-xander when I catch you. And don't go about women in that old calico. You do a girl tolerable poor, but you might fool men, maybe. Bless you, child, when you set out to thread a needle don't hold the thread still and fetch the needle up to it; hold the needle still and poke the thread at it; that's the way a woman most always does, but a man always does t'other way. And when you throw at a rat or any-

thing, hitch yourself up a-tiptoe and fetch your hand up over your head as awkward as you can, and miss your rat about six or seven foot. Throw stiff-armed from the shoulder, like there was a pivot there for it to turn on, like a girl; not from the wrist and elbow, with your arm out to one side, like a boy. And, mind you, when a girl tries to catch anything in her lap she throws her knees apart; she don't clap them together, the way you did when you caught the lump of lead. Why, I spotted you for a boy when you was threading the needle; and I contrived the other things just to make certain. Now trot along to your uncle, Sarah Mary Williams George Elexander Peters, and if you get into trouble you send word to Mrs. Judith Loftus, which is me, and I'll do what I can to get you out of it. Keep the river road all the way, and next time you tramp take shoes and socks with you. The river road's a rocky one, and your feet 'll be in a condition when you get to Goshen, I reckon."

I went up the bank about fifty yards, and then I doubled on my tracks and slipped back to where my canoe was, a good piece below the house. I jumped in, and was off in a hurry. I went up-stream far enough to make the head of the island, and then started across. I took off the sun-bonnet, for I didn't want no blinders on then. When I was about the middle I heard the clock begin to strike, so I stops and listens; the sound come faint over the water but clear—eleven. When I struck the head of the island I never waited to blow, though I was most winded, but I shoved right into the timber where my old camp used to be, and started a good fire there on a high and dry spot.

Then I jumped in the canoe and dug out for our place, a mile and a half below, as hard as I could go. I landed, and slopped through the timber and up the ridge and into the cavern. There Jim laid, sound asleep on the ground. I roused him out and says:

"Git up and hump yourself, Jim! There ain't a minute to lose. They're after us! "

Jim never asked no questions, he never said a word; but the way he worked for the next half an hour showed about how he was scared. By that time everything we had in the world was on our raft, and she was ready to be shoved out from the willow cove where she was hid. We put out the camp-fire at the cavern the first thing, and didn't show a candle outside after that.

I took the canoe out from the shore a little piece, and took a look; but if there was a boat around I couldn't see it, for stars and shadows ain't good to see by. Then we got out the raft and slipped along down in the shade, past the foot of the island dead still—never saying a word.

CHAPTER XII

It must 'a' been close on to one o'clock when we got below the island at last, and the raft did seem to go mighty slow. If a boat was to

come along we was going to take to the canoe and break for the Illinois shore; and it was well a boat didn't come, for we hadn't ever thought to put the gun in the canoe, or a fishing-line, or anything to eat. We was in ruther too much of a sweat to think of so many things. It warn't good judgment to put *everything* on the raft.

If the men went to the island I just expect they found the camp-fire I built, and watched it all night for Jim to come. Anyways, they stayed away from us, and if my building the fire never fooled them it warn't no fault of mine. I played it as low down on them as I could.

When the first streak of day began to show we tied up to a tow-head in a big bend on teh Illinois side, and hacked off cottonwood branches with the hatchet, and covered up the raft with them so she looked like there had been a cave-in in the bank there. A towhead is a sand-bar that has cottonwoods on it as thick as harrow-teeth.

We had mountains on the Missouri shore and heavy timber on the Illinois side, and the channel was down the Missouri shore at that place, so we warn't afraid of anybody running across us. We laid there all day, and watched the rafts and steamboats spin down the Missouri shore, and up-bound steamboats fight the big river in the middle. I told Jim all about the time I had jabbering with that woman; and Jim said she was a smart one, and if she was to start after us herself *she* wouldn't set down and watch a camp-fire—no, sir, she'd fetch a dog. Well, then, I said, why couldn't she tell her husband to fetch a dog? Jim said he bet she did think of it by the time the men was ready to start, and he believed they must 'a' gone up-town to get a dog and so they lost all that time, or else we wouldn't be here on a towhead sixteen or seventeen mile below the village—no, indeedy, we would be in that same old town again. So I said I didn't care what was the reason they didn't get us as long as they didn't.

When it was beginning to come on dark we poked our heads out of the cottonwood thicket, and looked up and down and across; nothing in sight; so Jim took up some of the top planks of the raft and built a snug wigwam to get under in blazing weather and rainy, and to keep the things dry. Jim made a floor for the wigwam, and raised it a foot or more above the level of the raft, so now the blankets and all the traps was out of reach of steamboat waves. Right in the middle of the wigwam we made a layer of dirt about five or six inches deep with a frame around it for to hold it to its place; this was to build a fire on in sloppy weather or chilly; the wigwam would keep it from being seen. We made an extra steering-oar, too, because one of the others might get broke on a snag or something. We fixed up a short forked stick to hang the old lantern on, because we must always light the lantern whenever we see steamboat coming down-stream, to keep from getting run over; but we wouldn't have to light it for up-stream boats unless we see we was in what they call a "crossing"; for the river was pretty high yet, very low banks being still a little under water; so

up-bound boats didn't always run the channel, but hunted easy water.

This second night we run between seven and eight hours, with a current that was making over four mile an hour. We caught fish and talked, and we took a swim now and then to keep off sleepiness. It was kind of solemn, drifting down the big, still river, laying on our backs looking up at the stars, and we didn't ever feel like talking loud, and it warn't often that we laughed—only a little kind of a low chuckle. We had mighty good weather as a general thing and nothing ever happened to us at all—that night, nor the next, nor the next.

Every night we passed towns, some of them away up on black hill-sides, nothing but just a shiny bed of lights; not a house could you see. The fifth night we passed St. Louis, and it was like the whole world lit up. In St. Petersburg they used to say there was twenty or thirty thousand people in St. Louis, but I never believed it till I see that wonderful spread of lights at two o'clock that still night. There warn't a sound there; everybody was asleep.

Every night now I used to slip ashore toward ten o'clock at some little village, and buy ten or fifteen cents' worth of meal or bacon or other stuff to eat; and sometimes I lifted a chicken that warn't roosting comfortable, and took him along. Pap always said, take a chicken when you get a chance, because if you don't want him yourself you can easy find somebody that does, and a good deed ain't ever forgot. I never see pap when he didn't want the chicken himself, but that is what he used to say, anyway.

Mornings before daylight I slipped into corn-fields and borrowed a watermelon, or a mushmelon, or a punkin, or some new corn, or things of that kind. Pap always said it warn't no harm to borrow things if you was meaning to pay them back some time; but the widow said it warn't anything but a soft name for stealing, and no decent body would do it. Jim said he reckoned the widow was partly right and pap was partly right; so the best way would be for us to pick out two or three things from the list and say we wouldn't borrow them any more—then he reckoned it wouldn't be no harm to borrow the others. So we talked it over all one night, drifting along down the river, trying to make up our minds whether to drop the watermelons, or the cantelopes, or the mushmelons, or what. But toward daylight we got it all settled satisfactory, and concluded to drop crabapples and p'simmons. We warn't feeling just right before that, but it was all comfortable now. I was glad the way it come out, too, because crabapples ain't ever good, and the p'simmons wouldn't be ripe for two or three months yet.

We shot a water-fowl now and then that got up too early in the morning or didn't go to bed early enough in the evening. Take it all round, we lived pretty high.

The fifth night below St. Louis we had a big storm after midnight, with a power of thunder and lightning, and the rain poured down in a

solid sheet. We stayed in the wigwam and let the raft take care of itself. When the lightning glared out we could see a big straight river ahead, and high, rocky bluffs on both sides. By and by says I, "Hello, Jim, looky yonder!" It was a steamboat that had killed herself on a rock. We was drifting straight down for her. The lightning showed her very distinct. She was leaning over, with part of her upper deck above water, and you could see every little chimbley-guy clean and clear, and a chair by the big bell, with an old slouch hat hanging on the back of it, when the flashes come.

Well, it being away in the night and stormy, and all so mysterious-like, I felt just the way any other boy would 'a' felt when I seen that wreck laying there so mournful and lonesome in the middle of the river. I wanted to get aboard of her and slink around a little, and see what there was there. So I says:

"Let's land on her, Jim."

But Jim was dead against it at first. He says:

"I doan' want to go foll'n' 'long er no wrack. We's doin' blame' well, en we better let blame' well alone, as de good book says. Like as not dey's a watchman on dat wrack."

"Watchman your grandmother," I says; "there ain't nothing to watch but the texas and the pilot-house; and do you reckon anybody's going to resk his life for a texas and a pilot-house such a night as this, when it's likely to break up and wash off down the river any minute?" Jim couldn't say nothing to that, so he didn't try. "And besides," I says, "we might borrow something worth having out of the captain's stateroom. Seegars, I bet you—and cost five cents apiece, solid cash. Steamboat captains is always rich, and get sixty dollars a month, and *they* don't care a cent what a thing costs, you know, long as they want it. Stick a candle in your pocket; I can't rest, Jim, till we give her a rummaging. Do you reckon Tom Sawyer would ever go by this thing? Not for pie, he wouldn't. He'd call it an adventure—that's what he'd call it; and he'd land on that wreck if it was his last act. And wouldn't he throw style into it?—wouldn't he spread himself, nor nothing? Why, you'd think it was Christopher C'lumbus discovering Kingdom Come. I wish Tom Sawyer *was* here."

Jim he grumbled a little, but give in. He said we mustn't talk any more than we could help, and then talk mighty low. The lightning showed us the wreck again just in time, and we fetched the stabboard derrick, and made fast there.

The deck was high out here. We went sneaking down the slope of it to labboard, in the dark, towards the texas, feeling our way slow with our feet, and spreading our hands out to fend off the guys, for it was so dark we couldn't see no sign of them. Pretty soon we struck the forward end of the skylight, and clumb on to it; and the next step fetched us in front of the captain's door, which was open, and by Jimminy, away down through the texas-hall we see a light! and all in the same second we seem to hear low voices in yonder!

Jim whispered and said he was feeling powerful sick, and told me to come along. I says, all right, and was going to start for the raft; but just then I heard a voice wail out and say:

"Oh, please, don't boys; I swear I won't ever tell! "

Another voice said, pretty loud:

"It's a lie, Jim Turner. You've acted this way before. You always want more'n your share of the truck, and you've always got it, too, because you've swore 't if you didn't you'd tell. But this time you've said it jest one time too many. You're the meanest, treacherousest hound in this country."

By this time Jim was gone for the raft. I was just a-biling with curiosity; and I says to myself, Tom Sawyer wouldn't back out now, and so I won't either; I'm a-going to see what's going on here. So I dropped on my hands and knees in the little passage, and crept aft in the dark till there warn't but one stateroom betwixt me and the cross-hall of the texas. Then in there I see a man stretched on the floor and tied hand and foot, and two men standing over him, and one of them had a dim lantern in his hand, and the other one had a pistol. This one kept pointing the pistol at the man's head on the floor, and saying:

"I'd *like* to! And I orter, too—a mean skunk! "

The man on the floor would shrivel up and say, "Oh, please don't, Bill; I hain't ever goin' to tell."

And every time he said that the man with the lantern would laugh and say: "'Deed you *ain't*! You never said no truer thing 'n that, you bet you." And once he said: "Hear him beg! and yit if we hadn't got the best of him and tied him he'd 'a' killed us both. And what *for*? Just for noth'n'. Just because we stood on our *rights*—that's what for. But I lay you ain't a-goin' to threaten nobody any more, Jim Turner. Put *up* that pistol, Bill."

Bill says:

"I don't want to, Jake Packard. I'm for killin' him—and didn't he kill old Hatfield jist the same way—and don't he deserve it?"

"But I don't *want* him killed, and I've got my reasons for it."

"Bless yo' heart for them words, Jake Packard! I'll never forgit you long's I live! " says the man on the floor, sort of blubbering.

Packard didn't take no notice of that, but hung up his lantern on a nail and started toward where I was, there in the dark, and motioned Bill to come. I crawfished as fast as I could about two yards, but the boat slanted so that I couldn't make very good time; so to keep from getting run over and caught I crawled into a stateroom on the upper side. The man came a-pawing along in the dark, and when Packard got to my stateroom, he says:

"Here—come in here."

And in he come, and Bill after him. But before they got in I was up in the upper berth, cornered, and sorry I come. Then they stood there, with their hands on the ledge of the berth, and talked. I couldn't see them, but I could tell where they was by the whisky they'd been

having. I was glad I didn't drink whisky; but it wouldn't made much difference anyway, because most of the time they couldn't 'a' treed me because I didn't breathe. I was too scared. And, besides, a body *couldn't* breathe and hear such talk. They talked low and earnest. Bill wanted to kill Turner. He says:

"He's said he'll tell, and he will. If we was to give both our shares to him *now* it wouldn't make no difference after the row and the way we've served him. Shore's you're born, he'll turn state's evidence; now you hear *me*. I'm for putting him out of his troubles."

"So'm I," says Packard, very quiet.

"Blame it, I'd sorter begun to think you wasn't. Well, then, that's all right. Le's go and do it."

"Hold on a minute; I hain't had my say yit. You listen to me. Shooting's good, but there's quieter ways if the things *got* to be done. But what *I* say is this: it ain't good sense to go court'n' around after a halter if you can git at what you're up to in some way that's jist as good and at the same time don't bring you into no resks. Ain't that so?"

"You bet it is. But how you goin' to manage it this time?"

"Well, my idea is this: we'll rustle around and gather up whatever pickin's we've overlooked in the staterooms, and shove for shore and hide the truck. Then we'll wait. Now I say it ain't a-goin' to be more'n two hours befo' this wrack breaks up and washes off down the river. See? He'll be drowned, and won't have nobody to blame for it but his own self. I reckon that's a considerable sight better 'n killin' of him. I'm unfavorable to killin' a man as long as you can git aroun' it; it ain't good sense, it ain't good morals. Ain't I right?"

"Yes, I reck'n you are. But s'pose she *don't* break up and wash off?"

"Well, we can wait the two hours anyway and see, can't we?"

"All right, then; come along."

So they started, and I lit out, all in a cold sweat, and scrambled forward. It was dark as pitch there; but I said, in a kind of a coarse whisper, "Jim!" and he answered up, right at my elbow, with a sort of a moan, and I says:

"Quick, Jim, it ain't no time for fooling around and moaning; there's a gang of murderers in yonder, and if we don't hunt up their boat and set her drifting down the river so these fellows can't get away from the wreck there's one of 'em going to be in a bad fix. But if we find their boat we can put *all* of 'em in a bad fix—for the sheriff 'll get 'em. Quick—hurry! I'll hunt the labboard side, you hunt the stabboard. You start at the raft, and—"

"Oh, my lordy, lordy! *Raf*? Dey ain' no raf' no mo'; she done broke loose en gone! —en here we is! "

CHAPTER XIII

Well, I caught my breath and most fainted. Shut up on a wreck with such a gang as that! But it warn't no time to be sentimentering.

We'd *got* to find that boat now—had to have it for ourselves. So we went a-quaking and shaking down the stabboard side, and slow work it was, too—seemed a week before we got to the stern. No sign of a boat. Jim said he didn't believe he could go any farther—so scared he hadn't hardly any strength left, he said. But I said, come on, if we get left on this wreck we are in a fix, sure. So on we prowled again. We struck for the stern of the texas, and found it, and then scrabbled along forwards on the skylight, hanging on from shutter to shutter, for the edge of the skylight was in the water. When we got pretty close to the cross-hall door there was the skiff, sure enough! I could just barely see her. I felt ever so thankful. In another second I would 'a' been aboard of her, but just then the door opened. One of the men stuck his head out only about a couple of foot from me, and I thought I was gone; but he jerked it in again, and says:

"Heave that blame lantern out o' sight, Bill! "

He flung a bag of something into the boat, and then got in himself and set down. It was Packard. Then Bill *he* come out and got in. Packard says, in a low voice:

"All ready—shove off! "

I couldn't hardly hang on to the shutters, I was so weak. But Bill says:

"Hold on—'d you go through him?"

"No. Didn't you?"

"No. So he's got his share o' the cash yet."

"Well, then, come along; no use to take truck and leave money."

"Say, won't he suspicion what we're up to?"

"Maybe he won't. But we got to have it anyway. Come along."

So they got out and went in.

The door slammed to because it was on the careened side; and in a half second I was in the boat, and Jim come tumbling after me. I out with my knife and cut the rope, and away we went!

We didn't touch an oar, and we didn't speak nor whisper, nor hardly even breathe. We went gliding swift along, dead silent, past the tip of the paddle-box, and past the stern; then in a second or two more we was a hundred yards below the wreck, and the darkness soaked her up, every last sign of her, and we was safe, and knowed it.

When we was three or four hundred yards down-stream we see the lantern show like a little spark at the texas door for a second, and we knowed by that that the rascals had missed their boat, and was beginning to understand that they was in just as much trouble now as Jim Turner was.

Then Jim manned the oars, and we took out after our raft. Now was the first time that I begun to worry about the men. I reckon I hadn't had time to before. I begun to think how dreadful it was, even for murderers, to be in such a fix. I says to myself, there ain't no telling but I might come to be a murderer myself yet, and then how would I like it? So says I to Jim:

"The first light we see we'll land a hundred yards below it or above it, in a place where it's a good hiding-place for you and the skiff, and then I'll go and fix up some kind of a yarn, and get somebody to go for that gang and get them out of their scrape, so they can be hung when their time comes."

But that idea was a failure; for pretty soon it begun to storm again, and this time worse than ever. The rain poured down, and never a light showed; everybody in bed, I reckon. We boomed along down the river, watching for lights and watching for our raft. After a long time the rain let up, but the clouds stayed, and the lightning kept whimpering, and by and by a flash showed us a black thing ahead, floating, and we made for it.

It was the raft, and mighty glad was we to get aboard of it again. We seen a light now away down to the right, on shore. So I said I would go for it. The skiff was half full of plunder which that gang had stole there on the wreck. We hustled it on to the raft in a pile, and I told Jim to float along down, and show a light when he judged he had gone about two mile, and keep it burning till I come; then I manned my oars and shoved for the light. As I got down towards it three or four more showed—up on a hill-side. It was a village. I closed in above the shore light, and laid on my oars and floated. As I went by I see it was a lantern hanging on the jackstaff of a double-hull ferry-boat. I skimmed around for the watchman, a-wondering whereabouts he slept; and by and by I found him roosting on the bitts forward, with his head down between his knees. I gave his shoulder two or three little shoves, and begun to cry.

He stirred up in a kind of a startlish way; but when he see it was only me he took a good gap and stretch, and then he says:

"Hello, what's up? Don't cry, bub. What's the trouble?"

I says:

"Pap, and mam, and sis, and—"

Then I broke down. He says:

"Oh, dang it now, *don't* take on so; we all has to have our troubles, and this 'n 'll come out all right. What's the matter with 'em?"

"They're—they're—are you the watchman of the boat?"

"Yes," he says, kind of pretty-well-satisfied like "I'm the captain and the owner and the mate and the pilot and watchman and head deck-hand; and sometimes I'm the freight and passengers. I ain't as rich as old Jim Hornback, and I can't be so blam' generous and good to Tom, Dick, and Harry as what he is, and slam around money the way he does; but I've told him a many a time 't I wouldn't trade places with him; for, says I, a sailor's life's the life for me, and I'm derned if I'd live two mile out o' town, where there ain't nothing ever goin' on, not for all his spondulicks and as much more on top of it. Says I—"

I broke in and says:

"They're in an awful peck of trouble, and—"

"Who is?"

"Why, pap and mam and sis and Miss Hooker; and if you'd take your ferryboat and go up there—"

"Up where? Where are they?"

"On the wreck."

"What wreck?"

"Why, there ain't but one."

"What, you don't mean the *Walter Scott*?"

"Yes."

"Good land! what are they doin' *there*, for gracious sakes?"

"Well, they didn't go there a-purpose."

"I bet they didn't! Why, great goodness, there ain't no chance for 'em if they don't git off mighty quick! Why, how in the nation did they ever got into such a scrape?"

"Easy enough. Miss Hooker was a-visiting up there to the town—"

"Yes, Booth's Landing—go on."

"She was a-visiting there at Booth's Landing, and just in the edge of the evening she started over with her nigger woman in the horse-ferry to stay all night at her friend's house, Miss What-you-may-call-her—I disremember her name—and they lost their steering-oar, and swung around and went a-floating down, stern first, about two mile, and saddle-baggsed on the wreck, and the ferryman and the nigger woman and the horses was all lost, but Miss Hooker she made a grab and got aboard the wreck. Well, about an hour after dark we come along down in our trading-scow, and it was so dark we didn't notice the wreck till we was right on it; and so we saddle-baggsed; but all of us was saved but Bill Whipple—and oh, he *was* the best cretur! —I most wish 't it had been me, I do."

"My George! It's the beatenest thing I ever struck. And *then* what did you all do?"

"Well, we hollered and took on, but it's so wide there we couldn't make nobody hear. So pap said somebody got to get ashore and get help somehow. I was the only one that could swim, so I made a dash for it, and Miss Hooker she said if I didn't strike help sooner, come here and hunt up her uncle, and he'd fix the thing. I made the land about a mile below, and been fooling along ever since, trying to get people to do something, but they said, 'What, in such a night and such a current? There ain't no sense in it; go for the steam-ferry.' Now if you'll go and—"

"By Jackson, I'd *like* to, and, blame it, I don't know but I will; but who in the dingnation's a-goin' to *pay* for it? Do you reckon your pap—"

"Why *that's* all right. Miss Hooker she tole me, *particular*, that her uncle Hornback—"

"Great guns! is *he* her uncle? Looky here, you break for that light over yonder-way, and turn out west when you git there, and about a quarter of a mile out you'll come to the tavern; tell 'em to dart you out to Jim Hornback's, and he'll foot the bill. And don't you fool

around any, because he'll want to know the news. Tell him I'll have his niece all safe before he can get to town. Hump yourself, now; I'm a-going up around the corner here to roust out my engineer."

I struck for the light, but as soon as he turned the corner I went back and got into my skiff and bailed her out, and then pulled up shore in the easy water about six hundred yards, and tucked myself in among some woodboats; for I couldn't rest easy till I could see the ferryboat start. But take it all around, I was feeling rather comfortable on accounts of taking all this trouble for that gang, for not many would 'a' done it. I wished the widow knowed about it. I judged she would be proud of me for helping these rapsCALLIONS, because rapsCALLIONS and dead-beats is the kind the widow and good people takes the most interest in.

Well, before long here comes the wreck, dim and dusky, sliding along down! A kind of cold shiver went through me, and then I struck out for her. She was very deep, and I see in a minute there warn't much chance for anybody being alive in her. I pulled all around her and hollered a little, but there wasn't any answer; all dead still. I felt a little bit heavy-hearted about the gang, but not much, for I reckoned if they could stand it I could.

Then here comes the ferryboat; so I shoved for the middle of the river on a long down-stream slant; and when I judged I was out of eye-reach I laid on my oars, and looked back and see her go and smell around the wreck for Miss Hooker's remainders, because the captain would know her uncle Hornback would want them; and then pretty soon the ferryboat give it up and went for the shore, and I laid into my work and went a-booming down the river.

It did seem a powerful long time before Jim's light showed up; and when it did show it looked like it was a thousand mile off. By the time I got there the sky was beginning to get a little gray in the east; so we struck for an island, and hid the raft, and sunk the skiff, and turned in and slept like dead people.

CHAPTER XIV

By and by, when we got up, we turned over the truck the gang had stole off of the wreck, and found boots, and blankets, and clothes, and all sorts of other things, and a lot of books, and a spy-glass, and three boxes of seegars. We hadn't ever been this rich before in neither of our lives. The seegars was prime. We laid off all the afternoon in the woods talking, and me reading the books, and having a general good time. I told Jim all about what happened inside the wreck and at the ferryboat, and I said these kinds of things was adventures; but he said he didn't want no more adventures. He said that when I went in the texas and he crawled back to get on the raft and found her gone he nearly died, because he judged it was all up with *him* anyway it

could be fixed; for if he didn't get saved he would get drowned; and if he did get saved, whoever saved him would send him back home so as to get the reward, and then Miss Watson would sell him South, sure. Well, he was right; he was most always right; he had an uncommon level head for a nigger.

I read considerable to Jim about kings and dukes and earls and such, and how gaudy they dressed, and how much style they put on, and called each other your majesty, and your grace, and your lordship, and so on, 'stead of mister; and Jim's eyes bugged out, and he was interested. He says:

"I didn't know dey was so many un um. I hain't hearn 'bout none un um, skasely, but ole King Sollermun, onless you counts dem kings dat's in a pack er k'yards. How much do a king git?"

"Get?" I says; "why, they get a thousand dollars a month if they want it; they can have just as much as they want; everything belongs to them."

"*Ain'* dat gay? En what dey got to do, Huck?"

"*They* don't do nothing! Why, how you talk! *They* just set around."

"No; is dat so?"

"Of course it is. *They* just set around—except, maybe, when there's a war; then they go to the war. But other times they just lazy around; or go hawking—just hawking and sp—Sh! —d'you hear a noise?"

We skipped out and looked; but it warn't nothing but the flutter of a steamboat's wheel away down, coming around the point; so we come back.

"Yes," says I, "and other times, when things is dull, they fuss with the parlyment; and if everybody don't go just so he whacks their heads off. But mostly they hang round the harem."

"Roun' de which?"

"Harem."

"What's de harem?"

"The place where he keeps his wives. Don't you know about the harem? Solomon had one; he had about a million wives."

"Why, yes, dat's so; I—I'd done forgot it. A harem's a bo'd'n-house, I reck'n. Mos' likely dey has rackety times in de nussery. En I reck'n de wives quarrels considerable; er dat 'crease de racket. Yit dey say Sollermun de wises' man dat ever live'. I doan' take no stock in dat. Bekase why: would a wise man want to live in de mids' er sich a blimblammin' all de time? No—' deed he wouldn't. A wise man 'ud take en buil' a biler-factory; en den he could shet *down* de biler-factory when he want to res'."

"Well, but he *was* the wisest man, anyway; because the widow she told me so, her own self."

"I doan' k'yer what de widder say, he *warn't* no wise man nuther. He had some er de dad-fetchedes' ways I ever see. Does you know 'bout dat chile dat he 'uz gwyne to chop in two?"

"Yes; the widow told me all about it."

"Well, den! Warn' dat de beatenes' notion in de worl'? You jes' take en look at it a minute. Dah's de stump, dah—dat's one er de women; heah's you—dat's de yuther one; I's Sollermun; en dish yer dollar bill's de chile. B'fo' un you claims it. What does I do? Does I shin aroun' mongs' de neighbors en fine out which un you de bill *do* b'long to, en han' it over to de right one, all safe en soun', de way dat anybody dat had any gumption would? No; I take en whack de bill in *two*, en give half un it to you, en de yuther half to de yuther woman. Dat's de way Sollermun was gwyne to do wid de chile. Now I want to ast you: what's de use er dat half a bill?—can't buy noth'n wid it. En what use is a half a chile? I wouldn't give a dern for a million un um."

"But hang it, Jim, you've clean missed the point—blame it, you've missed it a thousand mile."

"Who? Me? Go 'long. Doan' talk to *me* 'bout yo' pints. I reck'n I knows sense when I sees it; en dey ain' no sense in sich doin's as dat. De 'spute warn't 'bout a half a chile, de 'spute was 'bout a whole chile; en de man dat think he kin settle a 'spute 'bout a whole chile wid a half a chile doan' know enough to come in out'n de rain. Doan' talk to me 'bout Sollermun, Huck, I knows him by de back."

"But I tell you you don't get the point."

"Blame de point! I reck'n I knows what I knows. En mine you, de *real* pint is down funder—it's down deeper. It lays in de way Sollermun was raised. You take a man dat's got on'y one or two chillen; is dat man gwyne to be waseful o' chillen? No, he ain't; he can't 'ford it. *He* know how to value 'em. But you take a man dat's got 'bout five million chillen runnin' roun' de house, en it's diffunt. *He* as soon chop a chile in two as a cat. Dey's plenty mo'. A chile er two, mo'er less, warn't no consekens to Sollermun, dad fetch him! "

I never see such a nigger. If he got a notion in his head once, there warn't no getting it out again. He was the most down on Solomon of any nigger I ever see. So I went to talking about other kings, and let Slomon slide. I told about Louis Sixteenth that got his head cut off in France long time ago; and about his little boy the dolphin, that would 'a' been a king, but they took and shut him up in jail, and some say he died there.

"Po' little chap."

"But some says he got out and got away, and come to America."

"Dat's good! But he'll be pooty lonesome—dey ain' no kings here, is dey, Huck?"

"No."

"Den he cain't git no situation. What he gwyne to do?"

"Well, I don't know. Some of them gets on the police, and some of them learns people how to talk French."

"Why, Huck, doan' de French people talk de same way we does?"

"No, Jim; you couldn't understand a word they said—not a single word."

"Well, now, I be ding-busted! How do dat come?"

"I don't know; but it's so. I got some of their jabber out of a book. S'pose a man was to come to you and say Polly-voo-franzy—what would you think?"

"I wouldn't think nuffin; I'd take en bust him over de head—dat is, if he warn't white. I wouldn't 'low no nigger to call me dat."

"Shucks, it ain't calling you anything. It's only saying, do you know how to talk French?"

"Well, den, why couldn't he say it?"

"Why, he *is* a-saying it. That's a Frenchman's way of saying it."

"Well, it's a blame ridiclous way, en I doan' want to hear no mo' 'bout it. Dey ain' no sense in it."

"Looky here, Jim; does a cat talk like we do?"

"No, a cat don't."

"Well, does a cow?"

"No, a cow don't, nuther."

"Does a cat talk like a cow, or a cow talk like a cat?"

"No, dey don't."

"It's natural and right for 'em to talk different from each other, ain't it?"

"Course."

"And ain't it natural and right for a cat and a cow to talk different from *us*?"

"Why, mos' sholy it is."

"Well, then, why ain't it natural and right for a *Frenchman* to talk different from us? You answer me that."

"Is a cat a man, Huck?"

"No."

"Well, den, dey ain't no sense in a cat talkin' like a man. Is a cow a man?—er is a cow a cat?"

"No, she ain't either of them."

"Well, den, she ain't got no business to talk like either one er the yuther of 'em. Is a Frenchman a man?"

"Yes."

"Well, den! Dad blame it, why doan' he *talk* like a man? You answer me *dat*!"

I see it warn't no use wasting words—you can't learn a nigger to argue. So I quit.

CHAPTER XV

We judged that three nights more would fetch us to Cairo, at the bottom of Illinois, where the Ohio River comes in, and that was what we was after. We would sell the raft and get on a steamboat and go way up the Ohio amongst the free states, and then be out of trouble.

Well, the second night a fog begun to come on, and we made for a towhead to tie to, for it wouldn't do to try to run in a fog; but when I

paddled ahead in the canoe, with the line to make fast, there warn't anything but little saplings to tie to. I passed the line around one of them right on the edge of the cut bank, but there was a stiff current, and the raft come booming down so lively she tore it out by the roots and away she went. I see the fog closing down, and it made me so sick and scared I couldn't budge for most a half a minute it seemed to me—and then there warn't no raft in sight; you couldn't see twenty yards. I jumped into the canoe and run back to the stern, and grabbed the paddle and set her back a stroke. But she didn't come. I was in such a hurry I hadn't untied her. I got up and tried to untie her, but I was so excited my hands shook so I couldn't hardly do anything with them.

As soon as I got started I took out after the raft, hot and heavy, right down the towhead. That was all right as far as it went, but the towhead warn't sixty yards long, and the minute I flew by the foot of it I shot qut into the solid white fog, and hadn't no more idea which way I was going than a dead man.

Thinks I, it won't do to paddle; first I know I'll run into the bank or a towhead or something; I got to set still and float, and yet it's mighty fidgety business to have to hold your hands still at such a time. I whooped and listened. Away down there somewheres I hears a small whoop, and up comes my spirits. I went tearing after it, listening sharp to hear it again. The next time it come I see I warn't heading for it, but heading away to the right of it. And the next time I was heading away to the left of it—and not gaining on it much either, for I was flying around, this way and that and t' other, but it was going straight ahead all the time.

I did wish the fool would think to beat a tin pan, and beat it all the time, but he never did, and it was the still places between the whoops that was making the trouble for me. Well, I fought along, and directly I hears the whoop *behind* me. I was tangled good now. That was somebody else's whoop, or else I was turned around.

I throwed the paddle down. I heard the whoop again; it was behind me yet, but in a different place; it kept coming, and kept changing its place, and I kept answering, till by and by it was in front of me again, and I knowed the current had swung the canoe's head down-stream, and I was all right if that was Jim and not some other raftsmen holering. I couldn't tell nothing about voices in a fog, for nothing don't look natural nor sound natural in a fog.

The whooping went on, and in about a minute I come a-booming down on a cut bank with smoky ghosts of big trees on it, and the current throwed me off to the left and shot by, amongst a lot of snags that fairly roared, the current was tearing by them so swift.

In another second or two it was solid white and still again. I set perfectly still then, listening to my heart thump, and I reckon I didn't draw a breath while it thumped a hundred.

I just give up then. I knowed what the matter was. That cut-bank

was an island, and Jim had gone down t'other side of it. It warn't no towhead that you could float by in ten minutes. It had the big timber of a regular island; it might be five or six miles long and more than half a mile wide.

I kept quiet, with my ears cocked, about fifteen minutes, I reckon. I was floating along, of course, four or five miles an hour; but you don't ever think of that. No, you *feel* like you are laying dead still on the water; and if a little glimpse of a snag slips by you don't think to yourself how fast *you're* going, but you catch your breath and think, my! how that snag's tearing along. If you think it ain't dismal and lonesome out in a fog that way by yourself in the night, you try it once—you'll see.

Next, for about a half an hour, I whoops now and then; at last I hears the answer a long ways off, and tries to follow it, but I couldn't do it, and directly I judged I'd got into a nest of towheads, for I had little dim glimpses of them on both sides of me—sometimes just a narrow channel between, and some that I couldn't see I knowed was there because I'd hear the wash of the current against the old dead brush and trash that hung over the banks. Well, I warn't long loosing the whoops down amongst the towheads; and I only tried to chase them a little while, anyway, because it was worse than chasing a Jack-o'-lantern. You never knowed a sound dodge around so, and swap places so quick and so much.

I had to claw away from the bank pretty lively four or five times, to keep from knocking the islands out of the river; and so I judged the raft must be butting into the bank every now and then, or else it would get further ahead and clear out of hearing—it was floating a little faster than what I was.

Well, I seemed to be in the open river again by and by, but I couldn't hear no sign of a whoop nowheres. I reckoned Jim had fetched up on a snag, maybe, and it was all up with him. I was good and tired, so I laid down in the canoe and said I wouldn't bother no more. I didn't want to go to sleep, of course; but I was so sleepy I couldn't help it; so I thought I would take jest one little cat-nap.

But I reckon it was more than a cat-nap, for when I waked up the stars was shining bright, the fog was all gone, and I was spinning down a big bend stern first. First I didn't know where I was; I thought I was dreaming; and when things began to come back to me they seemed to come up dim out of last week.

It was a monstrous big river here, with the tallest and the thickest kind of timber on both banks; just a solid wall, as well as I could see by the stars. I looked away down-stream, and seen a black speck on the water. I took after it; but when I got to it it warn't nothing but a couple of saw-logs made fast together. Then I see another speck, and chased that; then another, and this time I was right. It was the raft.

When I got to it Jim was setting there with his head down between his knees, asleep, with his right arm hanging over the steering-oar. The

other oar was smashed off, and the raft was littered up with leaves and branches and dirt. So she'd had a rough time.

I made fast and laid down under Jim's nose on the raft, and began to gap, and stretch my fists out against Jim, and says:

"Hello, Jim, have I been asleep? Why didn't you stir me up?"

"Goodness gracious, is dat you, Huck? En you ain' dead—you ain' drowned—you's back ag'in? It's too good for true, honey, it's too good for true. Lemme look at you chile, lemme feel o' you. No, you ain' dead! you's back ag'in, 'live en soun', jist de same ole Huck—de same ole Huck, thanks to goodness! "

"What's the matter with you, Jim? You been a-drinking?"

"Drinkin'? Has I ben a-drinkin'? Has I had a chance to be a-drinkin'?"

"Well, then, what makes you talk so wild?"

"How does I talk wild?"

"*How?* Why, hain't you been talking about my coming back, and all that stuff, as if I'd been gone away."

"Huck—Huck Finn, you look me in de eye; look me in de eye. *Hain't* you ben gone away?"

"Gone away? Why, what in the nation do you mean? *I* hain't been gone anywheres. Where would I go to?"

"Well, looky here, boss, dey's sumfn wrong, dey is. Is I *me*, or who *is* I? Is I heah, or whah *is* I? Now dat's what I wants to know."

"Well, I think you're here, plain enough, but I think you're a tangle-headed old fool, Jim."

"I is, is I? Well, you answer me dis: Didn't you tote out de line in de canoe fer to make fas' to de towhead?"

"No, I didn't. What towhead? I hain't seen no towhead."

"You hain't seen no towhead? Looky here, didn't de line pull loose en de raf' go a-hummin' down de river, en leave you en de canoe behine in de fog?"

"What fog?"

"Why, *de* fog! —de fog dat's been aroun' all night. En didn't you whoop, en didn't I whoop, tell we got mix' up in de islands en one un us got los' en t'other one was jis' as good as los', 'kase he didn't know whah he wuz? En didn't I bust up agin a lot er dem islands en have a turrible time en mos' git drowned? Now ain' dat so, boss—ain't it so? You answer me dat."

"Well, this is too many for me, Jim. I hain't seen no fog, nor no islands, nor no troubles, nor nothing. I been setting here talking with you all night till you went to sleep about ten minutes ago, and I reckon I done the same. You couldn't 'a' got drunk in that time, so of course you've been dreaming."

"Dad fetch it, how is I gwyne to dream all dat in ten minutes?"

"Well, hang it all, you did dream it, because there didn't any of it happen."

"But, Huck, it's all jis' as plain to me as—"

"It don't make no difference how plain it is; there ain't nothing in

it. I know, because I've been here all the time."

Jim didn't say nothing for about five minutes, but set there studying over it. Then he says:

"Well, den, I reck'n I did dream it, Huck; but dog my cats ef it ain't de powerfulest dream I ever see. En I hain't ever had no dream b'fo' dat's tired me like dis one."

"Oh, well, that's all right, because a dream does tire a body like everything sometimes. But this one was a staving dream; tell me all about it, Jim."

So Jim went to work and told me the whole thing right through, just as it happened, only he painted it up considerable. Then he said he must start in and "terpret" it, because it was sent for a warning. He said the first towhead stood for a man that would try to do us some good, but the current was another man that would get us away from him. The whoops was warnings that would come to us every now and then, and if we didn't try hard to make out to understand them they'd just take us into bad luck, 'stead of keeping us out of it. The lot of towheads was troubles we was going to get into with quarrelsome people and all kinds of mean folks, but if we minded our business and didn't talk back and aggravate them, we would pull through and get out of the fog and into the big clear river, which was the free states, and wouldn't have no more trouble.

It had clouded up pretty dark just after I got on to the raft, but it was clearing up again now.

"Oh, well, that's all interpreted well enough as far as it goes, Jim," I says; "but what does *these* things stand for?"

It was the leaves and rubbish on the raft and the smashed oar. You could see them first-rate now.

Jim looked at the trash, and then looked at me, and back at the trash again. He had got the dream fixed so strong in his head that he couldn't seem to shake it loose and get the facts back into its place again right away. But when he did get the thing straightened around he looked at me steady without ever smiling and says:

"What do dey stan' for? I's gwyne to tell you. When I got all wore out wid work, en wid de callin' for you, en went to sleep, my heart wuz mos' broke bekase you wuz los', en I didn' k'yer no mo' what become er me en de raf'. En when I wake up en fine you back ag'in, all safe en soun', de tears come, en I could 'a' got down on my knees en kiss yo' foot, I's so thankful. En all you wuz thinkin' 'bout wuz how you could make a fool uv ole Jim wid a lie. Dat truck dah is *trash*; en trash is what people is dat puts dirt on de head er dey fren's en makes 'em ashamed."

Then he got up slow and walked to the wigwam, and went in there without saying anything but that. But that was enough. It made me feel so mean I could almost kissed *his* foot to get him to take it back.

It was fifteen minutes before I could work myself up to go and

humble myself to a nigger; but I done it, and I warn't ever sorry for it afterward, neither. I didn't do him no more mean tricks, and I wouldn't done that one if I'd 'a' knowed it would make him feel that way.

CHAPTER XVI

We slept most all day, and started out at night, a little ways behind a monstrous long raft that was as long going by as a procession. She had four long sweeps at each end, so we judged she carried as many as thirty men, likely. She had five big wigwams aboard, wide apart, and an open camp-fire in the middle, and a tall flag-pole at each end. There was a power of style about her. It *amounted* to something being a raftsmen on such a craft as that.

We went drifting down into a big bend, and the night clouded up and got hot. The river was very wide, and was walled with solid timber on both sides; you couldn't see a break in it hardly ever, or a light. We talked about Cairo, and wondered whether we would know it when we got to it. I said likely we wouldn't, because I had heard say there warn't but about a dozen houses there, and if they didn't happen to have them lit up, how was we going to know we was passing a town? Jim said if the two big rivers joined together there, that would show. But I said maybe we might think we was passing the foot of an island and coming into the same old river again. That disturbed Jim—and me too. So the question was, what to do? I said, paddle ashore the first time a light showed, and tell them pap was behind, coming along with a trading-scow, and was a green hand at the business, and wanted to know how far it was to Cairo. Jim thought it was a good idea, so we took a smoke on it and waited.

There warn't nothing to do now but to look out sharp for the town, and not pass it without seeing it. He said he'd be mighty sure to see it, because he'd be a free man the minute he seen it, but if he missed it he'd be in a slave country again and no more show for freedom. Every little while he jumps up and says:

"Dah she is?"

But it warn't. It was Jack-o'-lanterns, or lightning-bugs; so he set down again, and went to watching, same as before. Jim said it made him all over trembly and feverish to be so close to freedom. Well, I can tell you it made me all over trembly and feverish, too, to hear him, because I begun to get it through my head that he *was* most free—and who was to blame for it? Why, *me*. I couldn't get that out of my conscience, no how nor no way. It got to troubling me so I couldn't rest; I couldn't stay still in one place. It hadn't ever come home to me before, what this thing was that I was doing. But now it did; and it stayed with me, and scorched me more and more. I tried to make out to myself that *I* warn't to blame, because *I* didn't run Jim off from his rightful owner; but it warn't no use, conscience up and

says, every time, "But you knowed he was running for his freedom, and you could 'a' paddled ashore and told somebody." That was so—I couldn't get around that no way. That was where it pinched. Conscience says to me, "What had poor Miss Watson done to you that you could see her nigger go off right under your eyes and never say one single word? What did that poor old woman do to you that you could treat her so mean? Why, she tried to learn you your book, she tried to learn you your manners, she tried to be good to you every way she knowed how. *That's* what she done.

I got to feeling so mean and so miserable I most wished I was dead. I fidgeted up and down the raft, abusing myself to myself, and Jim was fidgeting up and down past me. We neither of us could keep still. Every time he danced around and says, "Dah's Cairo!" it went through me like a shot, and I thought if it *was* Cairo I reckoned I would die of miserableness.

Jim talked out loud all the time while I was talking to myself. He was saying how the first thing he would do when he got to a free state he would go to saving up money and never spend a single cent, and when he got enough he would buy his wife, which was owned on a farm close to where Miss Watson lived; and then they would both work to buy the two children, and if their master wouldn't sell them, they'd get an Ab'litionist to go and steal them.

It most froze me to hear such talk. He wouldn't ever dared to talk such talk in his life before. Just see what a difference it made in him the minute he judged he was about free. It was according to the old saying, "Give a nigger an inch and he'll take an ell." Thinks I, this is what comes of my not thinking. Here was this nigger, which I had as good as helped to run away, coming right out flat-footed and saying he would steal his children—children that belonged to a man I didn't even know; a man that hadn't ever done me no harm.

I was sorry to hear Jim say that, it was such a lowering of him. My conscience got to stirring me up hotter than ever, until at last I says to it, "Let up on me—it ain't too late yet—I'll paddle ashore at the first light and tell." I felt easy and happy and light as a feather right off. All my troubles was gone. I went to looking out sharp for a light, and sort of singing to myself. By and by one showed. Jim sings out:

"We's safe, Huck, we's safe! Jump up and crack yo' heels! Dat's de good ole Cairo at las', I jis knows it!"

I says:

"I'll take the canoe and go and see, Jim. It mightn't be, you know."

He jumped and got the canoe ready, and put his old coat in the bottom for me to set on, and give me the paddle; and as I shoved off, he says:

"Pooty soon I'll be a-shout'n' for joy, en I'll say, it's all on accounts o' Huck; I's a free man, en I couldn't ever ben free ef it hadn't ben for Huck; Huck done it. Jim won't ever forgit you, Huck; you's

de bes' fren' Jim's ever had; en you's de *only* fren' ole Jim's got now."

I was paddling off, all in a sweat to tell on him; but when he says this, it seemed to kind of take the tuck all out of me. I went along slow then, and I warn't right down certain whether I was glad I started or whether I warn't. When I was fifty yards off, Jim says:

"Dah you goes, de ole true Huck; de on'y white genlman dat ever kep' his promise to ole Jim."

Well, I just felt sick. But I says, I *got* to do it—I can't get *out* of it. Right then along comes a skiff with two men in it with guns, and they stopped and I stopped. One of them says:

"What's that yonder?"

"A piece of a raft," I says.

"Do you belong on it?"

"Yes, sir."

"Any men on it?"

"Only one, sir."

"Well, there's five niggers run off to-night up yonder, above the head of the bend. Is your man white or black?"

I didn't answer up prompt. I tried to, but the words wouldn't come. I tried for a second or two to brace up and out with it, but I warn't man enough—hadn't the spunk of a rabbit. I see I was weakening; so I just give up trying, and up and says:

"He's white."

"I reckon we'll go and see for ourselves."

"I wish you would," says I, "because it's pap that's there, and maybe you'd help me tow the raft ashore where the light is. He's sick—and so is mam and Mary Ann."

"Oh, the devil! we're in a hurry, boy. But I s'pose we've got to. Come, buckle to your paddle, and let's get along."

I buckled to my paddle and they laid to their oars. When we had made a stroke or two, I says:

"Pap 'll be mighty much obleeged to you. I can tell you. Everybody goes away when I want them to help me tow the raft ashore, and I can't do it by myself."

"Well, that's infernal mean. Odd, too. Say, boy, what's the matter with your father?"

"It's the—a—the—well, it ain't anything much."

They stopped pulling. It warn't but a mighty little ways to the raft now. One says:

"Boy, that's a lie. What *is* the matter with your pap? Answer up square now, and it 'll be the better for you."

"I will, sir, I will, honest—but don't leave us, please. It's the—the—Gentlemen, if you'll only pull ahead, and let me heave you the headline, you wqn't have to come a-near the raft—please do."

"Set her back, John, set her back!" says one. They backed water. "Keep away, boy—keep to looard. Confound it, I just expect the wind has blowed it to us. Your pap's got the smallpox, and you know it

precious well. Why didn't you come out and say so? Do *you* want to spread it all over?"

"Well," says I, a-blubbering, "I've told everybody before, and they just went away and left us."

"Poor devil, there's something in that. We are right down sorry for you, but we—well, hang it, we don't want the smallpox, you see. Look here, I'll tell you what to do. Don't you try to land by yourself, or you'll smash everything to pieces. You float along down about twenty miles, and you'll come to a town on the left-hand side of the river. It will be long after sun-up then, and when you ask for help you tell them your folks are all down with chills and fever. Don't be a fool again, and let people guess what is the matter. Now we're trying to do you a kindness; so you just put twenty miles between us, that's a good boy. It wouldn't do any good to land yonder where the light is—it's only a wood-yard. Say, I reckon your father's poor, and I'm bound to say he's in pretty hard luck. Here, I'll put a twenty-dollar gold piece on this board, and you get it when it floats by. I feel mighty mean to leave you; but my kingdom! it won't do to fool with smallpox, don't you see?"

"Hold on, Parker," says the man, "here's a twenty to put on the board for me. Good-by, boy; you do as Mr. Parker told you, and you'll be all right."

"That's so, my boy—good-by, good-by. If you see any runaway niggers you get help and nab them, and you can make some money by it."

"Good-by, sir," says I; "I won't let no runaway niggers get by me if I can help it."

They went off and I got aboard the raft, feeling bad and low, because I knowed very well I had done wrong, and I see it warn't no use for me to try to learn to do right; a body that don't get *started* right when he's little ain't got no show—when the pinch comes there ain't nothing to back him up and keep him to his work, and so he gets beat. Then I thought a minute, and says to myself, hold on; s'pose you'd 'a' done right and give Jim up, would you felt better that what you do now? No, says I, I'd feel bad—I'd feel just the same way I do now. Well, then, says I, what's the use you learning to do right when it's trouble some to do right and ain't no trouble to do wrong, and the wages is just the same? I was stuck. I couldn't answer that. So I reckoned I wouldn't bother no more about it, but after this always do whichever come handiest at the time.

I went into the wigwam; Jim warn't there. I looked all around; he warn't anywhere. I says:

"Jim!"

"Here I is, Huck. Is dey out o'sight yit? Don't talk loud."

He was in the river under the stern oar, with just his nose out. I told him they were out of sight, so he come aboard. He says:

"I was a-listenin' to all de talk, en I slips into de river en was gwyne to shove for sho' if dey come aboard. Den I was gwyne to swim to de

raft agin when dey was gone. But lawsy, how you did fool 'em, Huck! Dat wuz de smartes' dodge! I tell you, chile, I 'spec it save' ole Jim—ole Jim ain't going to forgit you for dat, honey."

Then we talked about the money. It was a pretty good raise—twenty dollars apiece. Jim said we could take deck passage on a steamboat now, and the money would last us as far as we wanted to go in the free states. He said twenty mile more warn't far for the raft to go, but he wished we was already there.

Towards daybreak we tied up, and Jim was mighty particular about hiding the raft good. Then he worked all day fixing things in bundles, and getting all ready to quit rafting.

That night about ten we hove in sight of the lights of a town away down in a left-hand bend.

I went off in the canoe to ask about it. Pretty soon I found a man out in the river with a skiff, setting a trot-line. I ranged up and says:

"Mister, is that town Cairo?"

"Cairo? no. You must be a blame' fool."

"What town is it, mister?"

"If you want to know, go and find out. If you stay here botherin' around me for about a half a minute longer you'll get something you won't want."

I paddled to the raft. Jim was awful disappointed, but I said never mind, Cairo would be the next place, I reckoned.

We passed another town before daylight, and I was going out again; but it was high ground, so I didn't go. No high ground about Cairo, Jim said. I had forgot it. We laid up for the day on a towhead tolerable close to the left-hand bank. I begun to suspicion something. So did Jim. I says:

"Maybe we went by Cairo in the fog that night."

He says:

"Doan' le's talk about it, Huck. Po' niggers can't have no luck. I awluz 'spected dat rattlesnake-skin warn't done wid its work."

"I wish I'd never seen that snake-skin, Jim—I do wish I'd never laid eyes on it."

"It ain't yo' fault, Huck; you didn't know. Don't you blame yo'self 'bout it."

When it was daylight, here was the clear Ohio water inshore, sure enough, and outside was the old regular Muddy! So it was all up with Cairo.

We talked it all over. It wouldn't do to take to the shore; we couldn't take the raft up the stream, of course. There warn't no way but to wait for dark, and start back in the canoe and take the chances. So we slept all day amongst the cottonwood thicket, so as to be fresh for the work, and when we went back to the raft about dark the canoe was gone!

We didn't say a word for a good while. There warn't anything to say. We both knowed well enough it was some more work of the rat-

lesnake-skin; so what was the use to talk about it? It would only look like we was finding fault, and that would be bound to fetch more bad luck—and keep on fetching it, too, till we knowed enough to keep still.

By and by we talked about what we better do, and found there warn't no way but just to go along down with the raft till we got a chance to buy a canoe to go back in. We warn't going to borrow it when there warn't anybody around, the way pap would do, for that might set people after us.

So we shoved out after dark on the raft.

Anybody that don't believe yet that it's foolishness to handle a snake-skin, after all that snake-skin done for us, will believe it now if they read on and see what more it done for us.

The place to buy canoes is off of rafts laying up at shore. But we didn't see no rafts laying up; so we went along during three hours and more. Well, the night got gray and ruther thick, which is the next meanest thing to fog. You can't tell the shape of the river, and you can't see no distance. It got to be very late and still, and then along comes a steamboat up the river. We lit the lantern, and judged she would see it. Up-stream boats didn't generly come close to us; they go out and follow the bars and hunt for easy water under the reefs; but nights like this they bull right up the channel against the whole river.

We could hear her pounding along, but we didn't see her good till she was close. She aimed right for us. Often they do that and try to see how close they can come without touching; sometimes the wheel bites off a sweep, and then the pilot sticks his head out and laughs, and thinks he's mighty smart. Well, here she comes, and we said she was going to try and shave us; but she didn't seem to be sheering off a bit. She was a big one, and she was coming in a hurry, too, looking like a black cloud with rows of glow-worms around it; but all of a sudden she bulged out, big and scary, with a long row of wide-open furnace doors shining like red-hot teeth, and her monstrous bows and guards hanging right over us. There was a yell at us, and a jingling of bells to stop the engines, a powwow of cussing, and whistling of steam—and as Jim went overboard on one side and I on the other, she come smashing straight through the raft.

I dived—and I aimed to find the bottom, too, for a thirty-foot wheel had got to go over me, and I wanted it to have plenty of room. I could always stay under water a minute; this time I reckon I stayed under a minute and a half. Then I bounced for the top in a hurry, for I was nearly busting. I popped out to my armpits and blowed the water out of my nose, and puffed a bit. Of course there was a booming current; and of course that boat started her engines again ten seconds after she stopped them, for they never cared much for raftsmen; so now she was churning along up the river, out of sight in the thick weather, though I could hear her.

I sung out for Jim about a dozen times, but I didn't get any

answer; so I grabbed a plank that touched me while I was "treading water," and struck out for shore, shoving it ahead of me. But I made out to see that the drift of the current was towards the left-hand shore, which meant that I was in a crossing; so I changed off and went that way.

It was one of these long, slanting, two-mile crossings; so I was a good long time in getting over. I made a safe landing, and clumb up the bank. I couldn't see but a little ways, but I went poking along over rough ground for a quarter of a mile or more, and then I run across a big old-fashioned double log house before I noticed it. I was going to rush by and get away, but a lot of dogs jumped out and went to howling and barking at me, and I knowed better than to move another peg.

CHAPTER XVII

In about a minute somebody spoke out of a window without putting his head out, and says:

"Be done, boys! Who's there?"

I says:

"It's me."

"Who's me?"

"George Jackson, sir."

"What do you want?"

"I don't want nothing, sir. I only want to go along by, but the dogs won't let me."

"What are you prowling around here this time of night for—hey?"

"I warn't prowling around, sir, I fell overboard off of the steamboat."

"Oh, you did, did you? Strike a light there, somebody. What did you say your name was?"

"George Jackson, sir. I'm only a boy."

"Look here, if you're telling the truth you needn't be afraid—nobody 'll hurt you. But don't try to budge; stand right where you are. Rouse out Bob and Tom, some of you, and I fetch the guns. George Jackson, is there anybody with you?"

"No, sir, nobody."

I heard the people stirring around in the house now, and see a light. The man sung out:

"Snatch that light away, Betsy, you old fool—ain't you got any sense? Put it on the floor behind the front door. Bob, if you and Tom are ready, take your places."

"All ready."

"Now, George Jackson, do you know the Shepherdsons?"

"No, sir; I never heard of them."

"Well, that may be so, and it mayn't. Now, all ready. Step forward, George Jackson. And mind, don't you hurry—come mighty slow. If

there's anybody with you, let him keep back—if he shows himself he'll be shot. Come along now. Come slow; push the door open yourself—just enough to squeeze in, d'you hear?"

I didn't hurry; I couldn't if I'd a-wanted to. I took one slow step at a time and there warn't a sound, only I thought I could hear my heart. The dogs were as still as the humans, but they followed a little behind me. When I got to the three log doorsteps I heard them unlocking and unbarring and unbolting. I put my hand on the door and pushed it a little and a little more till somebody said, "There, that's enough—put your head in." I done it, but I judged they would take it off.

The candle was on the floor, and there they all was, looking at me, and me at them, for about a quarter of a minute: Three big men with guns pointed at me, which made me wince, I tell you; the oldest, gray and about sixty, the other two thirty or more—all of them fine and handsome—and the sweetest old gray-headed lady, and back of her two young women which I couldn't see right well. The old gentleman says:

"There; I reckon it's all right. Come in."

As soon as I was in the old gentleman he locked the door and barred it and bolted it, and told the young men to come in with their guns, and they all went in a big parlor that had a new rag carpet on the floor, and got together in a corner that was out of the range of the front windows—there warn't none on the side. They held the candle, and took a good look at me, and all said, "Why, *he* ain't a Shepherdson—no, there ain't any Shepherdson about him." Then the old man said he hoped I wouldn't mind being searched for arms, because he didn't mean no harm by it—it was only to make sure. So he didn't pry into my pockets, but only felt outside with his hands, and said it was all right. He told me to make myself easy and at home, and tell all about myself; but the old lady says:

"Why, bless you, Saul, the poor thing's as wet as he can be; and don't you reckon it may be he's hungry?"

"True for you, Rachel—I forgot."

So the old lady says:

"Betsy" (this was a nigger woman), "you fly around and get him something to eat as quick as you can, poor thing; and one of you girls go and wake up Buck and tell him—oh, here he is himself. Buck, take this little stranger and get the wet clothes off from him and dress him up in some of yours that's dry."

Buck looked about as old as me—thirteen or fourteen or along there, though he was a little bigger than me. He hadn't on anything but a shirt, and he was very frowzy-headed. He came in gaping and digging one fist into his eyes, and he was dragging a gun along with the other one. He says:

"Ain't they no Shepherdsons around?"

They said, no, 'twas a false alarm.

"Well," he says, "if they'd 'a' ben some, I reckon I'd 'a' got one."

They all laughed, and Bob says:

"Why, Buck, they might have scalped us all, you've been so slow in coming."

"Well, nobody come after me, and it ain't right. I'm always kept down; I don't get no show."

"Never mind, Buck, my boy," says the old man, "you'll have show enough, all in good time, don't you fret about that. Go 'long with you now, and do as your mother told you."

When we got up-stairs to his room he got me a coarse shirt and a roundabout and pants of his, and I put them on. While I was at it he asked me what my name was, but before I could tell him he started to tell me about a blue-jay and a young rabbit he had caught in the woods day before yesterday, and he asked me where Moses was when the candle went out. I said I didn't know; I hadn't heard about it before, no way.

"Well, guess," he says.

"How'm I going to guess," says I, "when I never heard tell of it before?"

"But you can guess, can't you? It's just as easy."

"Which candle?" I says.

"Why, any candle," he says.

"I don't know where he was," says I; "where was he?"

"Why, he was in the *dark*! That's where he was! "

"Well, if you knowed where he was, what did you ask me for?"

"Why, blame it, it's a riddle, don't you see? Say, how long are you going to stay here? You got to stay always. We can just have booming times—they don't have no school now. Do you own a dog? I've got a dog—and he'll go in the river and bring out chips that you throw in. Do you like to comb up Sundays, and all that kind of foolishness? You bet I don't, but ma she makes me. Confound these ole britches! I reckon I'd better put 'em on, but I'd ruther not, it's so warm. Are you all ready? All right. Come along, old hoss."

Cold corn-pone, cold corn-beef, butter and buttermilk—that is what they had for me down there, and there ain't nothing better that ever I've come across yet. Buck and his ma and all of them smoked cob pipes, except the nigger woman, which was gone, and the two young women. They all smoked and talked, and I eat and talked. The young women had quilts around them, and their hair down their backs. They all asked me questions, and I told them how pap and me and all the family was living on a little farm down at the bottom of Arkansaw, and my sister Mary Ann run off and got married and never was heard of no more, and Bill went to hunt them and he warn't heard of no more, and Tom and Mort died, and then there warn't nobody but just me and pap left, and he was just trimmed down to nothing, on account of his troubles; so when he died I took what there was left, because the farm didn't belong to us, and started up the river, deck passage, and fell overboard; and that was how I come

to be here. So they said I could have a home there as long as I wanted it. Then it was most daylight and everybody went to bed, and I went to bed with Buck, and when I waked up in the morning, drat it all, I had forgot what my name was. So I laid there about an hour trying to think, and when Buck waked up I says:

"Can you spell, Buck?"

"Yes," he says.

"I bet you can't spell my name," says I.

"I bet you what you dare I can," says he.

"All right," says I, "go ahead."

"G-e-o-r-g-e J-a-x-o-n—there now," he says.

"Well," says I, "you done it, but I didn't think you could. It ain't no slouch of a name to spell—right off without studying."

I set it down, private, because somebody might want *me* to spell it next, and so I wanted to be handy with it and rattle it off like I was used to it.

It was a mighty nice family, and a mighty nice house, too. I hadn't seen no house out in the country before that was so nice and had so much style. It didn't have an iron latch on the front door, nor a wooden one with a buckskin string, but a brass knob to turn, the same as houses in town. There warn't no bed in the parlor, nor a sign of a bed, but heaps of parlors in towns has beds in them. There was a big fireplace that was bricked on the bottom, and the bricks was kept clean and red by pouring water on them and scrubbing them with another brick; sometimes they wash them over with red water-paint that they call Spanish-brown, same as they do in town. They had big brass dog-irons that could hold up a saw-log. There was a clock on the middle of the mantelpiece, with a picture of a town painted on the bottom half of the glass front, and a round place in the middle of it for the sun, and you could see the pendulum swinging behind it. It was beautiful to hear that clock tick; and sometimes when one of these peddlers had been along and scoured her up and got her in good shape, she would start in and strike a hundred and fifty before she got tuckered out. They wouldn't took any money for her.

Well, there was a big outlandish parrot on each side of the clock, made out of something like chalk, and painted up gaudy. By one of the parrots was a cat made of crockery, and a crockery dog by the other; and when you pressed down on them they squeaked, but didn't open their mouths nor look different nor interested. They squeaked through underneath. There was a couple of big wild-turkey-wing fans spread out behind those things. On the table in the middle of the room was a kind of a lovely crockery basket that had apples and oranges and peaches and grapes piled up in it, which was much redder and yellower and prettier than real ones is, but they warn't real because you could see where pieces had got chipped off and showed the white chalk, or whatever it was, underneath.

This table had a cover made out of beautiful oilcloth, with a red

and blue spread-eagle painted on it, and a painted border all around. It come all the way from Philadelphia, they said. There was some books, too, piled up perfectly exact, on each corner of the table. One was a big family Bible full of pictures. One was *Pilgrim's Progress*, about a man that left his family, it didn't say why. I read considerable in it now and then. The statements was interesting, but tough. Another was *Friendship's Offering*, full of beautiful stuff and poetry; but I didn't read the poetry. Another was Henry Clay's *Speeches*, and another was Dr. Gunn's *Family Medicine*, which told you all about what to do if a body was sick or dead. There was a hymn-book, and a lot of other books. And there was nice split-bottom chairs, and perfectly sound, too—not bagged down in the middle and busted, like an old basket.

They had pictures hung on the walls—mainly Washingtons and Lafayettes, and battles, and Highland Marys, and one called "Signing the Declaration." There was some that they called crayons, which one of the daughters which was dead made her own self when she was only fifteen years old. They was different from any pictures I ever see before—blacker, mostly, than is common. One was a woman in a slim black dress, belted small under the armpits, with bulges like a cabbage in the middle of the sleeves, and a large black scoop-shovel bonnet with a black veil, and white slim ankles crossed about with black tape, and very wee black slippers, like a chisel, and she was leaning pensive on a tombstone on her right elbow, under a weeping willow, and her other hand hanging down her side holding a white handkerchief and a reticule, and underneath the picture it said "Shall I Never See Thee More Alas." Another one was a young lady with her hair all combed up straight to the top of her head, and knotted there in front of a comb like a chair-back, and she was crying into a handkerchief and had a dead bird laying on its back in her other hand with its heels up, and underneath the picture it said "I Shall Never Hear Thy Sweet Chirrup More Alas." There was one where a young lady was at a window looking up at the moon, and tears running down her cheeks; and she had an open letter in one hand with black sealing-wax showing on one edge of it, and she was mashing a locket with a chain to it against her mouth, and underneath the picture it said "And Art Thou Gone Yes Thou Art Gone Alas." These was all nice pictures, I reckon, but I didn't somehow seem to take to them, because if ever I was down a little they always give me the fan-tods. Everybody was sorry she died, because she had laid out a lot more of these pictures to do, and a body could see by what she had done what they had lost. But I reckoned that with her disposition she was having a better time in the graveyard. She was at work on what they said was her greatest picture when she took sick, and every day and every night it was her prayer to be allowed to live till she got it done, but she never got the chance. It was a picture of a young woman in a long white gown, standing on the rail of a bridge all ready to jump off, with her hair all down her

back, and looking up to the moon, with the tears running down her face, and she had two arms folded across her breast, and two arms stretched out in front, and two more reaching up toward the moon—and the idea was to see which pair would look best, and then scratch out all the other arms; but, as I was saying, she died before she got her mind made up, and now they kept this picture over the head of the bed in her room, and every time her birthday come they hung flowers on it. Other times it was hid with a little curtain. The young woman in the picture had a kind of a nice sweet face, but there was so many arms it made her look too spidery, seemed to me.

This young girl kept a scrap-book when she was alive, and used to paste obituaries and accidents and cases of patient suffering in it out of the *Presbyterian Observer*, and write poetry after them out of her own head. It was very good poetry. This is what she wrote about a boy by the name of Stephen Dowling Bots that fell down a well and was drowned:

ODE TO STEPHEN DOWLING BOTS, DEC'D

And did young Stephen sicken,
And did young Stephen die?
And did the sad hearts thicken,
And did the mourners cry?

No; such was not the fate of
Young Stephen Dowling Bots;
Though sad hearts round him thickened,
'Twas not from sickness' shots.

No whooping-cough did rack his frame,
Nor measles drear with spots;
Not these impaired the sacred name
Of Stephen Dowling Bots.

Despised love struck not with woe
That head of curly knots,
Nor stomach troubles laid him low,
Young Stephen Dowling Bots.

O no. Then list with tearful eye,
Whilst I his fate do tell.
His soul did from this cold world fly
By falling down a well.

They got him out and emptied him;
Alas it was too late;
His spirit was gone for to sport aloft
In the realms of the good and great.

If Emmeline Grangerford could make poetry like that before she was fourteen, there ain't no telling what she could 'a' done by and by. Buck said she could rattle off poetry like nothing. She didn't ever have to stop to think. He said she would slap down a line, and if she couldn't find anything to rhyme with it would just scratch it out and slap down another one, and go ahead. She warn't particular; she could write about anything you choose to give her to write about just so it was sadful. Every time a man died, or a woman died, or a child died, she would be on hand with her "tribute" before he was cold. She called them tributes. The neighbors said it was the doctor first, then Emmeline, then the undertaker—the undertaker never got in ahead of Emmeline but once, and then she hung fire on a rhyme for the dead person's name, which was Whistler. She warn't ever the same after that; she never complained, but she kinder pined away and did not live long. Poor thing, many's the time I made myself go up to the little room that used to be hers and get out her poor old scrap-book and read in it when her pictures had been aggravating me and I had soured on her a little. I liked all that family, dead ones and all, and warn't going to let anything come between us. Poor Emmeline made poetry about all the dead people when she was alive, and it didn't seem right that there warn't nobody to make some about her now she was gone; so I tried to sweat out a verse or two myself, but I couldn't seem to make it go somehow. They kept Emmeline's room trim and nice, and all the things fixed in it just the way she liked to have them when she was alive, and nobody ever slept there. The old lady took care of the room herself, though there was plenty of niggers, and she sewed there a good deal and read her Bible there mostly.

Well, as I was saying about the parlor, there was beautiful curtains on the windows: white, with pictures painted on them of castles with vines all down the walls, and cattle coming down to drink. There was a little old piano, too, that had tin pans in it, I reckon, and nothing was ever so lovely as to hear the young ladies sing "The Last Link is Broken" and play "The Battle of Prague" on it. The walls of all the rooms was plastered, and most had carpets on the floors, and the whole house was whitewashed on the outside.

It was a double house, and the big open place betwixt them was roofed and floored, and sometimes the table was set there in the middle of the day, and it was a cool, comfortable place. Nothing couldn't be better. And warn't the cooking good, and just bushels of it too!

CHAPTER XVIII

Col. Grangerford was a gentleman, you see. He was a gentleman all over; and so was his family. He was well born, as the saying is, and that's worth as much in a man as it is in a horse, so the Widow Doug-

las said, and nobody ever denied that she was of the first aristocracy in our town; and pap he always said it, too, though he warn't no more quality than a mudcat himself. Col. Grangerford was very tall and very slim, and had a darkish-paly complexion, not a sign of red in it anywheres; he was clean-shaved every morning all over his thin face, and he had the thinnest kind of lips, and the thinnest kind of nostrils, and a high nose, and heavy eyebrows, and the blackest kind of eyes, sunk so deep back that they seemed like they was looking out of caverns at you, as you may say. His forehead was high, and his hair was gray and straight and hung to his shoulders. His hands was long and thin, and every day of his life he put on a clean shirt and a full suit from head to foot made out of linen so white it hurt your eyes to look at it; and on Sundays he wore a blue tail-coat with brass buttons on it. He carried a mahogany cane with a silver head to it. There warn't no frivolishness about him, not a bit, and he warn't ever loud. He was as kind as he could be—you could feel that, you know, and so you had confidence. Sometimes he smiled, and it was good to see; but when he straightened himself up like a liberty-pole, and the lightning begun to flicker out from under his eyebrows, you wanted to climb a tree first, and find out what the matter was afterwards. He didn't ever have to tell anybody to mind their manners—everybody was always good-mannered where he was. Everybody loved to have him around, too; he was sunshine most always—I mean he made it seem like good weather. When he turned into a cloud-bank it was awful dark for half a minute, and that was enough; there wouldn't nothing go wrong again for a week.

When him and the old lady come down in the morning all the family got up out of their chairs and give them good day, and didn't set down again till they had set down. Then Tom and Bob went to the sideboard where the decanter was, and mixed a glass of bitters and handed it to him, and he held it in his hand and waited till Tom's and Bob's was mixed, and then they bowed and said, "Our duty to you, sir, and madam"; and *they* bowed the least bit in the world and said thank you, and so they drank, all three, and Bob and Tom poured a spoonful of water on the sugar and the mite of whisky or apple-brandy in the bottom of their tumblers, and give it to me and Buck, and we drank to the old people too.

Bob was the oldest and Tom next—tall, beautiful men with very broad shoulders and brown faces, and long black hair and black eyes. They dressed in white linen from head to foot, like the old gentleman, and wore broad Panama hats.

Then there was Miss Charlotte; she was twenty-five, and tall and proud and grand, but as good as she could be when she warn't stirred up; but when she was she had a look that would make you wilt in your tracks, like her father. She was beautiful.

So was her sister, Miss Sophia, but it was a different kind. She was gentle and sweet like a dove, and she was only twenty.

Each person had their own nigger to wait on them—Buck too. My nigger had a monstrous easy time, because I warn't used to having anybody do anything for me, but Buck's was on the jump most of the time.

This was all there was of the family now, but there used to be more—three sons; they got killed; and Emmeline that died.

The old gentleman owned a lot of farms and over a hundred niggers. Sometimes a stack of people would come there, horseback, from ten or fifteen mile around, and stay five or six days, and have such junketings round about and on the river, and dances and picnics in the woods day-times, and balls at the house nights. These people was mostly kinfolks of the family. The men brought their guns with them. It was a handsome lot of quality, I tell you.

There was another clan of aristocracy around there—five or six families—mostly of the name of Shepherdson. They was as high-toned and well born and rich and grand as the tribe of Grangerfords. The Shepherdsons and Grangerfords used the same steamboat-landing, which was about two mile above our house; so sometimes when I went up there with a lot of our folks I used to see a lot of the Shepherdsons there on their fine horses.

One day Buck and me was away out in the woods hunting, and heard a horse coming. We was crossing the road. Buck says:

"Quick! Jump for the woods!"

We done it, and then peeped down the woods through the leaves. Pretty soon a splendid young man came galloping down the road, setting his horse easy and looking like a soldier. He had his gun across his pommel. I had seen him before. It was young Harney Shepherdson. I heard Buck's gun go off at my ear, and Harney's hat tumbled off from his head. He grabbed his gun and rode straight to the place where we was hid. But we didn't wait. We started through the woods on a run. The woods warn't thick, so I looked over my shoulder to dodge the bullet, and twice I seen Harney cover Buck with his gun; and then he rode away the way he come—to get his hat, I reckon, but I couldn't see. We never stopped running till we got home. The old gentleman's eyes blazed a minute—'twas pleasure, mainly, I judged—then his face sort of smoothed down, and he says, kind of gentle:

"I don't like that shooting from behind a bush. Why didn't you step into the road, my boy?"

"The Shepherdsons don't, father. They always take advantage."

Miss Charlotte she held her head up like a queen while Buck was telling his tale, and her nostrils spread and her eyes snapped. The two young men looked dark, but never said nothing. Miss Sophia she turned pale, but the color come back when she found the man warn't hurt.

Soon as I could get Buck down by the corn-cribs under the trees by ourselves, I says:

"Did you want to kill him, Buck?"

"Well, I bet I did."

"What did he do to you?"

"Him? He never done nothing to me."

"Well, then, what did you want to kill him for?"

"Why, nothing—only it's on account of the feud."

"What's a feud?"

"Why, where was you raised? Don't you know what a feud is?"

"Never heard of it before—tell me about it."

"Well," says Buck, "a feud is this way: A man has a quarrel with another man, and kills him; then that other man's brother kills *him*; then the other brothers, on both sides, goes for one another; then the *cousins* chip in—and by and by everybody's killed off, and there ain't no more feud. But it's kind of slow, and takes a long time."

"Has this one been going on long, Buck?"

"Well, I should *reckon*! It started thirty year ago, or som'ers along there. There was trouble 'bout something, and then a lawsuit to settle it; and the suit went agin one of the men, and so he up and shot the man that won the suit—which he would naturally do, of course. Anybody would."

"What was the trouble about, Buck?—land?"

"I reckon maybe—I don't know."

"Well, who done the shooting? Was it a Grangerford or a Shepherdson?"

"Laws, how do I know? It was so long ago."

"Don't anybody know?"

"Oh, yes, pa knows, I reckon, and some of the other old people; but they don't know now what the row was about in the first place."

"Has there been many killed, Buck?"

"Yes; right smart chance of funerals. But they don't always kill. Pa's got a few buckshot in him; but he don't mind it 'cuz he don't weigh much, anyway. Bob's been carved up some with a bowie, and Tom's been hurt once or twice."

"Has anybody been killed this year, Buck?"

"Yes; we got one and they got one. 'Bout three months ago my cousin Bud, fourteen year old, was riding through the woods on t'other side of the river, and didn't have no weapon with him, which was blame' foolishness, and in a lonesome place he hears a horse a-coming behind him, and sees old Baldy Shepherdson a-linkin' after him with his gun in his hand and his white hair a-flying in the wind; and 'stead of jumping off and taking to the brush, Bud 'lowed he could outrun him; so they had it, nip and tuck, for five mile or more, the old man a-gaining all the time; so at last Bud seen it warn't any use, so he stopped and faced around so as to have the bullet-holes in front, you know, and the old man he rode up and shot him down. But he didn't git much chance to enjoy his luck, for inside of a week our folks laid *him* out."

"I reckon that old man was a coward, Buck."

"I reckon he *warn't* a coward. Not by a blame' sight. There ain't a coward amongst them Shepherdsons—not a one. And there ain't no cowards amongst the Grangerfords either. Why, that old man kep' up his end in a fight one day for half an hour against three Grangerfords, and come out winner. They was all a-horseback; he lit off of his horse and got behind a little woodpile, and kep' his horse before him to stop the bullets; but the Grangerfords stayed on their horses and capered around the old man, and peppered away at him, and he peppered away at them. Him and his horse both went home pretty leaky and crippled, but the Grangerfords had to be *fetched* home—and one of 'em was dead, and another died the next day. No, sir; if a body's out hunting for cowards he don't want to fool away any time amongst them Shepherdsons, becuz they don't breed any of that *kind*."

Next Sunday we all went to church, about three mile, everybody a-horseback. The men took their guns along, so did Buck, and kept them between their knees or stood them handy against the wall. The Shepherdsons done the same. It was pretty ornery preaching—all about brotherly love, and such-like tiresomeness; but everybody said it was a good sermon, and they all talked it over going home, and had such a powerful lot to say about faith and good works and free grace and preforeordination, and I don't know what all, that it did seem to me to be one of the roughest Sundays I had run across yet.

About an hour after dinner everybody was dozing around, some in their chairs and some in their rooms, and it got to be pretty dull. Buck and a dog was stretched out on the grass in the sun sound asleep. I went up to our room, and judged I would take a nap myself. I found that sweet Miss Sophia standing in her door, which was next to ours, and she took me in her room and shut the door very soft, and asked me if I liked her, and I said I did; and she asked me if I would do something for her and not tell anybody, and I said I would. Then she said she'd forgot her Testament, and left it in the seat at church between two other books, and would I slip out quiet and go there and fetch it to her, and not say nothing to nobody. I said I would. So I slid out and slipped off up the road, and there warn't anybody at the church, except maybe a hog or two, for there warn't any lock on the door, and hogs likes a puncheon floor in summer-time because it's cool. If you notice, most folks don't go to church only when they've got to; but a hog is different.

Says I to myself, something's up; it ain't natural for a girl to be in such a sweat about a Testament. So I give it a shake, and out drops a little piece of paper with "*Half past two*" wrote on it with a pencil. I ransacked it, but couldn't find anything else. I couldn't make anything out of that, so I put the paper in the book again, and when I got home and upstairs there was Miss Sophia in her door waiting for me. She pulled me in and shut the door; then she looked in the Testament till she found the paper, and as soon as she read it she

looked glad; and before a body could think she grabbed me and give me a squeeze, and said I was the best boy in the world, and not to tell anybody. She was mighty red in the face for a minute, and her eyes lighted up, and it made her powerful pretty. I was a good deal astonished, but when I got my breath I asked her what the paper was about, and she asked me if I had read it, and I said no, and she asked me if I could read writing, and I told her "no, only coarse-hand," and then she said the paper warn't anything but a book-mark to keep her place, and I might go and play now.

I went off down to the river, studying over this thing, and pretty soon I noticed that my nigger was following along behind. When we was out of sight of the house he looked back and around a second, and then comes a-running, and says:

"Mars Jawge, if you'll come down into de swamp I'll show you a whole stack o' water-moccasins."

Thinks I, that's mighty curious; he said that yesterday. He oughter know a body don't love water-moccasins enough to go around hunting for them. What is he up to, anyway? So I says:

"All right; trot ahead."

I followed a half a mile; then he struck out over the swamp, and waded ankle-deep as much as another half-mile. We come to a little flat piece of land which was dry and very thick with trees and bushes and vines, and he says:

"You shove right in dah jist a few steps, Mars Jawge; dah's whah dey is. I's seed 'm befo'; I don't k'yer to see 'em no mo'."

Then he slopped right along and went away, and pretty soon the trees hid him. I poked into the place a-ways and come to a little open patch as big as a bedroom all hung around with vines, and found a man laying there asleep—and by jings, it was my old Jim!

I waked him up, and I reckoned it was going to be a grand surprise to him to see me again, but it warn't. He nearly cried he was so glad, but he warn't surprised. Said he swum along behind me that night, and heard me yell every time, but dasn't answer, because he didn't want nobody to pick *him* up and take him into slavery again. Says he:

"I got hurt a little, en couldn't swim fas', so I wuz a considerable ways behine you towards de las'; when you landed I reck'ned I could ketch up wid you on de lan' 'dout havin' to shout at you, but when I see dat house I begin to go slow. I 'uz off too fur to hear what dey say to you—I wuz 'fraid o' de dogs; but when it 'uz all quiet ag'in I knowed you's in de house, so I struck out for de woods to wait for day. Early in de mawnin' some er de niggers come along, gwyne to de fields, en dey tuk me en showed me dis place, whah de dogs can't track me on accounts o' de water, en dey brings me truck to eat every night, en tells me how you's a-gittin' along."

"Why didn't you tell my Jack to fetch me here sooner, Jim?"

"Well, 'twarn't no use to 'sturb you, Huck, tell we could do sumfn—but we's all right now. I ben a-buyin' pots en pans en vittles,

as I got a chanst, en a-patchin' up de raf' nights when—"

"What raft, Jim?"

"Our ole raf'."

"You mean to say our old raft warn't smashed all to flinders?"

"No, she warn't. She was tore up a good deal—one en' of her was; but dey warn't no great harm done, on'y our traps was mos' all los'. Ef we hadn' dive' so deep en swum so fur under water, en de night hadn't ben so dark, en we warn't so sk'yerd, en ben sich punkin-heads, as de sayin' is, we'd a seed de raf'. But it's jis' as well we didn't, 'kase now she's all fixed up ag'in mos' as good as new, en we's got a new lot o' stuff, in de place o' what 'uz los'."

"Why, how did you get hold of the raft again, Jim—did you catch her?"

"How I gwyne to ketch her en I out in de woods? No; some er de niggers foun' her ketched on a snag along heah in de ben', en dey hid her in a crick 'mongst de willows, en dey wuz so much jawin' 'bout which un 'um she b'long to de mos' dat I come to heah 'bout it pooty soon, so I ups en settles de trouble by tellin' 'um she don't b'long to none uv 'um, but to you en me; en I ast 'm if dey gwyne to grab a young white genlman's propaty, en git a hid'n for it? Den I gin 'm ten cents apiece, en dey 'uz mighty well satisfied, en wisht some mo' raf's 'ud come along en make 'm rich ag'in. Dey's mighty good to me, dese niggers is, en whatever I wants 'm to do fur me I doan' have to aste 'm twice, honey. Dat Jack's a good nigger, en pooty smart."

"Yes, he is. He ain't ever told me you was here; told me to come, and he'd show me a lot of water-moccasins. If anything happens *he* ain't mixed up in it. He can say he never seen us together, and it 'll be the truth."

I don't want to talk much about the next day. I reckon I'll cut it pretty short. I waked up about dawn, and was a-going to turn over and go to sleep again when I noticed how still it was—didn't seem to be anybody stirring. That warn't usual. Next I noticed that Buck was up and gone. Well, I gets up, a-wondering, and goes down-stairs—nobody around; everything as still as a mouse. Just the same outside. Thinks I, what does it mean? Down by the wood-pile I comes across my Jack, and says:

"What's it all about?"

Says he:

"Don't you know, Mars Jawge?"

"No," says I, "I don't."

"Well, den, Miss Sophia's run off! 'deed she has. She run off in de night some time—nobody don't know jis' when; run off to get married to dat young Harney Shepherdson, you know—leastways, so dey 'spec. De fambly foun' it out 'bout half an hour ago—maybe a little mo'—en' I *tell* you dey warn't no time los'. Sich another hurryin' up guns en hosses *you* never see! De women folks has gone for to stir up de relations, en ole Mars Saul en de boys tuck dey guns en rode up

de river road for to try to ketch dat young man en kill him 'fo' he kin git acrost de river wid Miss Sophia. I reck'n dey's gwyne to be mighty rough times."

"Buck went off 'thout waking me up."

"Well, I reck'n he *did*! Dey warn't gwyne to mix you up in it. Mars Buck he loaded up his gun en 'lowed he's gwyne to fetch home a Shepherdson or bust. Well, dey'll be plenty un 'm dah, I reck'n, en you bet you he'll fetch one ef he gits a chanst."

I took up the river road as hard as I could put. By and by I begin to hear guns a good ways off. When I came in sight of the log store and the woodpile where the steamboats lands I worked along under the trees and brush till I got to a good place, and then I clumb up into the forks of a cotton-wood that was out of reach, and watched. There was a wood-rank four foot high a little ways in front of the tree, and first I was going to hide behind that; but maybe it was luckier I didn't.

There was four or five men cavorting around on their horses in the open place before the log store, cussing and yelling, and trying to get at a couple of young chaps that was behind the wood-rank alongside of the steamboat-landing; but they couldn't come it. Every time one of them showed himself on the river side of the woodpile he got shot at. The two boys was squatting back to back behind the pile, so they could watch both ways.

By and by the men stopped cavorting around and yelling. They started riding towards the store; then up gets one of the boys, draws a steady bead over the wood-rank, and drops one of them out of his saddle. All the men jumped off of their horses and grabbed the hurt one and started to-carry him to the store; and that minute the two boys started on the run. They got half-way to the tree I was in before the men noticed. Then the men see them, and jumped on their horses and took out after them. They gained on the boys, but it didn't do no good, the boys had too good a start; they got to the woodpile that was in front of my tree, and slipped in behind it, and so they had the bulge on the men again. One of the boys was Buck, and the other was a slim young chap about nineteen years old.

The men ripped around awhile, and then rode away. As soon as they was out of sight I sung out to Buck and told him. He didn't know what to make of my voice coming out of the tree at first. He was awful surprised. He told me to watch out sharp and let him know when the men come in sight again; said they was up to some devilment or other—wouldn't be gone long. I wished I was out of that tree, but I dasn't come down. Buck begun to cry and rip, and 'lowed that him and his cousin Joe (that was the other young chap) would make up for this day yet. He said his father and his two brothers was killed, and two or three of them enemy. Said the Shepherdsons laid for them in ambush. Buck said his father and brothers ought to waited for their relations—the Shepherdsons was too strong for them. I asked him what was become of young Harney and Miss Sophia. He said

they'd got across the river and was safe. I was glad of that; but the way Buck did take on because he didn't manage to kill Harney that day he shot at him—I hain't ever heard anything like it.

All of a sudden, bang! Bang! bang! goes three or four guns—the men had slipped around through the woods and come in from behind without their horses! The boys jumped for the river—both of them hurt—and as they swum down the current the men run along the bank shooting at them and singing out, "Kill them, kill them!" It made me so sick I most fell out of the tree. I ain't a-going to tell *all* that happened—it would make me sick again if I was to do that. I wished I hadn't ever come ashore that night to see such things. I ain't ever going to get shut of them—lots of times I dream about them.

I stayed in the tree till it begun to get dark, afraid to come down. Sometimes I heard guns away off in the woods; and twice I seen little gangs of men gallop past the log store with guns; so I reckoned the trouble was still a-going on. I was mighty down-hearted; so I made up my mind I wouldn't ever go anear that house again, because I reckoned I was to blame, somehow. I judged that that piece of paper meant that Miss Sophia was to meet Harney somewheres at half past two and run off; and I judged I ought to told her father about that paper and the curious way she acted, and then maybe he would 'a' locked her up, and this awful mess wouldn't ever happened.

When I got down out of the tree I crept along down the river-bank a piece, and found the two bodies laying in the edge of the water, and tugged at them till I got them ashore; then I covered up their faces, and got away as quick as I could. I cried a little when I was covering up Buck's face, for he was mighty good to me.

It was just dark now. I never went near the house, but struck through the woods and made for the swamp. Jim warn't on his island, so I tramped off in a hurry for the crick, and crowded through the willows, red-hot to jump abroad and get out of that awful country. The raft was gone! My souls, but I was scared! I couldn't get my breath for most a minute. Then I raised a yell. A voice not twenty-five foot from me says:

"Good lan'! is dat you, honey? Doan' make no noise."

It was Jim's voice—nothing ever sounded so good before. I run along the bank a piece and got aboard, and Jim he grabbed me and hugged me, he was so glad to see me. He says:

"Laws bless you, chile, I 'uz right down sho' you's dead ag'in. Jack's been heah; he say he reck'n you's ben shot, kase you didn't come home no mo'; so I's jes' dis minute a-startin' de raf' down towards de mouf er de crick, so's to be all ready for to shove out en leave soon as Jack comes ag'in en tells me for certain you *is* dead. Lawsy, I's mighty glad to git you back ag'in, honey."

I says:

"All right that's mighty good; they won't find me, and they'll think I've been killed, and floated down the river—there's something

up there that'll help them think so—so don't you lose no time, Jim, but just shove off for the big water as fast as ever you can."

I never felt easy till the raft was two mile below there and out in the middle of the Mississippi. Then we hung up our signal lantern, and judged that we was free and safe once more. I hadn't had a bite to eat since yesterday, so Jim he got out some corn-dodgers and buttermilk, and pork and cabbage and greens—there ain't nothing in the world so good when it's cooked right—and whilst I eat my supper we talked and had a good time. I was powerful glad to get away from the feuds, and so was Jim to get away from the swamp. We said there warn't no home like a raft, after all. Other places do seem so cramped up and smothery, but a raft don't. You feel mighty free and easy and comfortable on a raft.

CHAPTER XIX

Two or three days and nights went by; I reckon I might say they swum by, they slid along so quiet and smooth and lovely. Here is the way we put in the time. It was a monstrous big river down there—sometimes a mile and a half wide; we run nights, and laid up and hid daytimes; soon as night was most gone we stopped navigating and tied up—nearly always in the dead water under a towhead; and then cut young cotton-woods and willows, and hid the raft with them. Then we set out the lines. Next we slid into the river and had a swim, so as to freshen up and cool off; then we set down on the sandy bottom where the water was about knee-deep, and watched the daylight come. Not a sound anywheres—perfectly still—just like the whole world was asleep, only sometimes the bullfrogs a-cluttering, maybe. The first thing to see, looking away over the water, was a kind of dull line—that was the woods on t'other side; you couldn't make nothing else out; then a pale place in the sky; then more paleness spreading around; then the river softened up away off, and warn't black any more, but gray; you could see little dark spots drifting along ever so far away—trading-scows, and such things; and long black streaks—rafts; sometimes you could hear a sweep screaming; or jumbled-up voices, it was so still, and sounds come so far; and by and by you could see a streak on the water which you know by the look of the streak that there's a snag there in a swift current which breaks on it and makes that streak look that way; and you see the mist curl up off of the water, and the east reddens up, and the river, and you make out a log cabin in the edge of the woods, away on the bank on t'other side of the river, being a wood-yard, likely, and piled by them cheats so you can throw a dog through it anywheres; then the nice breeze springs up, and comes fanning you from over there, so cool and fresh and sweet to smell on account of the woods and the flowers; but sometimes not that way, because they've left dead fish laying around,

gars and such, and they do get pretty rank; and next you've got the full day, and everything smiling in the sun, and the song-birds just going it!

A little smoke couldn't be noticed now, so we would take some fish off of the lines and cook up a hot breakfast. And afterwards we would watch the lonesomeness of the river, and kind of lazy along, and by and by lazy off to sleep. Wake up by and by, and look to see what done it, and maybe see a steamboat coughing along up-stream, so far off towards the other side you couldn't tell nothing about her only whether she was a stern-wheel or side-wheel; then for about an hour there wouldn't be nothing to hear nor nothing to see—just solid lonesomeness. Next you'd see a raft sliding by, away off yonder, and maybe a galoot on it chopping, because they're most always doing it on a raft; you'd see the ax flash and come down—you don't hear nothing; you see the ax go up again, and by the time it's above the man's head then you hear the *k'chunk!*—it had took all that time to come over the water. So we would put in the day, lazying around, listening to the stillness. Once there was a thick fog, and the rafts and things that went by was beating tin pans so the steamboats wouldn't run over them. A scow or a raft went by so close we could hear them talking and cussing and laughing—heard them plain; but we couldn't see no sign of them; it made you feel crawly; it was like spirits carrying on that way in the air. Jim said he believed it was spirits; but I says:

"No; spirits wouldn't say, 'Dern the dern fog.' "

Soon as it was night out we shoved; when we got her out to about the middle we let her alone, and let her float wherever the current wanted her to; then we lit the pipes, and dangled our legs in the water, and talked about all kinds of things—we was always naked, day and night, whenever the mosquitoes would let us—the new clothes Buck's folks made for me was too good to be comfortable, and besides I didn't go much on clothes, nohow.

Sometimes we'd have that whole river all to ourselves for the longest time. Yonder was the banks and the islands, across the water; and maybe a spark—which was a candle in a cabin window; and sometimes on the water you could see a spark or two—on a raft or a scow, you know; and maybe you could hear a fiddle or a song coming over from one of them crafts. It's lovely to live on a raft. We had the sky up there, all speckled with stars, and we used to lay on our backs and look up at them, and discuss about whether they was made or only just happened. Jim he allowed they was made, but I allowed they happened; I judged it would have took too long to *make* so many. Jim said the moon could 'a' *laid* them; well, that looked kind of reasonable, so I didn't say nothing against it, because I've seen a frog lay most as many, so of course it could be done. We used to watch the stars that fell, too, and see them streak down. Jim allowed they'd got spoiled and was hove out of the nest.

Once or twice of a night we would see a steamboat slipping along in the dark, and now and then she would belch a whole world of sparks up out of her chimbleys, and they would rain down in the river and look awful pretty; then she would turn a corner and her lights would wink out and her pow-wow shut off and leave the river still again; and by and by her waves would get to us, a long time after she was gone, and joggle the raft a bit, and after that you wouldn't hear nothing for you couldn't tell how long, except maybe frogs or something.

After midnight the people on shore went to bed, and then for two or three hours the shores was black—no more sparks in the cabin windows. These sparks was our clock—the first one that showed again meant morning was coming, so we hunted a place to hide and tie up right away.

One morning about daybreak I found a canoe and crossed over a chute to the main shore—it was only two hundred yards—and paddled about a mile up a crick amongst the cypress woods, to see if I couldn't get some berries. Just as I was passing a place where a kind of a cow-path crossed the crick, here comes a couple of men tearing up the path as tight as they could foot it. I thought I was a goner, for whenever anybody was after anybody I judged it was *me*—or maybe Jim. I was about to dig out from there in a hurry, but they was pretty close to me then, and sung out and begged me to save their lives—said they hadn't been doing nothing, and was being chased for it—said there was men and dogs a-coming. They wanted to jump right in, but I says:

"Don't you do it. I don't hear the dogs and horses yet; you've got time to crowd through the brush and get up the crick a little ways; then you take to the water and wade down to me and get in—that'll throw the dogs off the scent."

They done it, and soon as they was aboard I lit out for our tow-head, and in about five or ten minutes we heard the dogs and the men away off, shouting. We heard them come along towards the crick, but couldn't see them; they seemed to stop and fool around awhile; then, as we got further and further away all the time, we couldn't hardly hear them at all; by the time we had left a mile of woods behind us and struck the river, everything was quiet, and we paddled over to the towhead and hid in the cottonwoods and was safe.

One of these fellows was about seventy or upwards, and had a bald head and very gray whiskers. He had an old battered-up slouch hat on, and a greasy blue woolen shirt, and ragged old blue jeans britches stuffed into his boot-tops, and home-knit galluses—no, he only had one. He had an old long-tailed blue jeans coat with slick brass buttons flung over his arm, and both of them had big, fat, ratty-looking carpet-bags.

The other fellow was about thirty, and dressed about as ornery. After breakfast we all laid off and talked, and the first thing that come out was that these chaps didn't know one another.

"What got you into trouble?" says the baldheaded to t'other chap.

"Well, I'd been selling an article to take the tartar off the teeth—and it does take it off, too, and generly the enamel along with it—but I stayed about one night longer than I ought to, and was just in the act of sliding out when I ran across you on the trail this side of town, and you told me they were coming, and begged me to help you to get off. So I told you I was expecting trouble myself, and would scatter out *with* you. That's the whole yarn—what's yourn?"

"Well, I'd ben a-runnin' a little temperance revival thar 'bout a week, and was the pet of the women folks, big and little, for I was makin' it mighty warm for the rummies, I *tell* you, and takin' as much as five or six dollars a night—ten cents a head, children and niggers free—and business a-growin' all the time, when somehow or another a little report got around last night that I had a way of puttin' in my time with a private jug on the sly. A nigger roused me out this mornin', and told me the people was getherin' on the quiet with their dogs and horses, and they'd be along pretty soon and give me 'bout half an hour's start, and then run me down if they could; and if they got me they'd tar and feather me and ride me on a rail, sure. I didn't wait for no breakfast—I warn't hungry."

"Old man," said the young one, "I reckon we might double-team it together; what do you think?"

"I ain't undisposed. What's your line—mainly?"

"Jour printer by trade; do a little in patent medicines; theater-actor—tragedy, you know; take a turn to mesmerism and phrenology when there's a chance; teach singing-geography school for a change; sling a lecture sometimes—oh, I do lots of things—most anything that comes handy, so it ain't work. What's your lay?"

"I've done considerable in the doctoring way in my time. Layin' on o' hands is my best holt—for cancer and paralysis, and sich things; and I k'n tell a fortune pretty good when I've got somebody along to find out the facts for me. Preachin's my line, too, and workin' camp-meetin's, and missionaryin' around."

Nobody never said anything for a while; then the young man hove a sigh and says:

"Alas! "

"What're you alassin' about?" says the baldhead.

"To think I should have lived to be leading such a life, and be degraded down into such company." And he begun to wipe the corner of his eye with a rag.

"Dern your skin, ain't the company good enough for you?" says the baldhead, pretty pert and uppish.

"Yes, it *is* good enough for me; it's as good as I deserve; for who fetched me so low when I was so high? *I* did myself. I don't blame *you*, gentlemen—far from it; I don't blame anybody. I deserve it all. Let the cold world do its worst; one thing I know—there's a grave somewhere for me. The world may go on just as it's always done, and

take everything from me—loved ones, property, everything; but it can't take that. Some day I'll lie down in it and forget it all, and my poor broken heart will be at rest." He went on a-wiping.

"Drot your pore broken heart," says the baldhead; "what are you heaving your pore broken heart at *us* fr? We hain't done nothing."

"No, I know you haven't. I ain't blaming you, gentlemen. I brought myself down—yes, I did it myself. It's right I should suffer—perfectly right—I don't make any moan."

"Brought you down from whar? Whar was you brought down from?"

"Ah, you would not believe me; the world never believes—let it pass—'tis no matter. The secret of my birth—"

"The secret of your birth! Do you mean to say—"

"Gentlemen," says the young man, very solemn, "I will reveal it to you, for I feel I may have confidence in you. By rights I am a duke!"

Jim's eyes bugged out when he heard that; and I reckon mine did, too. Then the baldhead says: "No! you can't mean it?"

"Yes. My great-grandfather, eldest son of the Duke of Bridgewater, fled to this country about the end of the last century, to breathe the pure air of freedom; married here, and died, leaving a son, his own father dying about the same time. The second son of the late duke seized the titles and estates—the infant real duke was ignored. I am the lineal descendant of that infant—I am the rightful Duke of Bridgewater; and here am I, forlorn, torn from my high estate, hunted of men, despised by the cold world, ragged, worn, heartbroken, and degraded to the companionship of felons on a raft!"

Jim pitied him ever so much, and so did I. We tried to comfort him, but he said it warn't much use, he couldn't be much comforted; said if we was a mind to acknowledge him, that would do him more good than most anything else; so we said we would, if he would tell us how. He said we ought to bow when we spoke to him, and say "Your Grace," or "My Lord," or "Your Lordship"—and he wouldn't mind it if we called him plain "Bridgewater," which, he said, was a title anyway, and not a name; and one of us ought to wait on him at dinner, and do any little thing for him he wanted done.

Well, that was all easy, so we done it. All through dinner Jim stood around and waited on him, and says, "Will yo' Grace have some o' dis or some o' dat?" and so on, and a body could see it was mighty pleasing to him.

But the old man got pretty silent by and by—didn't have much to say, and didn't look pretty comfortable over all that petting that was going on around that duke. He seemed to have something on his mind. So, along in the afternoon, he says:

"Looky here, Bilgewater," he says, "I'm nation sorry for you, but you ain't the only person that's had troubles like that."

"No?"

"No, you ain't. You ain't the only person that's ben snaked down wrongfully out'n a high place."

"Alas! "

"No, you ain't the only person that's had a secret of his birth." And, by jings, *he* begins to cry.

"Hold! What do you mean?"

"Bilgewater, kin I trust you?" says the old man, still sort of sobbing.

"To the bitter death!" He took the old man by the hand and squeezed it, and says. "That secret of your being: speak! "

"Bilgewater, I am the late Dauphin! "

You bet you, Jim and me stared this time. Then the duke says:

"You are what?"

"Yes, my friend, it is too true—your eyes is lookin' at this very moment on the pore disappeared Dauphin, Looy the Seventeen, son of Looy the Sixteen and Marry Antonette."

"You! At your age! No! You mean you're the late Charlemagne: you must be six or seven hundred years old, at the very least."

"Trouble has done it, Bilgewater, trouble has done it; trouble has brung these gray hairs and this premature balditude. Yes, gentlemen, you see before you, in blue jeans and misery, the wanderin', exiled, trampled-on, and sufferin' rightful King of France."

Well, he cried and took on so that me and Jim didn't know hardly what to do, we was so sorry—and so glad and proud we'd got him with us, too. So we set in, like we done before with the duke, and tried to comfort *him*. But he said it warn't no use, nothing but to be dead and done with it all could do him any good; though he said it often made him feel easier and better for a while if people treated him according to his rights, and got down on one knee to speak to him, and always called him "Your Majesty," and waited on him first at meals, and didn't set down in his presence till he asked them. So Jim and me set to majestyin' him, and doing this and that and t'other for him, and standing up till he told us we might set down. This done him heaps of good, and so he got cheerful and comfortable. But the duke kind of soured on him, and didn't look a bit satisfied with the way things was going; still, the king acted real friendly towards him, and said the duke's great-grandfather and all the other Dukes of Bilgewater was a good deal thought of by *his* father, and was allowed to come to the palace considerable; but the duke stayed huffy a good while, till by and by the king says:

"Like as not we got to be together a blamed long time on this h'yer raft, Bilgewater, and so what's the use o' your bein' sour? It 'll only make things oncomfortable. It ain't my fault I warn't born a duke, it ain't your fault you warn't born a king—so what's the use to worry? Make the best o' things the way you find 'em, says I—that's my motto. This ain't no bad thing that we've struck here—plenty grub and an easy life—come, give us your hand, duke, and le's all be friends."

The duke done it, and Jim and me was pretty glad to see it. It took away all the uncomfortableness and we felt mighty good over it, because it would 'a' been a miserable business to have any unfriendliness on the raft; for what you want, above all things, on a raft, is for everybody to be satisfied, and feel right and kind towards the others.

It didn't take me long to make up my mind that these liars warn't no kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I never said nothing, never let on; kept it to myself; it's the best way; then you don't have no quarrels, and don't get into no trouble. If they wanted us to call them kings and dukes, I hadn't no objections, 'long as it would keep peace in the family; and it warn't no use to tell Jim, so I didn't tell him. If I never learnt nothing else out of pap, I learnt that the best way to get along with his kind of people is to let them have their own way.

CHAPTER XX

They asked us considerable many questions; wanted to know what we covered up the raft that way for, and laid by in the daytime instead of running—was Jim a runaway nigger? Says I:

"Goodness sakes! would a runaway nigger run *south*?"

No, they allowed he wouldn't. I had to account for things some way, so I says:

"My folks was living in Pike County, in Missouri, where I was born, and they all died off but me and pa and my brother Ike. Pa, he 'lowed he'd break up and go down and live with Uncle Ben, who's got a little one-horse place on the river forty-four mile below Orleans. Pa was pretty poor, and had some debts; so when he'd squared up there warn't nothing left but sixteen dollars and our nigger, Jim. That warn't enough to take us fourteen hundred mile, deck passage nor no other way. Well, when the river rose pa had a streak of luck one day; he ketched this piece of raft; so we reckoned we'd go down to Orleans on it. Pa's luck didn't hold out: a steamboat ran over the forward corner of the raft one night, and we all went overboard and dove under the wheel; Jim and me come up all right, but pa was drunk, and Ike was only four years old, so they never come up no more. Well, for the next day or two we had considerable trouble, because people was always coming out in skiffs and trying to take Jim away from me, saying they believed he was a runaway nigger. We don't run daytimes no more now: nights they don't bother us."

The duke says:

"Leave me alone to cipher out a way so we can run in the daytime if we want to. I'll think the thing over—I'll invent a plan that 'll fix it. We'll let it alone for to-day, because of course we don't want to go by that town yonder in daylight—it mightn't be healthy."

Towards night it begun to darken up and look like rain; the heat-

lightning was squirting around low down in the sky, and the leaves was beginning to shiver—it was going to be pretty ugly, it was easy to see that. So the duke and the king went to overhauling our wigwam, to see what the beds was like. My bed was a straw tick—better than Jim's, which was a corn-shuck tick; there's always cobs around about in a shuck tick, and they poke into you and hurt; and when you roll over the dry shucks sound like you was rolling over in a pile of dead leaves; it makes such a rustling that you wake up. Well, the duke allowed he would take my bed; but the king allowed he wouldn't. He says:

"I should 'a' reckoned the difference in rank would a sejested to you that a corn-shuck bed warn't just fitten for me to sleep on. Your Grace 'll take the shuck bed yourself."

Jim and me was in a sweat again for a minute, being afraid there was going to be some more trouble amongst them; so we was pretty glad when the duke says:

"'Tis my fate to be always ground into the mire under the iron heel of oppression. Misfortune has broken my once haughty spirit; I yield, I submit; 'tis my fate. I am alone in the world—let me suffer; I can bear it."

We got away as soon as it was good and dark. The king told us to stand well out towards the middle of the river, and not show a light till we got a long ways below the town. We come in sight of the little bunch of lights by and by—that was the town, you know—and slid by, about a half a mile out, all right. When we was three-quarters of a mile below we hoisted up our signal lantern; and about ten o'clock it come on to rain and blow and thunder and lighten like everything; so the king told us to both stay on watch till the weather got better, then him and the duke crawled into the wigwam and turned in for the night. It was my watch below till twelve, but I wouldn't 'a' turned in anyway if I'd had a bed, because a body don't see such a storm as that every day in the week, not by a long sight. My souls, how the wind did scream along! And every second or two there'd come a glare that lit up the white-caps for a half a mile around, and you'd see the islands looking dusty through the rain, and the trees thrashing around in the wind; then comes a *h-whack!* —bum! bum! bumble-umble-um-bum-bum-bum-bum—and the thunder would go rumbling and grumbling away, and quit—and then *rip* comes another flash and another sockdolager. The waves most washed me off the raft sometimes, but I hadn't any clothes on, and didn't mind. We didn't have no trouble about snags; the lightning was glaring and flittering around so constant that we could see them plenty soon enough to throw her head this way or that and miss them.

I had the middle watch, you know, but I was pretty sleepy by that time, so Jim he said he would stand the first half of it for me; he was always mighty good that way, Jim was. I crawled into the wigwam, but the king and the duke had their legs sprawled around so there

warn't no show for me; so I laid outside—I didn't mind the rain, because it was warm, and the waves warn't running so high now. About two they come up again, though, and Jim was going to call me; but he changed his mind, because he reckoned they warn't high enough yet to do any harm; but he was mistaken about that, for pretty soon all of a sudden along comes a regular ripper and washed me overboard. It most killed Jim a-laughing. He was the easiest nigger to laugh that ever was, anyway.

I took the watch, and Jim he laid down and snored away; and by and by the storm let up for good and all; and the first cabin-light that showed I roused him out, and we slid the raft into hiding-quarters for the day.

The king got out an old ratty deck of cards after breakfast, and him and the duke played seven-up awhile, five cents a game. Then they got tired of it, and allowed they would "lay out a campaign", as they called it. The duke went down into his carpet-bag, and fetched up a lot of little printed bills and read them out loud. One bill said, "The celebrated Dr. Armand de Montalban, of Paris," would "lecture on the Science of Phrenology" at such and such a place, on the blank day of blank, at ten cents admission, and "furnish charts of character at twenty-five cents apiece." The duke said that was *him*. In another bill he was the "world-renowned Shakespearian tragedian, Garrick the Younger, of Drury Lane, London." In other bills he had a lot of other names and done other wonderful things, like finding water and gold with a "divining-rod," "dissipating witch spells," and so on. By and by he says:

"But the histrionic muse is the darling. Have you ever trod the boards, Royalty?"

"No," says the king.

"You shall, then, before you're three days older, Fallen Grandeur," says the duke. "The first good town we come to we'll hire a hall and do the sword-fight in 'Richard III.' and the balcony scene in 'Romeo and Juliet.' How does that strike you?"

"I'm in, up to the hub, for anything that will pay, Bilgewater; but, you see, I don't know nothing about play-actin', and hain't ever seen much of it. I was too small when pap used to have 'em at the palace. Do you reckon you can learn me?"

"Easy!"

"All right. I'm jist a freezin' for something fresh, anyway. Le's commence right away."

So the duke he told him all about who Romeo was and who Juliet was, and said he was used to being Romeo, so the king could be Juliet.

"But if Juliet's such a young gal, duke, my peeled head and my white whiskers is goin' to look oncommon odd on her, maybe."

"No, don't you worry; these country jakes won't ever think of that. Besides, you know, you'll be in costume, and that makes all the difference in the world; Juliet's in a balcony, enjoying the moonlight

before she goes to bed, and she's got on her night-gown and her ruffled nightcap. Here are the costumes for the parts."

He got out two or three curtain-calico suits, which he said was meedyevil armor for Richard III. and t'other chap, and a long white cotton nightshirt and a ruffled nightcap to match. The king was satisfied; so the duke got out his book and read the parts over in the most splendid spread-eagle way, prancing around and acting at the same time, to show how it had got to be done; then he give the book to the king and told him to get his part by heart.

There was a little one-horse town about three mile down the bend, and after dinner the duke said he had ciphered out his idea about how to run in daylight without it being dangersome for Jim; so he allowed he would go down to the town and fix that thing. The king allowed he would go, too, and see if he couldn't strike something. We was out of coffee, so Jim said I better go along with them in the canoe and get some.

When we got there there warn't nobody stirring; streets empty, and perfectly dead and still, like Sunday. We found a sick nigger sunning himself in a back yard, and he said everybody that warn't too young or too sick or too old was gone to camp-meeting, about two mile back in the woods. The king got the directions, and allowed he'd go and work that camp-meeting for all it was worth, and I might go, too.

The duke said what he was after was a printing-office. We found it; a little bit of a concern, up over a carpenter-shop—carpenters and printers all gone to the meeting, and no doors, locked. It was a dirty, littered-up place, and had ink-marks, and handbills with pictures of horses and runaway niggers on them, all over the walls. The duke shed his coat and said he was all right now. So me and the king lit out for the camp-meeting.

We got there in about a half an hour fairly dripping, for it was a most awful hot day. There was as much as a thousand people there from twenty mile around. The woods was full of teams and wagons, hitched everywheres, feeding out of the wagon-troughs and stomping to keep off the flies. There was sheds made out of poles and roofed over with branches, where they had lemonade and gingerbread to sell, and piles of watermelons and green corn and such-like truck.

The preaching was going on under the same kinds of sheds, only they was bigger and held crowds of people. The benches was made out of outside slabs of logs, with holes bored in the round side to drive sticks into for legs. They didn't have no backs. The preachers had high platforms to stand on at one end of the sheds. The women had on sunbonnets; and some had linsey-woolsey frocks, some gingham ones, and a few of the young ones had on calico. Some of the young men was barefooted, and some of the children didn't have on any clothes but just a tow-linen shirt. Some of the old women was knitting, and some of the young folks was courting on the sly.

The first shed we come to the preacher was lining out a hymn. He lined out two lines, everybody sung it, and it was kind of grand to hear it, there was so many of them and they done it in such a rousing way; then he lined out two more for them to sing—and so on. The people woke up more and more, and sung louder and louder; and towards the end some begun to groan, and some begun to shout. Then the preacher begun to preach, and begun in earnest, too; and went weaving first to one side of the platform and then the other, and then a-leaning down over the front of it, with his arms and his body going all the time, and shouting his words out with all his might; and every now and then he would hold up his Bible and spread it open, and kind of pass it around this way and that, shouting, "It's the brazen serpent in the wilderness! Look upon it and live!" And people would shout out, "Glory! —A-a-men!" And so he went on, and the people groaning and crying and saying amen:

"Oh, come to the mourners' bench! come, black with sin! (*amen!*) come, sick and sore! (*amen!*) come, lame and halt and blind! (*amen!*) come, pore and needy, sunk in shame! (*a-a-men!*) come, all that's worn and soiled and suffering! —come with a broken spirit! come with a contrite heart! come in your rags and sin and dirt! the waters that cleanse is free, the door of heaven stands open—oh, enter in and be at rest!" (*a-amen! glory, glory hallelujah!*)

And so on. You couldn't make out what the preacher said any more, on account of the shouting and crying. Folks got up everywhere in the crowd, and worked their way just by main strength to the mourners' bench, with the tears running down their faces; and when all the mourners had got up there to the front benches in a crowd, they sung and shouted and flung themselves down on the straw, just crazy and wild.

Well, the first I knowed the king got a-going, and you could hear him over everybody; and next he went a-charging up onto the platform, and the preacher he begged him to speak to the people, and he done it. He told them he was a pirate—been a pirate for thirty years out in the Indian Ocean—and his crew was thinned out considerable last spring in a fight, and he was home now to take out some fresh men, and thanks to goodness he'd been robbed last night and put ashore off a steamboat without a cent, and he was glad of it; it was the blessedest thing that ever happened to him, because he was a changed man now, and happy for the first time in his life; and, poor as he was, he was going to start right off and work his way back to the Indian Ocean, and put in the rest of his life trying to turn the pirates into the true path; for he could do it better than anybody else, being acquainted with all pirate crews in that ocean; and though it would take him a long time to get there without money, he would get there anyway, and every time he convinced a pirate he would say to him, "Don't you thank me, don't you give me no credit; it all belongs to them dear people in Pokeville camp-meeting, natural brothers and

benefactors of the race, and that dear preacher there, the truest friend a pirate ever had! "

And then he busted into tears, and so did everybody. Then somebody sings out, "Take up a collection for him, take up a collection! " Well, a half a dozen made a jump to do it, but somebody sings out, "Let *him* pass the hat around! " Then everybody said it, the preacher too.

So the king went all through the crowd with his hat, swabbing his eyes, and blessing the people and praising them and thanking them for being so good to the poor pirates away off there; and every little while the prettiest kind of girls, with the tears running down their cheeks, would up and ask him would he let them kiss him for to remember him by; and he always done it; and some of them he hugged and kissed as many as five or six times—and he was invited to stay a week; and everybody wanted him to live in their houses, and said they'd think it was an honor; but he said as this was the last day of the camp-meeting he couldn't do no good, and besides he was in a sweat to get to the Indian Ocean right off and go to work on the pirates.

When we got back to the raft and he come to count up he found he had collected eighty-seven dollars and seventy-five cents. And then he had fetched away a three-gallon jug of whisky, too, that he found under a wagon when he was starting home through the woods. The king said, take it all around, it laid over any day he'd ever put in in the missionarying line. He said it warn't no use talking, heathens don't amount to shucks alongside of pirates to work a camp-meeting with.

The duke was thinking *he'd* been doing pretty well till the king come to show up, but after that he didn't think so so much. He had set up and printed off two little jobs for farmers in that printing-office—horse bills—and took the money, four dollars. And he had got in ten dollars' worth of advertisements for the paper, which he said he would put in for four dollars if they would pay in advance—so they done it. The price of the paper was two dollars a year, but he took in three subscriptions for half a dollar apiece on condition of them paying him in advance; they were going to pay in cordwood and onions as usual, but he said he had just bought the concern and knocked down the price as low as he could afford it, and was going to run it for cash. He set up a little piece of poetry, which he made, himself, out of his own head—three verses—kind of sweet and saddish—the name of it was, "Yes, crush, cold world, this breaking heart"—and he left that all set up and ready to print in the paper, and didn't charge nothing for it. Well, he took in nine dollars and a half, and said he'd done a pretty square day's work for it.

Then he showed us another little job he'd printed and hadn't charged for, because it was for us. It had a picture of a runaway nigger with a bundle on a stick over his shoulder, and "\$200 reward" under it. The reading was all about Jim and just described him to a dot. It

said he run away from St. Jacques's plantation, forty mile below New Orleans, last winter, and likely went north, and whoever would catch him and send him back he could have the reward and expenses.

"Now," says the duke, "after to-night we can run in the daytime if we want to. Whenever we see anybody coming we can tie Jim hand and foot with a rope, and lay him in the wigwam and show this hand-bill and say we captured him up the river, and were too poor to travel on a steamboat, so we got this little raft on credit from our friends and are going down to get the reward. Handcuffs and chains would look still better on Jim, but it wouldn't go well with the story of us being so poor. Too much like jewelry. Ropes are the correct thing—we must preserve the unities, as we say on the boards."

We all said the duke was pretty smart, and there couldn't be no trouble about running daytimes. We judged we could make miles enough that night to get out of the reach of the powwow we reckoned the duke's work in the printing-office was going to make in that little town; then we could boom right along if we wanted to.

We laid low and kept still, and never shoved out till nearly ten o'clock; then we slid by, pretty wide away from the town, and didn't hoist our lantern till we was clear out of sight of it.

When Jim called me to take the watch at four in the morning, he says:

"Huck, does you reck'n we gwyne to run acrost any mo' kings on dis trip?"

"No," I says, "I reckon not."

"Well," says he, "dat's all right, den. I doan' mine one er two kings, but dat's enough. Dis one's powerful drunk, en de duke ain' much better."

I found Jim had been trying to get him to talk French, so he could hear what it was like; but he said he had been in this country so long, and had so much trouble, he'd forgot it.

CHAPTER XXI

It was after sun-up now, but we went right on and didn't tie up. The king and the duke turned out by and by looking pretty rusty; but after they'd jumped overboard and took a swim it chippered them up a good deal. After breakfast the king he took a seat on the corner of the raft, and pulled off his boots and rolled up his britches, and let his legs dangle in the water, so as to be comfortable, and lit his pipe, and went to getting his "Romeo and Juliet" by heart. When he had got it pretty good him and the duke begun to practise it together. The duke had to learn him over and over again how to say every speech; and he made him sigh, and put his hand on his heart, and after a while he said he done it pretty well; "only," he says, "you mustn't bellow out *Romeo!* that way, like a bull—you must say it soft and sick and lan-

guishy, so—R-o-o-meo! that is the idea; for Juliet's a dear sweet mere child of a girl, you know, and she doesn't bray like a jackass."

Well, next they got out a couple of long swords that the duke made out of oak laths, and begun to practise the sword-fight—the duke called himself Richard III.; and the way they laid on and pranced around the raft was grand to see. But by and by the king tripped and fell overboard, and after that they took a rest, and had a talk about all kinds of adventures they'd had in other times along the river.

After dinner the duke says:

"Well, Capet, we'll want to make this a first-class show, you know, so I guess we'll add a little more to it. We want a little something to answer encores with, anyway."

"What's onkores, Bilgewater?"

The duke told him, and then says:

"I'll answer by doing the Highland fling or the sailor's hornpipe; and you—well, let me see—oh, I've got it—you can do Hamlet's soliloquy."

"Hamlet's which?"

"Hamlet's soliloquy, you know; the most celebrated thing in Shakespeare. Ah, it's sublime, sublime! Always fetches the house. I haven't got it in the book—I've only got one volume—but I reckon I can piece it out from memory. I'll just walk up and down a minute, and see if I can call it back from recollection's vaults."

So he went to marching up and down, thinking, and frowning horrible every now and then; then he would hoist up his eyebrows; next he would squeeze his hand on his forehead and stagger back and kind of moan; next he would sigh, and next he'd let on to drop a tear. It was beautiful to see him. By and by he got it. He told us to give attention. Then he strikes a most noble attitude, with one leg shoved forwards, and his arms stretched away up, and his head tilted back, looking up at the sky; and then he begins to rip and rave and grit his teeth; and after that, all through his speech, he howled, and spread around, and swelled up his chest, and just knocked the spots out of any acting ever *I* see before. This is the speech—I learned it, easy enough, while he was learning it to the king:

To be, or not to be; that is the bare bodkin
That makes calamity of so long life;
For who would fardels bear, till Birnam Wood do come to Dunsinane,
But that the fear of something after death
Murders the innocent sleep,
Great nature's second course,
And makes us rather sling the arrows of outrageous fortune
Than fly to others that we know not of.
There's the respect must give us pause:
Wake Duncan with thy knocking! I would thou couldst;
For who would bear the whips and scorns of time,

The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
 The law's delay, and the quietus which his pangs might take,
 In the dead waste and middle of the night, when churchyards yawn
 In customary suits of solemn black,
 But that the undiscovered country from whose bourne no traveler returns,
 Breathes forth contagion on the world,
 And thus the native hue of resolution, like the poor cat i' the adage,
 Is sicklied o'er with care,
 And all the clouds that lowered o'er our housetops,
 With this regard their currents turn awry,
 And lose the name of action.
 'Tis a consummation devoutly to be wished. But soft you, the fair Ophelia:
 Ope not thy ponderous and marble jaws,
 But get thee to a nunnery—go!

Well, the old man he liked that speech, and he mighty soon got it so he could do it first rate. It seemed like he was just born for it; and when he had his hand in and was excited, it was perfectly lovely the way he would rip and tear and rair up behind when he was getting it off.

The first chance we got the duke he had some show-bills printed; and after that, for two or three days as we floated along, the raft was a most uncommon lively place, for there warn't nothing but sword-fighting and rehearsing—as the duke called it—going on all the time. One morning, when we was pretty well down the state of Arkansaw, we come in sight of a little one-horse town in a big bend; so we tied up about three-quarters of a mile above it, in the mouth of a crick which was shut in like a tunnel by the cypress trees, and all of us but Jim took the canoe and went down there to see if there was any chance in that place for our show.

We struck it mighty lucky; there was going to be a circus there that afternoon, and the country-people was already beginning to come in, in all kinds of old shackly wagons, and on horses. The circus would leave before night, so our show would have a pretty good chance. The duke he hired the court-house, and we went around and stuck up our bills. They read like this:

SHAKSPEREAN REVIVAL! ! !
WONDERFUL ATTRACTION!
FOR ONE NIGHT ONLY!

The world renowned tragedians,
 David Garrick the younger, of Drury Lane Theatre, London,
 and
 Edmund Kean the elder, of the Royal Haymarket Theatre, Whitechapel,
 Pudding Lane, Piccadilly, London, and the Royal Continental Theatres, in
 their sublime Shakspearean Spectacle
 entitled

THE BALCONY SCENE

in

Romeo and Juliet! ! !

Romeo Mr. Garrick

Juliet Mr. Kean

Assisted by the whole strength of the company!

New costumes, new scenery, new appointments!

ALSO:

The thrilling, masterly, and blood-curdling

Broad-sword conflict

In *Richard III.* ! ! !

Richard III. Mr. Garrick

Richmond Mr. Kean

ALSO:

(by special request)

Hamlet's Immortal Soliloquy! !

By the Illustrious Kean!

Done by him 300 consecutive nights in Paris!

For One Night Only,

On account of imperative European engagements!

Admission 25 cents; children and servants, 10 cents.

Then we went loafing around town. The stores and houses was most all old, shakky, dried-up frame concerns that hadn't ever been painted; they was set up three or four foot above ground on stilts, so as to be out of reach of the water when the river was overflowed. The houses had little gardens around them, but they didn't seem to raise hardly anything in them but jimpson-weeds, and sunflowers, and ashpiles, and old curled-up boots and shoes, and pieces of bottles, and rags, and played-out tinware. The fences was made of different kinds of boards, nailed on at different times; and they leaned every which way, and had gates that didn't generly have but one hinge—a leather one. Some of the fences had been whitewashed some time or another, but the duke said it was in Columbus's time, like enough. There was generly hogs in the garden, and people driving them out.

All the stores was along one street. They had white domestic awnings in front, and the country-people hitched their horses to the awning-posts. There was empty dry-goods boxes under the awnings, and loafers roosting on them all day long, whittling them with their Barlow knives; and chawing tobacco, and gaping and yawning and stretching—a mighty ornery lot. They generly had 'on yellow straw hats most as wide as an umbrella, but didn't wear no coats nor waist-coats; they called one another Bill, and Buck, and Hank, and Joe, and

Andy, and talked lazy and drawly, and used considerable many cuss-words. There was as many as one loafer leaning up against every awning-post, and he most always had his hands in his britches pockets except when he fetched them out to lend a chaw of tobacco or scratch. What a body was hearing amongst them all the time was:

"Gimme a chaw 'v tobacker, Hank."

"Cain't; I hain't got but one chaw left. Ask Bill."

Maybe Bill he gives him a chaw; maybe he lies and says he ain't got none. Some of them kinds of loafers never has a cent in the world, nor a chaw of tobacco of their own. They get all their chawing by borrowing; they say to a fellow, "I wisht you'd len' me a chaw, Jack, I jist this minute give Ben Thompson the last chaw I had"—which is a lie pretty much every time; it don't fool nobody but a stranger; but Jack ain't no stranger, so he says:

"You give him a chaw, did you? So did your sister's cat's grandmother. You pay me back the chaws you've awready borry'd off'n me, Lafe Buckner, then I'll loan you one or two ton of it, and won't charge you no back intrust, nuther."

"Well, I *did* pay you back some of it wunst."

"Yes, you did—'bout six chaws. You borry'd store tobacker and paid back nigger-head."

Store tobacco is flat black plug, but these fellows mostly chaws the natural leaf twisted. When they borrow a chaw they don't generly cut it off with a knife, but set the plug in between their teeth, and gnaw with their teeth and tug at the plug with their hands till they get it in two; then sometimes the one that owns the tobacco looks mournful at it when it's handed back, and says, sarcastic:

"Here, gimme the *chaw*, and you take the *plug*."

All the streets and lanes was just mud; they warn't nothing else *but* mud—mud as black as tar and night about a foot deep in some places, and two or three inches deep in *all* the places. The hogs loafed and grunted around everywheres. You'd see a muddy sow and a litter of pigs come lazying along the street and whollop herself right down in the way, where folks had to walk around her, and she'd stretch out and shut her eyes and wave her ears whilst the pigs was milking her, and look as happy as if she was on salary. And pretty soon you'd hear a loafer sing out, "Hi! so boy! sick him, Tige!" and away the sow would go, squeeling most horrible, with a dog or two swinging to each ear, and three or four dozen more a-coming; and then you would see all the loafers get up and watch the thing out of sight, and laugh at the fun and look grateful for the noise. Then they'd settle back again till there was a dog-fight. There couldn't anything wake them up all over, and make them happy all over, like a dog-fight—unless it might be putting turpentine on a stray dog and setting fire to him, or tying a tin pan to his tail and see him run himself to death.

On the river-front some of the houses was sticking out over the bank, and they was bowed and bent, and about ready to tumble in.

The people had moved out of them. The bank was caved away under one corner of some others, and that corner was hanging over. People lived in them yet, but it was dangerous, because sometimes a strip of land as wide as a house caves in at a time. Sometimes a belt of land a quarter of a mile deep will start in and cave along and cave along till it all caves into the river in one summer. Such a town as that has to be always moving back, and back, and back, because the river's always gnawing at it.

The nearer it got to noon that day the thicker and thicker was the wagons and horses in the streets, and more coming all the time. Families fetched their dinners with them from the country, and eat them in the wagons. There was considerable whisky-drinking going on, and I seen three fights. By and by somebody sings out:

"Here comes old Boggs!—in from the country for his little old monthly drunk; here he comes, boys! "

All the loafers looked glad; I reckoned they was used to having fun out of Boggs. One of them says:

"Wonder who he's a-gwyne to chaw up this time. If he'd a-chawed up all the men he's ben a-gwyne to chaw up in the last twenty year he'd have considerable reputation now."

Another one says, "I wisht old Boggs 'd threaten me, 'cuz then I'd know I warn't gwyne to die for a thousan' year."

Boggs comes a-tearing along on his horse, whooping and yelling like an Injun, and singing out:

"Cler the track, thar. I'm on the waw-path, and the price uv coffins is a-gwyne to raise."

He was drunk, and weaving about in his saddle; he was over fifty year old, and had a very red face. Everybody yelled at him, and laughed at him, and sassed him, and he sassed back, and said he'd attend to them and lay them out in their regular turns, but he couldn't wait now because he'd come to town to kill old Colonel Sherburn, and his motto was, "Meat first, and spoon vittles to top off on."

He see me, and rode up and says:

"Whar'd you come f'm boy? You prepared to die?"

Then he rode on. I was scared, but a man says:

"He don't mean nothing; he's always a-carryin' on like that when he's drunk. He's the best-naturedest old fool in Arkansaw—never hurt nobody, drunk nor sober."

Boggs rode up before the biggest store in town, and bent his head down so he could see under the curtain of the awning and yells:

"Come out here, Sherburn! Come out and meet the man you've swindled. You're the houn' I'm after, and I'm a-gwyne to have you, too! "

And so he went on, calling Sherburn everything he could lay his tongue to, and the whole street packed with people listening and laughing and going on. By and by a proud-looking man about fifty-five—and he was a heap the best-dressed man in that town, too—steps

out of the store, and the crowd drops back on each side to let him come. He says to Boggs, mighty ca'm and slow—he says:

"I'm tired of this, but I'll endure it till one o'clock. Till one o'clock, mind—no longer. If you open your mouth against me only once after that time you can't travel so far but I will find you."

Then he turns and goes in. The crowd looked mighty sober; nobody stirred, and there warn't no more laughing. Boggs rode off black-guarding Sherburn as loud as he could yell, all down the street; and pretty soon back he comes and stops before the store, still keeping it up. Some men crowded around him and tried to get him to shut up, but he wouldn't; they told him it would be one o'clock in about fifteen minutes, and so he *must* go home—he must go right away. But it didn't do no good. He cussed away with all his might, and throwed his hat down in the mud and rode over it, and pretty soon away he went a-raging down the street again, with his gray hair a-flying. Everybody that could get a chance at him tried their best to coax him off of his horse so they could lock him up and get him sober; but it warn't no use—up the street he would tear again, and give Sherburn another cussing. By and by somebody says:

"Go for his daughter!—quick, go for his daughter; sometimes he'll listen to her. If anybody can persuade him, she can."

So somebody started on a run. I walked down street a ways and stopped. In about five or ten minutes here comes Boggs again, but not on his horse. He was a-reeling across the street towards me, bareheaded, with a friend on both sides of him a-holt of his arms and hurrying him along. He was quiet, and looked uneasy; and he warn't hanging back any, but was doing some of the hurrying himself. Somebody sings out:

"Boggs! "

I looked over there to see who said it, and it was that Colonel Sherburn. He was standing perfectly still in the street, and had a pistol raised in his right hand—not aiming it, but holding it out with the barrel tilted up towards the sky. The same second I see a young girl coming on the run, and two men with her. Boggs and the men turned round to see who called him, and when they see the pistol the men jumped to one side, and the pistol-barrel come down slow and steady to a level—both barrels cocked. Boggs throws up both of his hands and says, "O Lord, don't shoot! " Bang! goes the first shot, and he staggers back, clawing at the air—bang! goes the second one, and he tumbles backwards onto the ground, heavy and solid, with his arms spread out. That young girl screamed out and comes rushing, and down she throws herself on her father, crying, and saying, "Oh, he's killed him, he's killed him! " The crowd closed up around them, and shouldered and jammed one another, with their necks stretched, trying to see, and people on the inside trying to shove them back and shouting, "Back, back! give him air, give him air! "

Colonel Sherburn he tossed his pistol onto the ground, and turned

around on his heels and walked off.

They took Boggs to a little drug store, the crowd pressing around just the same, and the whole town following, and I rushed and got a good place at the window, where I was close to him and could see in. They laid him on the floor and put one large Bible under his head, and opened another one and spread it on his breast; but they tore open his shirt first, and I seen where one of the bullets went in. He made about a dozen long gasps, his breast lifting the Bible up when he drew in his breath, and letting it down again when he breathed it out—and after that he laid still; he was dead. Then they pulled his daughter away from him, screaming and crying, and took her off. She was about sixteen, and very sweet and gently looking, but awful pale and scared.

Well, pretty soon the whole town was there, squirming and scrounging and pushing and shoving to get at the window and have a look, but people that had the places wouldn't give them up, and folks behind them was saying all the time, "Say, now, you've looked enough, you fellows; 'tain't right and 'tain't fair for you to stay thar all the time, and never give nobody a chance; other folks has their rights as well as you."

There was considerable jawing back, so I slid out, thinking maybe there was going to be trouble. The streets was full, and everybody was excited. Everybody that seen the shooting was telling how it happened, and there was a big crowd packed around each one of these fellows, stretching their necks and listening. One long, lanky man, with long hair and a big white fur stovepipe hat on the back of his head, and a crooked-handled cane, marked out the places on the ground where Boggs stood and where Sherburn stood, and the people following him around from one place to t'other and watching everything he done, and bobbing their heads to show they understood, and stooping a little and resting their hands on their thighs to watch him mark the places on the ground with his cane; and then he stood up straight and stiff where Sherburn had stood, frowning and having his hat-brim down over his eyes, and sung out, "Boggs!" and then fetched his cane down slow to a level, and says "Bang!" staggered backwards, says "Bang!" again, and fell down flat on his back. The people that had seen the thing said he done it perfect; said it was just exactly the way it all happened. Then as much as a dozen people got out their bottles and treated him.

Well, by and by somebody said Sherburn ought to be lynched. In about a minute everybody was saying it; so away they went, mad and yelling, and snatching down every clothes-line they come to to do the hanging with.

CHAPTER XXII

They swarmed up towards Sherburn's house, a-whooping and raging like Injuns, and everything had to clear the way or get run over and

tromped to mush, and it was awful to see. Children was heeling it ahead of the mob, screaming and trying to get out of the way; and every window along the road was full of women's heads, and there was nigger boys in every tree, and bucks and wenches looking over every fence; and as soon as the mob would get nearly to them they would break and skaddle back out of reach. Lots of the women and girls was crying and taking on, scared most to death.

They swarmed up in front of Sherburn's palings as thick as they could jam together, and you couldn't hear yourself think for the noise. It was a little twenty-foot yard. Some sung out "Tear down the fence! tear down the fence!" Then there was a racket of ripping and tearing and smashing, and down she goes, and the front wall of the crowd begins to roll in like a wave.

Just then Sherburn steps out onto the roof of his little front porch, with a double-barrel gun in his hand, and takes his stand, perfectly ca'm and deliberate, not saying a word. The racket stopped, and the wave sucked back.

Sherburn never said a word—just stood there, looking down. The stillness was awful creepy and uncomfortable. Sherburn run his eye slow along the crowd; and wherever it struck the people tried a little to outgaze him, but they couldn't; they dropped their eyes and looked sneaky. Then pretty soon Sherburn sort of laughed; not the pleasant kind, but the kind that makes you feel like when you are eating bread that's got sand in it.

Then he says, slow and scornful:

"The idea of *you* lynching anybody! It's amusing. The idea of you thinking you had pluck enough to lynch a *man*! Because you're brave enough to tar and feather poor friendless cast-out women that come along here, did that make you think you had grit enough to lay your hands on a *man*? Why, a *man*'s safe in the hands of ten thousand of your kind—as long as it's daytime and you're not behind him.

"Do I know you? I know you clear through. I was born and raised in the South, and I've lived in the North; so I know the average all around. The average man's a coward. In the North he lets anybody walk over him that wants to, and goes home and prays for a humble spirit to bear it. In the South one man, all by himself, has stopped a stage full of men in the daytime, and robbed the lot. Your newspapers call you a brave people so much that you think you *are* braver than any other people—whereas you're just *as* brave, and no braver. Why don't your juries hang murderers? Because they're afraid the man's friends will shoot them in the back, in the dark—and it's just what they *would* do.

"So they always acquit; and then a *man* goes in the night, with a hundred masked cowards at his back, and lynches the rascal. Your mistake is, that you didn't bring a man with you; that's one mistake, and the other is that you didn't come in the dark and fetch your masks. You brought *part* of a man—Buck Harkness, there—and if you

hadn't had him to start you, you'd 'a' taken it out in blowing.

"You didn't want to come. The average man don't like trouble and danger. *You* don't like trouble and danger. But if only *half* a man—like Buck Harkness, there—shouts 'Lynch him! lynch him!' you're afraid to back down—afraid you'll be found out to be what you are—*cowards*—and so you raise a yell, and hang yourselves onto that half-a-man's coat-tail, and come raging up here, swearing what big things you're going to do. The pitifullest thing out is a mob; that's what an army is—a mob; they don't fight with courage that's born in them, but with courage that's borrowed from their mass, and from their officers. But a mob without any *man* at the head of it is *beneath* piti-fulness. Now the thing for *you* to do is to droop your tails and go home and crawl in a hole. If any real lynching's going to be done it will be done in the dark, Southern fashion; and when they come they'll bring their masks, and fetch a *man* along. Now *leave*—and take your half-a-man with you"—tossing his gun up across his left arm and cocking it when he says this.

The crowd washed back sudden, and then broke all apart, and went tearing off every which way, and Buck Harkness he heeled it after them, looking tolerable cheap. I could 'a' stayed if I wanted to, but I didn't want to.

I went to the circus and loafed around the back side till the watchman went by, and then dived in under the tent. I had my twenty-dollar gold piece and some other money, but I reckoned I better save it, because there ain't no telling how soon you are going to need it, away from home and amongst strangers that way. You can't be too careful. I ain't opposed to spending money on circuses when there ain't no other way, but there ain't no use in *wasting* it on them.

It was a real bully circus. It was the splendorous sight that ever was when they all come riding in, two and two, and gentleman and lady, side by side, the men just in their drawers and undershirts, and no shoes nor stirrups, and resting their hands on their thighs easy and comfortable—there must 'a' been twenty of them—and every lady with a lovely complexion, and perfectly beautiful, and looking just like a gang of real sure-enough queens, and dressed in clothes that cost millions of dollars, and just littered with diamonds. It was a powerful fine sight; I never see anything so lovely. And then one by one they got up and stood, and went a-weaving around the ring so gentle and wavy and graceful, the men looking ever so tall and airy and straight, with their heads bobbing and skimming along, away up there under the tent-roof, and every lady's roseleafy dress flapping soft and silky around her hips, and she looking like the most loveliest parasol.

And then faster and faster they went, all of them dancing, first one foot out in the air and then the other, the horses leaning more and more, and the ringmaster going round and round the center pole, cracking his whip and shouting "Hi! hi!" and the clown cracking jokes behind him; and by and by all hands dropped the reins, and

every lady put her knuckles on her hips and every gentleman folded his arms, and then how the horses did lean over and hump themselves! And so one after the other they all skipped off into the ring, and made the sweetest bow I ever see, and then scampered out, and everybody clapped their hands and went just about wild.

Well, all through the circus they done the most astonishing things; and all the time that clown carried on so it most killed the people. The ringmaster couldn't ever say a word to him but he was back at him quick as a wink with the funniest things a body ever said; and how he ever *could* think of so many of them, and so sudden and so pat, was what I couldn't no way understand. Why, I couldn't 'a' thought of them in a year. And by and by a drunken man tried to get into the ring—said he wanted to ride; said he could ride as well as anybody that ever was. They argued and tried to keep him out, but he wouldn't listen, and the whole show come to a standstill. Then the people begun to holler at him and make fun of him, and that made him mad, and he begun to rip and tear; so that stirred up the people, and a lot of men begun to pile down off of the benches and swarm toward the ring, saying, "Knock him down! throw him out!" and one or two women begun to scream. So, then, the ringmaster he made a little speech, and said he hoped there wouldn't be no disturbance, and if the man would promise he wouldn't make no more trouble he would let him ride if he thought he could stay on the horse. So everybody laughed and said all right, and the man got on. The minute he was on, the horse begun to rip and tear and jump and cavort around, with two circus men hanging on to his bridle trying to hold him, and the drunken man hanging on to his neck, and his heels flying in the air every jump, and the whole crowd of people standing up shouting and laughing till tears rolled down. And at last, sure enough, all the circus men could do, the horse broke loose, and away he went like the very nation, round and round the ring, with that sot laying down on him and hanging to his neck, with first one leg hanging most to the ground on one side, and then t'other one on t'other side, and the people just crazy. It warn't funny to me, though; I was all of a tremble to see his danger. But pretty soon he struggled up a-straddle and grabbed the bridle, a-reeling this way and that; and the next minute he sprung up and dropped the bridle and stood! and the horse a-going like a house afire, too. He just stood up there, a-sailing around as easy and comfortable as if he warn't ever drunk in his life—and then he begun to pull off his clothes and sling them. He shed them so thick they kind of clogged up the air, and altogether he shed seventeen suits. And, then, there he was, slim and handsome, and dressed the gaudiest and prettiest you ever saw, and he lit onto that horse with his whip and made him fairly hum—and finally skipped off, and made his bow and danced off to the dressing-room, and everybody just a-howling with pleasure and astonishment.

Then the ringmaster he see how he had been fooled, and he was the

sickest ringmaster you ever see, I reckon. Why, it was one of his own men! He had got up that joke all out of his own head, and never let on to nobody. Well, I felt sheepish enough to be took in so, but I wouldn't 'a' been in that ringmaster's place, not for a thousand dollars. I don't know; there may be bullier circuses than what that one was, but I never struck them yet. Anyways, it was plenty good enough for *me*; and wherever I run across it, it can have all of *my* custom every time.

Well, that night we had *our* show; but there warn't only about twelve people there—just enough to pay expenses. And they laughed all the time, and that made the duke mad; and everybody left, anyway, before the show was over, but one boy which was asleep. So the duke said these Arkansaw lunkheads couldn't come up to Shakespeare; what they wanted was low comedy—and maybe something ruther worse than low comedy, he reckoned. He said he could size their style. So next morning he got some big sheets of wrapping-paper and some black paint, and drew off some handbills, and stuck them up all over the village. The bills said:

AT THE COURT HOUSE!
FOR 3 NIGHTS ONLY!
The World-Renowned Tragedians
DAVID GARRICK THE YOUNGER!
and
EDMUND KEAN THE ELDER!
Of the London and Continental
Theatres,
In their Thrilling Tragedy of
THE KING'S CAMELEOPARD,
or
THE ROYAL NONESUCH! ! !
Admission 50 cents.

Then at the bottom was the biggest line of all, which said:

LADIES AND CHILDREN NOT ADMITTED

"There," says he, "if that line don't fetch them, I don't know Arkansaw!"

CHAPTER XXIII

Well, all day him and the king was hard at it, rigging up a stage and a curtain and a row of candles for footlights; and that night the house was jam full of men in no time. When the place couldn't hold no more, the duke he quit tending door and went around the back way and come onto the stage and stood up before the curtain and made a

little speech, and praised up this tragedy, and said it was the most thrillingest one that ever was; and so he went on a-bragging about the tragedy, and about Edmund Kean the Elder, which was to play the main principal part in it; and at last when he'd got everybody's expectations up high enough, he rolled up the curtain, and the next minute the king come a-prancing out on all fours, naked; and he was painted all over, ringstreaked-and-striped, all sorts of colors, as splendid as a rainbow. And—but never mind the rest of his outfit; it was just wild, but it was awful funny. The people most killed themselves laughing; and when the king got done capering and capered off behind the scenes, they roared and clapped and stormed and haw-hawed till he come back and done it over again, and after that they made him do it another time. Well, it would make a cow laugh to see the shines that old idiot cut.

Then the duke he lets the curtain down, and bows to the people, and says the great tragedy will be performed only two nights more, on accounts of pressing London engagements, where the seats is all sold already for it in Drury Lane; and then he makes them another bow, and says if he has succeeded in pleasing them and instructing them, he will be deeply obleeged if they will mention it to their friends and get them to come and see it.

Twenty people sings out:

"What, is it over? Is that *all*?"

The duke says yes. Then there was a fine time. Everybody sings out, "Sold!" and rose up mad, and was a-going for that stage and them tragedians. But a big, fine-looking man jumps up on a bench and shouts:

"Hold on! Just a word, gentlemen." They stopped to listen. "We are sold—mighty badly sold. But we don't want to be the laughing-stock of this whole town, I reckon, and never hear the last of this thing as long as we live. *No*. What we want is to go out of here quiet, and talk this show up, and sell the *rest* of the town! Then we'll all be in the same boat. Ain't that sensible?" ("You bet it is! —the jedge is right!" everybody sings out.) "All right, then—not a word about any sell. Go along home, and advise everybody to come and see the tragedy."

Next day you couldn't hear nothing around that town but how splendid that show was. House was jammed again that night, and we sold this crowd the same way. When me and the king and the duke got home to the raft we all had a supper; and by and by, about midnight, they made Jim and me back her out and float her down the middle of the river, and fetch her in and hide her about two mile below town.

The third night the house was crammed again—and they warn't new-comers this time, but people that was at the show the other two nights. I stood by the duke at the door, and I see that every man that went in had his pockets bulging, or something muffled up under his coat—and I see it warn't no perfumery, neither, not by a long sight. I

smelt sickly eggs by the barrel, and rotten cabbages, and such things; and if I know the signs of a dead cat being around, and I bet I do, there was sixty-four of them went in. I shoved in there for a minute, but it was too various for me; I couldn't stand it. Well, when the place couldn't hold no more people the duke he give a fellow a quarter and told him to tend door for him a minute, and then he started around for the stage door, I after him; but the minute we turned the corner and was in the dark he says:

"Walk fast now till you get away from the houses, and then shin for the raft like the dickens was after you! "

I done it, and he done the same. We struck the raft at the same time, and in less than two seconds we was gliding down-stream, all dark and still, and edging towards the middle of the river, nobody saying a word. I reckoned the poor king was in for a gaudy time of it with the audience, but nothing of the sort; pretty soon he crawls out from under the wigwam, and says:

"Well, how'd the old thing pan out this time, duke?" He hadn't been up-town at all.

We never showed a light till we was about ten mile below the village. Then we lit up and had a supper, and the king and the duke fairly laughed their bones loose over the way they'd served them people. The duke says:

"Greenhorns, flatheads! I knew the first house would keep mum and let the rest of the town get roped in; and I knew they'd lay for us the third night, and consider it was *their* turn now. Well, it *is* their turn, and I'd give something to know how much they'd take for it. I *would* just like to know how they're putting in their opportunity. They can turn it into a picnic if they want to—they brought plenty provisions."

Them rapsallions took in four hundred and sixty-five dollars in that three nights. I never see money hauled in by the wagon-load like that before.

By and by, when they was asleep and snoring, Jim says:

"Don't it s'prise you de way dem kings carries on, Huck?"

"No," I says, "it don't."

"Why don't it, Huck?"

"Well, it don't because it's in the breed. I reckon they're all alike."

"But, Huck, dese kings o' urn is reglar rapsallions; dat's jist what dey is; dey's reglar rapsallions."

"Well, that's what I'm a-saying; all kings is mostly rapsallions, as fur as I can make out."

"Is dat so?"

"You read about them once—you'll see. Look at Henry the Eight; this 'n' 's a Sunday-school Superintendent to *him*. And look at Charles Second, and Louis Fourteen, and Louis Fifteen, and James Second, and Edward Second, and Richard Third and forty more; besides all

them Saxon heptarchies that used to rip around so in old times and raise Cain. My, you ought to seen old Henry the Eight when he was in bloom. He *was* a blossom. He used to marry a new wife every day, and chop off her head next morning. And he would do it just as indifferent as if he was ordering up eggs. 'Fetch up Nell Gwynn,' he says. They fetch her up. Next morning, 'Chop off her head!' And they chop it off. 'Fetch up Jane Shore,' he says; and up she comes. Next morning, 'Chop off her head'—and they chop it off. 'Ring up Fair Rosamun.' Fair Rosamun answers the bell. Next morning, 'Chop off her head.' And he made every one of them tell him a tale every night; and he kept that up till he had hogged a thousand and one tales that way, and then he put them all in a book, and called it Domesday Book—which was a good name and stated the case. You don't know kings, Jim, but I know them; and this old rip of ourn is one of the cleanest I've struck in history. Well, Henry he takes a notion he wants to get up some trouble with this country. How does he go at it—give notice?—give the country a show? No. All of a sudden he heaves all the tea in Boston Harbor overboard, and whacks out a declaration of independence, and dares them to come on. That was *his* style—he never give anybody a chance. He had suspicions of his father, the Duke of Wellington. Well, what did he do? Ask him to show up? No—drownded him in a butt of mamsey, like a cat. S'pose people left money laying around where he was—what did he do? He collared it. S'pose he contracted to do a thing, and you paid him, and didn't set down there and see that he done it—what did he do? He always done the other thing. S'pose he opened his mouth—what then? If he didn't shut it up powerful quick he'd lose a lie every time. That's the kind of a bug Henry was; and if we'd 'a' had him along 'stead of our kings he'd 'a' fooled that town a heap worse than ourn done. I don't say that ourn is lambs, because they ain't, when you come right down to the cold facts; but they ain't nothing to *that* old ram, anyway. All I say is, kings is kings, and you got to make allowances. Take them all around, they're a mighty orner-y lot. It's the way they're raised."

"But dis one do *smell* so like de nation, Huck."

"Well, they all do, Jim. We can't help the way a king smells; history don't tell no way."

"Now de duke, he's a tolerable likely man in some ways."

"Yes, a duke's different. But not very different. This one's a mid-dling hard lot for a duke. When he's drunk there ain't no near-sighted man could tell him from a king."

"Well, anyways, I doan' hanker for no mo' un um, Huck. Dese is all I kin stan'."

"It's the way I feel, too, Jim. But we've got them on our hands, and we got to remember what they are, and make allowances. Sometimes I wish we could hear of a country that's out of kings."

What was the use to tell Jim these warn't real kings and dukes? It wouldn't 'a' done no good; and, besides, it was just as I said: you

couldn't tell them from the real kind.

I went to sleep, and Jim didn't call me when it was my turn. He often done that. When I waked up just at daybreak he was sitting there with his head down betwixt his knees, moaning and mourning to himself. I didn't take notice nor let on. I knowed what it was about. He was thinking about his wife and his children, away up yonder, and he was low and homesick; because he hadn't ever been away from home before in his life; and I do believe he cared just as much for his people as white folks does for their'n. It don't seem natural, but I reckon it's so. He was often moaning and mourning that way nights, when he judged I was asleep, and saying, "Po' little 'Lizabeth! po' little Johnny! it's mighty hard; I spec' I ain't ever gwyne to see you no mo', no mo'!" He was a mighty good nigger, Jim was.

But this time I somehow got to talking to him about his wife and young ones; and by and by he says:

"What makes me feel so bad dis time 'uz bekase I hear sumpn over yonder on de bank like a whack, er a slam, while ago, en it mine me er de time I treat my little 'Lizabeth so ornery. She warn't on'y 'bout fo' year ole, en she tuck de sk'yarlet fever, en had a powful rough spell; but she got well, en one day she was a-stannin' aroun', en I says to her, I says:

" 'Shet de do'."

"She never done it; jis' stood dah, kiner smilin' up at me. It make me mad; en I says ag'in, mighty loud, I says:

" 'Doan' you hear me? Shet de do'!"

"She jis' stood de same way, kiner smilin' up. I was a-bilin'! I says:

" 'I lay I *make* you mine! "

"En wid dat I fetch' her a slap side de head dat sont her a-sprawlin'. Den I went into de yuther room, en 'uz gone 'bout ten minutes; en when I come back dah was dat do' a-stannin' open *yit*, en dat chile stannin' mos' right in it, a-lookin' down and mournin', en de tears runnin' down. My, but I *wuz* mad! I was a-gwyne for de chile, but jis' den—it was a do' dat open innerds—jis' den, 'long come de wind en slam it to, behine de chile, *ker-blam!* —en my lan', de chile never move!' My breff mos' hop outer me; en I feel so—so—I doan' know *how* I feel. I crope out, all a-tremblin', en crope aroun' en open de do' easy en slow, en poke my head in behine de chile, sof' en still, en all uv a sudden I says *pow!* jis' as loud as I could yell. *She never budge!* Oh, Huck, I bust out a-cryn' en grab her up in my arms, en say, 'Oh, de po' little thing! De Lord God Amighty fogive po' ole Jim, kaze he never gwyne to fogive hissself as long's he live!' Oh, she was plumb deaf en dumb, Huck, plumb deaf en dumb—en I'd ben a-treat'n her so!"

CHAPTER XXIV

Next day, towards night, we laid up under a little willow towhead out in the middle, where there was a village on each side of the river, and the duke and the king begun to lay out a plan for working them towns. Jim he spoke to the duke, and said he hoped it wouldn't take but a few hours, because it got mighty heavy and tiresome to him when he had to lay all day in the wigwam tied with the rope. You see, when we left him all alone we had to tie him, because if anybody happened on to him all by himself and not tied it wouldn't look much like he was a runaway nigger, you know. So the duke said it was kind of hard to have to lay roped all day, and he'd cipher out some way to get around it.

He was uncommon bright, the duke was, and he soon struck it. He dressed Jim up in King Lear's outfit—it was a long curtain-calico gown, and a white horse-hair wig and whiskers; and then he took his theater paint and painted Jim's face and hands and ears and neck all over a dead, dull solid blue, like a man that's been drowned nine days. Blamed if he warn't the horriblest-looking outrage I ever see. Then the duke took and wrote out a sign on a shingle so:

Sick Arab—but harmless when not out of his head.

And he nailed that shingle to a lath, and stood the lath up four or five foot in front of the wigwam. Jim was satisfied. He said it was a sight better than lying tied a couple of years every day, and trembling all over every time there was a sound. The duke told him to make himself free and easy, and if anybody ever come meddling around, he must hop out of the wigwam, and carry on a little, and fetch a howl or two like a wild beast, and he reckoned they would light out and leave him alone. Which was sound enough judgment; but you take the average man, and he wouldn't wait for him to howl. Why, he didn't only look like he was dead, he looked considerable more than that.

These rapsallions wanted to try the Nonesuch again, because there was so much money in it, but they judged it wouldn't be safe, because maybe the news might 'a' worked along down by this time. They couldn't hit no project that suited exactly; so at last the duke said he reckoned he'd lay off and work his brains an hour or two and see if he couldn't put up something on the Arkansaw village; and the king he allowed he would drop over to t'other village without any plan, but just trust in Providence to lead him the profitable way—meaning the devil, I reckon. We had all bought store clothes where we stopped last; and now the king put his'n on, and he told me to put mine on. I done it, of course. The king's duds was all black, and he did look real swell and starchy. I never knowed how clothes could change a body before. Why, before, he looked like the orneriest old rip that ever was; but now, when he'd take off his new white beaver and make a bow and do a smile, he looked that grand and good and pious that you'd say he had walked right out of the ark, and maybe was old Leviticus himself.

Jim cleaned up the canoe, and I got my paddle ready. There was a big steamboat laying at the shore away up under the point, about three mile above the town—been there a couple of hours, taking on freight. Says the king:

"Seein' how I'm dressed, I reckon maybe I better arrive down from St. Louis or Cincinnati, or some other big place. Go for the steamboat, Huckleberry; we'll come down to the village on her."

I didn't have to be ordered twice to go and take a steamboat ride. I fetched the shore a half a mile above the village, and then went scooting along the bluff bank in the easy water. Pretty soon we come to a nice innocent-looking young country jake setting on a log swabbing the sweat off of his face, for it was powerful warm weather; and he had a couple of big carpet-bags by him.

"Run her nose inshore," says the king. I done it. "Wher' you bound for, young man?"

"For the steamboat; going to Orleans."

"Git aboard," says the king. "Hold on a minute, my servant 'll he'p you with them bags. Jump out and he'p the gentleman, Adolphus"—meaning me, I see.

I done so, and then we all three started on again. The young chap was mighty thankful; said it was tough work toting his baggage such weather. He asked the king where he was going, and the king told him he'd come down the river and landed at the other village this morning, and now he was going up a few mile to see an old friend on a farm up there. The young fellow says:

"When I first see you I says to myself, 'It's Mr. Wilks, sure, and he come mighty near getting here in time.' But then I says again, 'No, I reckon it ain't him, or else he wouldn't be paddling up the river.' You *ain't* him, are you?"

"No, my name's Blodgett—Elexander Blodgett—*Reverend* Elexander Blodgett, I s'pose I must say, as I'm one o' the Lord's poor servants. But still I'm jist as able to be sorry for Mr. Wilks for not arriving in time, all the same, if he's missed anything by it—which I hope he hasn't."

"Well, he don't miss any property by it, because he'll get that all right; but he's missed seeing his brother Peter die—which he mayn't mind, nobody can tell as to that—but his brother would 'a' give anything in this world to see *him* before he died; never talked about nothing else all these three weeks; hadn't seen him since they was boys together—and hadn't ever seen his brother William at all—that's the deaf and dumb one—William ain't more than thirty or thirty-five. Peter and George were the only ones that come out here; George was the married brother; him and his wife both died last year. Harvey and William's the only ones that's left now; and, as I was saying, they haven't got here in time."

"Did anybody send 'em word?"

"Oh, yes; a month or two ago, when Peter was first took; because

Peter said then that he sorter felt like he warn't going to get well this time. You see, he was pretty old, and George's g'irls was too young to be much company for him, except Mary Jane, the red-headed one; and so he was kinder lonesome after George and his wife died, and didn't seem to care much to live. He most desperately wanted to see Harvey—and William, too, for that matter—because he was one of them kind that can't bear to make a will. He left a letter behind for Harvey, and said he'd told in it where his money was hid, and how he wanted the rest of the property divided up so George's g'irls would be all right—for George didn't leave nothing. And that letter was all they could get him to put a pen to."

"Why do you reckon Harvey don't come? Wher' does he live?"

"Oh, he lives in England—Sheffield—preaches there—hasn't ever been in this country. He hasn't had any too much time—and besides he mightn't 'a' got the letter at all, you know."

"Too bad, too bad he couldn't 'a' lived to see his brothers, poor soul. You going to Orleans, you say?"

"Yes, but that ain't only a part of it. I'm going in a ship, next Wednesday, for Ryo Janeiro, where my uncle lives."

"It's a pretty long journey. But it 'll be lovely; I wisht I was a-going. Is Mary Jane the oldest? How old is the others?"

"Mary Jane's nineteen, Susan's fifteen, and Joanna's about fourteen—that's the one that gives herself to good works and has a hare-lip."

"Poor things! to be left alone in the cold world so."

"Well, they could be worse off. Old Peter had fricnds, and they ain't going to let them come to no harm. There's Hobson, the Babtis' preacher; and deacon Lot Hovey, and Ben Rucker, and Abner Shackleford, and Levi Bell, the lawyer; and Dr. Robinson, and thcir wives, and the widow Bartley, and—well, there's a lot of them; but these are the ones that Peter was thickest with, and used to write about sometimes, when he wrote home; so Harvey 'll know where to look for friends whcn he gets here."

Well, the old man went on asking questions till he just fairly emptied that young fellow. Blamed if he didn't inquire about everybody and everything in that blessed town, and all about the Wilkses; and about Peter's business—which was a tanner; and about George's which was a carpenter; and about Harvey's which was a disscntering minister; and so on, and so on. Then he says:

"What did you want to walk all the way up to the steamboat for?"

"Because she's a big Orleans boat, and I was afeard she mightn't stop there. When they're deep they won't stop for a hail. A Cincinnati boat will, but this is a St. Louis one."

"Was Peter Wilks well off?"

"Oh, yes, pretty well off. He had houses and land, and it's reckoned he left threc or four thousand in cash hid up som'ers."

"When did you say he died?"

"I didn't say, but it was last night."

"Funeral to-morrow, likely?"

"Yes, 'bout the middle of the day."

"Well, it's all terrible sad; but we've all got to go, one time or another. So what we want to do is to be prepared; then we're all right."

"Yes, sir, it's the best way. Ma used to always say that."

When we struck the boat she was about done loading, and pretty soon she got off. The king never said nothing about going aboard, so I lost my ride, after all. When the boat was gone the king made me paddle up another mile to a lonesome place, and then he got ashore and says:

"Now hustle back, right off, and fetch the duke up here, and the new carpet-bags. And if he's gone over to t'other side, go over there and git him. And tell him to git himself up regardless. Shove along, now."

I see what *he* was up to; but I never said nothing, of course. When I got back with the duke we hid the canoe, and then they set down on a log, and the king told him everything, just like the young fellow had said it—every last word of it. And all the time he was a-doing it he tried to talk like an Englishman; and he done it pretty well, too, for a slouch. I can't imitate him, and so I ain't a-going to try to; but he really done it pretty good. Then he says:

"How are you on the deaf and dumb, Bilgewater?"

The duke said, leave him alone for that; said he had played a deaf and dumb person on the histrionic boards. So then they waited for a steamboat.

About the middle of the afternoon a couple of little boats come along, but they didn't come from high enough up the river; but at last there was a big one, and they hailed her. She sent out her yawl, and we went aboard, and she was from Cincinnati; and when they found we only wanted to go four or five mile they was booming mad, and gave us a cussing, and said they wouldn't land us. But the king was ca'm. He says:

"If gentlemen kin afford to pay a dollar a mile apiece to be took on and put off in a yawl, a steamboat kin afford to carry 'em, can't it?"

So they softened down and said it was all right; and when we got to the village they yawled us ashore. About two dozen men flocked down when they see the yawl a-coming, and when the king says:

"Kin any of you gentlemen tell me wher' Mr. Peter Wilks lives?" they give a glance at one another, and nodded their heads, as much as to say, "What 'd I tell you?" Then one of them says, kind of soft and gentle:

"I'm sorry, sir, but the best we can do is to tell you where he *did* live yesterday evening."

Sudden as winking the ornery old cretur went all to smash, and fell up against the man, and put his chin on his shoulder, and cried down his back, and says:

"Alas, alas, our poor brother—gone, and we never got to see him; oh, it's too, *too* hard! "

Then he turns around, blubbering, and makes a lot of idiotic signs to the duke on his hands, and blamed if *he* didn't drop a carpet-bag and bust out a-crying. If they warn't the beatenest lot, them two frauds, that ever I struck.

Well, the men gathered around and sympathized with them, and said all sorts of kind things to them, and carried their carpet-bags up the hill for them, and let them lean on them and cry, and told the king all about his brother's last moments, and the king he told it all over again on his hands to the duke, and both of them took on about that dead tanner like they'd lost the twelve disciples. Well, if ever I struck anything like it, I'm a nigger. It was enough to make a body ashamed of the human race.

CHAPTER XXV

The news was all over town in two minutes, and you could see the people tearing down on the run from every which way, some of them putting on their coats as they come. Pretty soon we was in the middle of a crowd, and the noise of the tramping was like a soldier march. The windows and dooryards was full; and every minute somebody would say, over a fence:

"Is it *them*?"

And somebody trotting along with the gang would answer back and say:

"You bet it is."

When we got to the house the street in front of it was packed, and the three girls was standing in the door. Mary Jane was red-headed, but that don't make no difference, she was most awful beautiful, and her face and her eyes was all lit up like glory, she was so glad her uneles was come. The king he spread his arms, and Mary Jane she jumped for them, and the hare-lip jumped for the duke, and there they *had* it! Everybody most, leastways women, cried for joy to see them meet again at last and have such good times.

Then the king he hunched the duke private I see him do it and then he looked around and see the coffin, over in the corner on two chairs; so then him and the duke, with a hand across each other's shoulder, and t'other hand to their eyes, walked slow and solemn over there, everybody dropping back to give them room, and all the talk and noise stopping, people saying "'Sh! '" and all the men taking their hats off and drooping their heads, so you could 'a' heard a pin fall. And when they got there they bent over and looked in the coffin, and took one sight, and then they bust out a-crying so you could 'a' heard them to Orleans, most; and then they put their arms around each other's necks, and hung their chins over each other's shoulders;

and then for three minutes, or maybe four, I never see two men leak the way they done. And, mind you, everybody was doing the same; and the place was that damp I never see anything like it. Then one of them got on one side of the coffin, and t'other on t'other side, and they kneeled down and rested their foreheads on the coffin, and let on to pray all to themselves. Well, when it come to that it worked the crowd like you never see anything like it, and everybody broke down and went to sobbing right out loud—the poor girls, too; and every woman, nearly, went up to the girls, without saying a word, and kissed them, solemn, on the forehead, and then put their hand on their head, and looked up towards the sky, with the tears running down, and then busted out and went off sobbing and swabbing, and give the next woman a show. I never see anything so disgusting.

Well, by and by the king he gets up and comes forward a little, and works himself up and slobbers out a speech, all full of tears and flapdoodle, about its being a sore trial for him and his poor brother to lose the diseased, and to miss seeing diseased alive after the long journey of four thousand mile but it's a trial that's sweetened and sanctified to us by this dear sympathy and these holy tears, and so he thanks them out of his heart and out of his brother's heart, because out of their mouths they can't, words being too weak and cold, and all that kind of rot and slush, till it was just sickening; and then he blubbers out a pious goody-goody Amen, and turns himself loose and goes to crying fit to bust.

And the minute the words were out of his mouth somebody over in the crowd struck up the doxolojer, and everybody joined in with all their might, and it just warmed you up and made you feel as good-as church letting out. Music *is* a good thing; and after all that soul-butter and hogwash I never see it freshen up things so, and sound so honest and bully.

Then the king begins to work his jaw again, and says how him and his nieces would be glad if a few of the main principal friends of the family would take supper here with them this evening, and help set up with the ashes of the diseased; and says if his poor brother laying yonder could speak he knows who he would name, for they was names that was very dear to him, and mentioned often in his letters; and so he will name the same, to wit, as follows, viz.:—Rev. Mr. Hobson, and Deacon Lot Hovey, and Mr. Ben Rucker, and Abner Shackelford, and Levi Bell, and Dr. Robinson, and their wives, and the widow Bartley.

Rev. Hobson and Dr. Robinson was down to the end of the town a-hunting together that is, I mean the doctor was shipping a sick man to t'other world, and the preacher was pinting him right. Lawyer Bell was away up to Louisville on business. But the rest was on hand, and so they all come and shook hands with the king and thanked him and talked to him; and then they shook hands with the duke and didn't say nothing, but just kept a-smiling and bobbing their heads like a

passel of sapheads whilst he made all sorts of signs with his hands and said "Goo-goo—goo-goo-goo" all the time, like a baby that can't talk.

So the king he blattered along, and managed to inquire about pretty much everybody and dog in town, by his name, and mentioned all sorts of little things that happened one time or another in the town, or to George's family, or to Peter. And he always let on that Peter wrote him the things; but that was a lie; he got every blessed one of them out of that young flathead that we canoed up to the steamboat.

Then Mary Jane she fetched the letter her father left behind, and the king he read it out loud and cried over it. It give the dwelling-house and three thousand dollars, gold, to the girls; and it give the tanyard (which was doing a good business), along with some other houses and land (worth about seven thousand), and three thousand dollars in gold to Harvey and William, and told where the six thousand cash was hid down cellar. So these two frauds said they'd go and fetch it up, and have everything square and above-board; and told me to come with a candle. We shut the cellar door behind us, and when they found the bag they spilt it out on the floor, and it was a lovely sight, all them yaller-boys. My, the way the king's eyes did shine! He slaps the duke on the shoulder and says:

"Oh, *this* ain't bully nor noth'n! Oh, no, I reckon not! Why, Biljy, it beats the Nonesuch, don't it?"

The duke allowed it did. They pawed the yaller-boys, and sifted them through their fingers and let them jingle down on the floor; and the king says:

"It ain't no use talkin'; bein' brothers to a rich dead man and representatives of furrin heirs that's got left is the line for you and me. Bilge. Thish yer comes of trust'n to Providence. It's the best way, in the long run. I've tried 'em all, and ther' ain't no better way."

Most everybody would 'a' been satisfied with the pile, and took it on trust; but no, they must count it. So they counts it, and it comes out four hundred and fifteen dollars short. Says the king:

"Dern him, I wonder what he done with that four hundred and fifteen dollars?"

They worried over that awhile, and ransacked all around for it. Then the duke says:

"Well, he was a pretty sick man, and likely he made a mistake— I reckon that's the way of it. The best way's to let it go, and keep still about it. We can spare it."

"Oh, shucks, yes, we can *spare* it. I don't k'yer noth'n 'bout that it's the *count* I'm thinkin' about. We want to be awful square and open and aboveboard here, you know. We want to lug this h'yer monecy up-stairs and count it before everybody then ther' ain't noth'n suspicious. But when the dead man says ther's six thous'n dollars, you know, we don't want to "

"Hold on," says the duke. "Lc's make up the deffisit," and he begun to haul out yaller-boys out of his pocket.

"It's a most amaz'n' good idea, duke—you *have* got a rattlin' clever head on you," says the king. "Blest if the old Nonesuch ain't a heppin' us out ag'in," and *he* begun to haul out yaller-jackets and stack them up.

It most busted them, but they made up the six thousand clean and clear.

"Say," says the duke, "I got another idea. Le's go up-stairs and count this money, and then take and *give it to the girls*."

"Good land, duke, lemme hug you! It's the most dazzling idea 'at ever a man struck. You have cert'nly got the most astonishin' head I ever see. Oh, this is the boss dodge, ther' ain't no mistake 'bout it. Let 'em fetch along their suspicions now if they want to—this 'll lay 'em out."

When we got up-stairs everybody gethered around the table, and the king he counted it and stacked it up, three hundred dollars in a pile—twenty elegant little piles. Everybody looked hungry at it, and licked their chops. Then they raked it into the bag again, and I see the king begin to swell himself up for another speech. He says:

"Friends all, my poor brother that lays yonder has done generous by them that's left behind in the vale of sorrers. He has done generous by these yer poor little lambs that he loved and sheltered, and that's left fatherless and motherless. Yes, and we that knowed him knows that he would 'a' done *more* generous by 'em if he hadn't ben afeard o' woundin' his dear William and me. Now, *wouldn't* he? Ther' ain't no question 'bout it in *my* mind. Well, then, what kind o' brothers would it be that 'd stand in his way at sech a time? And what kind o' uncles would it be that 'd rob—yes, *rob*—sech poor sweet lambs as these 'at he loved so at sech a time? If I know William—and I *think* I do—he—well, I'll jest ask him." He turns around and begins to make a lot of sings to the duke with his hands, and the duke he looks at him stupid and leather-headed awhile; then all of a sudden he seems to catch his meaning, and jumps for the king, goo-gooing with all his might for joy, and hugs him about fifteen times before he lets up. Then the king says, "I knowed it; I reckon *that* 'll convince anybody the way *he* feels about it. Here, Mary Jane, Susan, Joanner, take the money—take it *all*. It's the gift of him that lays yonder, cold but joyful."

Mary Jane she went for him, Susan and the hare-lip went for the duke, and then such another hugging and kissing I never see yet. And everybody crowded up with the tears in their eyes, and most shook the hands off of them frauds, saying all the time:

"You dear good souls! —how *lovely*! —how *could* you! "

Well, then, pretty soon all hands got to talking about the diseased again, and how good he was, and what a loss he was, and all that; and before long a big iron-jawed man worked himself in there from outside, and stood a-listening and looking, and not saying anything; and nobody saying anything to him either, because the king was talking and they was all busy listening. The king was saying—in the middle of something he'd started in on—

"—they bein' partickler friends o' the diseased. That's why they're invited here this evenin'; but to-morrow we want *all* to come—everybody; for he respected everybody, he liked everybody, and so it's fitten that his funeral orgies sh'd be public."

And so he went a-mooning on and on, liking to hear himself talk, and every little while he fetched in his funeral orgies again, till the duke he couldn't stand it no more; so he writes on a little scrap of paper, "*Obsequies*, you old fool," and folds it up, and goes to goo-gooing and reaching it over people's heads to him. The king he reads it and puts it in his pocket, and says:

"Poor William, afflicted as he is, his *heart's* aluz right. Asks me to invite everybody to come to the funeral—wants me to make 'em all welcome. But he needn't 'a' worried—it was jest what I was at."

Then he weaves along again, perfectly ca'm, and goes to dropping in his funeral orgies again every now and then, just like he done before. And when he done it the third time he says:

"I say orgies, not because it's the common term, because it ain't—obsequies bein' the common term—but because orgies is the right term. Obsequies ain't used in England no more now—it's gone out. We say orgies now in England. Orgies is better, because it means the thing you're after more exact. It's a word that's made up out'n the Greek *orgo*, outside, open, abroad; and the Hebrew *jeesum*, to plant, cover up; hence *inter*. So, you see, funeral orgies is an open er public funeral."

He was the *worst* I ever struck. Well, the iron-jawed man he laughed right in his face. Everybody was shocked. Everybody says, "Why, *doctor!*" and Abner Shackleford says:

"Why, Robinson, hain't you heard the news? This is Harvey Wilks."

The king he smiled eager, and shoved out his flapper, and says:

"Is it my poor brother's dear good friend and physician? I—"

"Keep your hands off me!" says the doctor. "*You* talk like an Englishman, *don't* you? It's the worst imitation I ever heard. *You* Peter Wilks's brother! You're a fraud, that's what you are! "

Well, how they all took on! They crowded around the doctor and tried to quiet him down, and tried to explain to him and tell him how Harvey's showed in forty ways that he *was* Harvey, and knowed everybody by name, and the names of the very dogs, and begged and *begged* him not to hurt Harvey's feelings and the poor girls' feelings, and all that. But it warn't no use; he stormed right along, and said any man that pretended to be an Englishman and couldn't imitate the lingo no better than what he did was a fraud and a liar. The poor girls was hanging to the king and crying; and all of a sudden the doctor ups and turns on *them*. He says:

"I was your father's friend, and I'm your friend; and I warn you *as* a friend, and an honest one that wants to protect you and keep you out of harm and trouble, to turn your backs on that scoundrel and have nothing to do with him, the ignorant tramp, with his idiotic

Greek and Hebrew, as he calls it. He is the thinnest kind of an impostor—has come here with a lot of empty names and facts which he picked up somewhere; and you take them for *proofs*, and are helped to fool yourselves by these foolish friends here, who ought to know better. Mary Jane Wilks, you know me for your friend, and for your unselfish friend, too. Now listen to me; turn this pitiful rascal out—I beg you to do it. Will you?"

Mary Jane straightened herself up, and my, but she was handsome! She says:

"Here is my answer." She hove up the bag of money and put it in the king's hands, and says, "Take this six thousand dollars, and invest for me and my sisters any way you want to, and don't give us no receipt for it."

Then she put her arm around the king on one side, and Susan and the hare-lip done the same on the other. Everybody clapped their hands and stomped on the floor like a perfect storm, whilst the king held up his head and smiled proud. The doctor says:

"All right; I wash *my* hands of the matter. But I warn you all that a time's coming when you're going to feel sick whenever you think of this day." And away he went.

"All right, doctor," says the king, kinder mocking him; "we'll try and get 'em to send for you"; which made them all laugh, and they said it was a prime good hit.

CHAPTER XXVI

Well, when they was all gone the king he asks Mary Jane how they was off for spare rooms, and she said she had one spare room, which would do for Uncle William, and she'd give her own room to Uncle Harvey, which was a little bigger, and she would turn into the room with her sisters and sleep on a cot; and up garret was a little cubby, with a pallet in it. The king said the cubby would do for his valley—meaning me.

So Mary Jane took us up, and she showed them their rooms, which was plain but nice. She said she'd have her frocks and a lot of other traps took out of her room if they was in Uncle Harvey's way, but he said they warn't. The frocks was hung along the wall, and before them was a curtain made out of calico that hung down to the floor. There was an old hair trunk in one corner, and a guitar-box in another, and all sorts of little knickknacks and jimcracks around, like girls briskeen up a room with. The king said it was all the more homely and more pleasanter for these fixings, and so don't disturb them. The duke's room was pretty small, but plenty good enough, and so was my cubby.

That night they had a big supper, and all them men and women was there, and I stood behind the king and the duke's chairs and waited on them, and the niggers waited on the rest. Mary Jane she set at

the head of the table, with Susan alongside of her, and said how bad the biscuits was, and how mean the preserves was, and how ornery and tough the fried chickens was—and all that kind of rot, the way women always do for to force out compliments; and the people all knowed everything was tiptop, and said so—said “How *do* you get biscuits to brown so nice?” and “Where, for the land’s sake, *did* you get these amaz’n pickles?” and all that kind of humbug talky-talk, just the way people always does at a supper, you know.

And when it was all done me and the hare-lip had supper in the kitchen off of the leavings, whilst the others was helping the niggers clean up the things. The hare-lip she got to pumping me about England, and blest if I didn’t think the ice was getting mighty thin sometimes. She says:

“Did you ever see the king?”

“Who? William Fourth? Well, I bet I have—he goes to our church.” I knowed he was dead years ago, but I never let on. So when I says he goes to our church, she says:

“What—regular?”

“Yes—regular. His pew’s right over opposite ourn—on t’other side the pulpit.”

“I thought he lived in London?”

“Well, he does. Where *would* he live?”

“But I thought *you* lived in Sheffield?”

I see I was up a stump. I had to let on to get choked with a chicken-bone, so as to get time to think how to get down again. Then I says:

“I mean he goes to our church regular when he’s in Sheffield. That’s only in the summer-time, when he comes there to take the sea baths.”

“Why, how you talk—Sheffield ain’t on the sea.”

“Well, who said it was?”

“Why, you did.”

“I *didn’t*, nuther.”

“You did! ”

“I didn’t.”

“You did! ”

“I never said nothing of the kind.”

“Well, what *did* you say, then?”

“Said he come to take the sea *baths*—that’s what I said.”

“Well, then, how’s he going to take the sea baths if it ain’t on the sea?”

“Looky here,” I says; “did you ever see any Congress-water?”

“Yes.”

“Well, did you have to go to Congress to get it?”

“Why, no.”

“Well, neither does William Fourth have to go to the sea to get a sea bath.”

“How does he get it, then?”

"Gets it the way people down here gets Congress-water—in barrels. There in the palace at Sheffield they've got furnaces, and he wants his water hot. They can't bile that amount of water away off there at the sea. They haven't got no conveniences for it."

"Oh, I see, now. You might 'a' said that in the first place and saved time."

When she said that I see I was out of the woods again, and so I was comfortable and glad. Next, she says:

"Do you go to church, too?"

"Yes—regular."

"Where do you set?"

"Why, in our pew."

"Whose pew?"

"Why, *ourn*—your Uncle Harvey's."

"His'n? What does *he* want with a pew?"

"Wants it to set in. What did you *reckon* he wanted with it?"

"Why, I thought he'd be in the pulpit."

Rot him, I forgot he was a preacher. I see I was up a stump again, so I played another chicken-bone and got another think. Then I says:

"Blame it, do you suppose there ain't but one preacher to a church?"

"Why, what do they want with more?"

"What! —to preach before a king? I never did see such a girl as you. They don't have no less than seventeen."

"Seventeen! My land! Why, I wouldn't set out such a string as that, not if I *never* got to glory. I must take 'em a week."

"Shucks, they don't *all* of 'em preach the same day—only *one* of 'em."

"Well, then, what does the rest of 'em do?"

"Oh, nothing much. Loll around, pass the plate—and one thing or another. But mainly they don't do nothing."

"Well, then, what are they *for*?"

"Why, they're for *style*. Don't you know nothing?"

"Well, I don't *want* to know no such foolishness as that. How is servants treated in England? Do they treat 'em better 'n we treat our niggers?"

"No!" "A servant ain't nobody there. They treat them worse than dogs."

"Don't they give 'em holidays, the way we do, Christmas and New Year's week, and Fourth of July?"

"Oh, just listen! A body could tell *you* hain't ever been to England by that. Why, Hare-l—why, Joanna, they never see a holiday from year's end to year's end; never go to the circus, nor theater, nor nigger shows, nor nowheres."

"Nor church?"

"Nor church."

"But *you* always went to church."

Well, I was gone up again. I forgot I was the old man's servant. But next minute I whirled in on a kind of an explanation how a valley was different from a common servant, and *had* to go to church whether he wanted to or not, and set with the family, on account of its being the law. But I didn't do it pretty good, and when I got done I see she warn't satisfied. She says:

"Honest injun, now, hain't you been telling me a lot of lies?"

"Honest injun," says I.

"None of it at all?"

"None of it at all. Not a lie in it," says I.

"Lay your hand on this book and say it."

I see it warn't nothing but a dictionary, so I laid my hand on it and said it. So then she looked a little better satisfied, and says:

"Well, then, I'll believe some of it; but I hope to gracious if I'll believe the rest."

"What is it you won't believe, Jo?" says Mary Jane, stepping in with Susan behind her. "It ain't right nor kind for you to talk so to him, and him a stranger and so far from his people. How would you like to be treated so?"

"That's always your way, Maim—always sailing in to help somebody before they're hurt. I hain't done nothing to him. He's told some stretchers, I reckon, and I said I wouldn't swallow it all; and that's every bit and grain I *did* say. I reckon he can stand a little thing like that, can't he?"

"I don't care whether 'twas little or whether 'twas big; he's here in our house and a stranger, and it wasn't good of you to say it. If you was in his place it would make you feel ashamed; and so you oughtn't to say a thing to another person that will make *them* feel ashamed."

"Why, Maim, he said—"

"It don't make no difference what he *said*—that ain't the thing. The thing is for you to treat him *kind*, and not be saying things to make him remember he ain't in his own country and amongst his own folks."

I says to myself, *this* is a girl that I'm letting that old reptile rob her of her money!

Then Susan *she* waltzed in; and if you'll believe me, she did give Hare-lip hark from the tomb!

Says I to myself, and this is *another* one that I'm letting him rob her of her money!

Then Mary Jane she took another inning, and went in sweet and lovely again—which was her way; but when she got done there warn't hardly anything left o' poor Hare-lip. So she hollered.

"All right, then," says the other girls; "you just ask his pardon."

She done it, too; and she done it beautiful. She done it so beautiful it was good to hear; and I wished I could tell her a thousand lies, so she could do it again.

I says to myself, this is *another* one that I'm letting him rob her of

her money. And when she got through they all jest laid their selves out to make me feel at home and know I was amongst friends. I felt so ornery and low down and mean that I says to myself, my mind's made up; I'll hive that money for them or bust.

So then I lit out—for bed, I said, meaning some time or another. When I got by myself I went to thinking the thing over. I says to myself, shall I go to that doctor, private, and blow on these frauds? No—that won't do. He might tell who told him; then the king and the duke would make it warm for me. Shall I go, private, and tell Mary Jane? No—I dasn't do it. Her face would give them a hint, sure; they've got the money, and they'd slide right out and get away with it. If she was to fetch in help I'd get mixed up in the business before it was done with, I judge. No; there ain't no good way but one. I got to steal that money, somehow; and I got to steal it some way that they won't suspicion that I done it. They got a good thing here, and they ain't a-going to leave till they've played this family and this town for all they're worth, so I'll find a chance time enough. I'll steal it and hide it; and by and by, when I'm away down the river, I'll write a letter and tell Mary Jane where it's hid. But I better hive it to-night if I can, because the doctor maybe hasn't let up as much as he lets on he has; he might scare them out of here yet.

So, thinks I, I'll go and search them rooms. Up-stairs the hall was dark, but I found the duke's room, and started to paw around it with my hands; but I recollected it wouldn't be much like the king to let anybody else take care of that money but his own self; so then I went to his room and begun to paw around there. But I see I couldn't do nothing without a candle, and I dasn't light one, of course. So I judged I'd got to do the other thing—lay for them and eavesdrop. About that time I hears their footsteps coming and was going to skip under the bed; I reached for it, but it wasn't where I thought it would be; but I touched the curtain that hid Mary Jane's frocks, so I jumped in behind that and snuggled in amongst the gowns, and stood there perfectly still.

They come in and shut the door; and the first thing the duke done was to get down and look under the bed. Then I was glad I hadn't found the bed when I wanted it. And yet, you know, it's kind of natural to hide under the bed when you are up to anything private. They sets down then, and the king says:

"Well, what is it? And cut it middlin' short, because it's better for us to be down there a-whoopin' up the mournin' than up here givin' 'em a chance to talk us over."

"Well, this is it, Capet. I ain't easy; I ain't comfortable. That doctor lays on my mind. I wanted to know your plans I've got a notion, and I think it's a sound one."

"What is it, duke?"

"That we better glide out of this before three in the morning, and clip it down the river with what we've got. Specially, seeing we got it

so easy—*given* back to us, flung at our heads, as you may say, when of course we allowed to have to steal it back. I'm for knocking off and lighting out."

That made me feel pretty bad. About an hour or two ago it would 'a' been a little different, but now it made me feel bad and disappointed. The king rips out and says:

"What! And not sell out the rest o' the property? March off like a passel of fools and leave eight or nine thous'n' dollars' worth o' property layin' around jest sufferin' to be scooped in?—and all good, salable stuff, too."

The duke he grumbled; said the bag of gold was enough, and he didn't want to go no deeper—didn't want to rob a lot of orphans of *everything* they had.

"Why, how you talk! " says the king. "We sha'n't rob 'em of nothing at all but jest this money. The people that *buys* the property is the sufferers; because as soon 's it's found out 'at we didn't own it—which won't be long after we've slid—the sale won't be valid, and it 'll all go back to the estate. These yer orphans 'll git their house back agin, and that's enough for *them*; they're young and spry, and k'n easy earn a livn'. *They* ain't agoin' to suffer. Why, jest think—there's thous'n's and thous'n's that ain't nigh so well off. Bless you, *they* ain't got noth'n' to complain of."

Well, the king he talked him blind; so at last he give in, and said all right, but said he believed it was blamed foolishness to stay, and that doctor hanging over them. But the king says:

"Cuss the doctor! What dô we k'yer for *him*? Hain't we got all the fools in town on our side? And ain't that a big enough majority in any town?"

So they got ready to go down-stairs again. The duke says:

"I don't think we put that money in a good place."

That cheered me up. I'd begun to think I warn't going to get a hint of no kind to help me. The king says:

"Why?"

"Because Mary Jane 'll be in mourning from this out, and first you know the nigger that does up the rooms will get an order to box these duds up and put 'em away; and do you reckon a nigger can run across money and not borrow some of it?"

"Your head's level ag'in, duke," says the king; and he comes a-fumbling under the curtain two or three foot from where I was. I stuck tight to the wall and kept mighty still, though quivery; and I wondered what them fellows would say to me if they caught me; and I tried to think what I'd better do if they did catch me. But the king he got the bag before I could think more than about a half a thought, and he never suspicioned I was around. They took and shoved the bag through a rip in the straw tick that was under the feather-bed, and crammed it in a foot or two amongst the straw and said it was all right now, because a nigger only makes up the feather-bed, and

don't turn over the straw tick only about twice a year, and so it warn't in no danger of getting stole now.

But I knowed better. I had it out of there before they was half-way down-stairs. I groped along up to my cubby, and hid it there till I could get a chance to do better. I judged I better hide it outside of the house somewheres, because if they missed it they would give the house a good ransacking; I knowed that very well. Then I turned in, with my clothes all on; but I couldn't 'a' gone to sleep if I'd 'a' wanted to, I was in such a sweat to get through with the business. By and by I heard the king and the duke come up; so I rolled off my pallet and laid with my chin at the top of my ladder, and waited to see if anything was going to happen. But nothing did.

So I held on till all the late sounds had quit and the early ones hadn't begun yet; and then I slipped down the ladder.

CHAPTER XXVII

I crept to their doors and listened; they was snoring. So I tiptoed along, and got down-stairs all right. There warn't a sound anywheres. I peeped through a crack of the dining-room door, and see the men that was watching the corpse all sound asleep on their chairs. The door was open into the parlor, where the corpse was laying, and there was a candle in both rooms. I passed along, and the parlor door was open; but I see there warn't nobody in there but the remainders of Peter; so I shoved on by; but the front door was locked, and the key wasn't there. Just then I heard somebody coming down the stairs, back behind me. I run in the parlor and took a swift look around, and the only place I see to hide the bag was in the coffin. The lid was shoved along about a foot, showing the dead man's face down in there, with a wet cloth over it, and his shroud on. I tucked the money-bag in under the lid, just down beyond where his hands was crossed, which made me creep, they was so cold, and then I run back across the room and in behind the door.

The person coming was Mary Jane. She went to the coffin, very soft, and kneeled down and looked in; then she put up her handkerchief, and I see she begun to cry, though I couldn't hear her, and her back was to me. I slid out, and as I passed the dining-room I thought I'd make sure them watchers hadn't seen me; so I looked through the crack, and everything was all right. They hadn't stirred.

I slipped up to bed, feeling ruther blue, on accounts of the thing playing out that way after I had took so much trouble and run so much resk about it. Says I, if it could stay where it is, all right; because when we get down the river a hundred mile or two I could write back to Mary Jane, and she could dig him up again and get it; but that ain't the thing that's going to happen; the thing that's going to happen is, the money'll be found when they come to screw on the lid. Then the

king'll get it again, and it 'll be a long day before he gives anybody another chance to smouch it from him. Of course I *wanted* to slide down and get it out of there, but I dasn't try it. Every minute it was getting earlier now, and pretty soon some of them watchers would begin to stir, and I might get catched—catched with six thousand dollars in my hands that nobody hadn't hired me to take care of. I don't wish to be mixed up in no such business as that, I says to myself.

When I got down-stairs in the morning the parlor was shut up, and the watchers was gone. There warn't nobody around but the family and the widow Bartley and out tribe. I watched their faces to see if anything had been happening, but I couldn't tell.

Towards the middle of the day the undertaker come with his man, and they set the coffin in the middle of the room on a couple of chairs, and then set all our chairs in rows, and borrowed more from the neighbors till the hall and the parlor and the dining-room was full. I see the coffin lid was the way it was before, but I dasn't go to look in under it, with folks around.

Then the people begun to flock in, and the beats and the girls took seats in the front row at the head of the coffin, and for a half an hour the people filed around slow, in single rank, and looked down at the dead man's face a minute, and some dropped in a tear, and it was all very still and solemn, only the girls and the beats holding handkerchiefs to their eyes and keeping their heads bent, and sobbing a little. There warn't no other sound but the scraping of the feet on the floor and blowing noses—because people always blows them more at a funeral than they do at other places except church.

When the place was packed full the undertaker he slid around in his black gloves with his softy soothing ways, putting on the last touches, and getting people and things all shipshape and comfortable, and making no more sound than a cat. He never spoke; he moved people around, he squeezed in late ones, he opened up passageways, and done it with nods, and signs with his hands. Then he took his place over against the wall. He was the softest, glidingest, stealthiest man I ever see; and there warn't no more smile to him than there is to a ham.

They had borrowed a melodeum—a sick one; and when everything was ready a young woman set down and worked it; and it was pretty skreeky and colicky, and everybody joined in and sung, and Peter was the only one that had a good thing, according to my notion. Then the Reverend Hobson opened up, slow and solemn, and begun to talk; and straight off the most outrageous row busted out in the cellar a body ever heard; it was only one dog, but he made a most powerful racket, and he kept it up right along; the parson he had to stand there, over the coffin, and wait—you couldn't hear yourself think. It was right down awkward, and nobody didn't seem to know what to do. But pretty soon they see that long-legged undertaker make a sign to the preacher as much as to say, "Don't you worry—just depend on me." Then he stooped down and begun to glide along the wall, just

his shoulders showing over the people's heads. So he glided along and the powwow and racket getting more and more outrageous all the time; and at last, when he had gone around two sides of the room, he disappears down cellar. Then in about two seconds we heard a whack, and the dog he finished up with a most amazing howl or two, and then everything was dead still, and the parson begun his solemn talk where he left off. In a minute or two here comes this undertaker's back and shoulders gliding along the wall again; and so he glided and glided around three sides of the room, and then rose up, and shaded his mouth with his hands, and stretched his neck out towards the preacher, over the people's heads, and says, in a kind of a coarse whisper, "*He had a rat!*" Then he drooped down and glided along the wall again to his place. You could see it was a great satisfaction to the people, because naturally they wanted to know. A little thing like that don't cost nothing, and it's just the little things that makes a man to be looked up to and liked. There warn't no more popular man in town than what that undertaker was.

Well, the funeral sermon was very good, but pison long and tire-some; and then the king he shoved in and got off some of his usual rubbage, and at last the job was through, and the undertaker begun to sneak up on the coffin with his screw-driver. I was in a sweat then, and watched him pretty keen. But he never meddled at all; just slid the lid along as soft as mush, and screwed it down tight and fast. So there I was! I didn't know whether the money was in there or not. So, says I, s'pose somebody has hogged that bag on the sly?—now how do I know whether to write to Mary Jane or not? S'pose she dug him up and didn't find nothing, what would she think of me? Blame it, I says, I might get hunted up and jailed; I'd better lay low and keep dark, and not write at all; the thing's awful mixed now; trying to better it, I've worsened it a hundred times, and I wish to goodness I'd just let it alone, dad fetch the whole business!

They buried him, and we come back home, and I went to watching faces again—I couldn't help it, and I couldn't rest easy. But nothing come of it; the faces didn't tell me nothing.

The king he visited around in the evening, and sweetened everybody up, and made himself ever so friendly; and he give out the idea that his congregation over in England would be in a sweat about him, so he must hurry and settle up the estate right away and leave for home. He was very sorry he was so pushed, and so was everybody; they wished he could stay longer, but they said they could see it couldn't be done. And he said of course him and William would take the girls home with them; and that pleased everybody too, because then the girls would be well fixed and amongst their own relations; and it pleased the girls, too—tickled them so they clean forgot they ever had a trouble in the world; and told him to sell out as quick as he wanted to, they would be ready. Them poor things was that glad and happy it made my heart ache to see them getting fooled and lied to

so, but I didn't see no safe way for me to chip in and change the general tune.

Well, blamed if the king didn't bill the house and the niggers and all the property for auction straight off—sale two days after the funeral; but anybody could buy private beforehand if they wanted to.

So the next day after the funeral, along about noontime, the girls' joy got the first jolt. A couple of nigger-traders come along, and the king sold them the niggers reasonable, for three-day drafts as they called it, and away they went, the two sons up the river to Memphis, and their mother down the river to Orleans. I thought them poor girls and them niggers would break their hearts for grief; they cried around each other, and took on so it most made me down sick to see it. The girls said they hadn't ever dreamed of seeing the family separated or sold away from the town. I can't ever get it out of my memory, the sight of them poor miserable girls and niggers hanging around each other's necks and crying; and I reckon I couldn't 'a' stood it all, but would 'a' had to bust out and tell on our gang if I hadn't knowed the sale warn't no account and the niggers would be back home in a week or two.

The thing made a big stir in the town, too, and a good many come out flatfooted and said it was scandalous to separate the mother and the children that way. It injured the frauds some; but the old fool he bulled right along, spite of all the duke could say or do, and I tell you the duke was powerful uneasy.

Next day was auction day. About broad day in the morning the king and the duke come up in the garret and woke me up, and I see by their look that there was trouble. The king says:

"Was you in my room night before last?"

"No, your majesty"—which was the way I always called him when nobody but our gang warn't around.

"Was you in there yisterday er last night?"

"No, your majesty."

"Honor bright, now—no lies."

"Honor bright, your majesty, I'm telling you the truth. I hain't been a-near your room since Miss Mary Jane took you and the duke and showed it to you."

The duke says:

"Have you seen anybody else go in there?"

"No, your grace, not as I remember, I believe."

"Stop and think."

I studied awhile and see my chance; then I says:

"Well, I see the niggers go in there several times."

Both of them gave a little jump, and looked like they hadn't ever expected it, and then like they *had*. Then the duke says:

"What, *all* of them?"

"No—leastways, not all at once—that is, I don't think I ever see them all come *out* at once but just one time."

"Hello! When was that?"

"It was the day we had the funeral. In the morning. It warn't early, because I overslept. I was just starting down the ladder, and I see them."

"Well, go on, *go on*! What did they do? How'd they act?"

"They didn't do nothing. And they didn't act anyway much, as fur as I see. They tiptoed away; so I seen, easy enough, that they'd shoved in there to do up your majesty's room, or something, s'posing you was up; and found you *warn't* up, and so they was hoping to slide out of the way of trouble without waking you up, if they hadn't already waked you up."

"Great guns, *this* is a go!" says the king; and both of them looked pretty sick and tolerable silly. They stood there a-thinking and scratching their heads a minute, and the duke he bust into a kind of a little raspy chuckle, and says:

"It does beat all how neat the niggers played their hand. They let on to be *sorry* they was going out of this region! And I believed they *was* sorry, and so did you, and so did everybody. Don't ever tell *me* any more that a nigger ain't got any histrionic talent. Why, the way they played that thing it would fool *anybody*. In my opinion, there's a fortune in 'em. If I had capital and a theater, I wouldn't want a better lay-out than that—and here we've gone and sold 'em for a song. Yes, and ain't privileged to sing the song yet. Say, where *is* that song—that draft?"

"In the bank for to be collected. Where *would* it be?"

"Well, *that's* all right then, thank goodness."

Says I, kind of timid-like:

"Is something gone wrong?"

The king whirls on me and rips out:

"None o' your business! You keep your head shet, and mind y'r own affairs—if you got any. Long as you're in this town don't you forgit *that*—you hear?" Then he says to the duke, "We got to jest swaller it and say noth'n': mum's the word for *us*."

As they was starting down the ladder the duke he chuckles again, and says:

"Quick sales *and* small profits! It's a good business—yes."

The king snarls around on him and says:

"I was trying to do for the best in sellin' 'em out so quick. If the profits has turned out to be none, lackin' considerable, and none to carry, is it my fault any more'n it's yourn?"

"Well, *they'd* be in this house yet and we *wouldn't* if I could 'a' got my advice listened to."

The king sassed back as much as was safe for him, and then swapped around and lit into *me* again. He give me down the banks for not coming and telling him I see the niggers come out of his room acting that way—said any fool would 'a' *knowed* something was up. And then waltzed in and cussed *himself* awhile, and said it all come of him not laying late and taking his natural rest that morning, and he'd be

blamed if he'd ever do it again. So they went off a-jawing; and I felt dreadful glad I'd worked it all off onto the niggers, and yet hadn't done the niggers no harm by it.

CHAPTER XXVIII

By and by it was getting-up time. So I come down the ladder and started for down-stairs; but as I come to the girls' room the door was open, and I see Mary Jane setting by her old hair trunk, which was open and she'd been packing things in it—getting ready to go to England. But she had stopped now with a folded gown in her lap, and had her face in her hands, crying. I felt awful bad to see it; of course anybody would. I went in there and says:

"Miss Mary Jane, you can't a-bear to see people in trouble, and I can't—most always. Tell me about it."

So she done it. And it was the niggers—I just expected it. She said the beautiful trip to England was most about spoiled for her; she didn't know *how* she was ever going to be happy there, knowing the mother and the children warn't ever going to see each other no more—and then busted out bitterer than ever, and flung up her hands, and says:

"Oh, dear, dear, to think they ain't *ever* going to see each other any more! "

"But they *will*—and inside of two weeks—and I *know* it! " says I.

Laws, it was out before I could think! And before I could budge she throws her arms around my neck and told me to say it *again*, say it *again*, say it *again*!

I see I had spoke too sudden and said too much, and was in a close place. I asked her to let me think a minute; and she set there, very impatient and excited and handsome, but looking kind of happy and eased-up, like a person that's had a tooth pulled out. So I went to studying it out. I says to myself, I reckon a body that ups and tells the truth when he is in a tight place is taking considerable many resks, though I ain't had no experience, and can't say for certain; but it looks so to me, anyway; and yet here's a case where I'm blest if it don't look to me like the truth is better and actuly *safer* than a lie. I must lay it by in my mind, and think it over some time or other, it's so kind of strange and unregular. I never see nothing like it. Well, I says to myself at last, I'm a-going to chance it; I'll up and tell the truth this time, though it does seem most like setting down on a kag of powder and touching it off just to see where you'll go to. Then I says:

"Miss Mary Jane, is there any place out of town a little ways where you could go and stay three or four days?"

"Yes; Mr. Lothrop's. Why?"

"Never mind why yet. If I'll tell you how I know the niggers will

see each other again—inside of two weeks—here in this house—and *prove* how I know it—will you go to Mr. Lothrop's and stay four days?"

"Four days!" she says; "I'll stay a year!"

"All right," I says, "I don't want nothing more out of *you* than just your word—I druther have it than another man's kiss-the-Bible. She smiled and reddened up very sweet, and I says, "If you don't mind it, I'll shut the door—and bolt it."

Then I come back and set down again, and says:

"Don't you holler. Just set still and take it like a man. I got to tell the truth, and you want to brace up, Miss Mary, because it's a bad kind, and going to be hard to take, but there ain't no help for it. These uncles of yourn ain't no uncles at all; they're a couple of frauds—regular dead-beats. There, now we're over the worst of it, you can stand the rest middling easy."

It jolted her up like everything, of course; but I was over the shoal water now, so I went right along, her eyes a-blazing higher and higher all the time, and told her every blame thing, from where we first struck that young fool going up to the steamboat, clear through to where she flung herself onto the king's breast at the front door and he kissed her sixteen or seventeen times—and then up she jumps, with her face afire like sunset, and says:

"The brute! Come, don't waste a minute—not a *second*—we'll have them tarred and feathered, and flung in the river!"

Says I:

"Cert'nly. But do you mean *before* you go to Mr. Lothrop's or—"

"Oh," she says, "what am I *thinking* about!" she says, and set right down again. "Don't mind what I said—please don't—you *won't* now, *will* you?" Laying her silky hand on mine in that kind of a way that I said I would die first. "I never thought, I was so stirred up," she says; "now go on and I won't do so any more. You tell me what to do, and whatever you say I'll do it."

"Well," I says, "it's a rough gang, them two frauds, and I'm fixed so I got to travel with them a while longer, whether I want to or not—I druther not tell you why; and if you was to blow on them this town would get me out of their claws, and I'd be all right; but there'd be another person that you don't know about who'd be in big trouble. Well, we got to save *him*, hain't we? Of course. Well, then, we won't blow on them."

Saying them words put a good idea in my head. I see how maybe I could get me and Jim rid of the frauds; get them jailed here, and then leave. But I didn't want to run the raft in the daytime without anybody aboard to answer questions but me; so I didn't want the plan to begin working till pretty late to-night. I says:

"Miss Mary Jane, I'll tell you what we'll do, and you won't have to stay at Mr. Lothrop's so long, nuther. How fur is it?"

"A little short of four miles—right out in the country, back here."

"Well, that'll answer. Now you go along out there, and lay low till

nine or half past to-night, and then get them to fetch you home again—tell them you've thought of something. If you get here before eleven put a candle in this window, and if I don't turn up wait *till* eleven, and *then* if I don't turn up it means I'm gone, and out of the way, and safe. Then you come out and spread the news around, and get these beats jailed."

"Good," she says; "I'll do it."

"And if it just happens so that I don't get away, but get took up along with them, you must up and say I told you the whole thing beforehand, and you must stand by me all you can."

"Stand by you! indeed I will. They sha'n't touch a hair of your head!" she says, and I see her nostrils spread and her eyes snap when she said it, too.

"If I get away I sha'n't be here," I says, "to prove these rapscallions ain't your uncles, and I couldn't do it if I *was* here. I could swear they was beats and bummers, that's all, though that's worth something. Well, there's others can do that better than what I can, and they're people that ain't going to be doubted as quick as I'd be. I'll tell you how to find them. Gimme a pencil and a piece of paper. There—'*Royal Nonesuch, Bricksville.*' Put it away and don't lose it. When the court wants to find out something about these two, let them send up to Bricksville and say they've got the men that played the '*Royal Nonesuch*,' and ask for some witnesses—why, you'll have that entire town down here before you can hardly wink, Miss Mary. And they'll come a-biling, too."

I judged we had got everything fixed about right now. So I says:

"Just let the auction go right along, and don't worry. Nobody don't have to pay for the things they buy till a whole day after the auction on accounts of the short notice, and they ain't going out of this till they get that money; and the way we've fixed it the sale ain't going to count, and they ain't going to *get* no money. It's just like the way it was with the niggers—it warn't no sale, and the niggers will be back before long. Why, they can't collect the money for the *niggers* yet—'hey're in the worst kind of a fix, Miss Mary."

"Well," she says, "I'll run down to breakfast now, and then I'll start straight for Mr. Lothrop's."

"Deed, *that* ain't the ticket, Miss Mary Jane," I says, "by no manner of means: go *before* breakfast."

"Why?"

"What did you reckon I wanted you to go at all for, Miss Mary?"

"Well, I never thought—and come to think, I don't know. What was it?"

"Why, it's because you ain't one of these leather-face people, I don't want no better book than what your face is. A body can set down and read it off like coarse print. Do you reckon you can go and face your uncles when they come to kiss you good-morning, and never—"

"There, there, don't! Yes, I'll go before breakfast—I'll be glad to. And leave my sisters with them?"

"Yes; never mind about them. They've got to stand it yet awhile. They might suspicion something if all of you was to go. I don't want you to see them, nor your sisters, nor nobody in this town; if a neighbor was to ask how is your uncles this morning your face would tell something. No, you go right along, Miss Mary Jane, and I'll fix it with all of them. I'll tell Miss Susan to give your love to your uncles and say you've went away for a few hours for to get a little rest and change, or to see a friend, and you'll be back to-night or early in the morning."

"Gone to see a friend is all right, but I won't have my love give to them."

"Well, then, it sha'n't be." It was well enough to tell *her* so—no harm in it. It was only a little thing to do, and no trouble; and it's the little things that smooths people's roads the most, down here below; it would make Mary Jane comfortable, and it wouldn't cost nothing. Then I says: "There's one more thing—that bag of money."

"Well, they've got that; and it makes me feel pretty silly to think how they got it."

"No, you're out, there. They hain't got it."

"Why, who's got it?"

"I wish I knowed, but I don't. I *had* it, because I stole it from them; and I stole it to give to you; and I know where I hid it, but I am afraid it ain't there no more. I'm awfully sorry, Miss Mary Jane, I'm just as sorry as I can be; but I done the best I could; I did honest. I come nigh getting caught, and I had to shove it into the first place I come to, and run—and it warn't a good place."

"Oh, stop blaming yourself—it's too bad to do it, and I won't allow it—you couldn't help it; it wasn't your fault. Where did you hide it?"

I didn't want to set her to thinking about her troubles again; and I couldn't seem to get my mouth to tell her what would make her see that corpse laying in the coffin with that bag of money on his stomach. So for a minute I didn't say nothing; then I says:

"I'd ruther not *tell* you where I put it, Miss Mary Jane, if you don't mind letting me off; but I'll write it for you on a piece of paper, and you can read it along the road to Mr. Lothrop's, if you want to. Do you reckon that 'll do?"

"Oh, yes."

So I wrote: "I put it in the coffin. It was in there when you was crying there, away in the night. I was behind the door, and I was mighty sorry for you, Miss Mary Jane."

It made my eyes water a little to remember her crying there all by herself in the night, and them devils laying there right under her own roof, shaming her and robbing her; and when I folded it up and give

it to her I see the water come into her eyes, too; and she shook me by the hand, hard, and says:

"Good-by. I'm going to do everything just as you've told me; and if I don't ever see you again, I sha'n't ever forget you, and I'll think of you a many and a many a time, and I'll *pray* for you, too!"—and she was gone.

Pray for me! I reckoned if she knowed me she'd take a job that was more nearer her size. But I bet she done it, just the same—she was just that kind. She had the grit to pray for Judus if she took the notion—there warn't no back-down to her, I judge. You may say what you want to, but in my opinion she had more sand in her than any girl I ever see; in my opinion she was just full of sand. It sounds like flattery, but it ain't no flattery. And when it comes to beauty—and goodness, too—she lays over them all. I hain't ever seen her since that time that I see her go out of that door; no, I hain't ever seen her since, but I reckon I've thought of her a many and a many a million times, and of her saying she would pray for me; and if ever I'd 'a' thought it would do any good for me to pray for *her*, blamed if I wouldn't 'a' done it or bust.

Well, Mary Jane she lit out the back way, I reckon; because nobody see her go. When I struck Susan and the hare-lip, I says:

"What's the name of them people over on t'other side of the river that you all goes to see sometimes?"

They says:

"There's several; but it's the Proctors, mainly."

"That's the name," I says; "I most forgot it. Well, Miss Mary Jane she told me to tell you she's gone over there in a dreadful hurry—one of them's sick."

"Which one?"

"I don't know; leastways, I kinder forgot; but I thinks it's——"

"Sakes alive, I hope it ain't *Hanner*?"

"I'm sorry to say it," I says, "but Hanner's the very one."

"My goodness, and she so well only last week! Is she took bad?"

"It ain't no name for it. They set up with her all night, Miss Mary Jane said, and they don't think she'll last many hours."

"Only think of that, now! What's the matter with her?" I couldn't think of anything reasonable, right off that way, so I says:

"Mumps."

"Mumps your granny! They don't set up with people that's got the mumps."

"They don't, don't they? You better bet they do with *these* mumps. These mumps is different. It's a new kind, Miss Mary Jane said."

"How's it a new kind?"

"Because it's mixed up with other things."

"What other things?"

"Well, measles, and whooping-cough, and erysipelas, and consump-

tion, and yaller janders, and brain-fever, and I don't know what all."

"My land! And they call it the *mumps*?"

"That's what Miss Mary Jane said."

"Well, what in the nation do they call it the *mumps* for?"

"Why, because it *is* the mumps. That's what it starts with."

"Well, ther' ain't no sense in it. A body might stump his toe, and take pison, and fall down the well, and break his neck, and bust his brains out, and somebody come along and ask what killed him, and some numskull up and say, 'Why, he stumped his *toe*.' Would ther' be any sense in that? *No*. And ther' ain't no sense in *this*, nuther. Is it ketching?"

"Is it ketching? Why, how you talk. Is a harrow catching—in the dark? If you don't hitch on to one tooth, you're bound to on another, ain't you? And you can't get away with that tooth without fetching the whole harrow along, can you? Well, these kind of mumps is a kind of a harrow, as you may say—and it ain't no slouch of a harrow, nuther, you come to get it hitched on good."

"Well, it's awful, *I* think," says the hare-lip. "I'll go to Uncle Harvey and—"

"Oh, yes," *I* says. "*I would*. *Of course* I would. I wouldn't lose no time."

"Well, why wouldn't you?"

"Just look at it a minute, and maybe you can see. Hain't your uncles obleeged to get along home to England as fast as they can? And do you reckon they'd be mean enough to go off and leave you to go all that journey by yourselves? *You* know they'll wait for you. So fur, so good. Your uncle Harvey's a preacher, ain't he? Very well, then; is a *preacher* going to deceive a steamboat clerk? is he going to deceive a *ship clerk*?—so as to get them to let Miss Mary Jane go aboard? Now *you* know he ain't. What *will* he do, then? Why, he'll say, 'It's a great pity, but my church matters has got to get along the best way they can; for my niece has been exposed to the dreadful pluribus-unum mumps and so it's my bounden duty to set down here and wait the three months it takes to show on her if she's got it.' But never mind, if you think it's best to tell your uncle Harvey—"

"Shucks, and stay fooling around here when we could all be having good times in England whilst we was waiting to find out whether Mary Jane's got it or not? Why, you talk like a muggins."

"Well, anyway, maybe you'd better tell some of the neighbors."

"Listen at that, now. You do beat all for natural stupidity. Can't *you* see that *they'd* go and tell? Ther' ain't no way but just to not tell anybody at *all*."

"Well, maybe you're right—yes, I judge you *are* right."

"But I reckon we ought to tell Uncle Harvey she's gone out awhile, anyway, so he won't be uneasy about her."

"Yes, Miss Mary Jane she wanted you to do that. She says, 'Tell them to give Uncle Harvey and William my love and a kiss, and say

I've run over the river to see Mr. '—Mr.—what *is* the name of that rich family your uncle Peter used to think so much of?—I mean the one that—"

"Why, you must mean the Apthorps, aint it?"

"Of course; bother them kind of names, a body can't ever seem to remember them, half the time, somehow. Yes, she said, say she has run over for to ask the Apthorps to be sure and come to the auction and buy this house, because she allowed her uncle Peter would rather they had it than anybody else; and she's going to stick to them till they say they'll come, and then, if she ain't too tired, she's coming home; and if she is, she'll be home in the morning anyway. She said, don't say nothing about the Proctors, but only about the Apthorps—which'll be perfectly true, because she *is* going there to speak about their buying the house; I know it, because she told me so herself."

"All right," they said, and cleared out to lay for their uncles, and give them the love and the kisses, and tell them the message.

Everything was all right now. The girls wouldn't say nothing because they wanted to go to England; and the king and the duke would rather Mary Jane was off working for the auction than around in reach of Doctor Robinson. I felt very good; I judged I had done it pretty neat—I reckoned Tom Sawyer couldn't 'a' done it no neater himself. Of course he would 'a' throwed more style into it, but I can't do that very handy, not being brung up to it.

Well, they held the auction in the public square, along towards the end of the afternoon, and it strung along, and strung along, and the old man he was on hand and looking his level pisonest, up there long-side of the auctioncer, and chipping in a little Scripture now and then, or a little goody-goody saying of some kind, and the duke he was around goo-gooing for sympathy all he knowed how, and just spreading himself generly.

But by and by the thing dragged through, and everything was sold—everything but a little old trifling lot in the graveyard. So they'd got to work *that* off—I never see such a girafft as the king was for wanting to swallow *everything*. Well, whilst they was at it a steamboat landed, and in about two minutes up comes a crowd a-whooping and yelling and laughing and carrying on, and singing out:

"*Here's* your opposition line! here's your two scts o' heirs to old Peter Wilks—and you pays your money and you takes your choice! "

CHAPTER XXIX

They was fctching a very nice-looking old gentleman along, and a nice-looking younger onc, with his right arm in a sling. And, my souls, how the people yelled and laughed, and kept it up. But I didn't sce no joke about it, and I judged it would strain the duke and the

king some to see any. I reckoned they'd turn pale. But no, nary a pale did *they* turn. The duke he never let on he suspicioned what was up, but just went a goo-gooing around, happy and satisfied, like a jug that's googling out buttermilk; and as for the king, he just gazed and gazed down sorrowful on them new-comers like it give him the stomach-ache in his very heart to think there could be such frauds and rascals in the world. Oh, he done it admirable. Lots of the principal people gethered around the king, to let him see they was on his side. That old gentleman that had just come looked all puzzled to death. Pretty soon he begun to speak, and I see straight off he pronounced *like* an Englishman—not the king's way, though the king's *was* pretty good for an imitation. I can't give the old gent's words, nor I can't imitate him; but he turned around to the crowd, and says, about like this:

"This is a surprise to 'me which I wasn't looking for; and I'll acknowledge, candid and frank, I ain't very well fixed to meet it and answer it; for my brother and me has had misfortunes; he's broke his arm, and our baggage got put off at a town above here last night in the night by a mistake. I am Peter Wilks's brother Harvey, and this is his brother William, which can't hear nor speak—and can't even make signs to amount to much, now't he's only got one hand to work them with. We are who we say we are; and in a day or two, when I get the baggage, I can prove it. But up till then I won't say nothing more, but go to the hotel and wait."

So him and the new dummy started off; and the king he laughs, and blathers out:

"Broke his arm—*very* likely, *ain't* it?—and very convenient, too, for a fraud that's got to make signs, and ain't learnt how. Lost their baggage! That's *mighty* good!—and mighty ingenious—under the *circumstances!*"

So he laughed again; and so did everybody else, except three or four, or maybe half a dozen. One of these was the doctor, another one was a sharp-looking gentleman, with a carpet-bag of the old-fashioned kind made out of carpet-stuff, that had just come off of the steamboat and was talking to him in a low voice, and glancing towards the king now and then and nodding their heads— it was Levi Bell, the lawyer that was gone up to Louisville; and another one was a big rough husky that come along and listened to all the old gentleman said, and was listening to the king now. And when the king got done this husky up and says:

"Say, looky here; if you are Harvey Wilks, when'd you come to this town?"

"The day before the funeral, friend," says the king.

"But what time o' day?"

"In the evcnin' 'bout an hour er two before sundown."

"How'd you come?"

"I come down on the *Susan Powell* from Cincinnati."

"Well, then, how'd you come to be up at the Pint in the *mornin'* in a canoe?"

"I warn't up at the Pint in the *mornin'.*"

"It's a lie."

Several of them jumped for him and begged him not to talk that way to an old man and a preacher.

"Preacher be hanged, he's a fraud and a liar. He was up at the Pint that *mornin'*. I live up there, don't I? Well, I was up there, and he was up there. I *see* him there. He come in a canoe, along with Tim Collins and a boy."

The doctor he up and says:

"Would you know the boy again if you was to see him, Hines?"

"I reckon I would, but I don't know. Why yonder he is, now. I know him perfectly easy."

It was me he pointed at. The doctor says:

"Neighbors, I don't know whether the new couple is frauds or not; but if *these* two ain't frauds, I am an idiot, that's all. I think it's our duty to see that they don't get away from here till we've looked into this thing. Come along, Hines; come along, the rest of you. We'll take these fellows to the tavern and affront them with t'other couple, and I reckon we'll find out *something* before we get through."

It was nuts for the crowd, though maybe not for the king's friends; so we all started. It was about sundown. The doctor he led me along by the hand, and was plenty kind enough, but he never let go my hand.

We all got in a big room in the hotel, and lit up some candles, and fetched in the new couple. First, the doctor says:

"I don't wish to be too hard on these two men, but I think they're frauds, and they may have complices that we don't know nothing about. If they have, won't the complices get away with that bag of gold Peter Wilks left? It ain't unlikely. If these men ain't frauds, they won't object to sending for that money and letting us keep it till they prove they're all right—ain't that so?"

Everybody agreed to that. So I judged they had our gang in a pretty tight place right at the outstart. But the king he only looked sorrowful, and says:

"Gentlemen, I wish the money was there, for I ain't got no disposition to throw anything in the way of a fair, open, out-and-out investigation o' this misable business; but, alas, the money ain't there; you k'n send and see, if you want to."

"Where is it, then?"

"Well, when my niece give it to me to keep for her I took and hid it inside o' the straw tick o' my bed, not wishin' to bank it for the few days we'd be here, and considerin' the bed a safe place, we not bein' used to niggers, and suppos'n 'em honest, like servants in England. The niggers stole it the very next *mornin'* after I had went down-stairs; and when I sold 'em I hadn't missed the money yit, so they got

clean away with it. My servant here k'n tell you 'bout it, gentlemen."

The doctor and several said "Shucks!" and I see nobody didn't altogether believe him. One man asked me if I see the nigger, steal it. I said no, but I see them sneaking out of the room and hustling away, and I never thought nothing, only I reckoned they was afraid they had waked up my master and was trying to get away before he made trouble with them. That was all they asked me. Then the doctor whirls on me and says:

"Are *you* English, too?"

I says yes: and him and some others laughed, and said "Stuff!"

Well, then they sailed in on the general investigation, and there we had it, up and down, hour in, hour out, and nobody never said a word about supper, nor ever seemed to think about it—and so they kept it up, and kept it up; and it *was* the worst mixed-up thing you ever see. They made the king tell his yarn, and they made the old gentleman tell his'n; and anybody but a lot of prejudiced chuckleheads would 'a' *seen* that the old gentleman was spinning truth and t'other one lies. And by and by they had me up to tell what I knowed. The king he give me a left-handed look out of the corner of his eye, and so I knowed enough to talk on the right side. I begun to tell about Sheffield, and how we lived there, and all about the English Wilkses, and so on; but I didn't get pretty fur till the doctor begun to laugh; and Levi Bell, the lawyer, says:

"Set down, my boy; I wouldn't strain myself if I was you. I reckon you ain't used to lying, it don't seem to come handy, what you want is practice. You do it pretty awkward."

I didn't care nothing for the compliment, but I was glad to be let off, anyway.

The doctor he started to say something, and turns and says:

"If you'd been in town at first, Levi Bell—"

The king broke in and reached out his hand, and says:

"Why, is this my poor dead brother's old friend that he's wrote so often about?"

The lawyer and him shook hands, and the lawyer smiled and looked pleased, and they talked right along awhile, and then got to one side and talked low; and at last the lawyer speaks up and says:

"That 'll fix it. I'll take the order and send it, along with your brother's, and then they'll know it's all right."

So they got some paper and a pen, and the king he set down and twisted his head to one side, and chawed his tongue, and scrawled off something; and then they give the pen to the duke—and then for the first time the duke looked sick. But he took the pen and wrote. So then the lawyer turns to the new old gentleman and says:

"You and your brother please write a line or two and sign your names."

The old gentleman wrote, but nobody couldn't read it. The lawyer looked powerful astonished, and says:

"Well, it beats *me*"—and snaked a lot of old letters out of his pocket, and examined them and then examined the old man's writing, and then *them* again; and then says: "These old letters is from Harvey Wilks; and here's *these* two handwritings, and anybody can see *they* didn't write them" (the king and the duke looked sold and foolish, I tell you, to see how the lawyer had took them in), "and here's *this* old gentleman's handwriting, and anybody can tell, easy enough, *he* didn't write them—fact is, the scratches he makes ain't properly *writing* at all. Now, here's some letters from—"

The new old gentleman says:

"If you please, let me explain. Nobody can read my hand but my brother there—so he copies for me. It's *his* hand you've got there, not mine."

"*Well!*" says the lawyer, "*this is* a state of things. I've got some of William's letters, too; so if you'll get him to write a line or so we can com—"

"He *can't* write with his left hand," says the old gentleman. "If he could use his right hand, you would see that he wrote his own letters and mine too. Look at both, please—they're by the same hand."

The lawyer done it, and says:

"I believe it's so—and if it ain't so, there's a heap stronger resemblance than I'd noticed before, anyway. Well, well, well! I thought we was right on the track of a slution, but it's gone to grass, partly. But anyway, *one* thing is proved—*these* two ain't either of 'em Wilkses"—and he wagged his head towards the king and the duke.

Well, what do you think? That mule-headed old fool wouldn't give in *then!* Indeed he wouldn't. Said it warn't no fair test. Said his brother William was the cussedest joker in the world, and hadn't *tried* to write—he see William was going to play one of his jokes the minute he put the pen to paper. And so he warmed up and went warbling right along till he was actuly beginning to believe what he was saying *himself*; but pretty soon the new gentleman broke in, and says:

"I've thought of something. Is there anybody here that helped to lay out my br—helped to lay out the late Peter Wilks for burying?"

"Yes," says somebody, "me and Ab Turner done it. We're both here."

Then the old man turns toward the king, and says:

"Peraps this gentleman can tell me what was tattooed on his breast?"

Blamed if the king didn't have to brace up mighty quick, or he'd 'a' squashed down like a bluff bank that the river has cut under, it took him so sudden; and, mind you, it was a thing that was calculated to make most *anybody* squash to get fetched such a solid one as that without any notice, because how was *he* going to know what was tattooed on the man? He whitened a little; he couldn't help it; and it was mighty still in there, and everybody bending a little forwards and gazing at him. Says I to myself, *Now* he'll throw up the sponge—there ain't no more use. Well, did he? A body can't hardly believe it, but he

didn't. I reckon he thought he'd keep the thing up till he tired them people out, so they'd thin out, and him and the duke could break loose and get away. Anyway, he set there, and pretty soon he begun to smile, and says:

"Mf! It's a *very* tough question, *ain't* it! Yes, sir, I k'n tell you what's tattooed on his breast. It's jest a small, thin blue arrow—that's what it is; and if you don't look clost, you can't see it. *Now* what do you say—hey?"

Well, *I* never see anything like that old blister for clean out-and-out cheek.

The new old gentleman turns brisk towards Ab Turner and his pard, and his eye lights up like he judged he'd got the king *this* time, and says:

"There—you've heard what he said! Was there any such mark on Peter Wilks's breast?"

Both of them spoke up and says:

"We didn't see no such mark."

"Good!" says the old gentleman. "Now, what you *did* see on his breast was a small dim P, and a B (which is an initial he dropped when he was young), and a W, and dashes between them, so: P—B—W"—and he marked them that way on a piece of paper. "Come, ain't that what you saw?"

Both of them spoke up again, and says:

"No, we *didn't*. We never seen any marks at all." Well, everybody was in a state of mind now, and they sings out:

"The whole *bilin'* of 'm 's frauds! Le's duck 'em! le's drown 'em! le's ride 'em on a rail!" and everybody was whooping at once, and there was a rattling powwow. But the lawyer he jumps on the table and yells, and says:

"Gentlemen—gentlemen! Hear me just a word—just a *single* word—if you PLEASE! There's one way yet—let's go and dig up the corpse and look."

That took them.

"Hooray!" they all shouted, and was starting right off; but the lawyer and the doctor sung out:

"Hold on, hold on! Collar all these four men and the boy, and fetch *them* along, too!"

"We'll do it!" they all shouted; "and if we don't find them marks we'll lynch the whole gang!"

I was scared, now, I tell you. But there warn't no getting away, you know. They gripped us all, and marched us right along, straight for the graveyard, which was a mile and a half down the river, and the whole town at our heels, for we made noise enough, and it was only nine in the evening.

As we went by our house I wished I hadn't sent Mary Jane out of town; because now if I could tip her the wink she'd light out and save me, and blow on our dead-beats.

Well, we swarmed along down the river road, just carrying on like wildcats; and to make it more scary the sky was darking up, and the lightning beginning to wink and flutter, and the wind to shiver amongst the leaves. This was the most awful trouble and most dangerous I ever was in; and I was kinder stunned; everything was going so different from what I had allowed for; stead of being fixed so I could take my own time if I wanted to, and see all the fun, and have Mary Jane at my back to save me and set me free when the close-fit come, here was nothing in the world betwixt me and sudden death but just them tattoo-marks. If they didn't find them—

I couldn't bear to think about it; and yet, somehow, I couldn't think about nothing else. It got darker and darker, and it was a beautiful time to give the crowd the slip; but that big husky had me by the wrist—Hines—and a body might as well try to give Goliar the slip. He dragged me right along, he was so excited, and I had to run to keep up.

When they got there they swarmed into the graveyard and washed over it like an overflow. And when they got to the grave they found they had about a hundred times as many shovels as they wanted, but nobody hadn't thought to fetch a lantern. But they sailed into digging anyway by the flicker of the lightning, and sent a man to the nearest house, a half a mile off, to borrow one.

So they dug and dug like everything; and it got awful dark, and the rain started, and the wind swished and swushed along, and the lightning come brisker and brisker, and the thunder boomed; but them people never took no notice of it, they was so full of this business; and one minute you could see everything and every face in that big crowd, and the shovelfuls of dirt sailing up out of the grave, and the next second the dark wiped it all out, and you couldn't see nothing at all.

At last they got out the coffin and begun to unscrew the lid, and then such another crowding and shouldering and shoving as there was, to scrouge in and get a sight, you never see; and in the dark, that way, it was awful. Hines he hurt my wrist dreadful pulling and tugging so, and I reckon he clean forgot I was in the world, he was so excited and panting.

All of a sudden the lightning let go a perfect sluice of white glare, and somebody sings out:

"By the living jingo, here's the bag of gold on his breast! "

Hines let out a whoop, like everybody else, and dropped my wrist and give a big surge to bust his way in and get a look, and the way I lit out and shinned for the road in the dark there ain't nobody can tell.

I had the road all to myself, and I fairly flew—leastways, I had it all to myself except the solid dark, and the now-and-then glares, and the buzzing of the rain, and the thrashing of the wind, and the splitting of the thunder; and sure as you are born I did clip it along!

When I struck the town I see there warn't nobody out in the storm,

so I never hunted for no back streets, but humped it straight through the main one; and when I begun to get towards our house I aimed my eye and set it. No light there; the house all dark—which made me feel sorry and disappointed, I didn't know why. But at last, just as I was sailing by, *flash* comes the light in Mary Jane's window! and my heart swelled up sudden, like to bust; and the same second the house and all was behind me in the dark, and wasn't ever going to be before me no more in this world. She was the best girl I ever see, and had the most sand.

The minute I was far enough above the town to see I could make the towhead, I begun to look sharp for a boat to borrow, and the first time the lightning showed me one that wasn't chained I snatched it and shoved. It was a canoe, and warn't fastened with nothing but a rope. The towhead was a rattling big distance off, away out there in the middle of the river, but I didn't lose no time; and when I struck the raft at last I was so fagged I would 'a' just laid down to blow and gasp if I could afforded it. But I didn't. As I sprung aboard I sung out:

"Out with you, Jim, and set her loose! Glory be to goodness, we're shut of them! "

Jim lit out, and was a-coming for me with both arms spread, he was so full of joy; but when I glimpsed him in the lightning my heart shot up in my mouth and I went overboard backwards; for I forgot he was old King Lear and a drowned A-rab all in one, and it most scared the livers and lights out of me. But Jim fished me out, and was going to hug me and bless me, and so on, he was so glad I was back and we was shut of the king and the duke, but I says:

"Not now; have it for breakfast, have it for breakfast! Cut loose and let her slide."

So in two seconds away we went a-sliding down the river, and it *did* seem so good to be free again and all by ourselves on the big river, and nobody to bother us. I had to skip around a bit, and jump up and crack my heels a few times—I couldn't help it; but about the third crack I noticed a sound that I knowed mighty well, and held my breath and listened and waited; and sure enough, when the next flash busted out over the water, here they come! —and just a-laying to their oars and making their skiff hum! It was the king and the duke.

So I wilted right down onto the planks then, and give up; and it was all I could do to keep from crying.

CHAPTER XXX

When they got aboard the king went for me, and shook me by the collar, and says:

"Tryin' to give us the slip, was ye, you pup! Tired of our company, hey?"

I says:

"No, your majesty, we warn't—*please* don't, your majesty! "

"Quick, then, and tell us what *was* your idea, or I'll shake the insides out o' you! "

"Honest, I'll tell you everything just as it happened, your majesty. The man that had a-holt of me was very good to me, and kept saying he had a boy about as big as me that died last year, and he was sorry to see a boy in such a dangerous fix; and when they was all took by surprise by finding the gold, and made a rush for the coffin, he lets go of me and whispers, 'Heel it now, or they'll hang ye, sure!' and I lit out. It didn't seem no good for *me* to stay—I couldn't do nothing, and I didn't want to be hung if I could get away. So I never stopped running till I found the canoe; and when I got here I told Jim to hurry, or they'd catch me and hang me yet, and said I was afeard you and the duke wasn't alive now, and I was awful sorry; and so was Jim, and was awful glad when we see you coming; you may ask Jim if I didn't."

Jim said it was so; and the king told him to shut up, and said, "Oh, yes, it's *mighty* likely! " and shook me up again, and said he reckoned he'd drownd me. But the duke says:

"Leggo the boy, you old idiot! Would *you* 'a' done any different? Did you inquire around for *him* when you got loose? *I* don't remember it."

So the king let go of me, and begun to cuss that town and everybody in it. But the duke says:

"You better a blame' sight give *yourself* a good cussing, for you're the one that's entitled to it most. You hain't done a thing from the start that had any sense in it, except coming out so cool and cheeky with that imaginary blue-arrow mark. That *was* bright—it was right down bully; and it was the thing that saved us. For if it hadn't been for that they'd 'a' jailed us till them Englishmen's baggage come—and then—the penitentiary, you bet! But that trick took 'em to the graveyard, and the gold done us a still bigger kindness; for if the excited fools hadn't let go all holts and made that rush to get a look we'd 'a' slept in our cravats tonight—cravats warranted to *wear*, too—longer than we'd need 'em."

They was still a minute—thinking; then the king says, kind of absent-minded like:

"Mf! And we reckoned the *niggers* stole it! "

That made me squirm!

"Yes," says the duke, kinder slow and deliberate and sarcastic, "we did."

After about a half a minute the king drawls out:

"Leastways, I did."

The duke says, the same way:

"On the contrary, *I* did."

The king kind of ruffles up, and says:

"Looky here, Bilgewater, what'r you referrin' to?"

The duke says, pretty brisk:

"When it comes to that, maybe you'll let me ask what was *you* referring to?"

"Shucks! " says the king, very sarcastic; "but *I* don't know—maybe you was asleep, and didn't know what you was about."

The duke bristles up now, and says:

"Oh, let *up* on this cussed nonsense; do you take me for a blame' fool? Don't you reckon *I* know who hid that money in that coffin?"

"Yes, sir! I know you *do* know, because you done it yourself! "

"It's a lie! "—and the duke went for him. The king sings out:

"Take y'r hands off! —leggo my throat! —I take it all back! "

The duke says:

"Well, you just own up, first, that you *did* hide that money there, intending to give me the slip one of these days, and come back and dig it up, and have it all to yourself."

"Wait jest a minute, duke—answer me this one question, honest and fair; if you didn't put the money there, say it, and I'll b'lieve you, and take back everything I said."

"You old scoundrel, I didn't, and you know I didn't. There, now!"

"Well, then, I b'lieve you. But answer me only jest this one more—now *don't* git mad; didn't you have it in your *mind* to hook the money and hide it?"

The duke never said nothing for a little bit; then he says:

"Well, I don't care if I *did*, I didn't *do* it, anyway. But you not only had it in mind to do it, but you *done* it."

"I wisht I never die if I done it, duke, and that's honest. I won't say I warn't *goin'* to do it, because I *was*; but you—I mean somebody—got in ahead o' me."

"It's a lie! You done it, and you got to *say* you done it, or—"

The king began to gurgle, and then he gasps out: " 'Nough! —*I own up!* "

I was very glad to hear him say that; it made me feel much more easier than what I was feeling before. So the duke took his hands off and says:

"If you ever deny it again I'll drown you. It's *well* for you to set there and blubber like a baby—it's fitten for you, after the way you've acted. I never see such an old ostrich for wanting to gobble everything—and I a-trusting you all the time, like you was my own father. You ought to been ashamed of yourself to stand by and hear it saddled on to a lot of poor niggers, and you never say a word for 'em. It makes me feel ridiculous to think I was soft enough to *believe* that rubbish. Cuss you, I can see now why you was so anxious to make up the deffisit—you wanted to get what money I'd got out of the "None-such" and one thing or another, and scoop it *all!* "

The king says, timid, and still a-snuffling:

"Why, duke, it was you that said make up the deffisit; it warn't me."

"Dry up! I don't want to hear no more *out* of you!" says the duke. "And *now* you see what you *got* by it. They've got all their own money back, and all of *ourn* but a shekel or two *besides*. G'long to bed, and don't you deffersit *me* no more deffersits, long's *you* live!"

So the king sneaked into the wigwam and took to his bottle for comfort, and before long the duke tackled *his* bottle; and so in about a half an hour they was as thick as thieves again, and the tighter they got the loviner they got, and went off a-snoring in each other's arms. They both got powerful mellow, but I noticed the king didn't get mellow enough to forget to remember to not deny about hiding the money-bag again. That made me feel easy and satisfied. Of course when they got to snoring we had a long gabble, and I told Jim everything.

CHAPTER XXXI

We dasn't stop again at any town for days and days; kept right along down the river. We was down south in the warm weather now, and a mighty long way from home. We begun to come to trees with Spanish moss on them, hanging down from the limbs like long, gray beards. It was the first I ever see it growing, and it made the woods look solemn and dismal. So now the frauds reckoned they was out of danger, and they begun to work the villages again.

First they done a lecture on temperance; but they didn't make enough for them both to get drunk on. Then in another village they started a dancing-school; but they didn't know no more how to dance than a kangaroo does; so the first prance they made the general public jumped in and pranced them out of town. Another time they tried to go at yellocution; but they didn't yellocute long till the audience got up and give them a solid good cussing, and made them skip out. They tackled missionarying, and mesmerizing, and doctoring, and telling fortunes, and a little of everything; but they couldn't seem to have no luck. So at last they got just about dead broke, and laid around the raft as she floated along, thinking and thinking, and never saying nothing, by the half a day at a time, and dreadful blue and desperate.

And at last they took a change and begun to lay their heads together in the wigwam and talk low and confidential two or three hours at a time. Jim and me got uneasy. We didn't like the look of it. We judged they was studying up some kind of worse deviltry than ever. We turned it over and over, and at last we made up our minds they was going to break into somebody's house or store, or was going into the counterfeit-money business, or something. So then we was pretty scared, and made up an agreement that we wouldn't have nothing in the world to do with such actions, and if we ever got the least show we would give them the cold shake and clear out and leave them behind. Well, early one morning we hid the raft in a good, safe

place about two mile below a little bit of a shabby village named Pikesville, and the king he went ashore and told us all to stay hid whilst he went up to town and smelt around to see if anybody had got any wind of the "Royal Nonesuch" there yet. ("House to rob, you *mean*," says I to myself; "and when you get through robbing it you'll come back here and wonder what has become of me and Jim and the raft—and you'll have to take it out in wondering.") And he said if he warn't back by midday the duke and me would know it was all right, and we was to come along.

So we stayed where we was. The duke he fretted and sweated around, and was in a mighty sour way. He scolded us for everything, and we couldn't seem to do nothing right; he found fault with every little thing. Something was a-brewing, sure. I was good and glad when midday come and no king; we could have a change, anyway—and maybe a chance for *the* chance on top of it. So me and the duke went up to the village, and hunted around there for the king, and by and by we found him in the back room of a little low doggery, very tight, and a lot of loafers bully-ragging him for sport, and he a-cussing and a-threatening with all his might, and so tight he couldn't walk, and couldn't do nothing to them. The duke he begun to abuse him for an old fool, and the king begun to sass back, and the minute they was fairly at it I lit out and shook the reefs out of my hind legs, and spun down the river road like a deer, for I see our chance; and I made up my mind that it would be a long day before they ever see me and Jim again. I got down there all out of breath but loaded up with joy, and sung out:

"Set her loose, Jim; we're all right now! "

But there warn't no answer, and nobody come out of the wigwam. Jim was gone! I set up a shout—and then another—and then another one; and run this way and that in the woods, whooping and screeching; but it warn't no use—old Jim was gone. Then I set down and cried; I couldn't help it. But I couldn't set still long. Pretty soon I went out on the road, trying to think what I better do, and I run across a boy walking and asked him if he'd seen a strange nigger dressed so and so, and he says

"Yes."

"Whereabouts?" says I.

"Down to Silas Phelps's place, two mile below here. He's a runaway nigger, and they've got him. Was you looking for him?"

"You bet I ain't! I run across him in the woods about an hour or two ago, and he said if I hollered he'd cut my livers out—and told me to lay down and stay where I was; and I done it. Been there ever since; afeard to come out."

"Well," he says, "you needn't be afeard no more, becuz they've got him. He run off f'm down South, som'ers."

"It's a good job they got him."

"Well, I reckon! There's two hundred dollars' reward on him. It's

like picking up money out'n the road."

"Yes, it is—and I could 'a' had it if I'd been big enough; I see him *first*. Who nailed him?"

"It was an old fellow—a stranger—and he sold out his chance in him for forty dollars, becuz he's got to go up the river and can't wait. Think o' that, now! You bet I'd wait, if it was seven year."

"That's me, every time," says I. "But maybe his chance ain't worth no more than that, if he'll sell it so cheap. Maybe there's something ain't straight about it."

"But it *is*, though—straight as a string. I see the handbill myself. It tells all about him, to a dot—paints him like a picture, and tells the plantation he's frum, below *Newrleans*. No-sirree-bob, they ain't no trouble 'bout *that* speculation, you bet you. Say, gimme a chaw to-backer, won't ye?"

I didn't have none, so he left. I went to the raft, and set down in the wigwam to think. But I couldn't come to nothing. I thought till I wore my head sore, but I couldn't see no way out of the trouble. After all this long journey, and after all we'd done for them scoundrels, here it was all come to nothing, everything all busted up and ruined, because they could have the heart to serve Jim such a trick as that, and make him a slave again all his life, and amongst strangers, too, for forty dirty dollars.

Once I said to myself it would be a thousand times better for Jim to be a slave at home where his family was, as long as he'd *got* to be a slave, and so I'd better write a letter to Tom Sawyer and tell him to tell Miss Watson where he was. But I soon give up that notion for two things: she'd be mad and disgusted at his rascality and ungratefulness for leaving her, and so she'd sell him straight down the river again; and if she didn't, everybody naturally despises an ungrateful nigger, and they'd make Jim feel it all the time, and so he'd feel ornery and disgraced. And then think of *me*! It would get all around that Huck Finn helped a nigger to get his freedom; and if I was ever to see anybody from that town again I'd be ready to get down and lick his boots for shame. That's just the way: a person does a low-down thing, and then he don't want to take no consequences of it. Thinks as long as he can hide, it ain't no disgrace. That was my fix exactly. The more I studied about this the more my conscience went to grinding me, and the more wicked and low-down and ornery I got to feeling. And at last, when it hit me all of a sudden that here was the plain hand of Providence slapping me in the face and letting me know my wickedness was being watched all the time from up there in heaven, whilst I was stealing a poor old woman's nigger that hadn't ever done me no harm, and now was showing me there's One that's always on the lookout, and ain't a-going to allow no such miserable doings to go only just so far and no further, I most dropped in my tracks I was so scared. Well, I tried the best I could to kinder soften it up somehow for myself by saying I was brung up wicked, and so I warn't so much to blame; but some-

thing inside of me kept saying, "There was the Sunday-school, you could 'a' gone to it; and if you'd 'a' done it they'd 'a' learnt you there that people that acts as I'd been acting about that nigger goes to everlasting fire."

It made me shiver. And I about made up my mind to pray, and see if I couldn't try to quit being the kind of a boy I was and be better. So I kneeled down. But the words wouldn't come. Why wouldn't they? It warn't no use to try and hide it from Him. Nor from *me*, neither. I knowed very well why they wouldn't come. It was because my heart warn't right; it was because I warn't square; it was because I was playing double. I was letting *on* to give up sin, but away inside of me I was holding on to the biggest one of all. I was trying to make my mouth *say* I would do the right thing and the clean thing, and go and write to that nigger's owner and tell where he was; but deep down in me I knowed it was a lie, and He knowed it. You can't pray a lie—I found that out.

So I was full of trouble, full as I could be; and didn't know what to do. At last I had an idea; and I says, I'll go and write the letter—and *then* see if I can pray. Why, it was astonishing, the way I felt as light as a feather right straight off, and my troubles all gone. So I got a piece of paper and a pencil, all glad and excited, and set down and wrote:

Miss Watson, your runaway nigger Jim is down here two mile below Pikesville, and Mr. Phelps has got him and he will give him up for the reward if you send.

HUCK FINN.

I felt good and all washed clean of sin for the first time I had ever felt so in my life, and I knowed I could pray now. But I didn't do it straight off, but laid the paper down and set there thinking—thinking how good it was all this happened so, and how near I come to being lost and going to hell. And went on thinking. And got to thinking over our trip down the river; and I see Jim before me all the time; in the day and in the night-time, sometimes moonlight, sometimes storms, and we a-floating along, talking and singing and laughing. But somehow I couldn't seem to strike no places to harden me against him, but only the other kind. I'd see him standing my watch on top of his'n, 'stead of calling me, so I could go on sleeping; and see him how glad he was when I come back out of the fog; and when I come to him again in the swamp, up there where the feud was; and such-like times; and would always call me honey, and pet me, and do everything he could think of for me, and how good he always was; and at last I struck the time I saved him by telling the men we had smallpox aboard, and he was so grateful, and said I was the best friend old Jim ever had in the world, and the *only* one he's got now; and then I happened to look around and see that paper.

It was a close place. I took it up, and held it in my hand. I was a-trembling, because I'd got to decide, forever, betwixt two things, and

I knewed it. I studied a minute, sort of holding my breath, and then says to myself:

"All right, then, I'll go to hell"—and tore it up.

It was awful thoughts and awful words, but they was said. And I let them stay said; and never thought no more about reforming. I shoved the whole thing out of my head, and said I would take up wickedness again, which was in my line, being brung up to it, and the other warn't. And for a starter I would go to work and steal Jim out of slavery again; and if I could think up anything worse, I would do that, too; because as long as I was in, and in for good, I might as well go the whole hog.

Then I set to thinking over how to get at it, and turned over some considerable many ways in my mind; and at last fixed up a plan that suited me. So then I took the bearings of a woody island that was down the river a piece, and as soon as it was fairly dark I crept out with my raft and went for it, and hid it there, and then turned in. I slept the night through, and got up before it was light, and had my breakfast, and put on my store clothes, and tied up some others and one thing or another in a bundle, and took the canoe and cleared for shore. I landed below where I judged was Phelps's place, and hid my bundle in the woods, and then filled up the canoe with water, and loaded rocks into her and sunk her where I could find her again when I wanted her, about a quarter of a mile below a little steam-sawmill that was on the bank.

Then I struck up the road, and when I passed the mill I see a sign on it "Phelps's Sawmill," and when I come to the farm-houses, two or three hundred yards further along, I kept my eyes peeled, but didn't see nobody around, though it was good daylight now. But I didn't mind, because I didn't want to see nobody just yet—I only wanted to get the lay of the land. According to my plan, I was going to turn up there from the village, not from below. So I just took a look, and shoved along, straight for town. Well, the very first man I see when I got there was the duke. He was sticking up a bill for the "Royal Nonesuch"—three-night performance—like that other time. *They* had the cheek, them frauds! I was right on him before I could shirk. He looked astonished, and says:

"Hel-lo! Where'd *you* come from?" Then he says, kind of glad and eager, "Where's the raft?—got her in a good place?"

I says:

"Why, that's just what I was going to ask your grace."

Then he didn't look so joyful, and says:

"What was your idea for asking *me*?" he says.

"Well," I says, "when I see the king in that doggery yesterday I says to myself, 'we can't get him home for hours, till he's soberer; so I went a-loafing around town to put in the time and wait. A man up and offered me ten cents to help him pull a skiff over the river and back to fetch a sheep, and so I went along; but when we was dragging

him to the boat, and the man left me a-holt of the rope and went behind him to shove him along, he was too strong for me and jerked loose and run, and we after him. We didn't have no dog, and so we had to chase him all over the country till we tired him out. We never got him till dark; then we fetched him over, and I started down for the raft. When I got there and see it was gone, I says to myself, 'They've got into trouble and had to leave; and they've took my nigger, which is the only nigger I've got in the world, and now I'm in a strange country, and ain't got no property no more, nor nothing, and no way to make my living'; so I set down and cried. I slept in the woods all night. But what *did* become of the raft, then?—and Jim—poor Jim! "

"Blamed if I know—that is, what's become of the raft. That old fool had made a trade and got forty dollars, and when we found him in the doggery the loafers had matched half-dollars with him and got every cent but what he'd spent for whisky; and when I got him home late last night and found the raft gone, we said, 'That little rascal has stole our raft and shook us, and run off down the river.' "

"I wouldn't snake my *nigger*, would I?—the only nigger I had in the world, and the only property."

"We never thought of that. Fact is, I reckon we'd come to consider him *our* nigger; yes, we did consider him so—goodness knows we had trouble enough for him. So when we see the raft was gone and we flat broke, there warn't anything for it but to try the 'Royal Nonesuch' another shake. And I've pegged along ever since, dry as a powder-horn. Where's that ten cents? Give it here."

I had considerable money, so I give him ten cents, but begged him to spend it for something to eat, and give me some, because it was all the money I had, and I hadn't had nothing to eat since yesterday. He never said nothing. The next minute he whirls on me and says:

"Do you reckon that nigger would blow on us? We'd skin him if he done that."

"How can he blow? Hain't he run off?"

"No! That old fool sold him, and never divided with me, and the money's gone."

"Sold him?" I says, and begun to cry; "why, he was *my* nigger, and that was my money. Where is he?—I want my nigger."

"Well, you can't *get* your nigger, that's all—so dry up your blubbering. Looky here—do you think *you'd* venture to blow on us? Blamed if I think I'd trust you. Why, if you *was* to blow on us—"

He stopped, but I never see the duke look so ugly out of his eyes before. I went on a-whimpering, and says:

"I don't want to blow on nobody; and ain't got no time to blow, nohow; I got to turn out and find my nigger."

He looked kinder bothered, and stood there with his bills fluttering on his arm, thinking, and wrinkling up his forehead. At last he says:

"I'll tell you something. We got to be here three days. If you'll

promise you won't blow, and won't let the nigger blow. I'll tell you where to find him."

So I promised, and he says:

A farmer by the name of Silas Ph—" and then he stopped. You see, he started to tell me the truth; but when he stopped that way, and begun to study and think again, I reckoned he was changing his mind. And so he was. He wouldn't trust me; he wanted to make sure of having me out of the way the whole three days. So pretty soon he says:

"The man that bought him is named Abram Foster—Abram G. Foster—and he lives forty mile back here in the country, on the road to Lafayette."

"All right," I says, "I can walk it in three days. And I'll start this very afternoon."

"No you won't, you'll start *now*; and don't you lose any time about it, neither, nor do any gabbling by the way. Just keep a tight tongue in your head and move right along, and then you won't get into trouble with *us*, d'ye hear?"

That was the order I wanted, and that was the one I played for. I wanted to be left free to work my plans.

"So clear out," he says; "and you can tell Mr. Foster whatever you want to. Maybe you can get him to believe that Jim is your nigger—some idiots don't require documents—leastways I've heard there's such down South here. And when you tell him the handbill and the reward's bogus, maybe he'll believe you when you explain to him what the idea was for getting 'em out. Go 'long now, and tell him anything you want to: but mind you don't work your jaw any *between* here and there."

So I left, and struck for the back country. I didn't look around, but I kinder felt like he was watching me. But I knowed I could tire him out at that. I went straight out in the country as much as a mile before I stopped; then I doubled back through the woods towards Phelps's. I reckoned I better start in on my plan straight off without fooling around, because I wanted to stop Jim's mouth till these fellows could get away. I didn't want no trouble with their kind. I'd seen all I wanted to of them, and wanted to get entirely shut of them.

CHAPTER XXXII

When I got there it was all still and Sundaylike, and hot and sunshiny; the hands was gone to the fields; and there was them kind of faint dronings of bugs and flies in the air that makes it seem so lonesome and like everybody's dead and gone; and if a breeze fans along and quivers the leaves it makes you feel mournful, because you feel like it's spirits whispering—spirits that's been dead ever so many years—and you always think they're talking about *you*. As a general thing it

makes a body wish *he* was dead, too, and done with it all.

Phelps's was one of these little one-horse cotton plantations, and they all look alike. A rail fence round a two-acre yard; a stile made out of logs sawed off and up-ended in steps, like barrels of a different length, to climb over the fence with, and for the women to stand on when they are going to jump onto a horse; some sickly grass-patches in the big yard, but mostly it was bare and smooth, like an old hat with the nap rubbed off; bit double log house for the white folks—hewed logs, with the chinks stopped up with mud or mortar, and these mud-stripes been whitewashed some time or another; round-log kitchen, with a big broad, open but roofed passage joining it to the house; log smokehouse back of the kitchen; three little log nigger cabins in a row t'other side the smokehouse; one little hut all by itself away down against the back fence, and some outbuildings down a piece the other side; ash-hopper and big kettle to bile soap in by the little hut; bench by the kitchen door, with bucket of water and a gourd; hound asleep there in the sun; more hounds asleep round about; about three shade trees away off in a corner; some currant bushes and goose-berry bushes in one place by the fence; outside of the fence a garden and a watermelon patch; then the cotton-fields begins, and after the fields the woods.

I went around and clumb over the back stile by the ash-hopper, and started for the kitchen. When I got a little ways I heard the dim hum of a spinning-wheel wailing along up and sinking along down again and then I knowed for certain I wished I was dead—for that *is* the lonesomest sound in the whole world.

I went right along, not fixing up any particular plan, but just trusting to Providence to put the right words in my mouth when the time come; for I'd noticed that Providence always did put the right words in my mouth if I left it alone.

When I got half-way, first one hound and then another got up and went for me, and of course I stopped and faced them, and kept still. And such another powwow as they made! In a quarter of a minute I was a kind of a hub of a wheel, as you may say—spokes made out of dogs—circle of fifteen of them packed together around me, with their necks and noses stretched up towards me, a-barking and howling; and more a-coming; you could see them sailing over fences and around corners from everywhere.

A nigger woman come tearing out of the kitchen with a rolling-pin in her hand, singing out, "Begone! *you* Tige! *you* Spot! begone sah!" and she fetched first one and then another of them a clip and sent them howling, and then the rest followed; and the next second half of them come back, wagging their tails around me, and making friends with me. There ain't no harm in a hound, nohow.

And behind the woman comes a little nigger girl and two little nigger boys without anything on but tow-linen shirts, and they hung on to their mother's gown, and peeped out from behind her at me,

bashful, the way they always do. And here comes the white woman running from the house, about forty-five or fifty year old, bareheaded, and her spinning-stick in her hand; and behind her comes her little white children, acting the same way the little niggers was going. She was smiling all over so she could hardly stand—and says:

“It’s *you*, at last! —*ain’t* it?”

I out with a “Yes’m” before I thought.

She grabbed me and hugged me tight; and then gripped me by both hands and shook and shook; and the tears come in her eyes, and run down over; and she couldn’t seem to hug and shake enough, and kept saying, “You don’t look as much like your mother as I reckoned you would; but law sakes, I don’t care for that, I’m so glad to see you! Dear, dear, it does seem like I could eat you up! Children, it’s your cousin Tom! —tell him howdy.”

But they ducked their heads, and put their fingers in their mouths, and hid behind her. So she run on:

“Lize, hurry up and get him a hot breakfast right away—or did you get your breakfast on the boat?”

I said I had got it on the boat. So then she started for the house, leading me by the hand, and the children tagging after. When we got there she set me down in a split-bottomed chair, and set herself down on a little low stoll in front of me, holding both of my hands, and says:

“Now I can have a *good* look at you; and, laws-a-me, I’ve been hungry for it a many and a many a time, all these long years, and it’s come at last! We been expecting you a couple of days and more. What kep’ you?—boat get aground?”

“Yes’m—she—”

“Don’t say yes’m—say Aunt Sally. Where’d she get aground?”

I didn’t rightly know what to say, because I didn’t know whether the boat would be coming up the river or down. But I go a good deal on instinct; and my instinct said she would be coming up—from down towards Orleans. That didn’t help me much, though; for I didn’t know the names of bars down that way. I see I’d got to invent a bar, or forget the name of the one we got aground on—or—Now I struck an idea, and fetched it out:

“It warn’t the grounding—that didn’t keep us back but a little. We blowed out a cylinder-head.”

“Good gracious! anybody hurt?”

“No’m. Killed a nigger.”

“Well, it’s lucky; because sometimes people do get hurt. Two years ago last Christmas your uncle Silas was coming up from New Orleans on the old *Lally Rook*, and she blowed out a cylinder-head and crippled a man. And I think he died afterwards. He was a Baptist. Your uncle Silas knowed a family in Baton Rouge that knowed his people very well. Yes, I remember now, he *did* die. Mortification set in, and they had to amputate him. But it didn’t save him. Yes, it was mortifica-

tion—that was it. He turned blue all over, and died in the hope of a glorious resurrection. They say he was a sight to look at. Your uncle's been up to the town every day to fetch you. And he's gone again, not more'n an hour ago; he'll be back any minute now. You must 'a' met him on the road, didn't you?—oldish man, with a——”

“No, I didn't see nobody, Aunt Sally. The boat landed just at daylight, and I left my baggage on the wharf-boat and went looking around the town and out a piece in the country, to put in the time and not get here too soon; and so I come down the back way.”

“Who'd you give the baggage to?”

“Nobody.”

“Why, child, it 'll be stole.”

“Not where I hid it I reckon it won't,” I says.

“How'd you get your breakfast so early on the boat?”

It was kinder thin ice, but I says:

“The captain see me standing around and told me I better have something to eat before I went ashore; so he took me in the texas to the officers' lunch, and give me all I wanted.”

I was getting so uneasy I couldn't listen good. I had my mind on the children all the time; I wanted to get them out to one side and pump them a little, and find out who I was. But I couldn't get no show, Mrs. Phelps kept it up and run on so. Pretty soon she made the cold chills streak all down my back, because she says:

“But here we're a-running on this way, and you hain't told me a word about Sis, nor any of them. Now I'll rest my works a little, and you start up yourn; just tell me *everything*—tell me all about 'm all—every one of 'm; and how they are, and what they're doing, and what they told you to tell me; and every last thing you can think of.”

Well, I see I was up a stump—and up it good. Providence had stood by me this fur all right, but I was hard and tight aground now. I see it warn't a bit of use to try to go ahead—I'd got to throw up my hand. So I says to myself, here's another place where I got to resk the truth. I opened my mouth to begin; but she grabbed me and hustled me in behind the bed, and says:

“Here he comes! Stick your head down lower—there, that 'll do; you can't be seen now. Don't you let on you're here. I'll play a joke on him. Children, don't you say a word.”

I see I was in a fix now. But it warn't no use to worry; there warn't nothing to do but just hold still, and try and be ready to stand from under when the lightning struck.

I had just one little glimpse of the old gentleman when he come in; then the bed hid him. Mrs. Phelps she jumps for him, and says:

“Has he come?”

“No,” says her husband.

“Good-ness gracious! ” she says, “What in the world *can* have become of him?”

"I can't imagine," says the old gentleman; "and I must say it makes me dreadful uneasy."

"Uneasy!" she says; "I'm ready to go distracted! He *must* 'a' come; and you've missed him along the road. I *know* it's so—something *tells* me so."

"Why, Sally, I *couldn't* miss him along the road—you know that."

"But oh, dear, dear, what *will* Sis say! He must 'a' come! You must 'a' missed him. He—"

"Oh, don't distress me any more'n I'm already distressed. I don't know what in the world to make of it. I'm at my wit's end, and I don't mind acknowledging 't I'm right down scared. But there's no hope that he's come; for he *couldn't* come and me miss him. Sally, it's terrible—just terrible—something's happened to the boat, sure!"

"Why, Silas! Look yonder! —up the road! —ain't that somebody coming?"

He sprung to the window at the head of the bed, and that give Mrs. Phelps the chance she wanted. She stooped down quick at the foot of the bed and give me a pull, and out I come; and when he turned back from the window there she stood, a-beaming and a-smiling like a house afire, and I standing pretty meek and sweaty alongside. The old gentleman stared, and says:

"Why, who's that?"

"Who do you reckon 'tis?"

"I hain't no idea. Who *is* it?"

"It's Tom Sawyer!"

By jings, I most slumped through the floor! But there warn't no time to swap knives; the old man grabbed me by the hand and shook, and kept on shaking; and all the time how the woman did dance around and laugh and cry; and then how they both did fire off questions about Sid, and Mary, and the rest of the tribe.

But if they was joyful, it warn't nothing to what I was; for it was like being born again, I was so glad to find out who I was. Well, they froze to me for two hours; and at last, when my chin was so tired it couldn't hardly go any more, I had told them more about my family—I mean the Sawyer family—than ever happened to any six Sawyer families. And I explained all about how we blowed out a cylinder-head at the mouth of White River, and it took us three days to fix it. Which was all right, and worked first-rate; because *they* didn't know but what it would take three days to fix it. If I'd 'a' called it a bolt-head it would 'a' done just as well.

Now I was feeling pretty comfortable all down one side, and pretty uncomfortable all up the other. Being Tom Sawyer was easy and comfortable, and it stayed easy and comfortable till by and by I hear a steamboat coughing along down the river. Then I says to myself, s'pose Tom Sawyer comes down on that boat? And s'pose he steps in here any minute, and sings out my name before I can throw him a wink to keep quiet?

Well, I couldn't *have* it that way; it wouldn't do at all. I must go up the road and waylay him. So I told the folks I reckoned I would go up to the town and fetch down my baggage. The old gentleman was for going along with me, but I said no, I could drive the horse myself, and druther he wouldn't take no trouble about me.

CHAPTER XXXIII

So I started for town in the wagon, and when I was halfway I see a wagon coming, and sure enough it was Tom Sawyer, and I stopped and waited till he come along. I says "Hold on!" and it stopped alongside, and his mouth opened up like a trunk, and stayed so; and he swallowed two or three times like a person that's got a dry throat, and then says:

"I hain't ever done you no harm. You know that. So, then, what you want to come back and ha'nt *me* for?"

I says:

"I hain't come back—I hain't been *gone*."

When he heard my voice it righted him up some, but he warn't quite satisfied yet. He says:

"Don't you play nothing on me, because I wouldn't on you. Honest injun, you ain't a ghost?"

"Honest injun, I ain't," I says.

"Well—I—I—well, that ought to settle it, of course; but I can't somehow seem to understand it no way. Looky here, warn't you ever murdered *at all*?"

"No, I warn't ever murdered at all—I played it on them. You come in here and feel of me if you don't believe me."

So he done it; and it satisfied him; and he was that glad to see me again he didn't know what to do. And he wanted to know all about it right off, because it was a grand adventure, and mysterious, and so it hit him where he lived. But I said, leave it alone till by and by; and told his driver to wait, and we drove off a little piece, and I told him the kind of a fix I was in, and what did he reckon we better do? He said, let him alone a minute, and don't disturb him. So he thought and thought, and pretty soon he says:

"It's all right; I've got it. Take my trunk in your wagon, and let on it's yourn; and you turn back and fool along slow, so as to get to the house about the time you ought to; and I'll go towards town a piece, and take a fresh start, and get there a quarter or a half an hour after you; and you needn't let on to know me at first."

I says:

"All right; but wait a minute. There's one more thing—a thing that *nobody* don't know but me. And that is, there's a nigger here that I'm a-trying to steal out of slavery, and his name is *Jim*—old Miss Watson's Jim."

He says:

"What! Why, Jim is—"

He stopped and went to studying. I says:

"I know what you'll say. You'll say it's dirty, low-down business; but what if it is? I'm low down; and I'm a-going to steal him, and I want you keep mum and not let on. Will you?"

His eyes lit up, and he says:

"I'll *help* you steal him! "

Well, I let go all holts then, like I was shot. It was the most astonishing speech I ever heard—and I'm bound to say Tom Sawyer fell considerable in my estimation. Only I couldn't believe it. Tom Sawyer a *nigger stealer*!

"Oh, shucks! " I says: "you're joking."

"I ain't joking, either."

"Well, then," I says, "joking or no joking, if you hear anything said about a runaway nigger, don't forget to remember that *you* don't know nothing about him, and *I* don't know nothing about him."

Then he took the trunk and put it in my wagon, and he drove off his way and I drove mine. But of course I forgot all about driving slow on accounts of being glad and full of thinking; so I got home a heap too quick for that length of a trip. The old gentleman was at the door, and he says:

"Why, this is wonderful! Whoever would 'a' thought it was in that mare to do it? I wish we'd 'a' timed her. And she hain't sweated a hair—not a hair. It's wonderful. Why, I wouldn't take a hundred dollars for that horse now—I wouldn't, honest; and yet I'd 'a' sold her for fifteen before, and thought 'twas all she was worth."

That's all he said. He was the innocentest, best old soul I ever see. But it warn't surprising; because he warn't only just a farmer, he was a preacher, too, and had a little one-horse log church down back of the plantation, which he built it himself at his own expense, for a church and schoolhouse, and never charged nothing for his preaching, and it was worth it, too. There was plenty other farmer-preachers like that, and done the same way, down South.

In about half an hour Tom's wagon drove up to the front stile, and Aunt Sally she see it through the window, because it was only about fifty yards, and says:

"Why, there's somebody come! I wonder who 'tis? Why, I do believe it's a stranger. Jimmy! (that's one of the children, "run and tell Lize to put on another plate for dinner.")

Everybody made a rush for the front door, because, of course, a stranger don't come *every* year, and so he lays over the yaller-fever, for interest, when he does come. Tom was over the stile and starting for the house; the wagon was spinning up the road for the village, and we was all bunched in the front door. Tom had his store clothes on, and an audience—and that was always nuts for Tom Sawyer. In them circumstances it warn't no trouble to him to throw in an amount of

style that was suitable. He warn't a boy to meeky along up that yard like a sheep; no, he come ca'm and important, like the ram. When he got a-front of us he lifts his hat ever so gracious and dainty, like it was the lid of a box that had butterflies asleep in it and he didn't want to disturb them, and says:

"Mr. Archibald Nichols, I presume?"

"No, my boy," says the old gentleman, "I'm sorry to say 't your driver has deceived you; Nichols's place is down a matter of three mile more. Come in, come in."

Tom he took a look back over his shoulder, and says, "Too late—he's out of sight."

"Yes, he's gone, my son, and you must come in and eat your dinner with us; and then we'll hitch up and take you down to Nichols's."

"Oh, I *can't* make you so much trouble; I couldn't think of it. I'll walk—I don't mind the distance."

"But we won't *let* you walk—it wouldn't be Southern hospitality to do it. Come right in."

"Oh, *do*," says Aunt Sally; "it ain't a bit of trouble to us not a bit in the world. You *must* stay. It's a long, dusty three mile, and we *can't* let you walk. And, besides, I've already told 'em to put on another plate when I see you coming; so you mustn't disappoint us. Come right in and make yourself at home."

So Tom he thanked them very hearty and handsome, and let himself be persuaded, and come in; and when he was in he said he was a stranger from Hicksville, Ohio, and his name was William Thompson—and he made another bow.

Well, he run on, and on, and on, making up stuff about Hicksville and everybody in it he could invent, and I getting a little nervous, and wondering how this was going to help me out of my scrape; and at last, still talking along, he reached over and kissed Aunt Sally right on the mouth, and then settled back again in his chair comfortable, and was going on talking; but she jumped up and wiped it off with the back of her hand, and says:

"You owdacious puppy! "

He looked kind of hurt, and says:

"I'm surprised at you, m'am."

"You're s'rp—Why, what do you reckon *I* am? I've a good notion to take and— Say, what do you mean by kissing me?"

He looked kind of humble, and says:

"I didn't mean nothing, m'am. I didn't mean no harm. I—I—thought you'd like it."

"Why, you born fool! " She took up the spinning-stick, and it looked like it was all she could do to keep from giving him a crack with it. "What made you think I'd like it?"

"Well, I don't know. Only, they—*they*—told me you would."

"*They* told you I would. Whoever told you's *another* lunatic. I never heard the beat of it. Who's *they*?"

"Why, everybody. They all said so, m'am."

It was all she could do to hold in; and her eyes snapped, and her fingers worked like she wanted to scratch him; and she says:

"Who's 'everybody'? Out with their names, or ther'll be an idiot short."

He got up and looked distressed, and fumbled his hat, and says: "I'm sorry, and I warn't expecting it. They told me to. They all told me to. They all said, kiss her; and said she'd like it. They all said it—every one of them. But I'm sorry, m'am, and I won't do it no more—I won't, honest."

"You won't, won't you? Well, I sh'd *reckon* you won't! "

"No'm, I'm honest about it; I won't ever do it again—till you ask me."

"Till I *ask* you! Well, I never see the beat of it in my born days! I lay you'll be the Methusalem-numskull of creation before ever I ask you—or the likes of you."

"Well," he says, "it does surprise me so. I can't make it out, somehow. They said you would, and I thought you would. But—" He stopped and looked around slow, like he wished he could run across a friendly eye somewheres, and fetched up on the old gentleman's, and says, "Didn't *you* think she'd like me to kiss her, sir?"

"Why, no; I—I—well, no, I b'lieve I didn't."

Then he looks on around the same way to me, and says:

"Tom, didn't *you* think Aunt Sally 'd open out her arms and say, 'Sid Sawyer—' "

"My land! " she says, breaking in and jumping for him, "you impudent young rascal, to fool a body so—" and was going to hug him, but he fended her off, and says:

"No, not till you've asked me first."

So she didn't lose no time, but asked him; and hugged him and kissed him over and over again, and then turned him over to the old man, and he took what was left. And after they got a little quiet again she says:

"Why, dear me, I never see such a surprise. We warn't looking for *you* at all, but only Tom. Sis never wrote to me about anybody coming but him."

"It's because it warn't *intended* for any of us to come but Tom," he says; "but I begged and begged, and at the last minute she let me come, too; so, coming down the river, me and Tom thought it would be a first-rate surprise for him to come here to the house first, and for me to by and by tag along and drop in, and let on to be a stranger. But it was a mistake, Aunt Sally. This ain't no healthy place for a stranger to come."

"No—not impudent whelps, Sid. You ought to had your jaws boxed; I hain't been so put out since I don't know when. But I don't care, I don't mind the terms—I'd be willing to stand a thousand such jokes to have you here. Well, to think of that performance! I don't

deny it, I was most putrified with astonishment when you give me that smack."

We had dinner out in that broad open passage betwixt the house and the kitchen; and there was things enough on that table for seven families—and all hot, too; none of your flabby, tough meat that's laid in a cupboard in a damp cellar all night and tastes like a hunk of old cold cannibal in the morning. Uncle Silas he asked a pretty long blessing over it, but it was worth it; and it didn't cool it a bit, neither, the way I've seen them kind of interruptions do lots of times.

There was a considerable good deal of talk all the afternoon, and me and Tom was on the lookout all the time; but it warn't no use, they didn't happen to say nothing about any runaway nigger, and we was afraid to try to work up to it. But at supper, at night, one of the little boys says:

"Pa, mayn't Tom and Sid and me go to the show?"

"No," says the old man, "I reckon there ain't going to be any; and you couldn't go if there was; because the runaway nigger told Burton and me all about that scandalous show, and Burton said he would tell the people; so I reckon they've drove the owdacious loafers out of town before this time."

So there it was!—but I could help it. Tom and me was to sleep in the same room and bed; so, being tired, we bid good night and went up to bed right after supper, and clumb out of the window and down the lightning-rod, and shoved for the town; for I didn't believe anybody was going to give the king and the duke a hint, and so if I didn't hurry up and give them one they'd get into trouble sure.

On the road Tom he told me all about how it was reckoned I was murdered, and how pap disappeared pretty soon, and didn't come back no more, and what a stir there was when Jim run away; and I told Tom all about our "Royal Nonesuch" rascallions, and as much of the raft voyage as I had time to; and as we struck into the town and up through the middle of it—it was as much as half after eight then—here comes a raging rush of people with torches, and an awful whooping and yelling, and banging tin pans and blowing horns; and we jumped to one side to let them go by; and as they went by I see they had the king and the duke astraddle of a rail—that is, I knowed it *was* the king and the duke, though they was all over tar and feathers, and didn't look like nothing in the world that was human—just looked like a couple of monstrous big soldier-plums. Well, it made me sick to see it; and I was sorry for them poor pitiful rascals, it seemed like I couldn't ever feel any hardness against them any more in the world. It was a dreadful thing to see. Human beings *can* be awful cruel to one another.

We see we was too late—couldn't do no good. We asked some stragglers about it, and they said everybody went to the show looking very innocent; and laid low and kept dark till the poor old king was in the middle of his cavortings on the stage; then somebody give a

signal, and the house rose up and went for them.

So we poked along back home, and I warn't feeling so brash as I was before, but kind of ornery, and humble, and to blame, somehow—though I hadn't done nothing. But that's always the way; it don't make no difference whether you do right or wrong, a person's conscience ain't got no sense, and just goes for him *anyway*. If I had a yaller dog that didn't know no more than a person's conscience does I would pison him. It takes up more room than all the rest of a person's insides, and yet ain't no good, nohow. Tom Sawyer he says the same.

CHAPTER XXXIV

We stopped talking, and got to thinking. By and by Tom says: "Looky here, Huck, what fools we are to not think of it before! I bet I know where Jim is."

"No! Where?"

"In that hut down by the ash-hopper. Why, looky here. When we was at dinner, didn't you see a nigger man go in there with some vittles?"

"Yes."

"What did you think the vittles was for?"

"For a dog."

"So 'd I. Well, it wasn't for a dog."

"Why?"

"Because part of it was a watermelon."

"So it was—I noticed it. Well, it does beat all that I never thought about a dog not eating watermelon. It shows how a body can see and don't see at the same time."

"Well, the nigger unlocked the padlock when he went in, and he locked it again when he came out. He fetched uncle a key about the time we got up from table—same key, I bet. Watermelon shows man, lock shows prisoner; and it ain't likely there's two prisoners on such a little plantation, and where the people's all so kind and good. Jim's the prisoner. All right—I'm glad we found it out detective fashion; I wouldn't give shucks for any other way. Now you work your mind, and study out a plan to steal Jim, and I will study out one, too; and we'll take the one we like the best."

What a head for just a boy to have! If I had Tom Sawyer's head I wouldn't trade it off to be a duke, nor mate of a steamboat, nor clown in a circus, nor nothing I can think of. I went on thinking out a plan, but only just to be doing something; I knowed very well where the right plan was going to come from. Pretty soon Tom says:

"Ready?"

"Yes," I says.

"All right bring it out."

"My plan is this," I says. "We can easy find out if it's Jim in there. Then get up my canoe to-morrow night, and fetch my raft over from the island. Then the first dark night that comes steal the key out of the old man's britches after he goes to bed, and shove off down the river on the raft with Jim, hiding daytimes and running nights, the way me and Jim used to do before. Wouldn't that plan work?"

"*Work?* Why, cert'nly it would work, like rats a-fighting. But it's too blame' simple; there ain't nothing *to* it. What's the good of a plan that ain't no more trouble than that? It's as mild as goose-milk. Why, Huck, it wouldn't miale no more talk than breaking into a soap factory."

I never said nothing, because I warn't expecting nothing different; but I knowed mighty well that whenever he got *his* plan ready it wouldn't have none of them objections to it.

And it didn't. He told me what it was, and I see in a minute it was worth fifteen of mine for style, and would make Jim just as free a man as mine would, and maybe get us all killed besides. So I was satisfied, and said we would waltz in on it. I needn't tell what it was here, because I knowed it wouldn't stay the way it was. I knowed he would be changing it around every which way as we went along, and heaving in new bullinesses wherever he got a chance. And that is what he done.

Well, one thing was dead sure, and that was that Tom Sawyer was in earnest, and was actuly going to help steal that nigger out of slavery. That was the thing that was too many for me. Here was a boy that was respectable and well brung up; and had a character to lose; and folks at home that had characters; and he was bright and not leather-headed; and knowing and not ignorant; and not mean, but kind; and yet here he was, without any more pride, or rightness, or feeling, than to stoop to this business, and make himself a shame, and his family a shame, before everybody. I *couldn't* understand it no way at all. It was outrageous, and I knowed I ought to just up and tell him so; and so be his true friend, and let him quit the thing right where he was and save himself. And I *did* start to tell him; but he shut me up, and says:

"Don't you reckon I know what I'm about? Don't I generly know what I'm about?"

"Yes."

"Didn't I say I was going to help steal the nigger?"

"Ycs."

"*Well*, then."

That's all he said, and that's all I said. It warn't no use to say any more; because when he said he'd do a thing, he always done it. But I couldn't make out how he was willing to go into this thing; so I just let it go, and never botheredd no more about it. If he was bound to have it so, I couldn't help it.

When we got home the house was all dark and still; so we went on down to the hut by the ash-hopper for to examine it. We went

through the yard so as to see what the hounds would do. They knowed us, and didn't make no more noise than country dogs is always doing when anything comes by in the night. When we got to the cabin we took a look at the front and the two sides; and on the side I warn't acquainted with—which was the north side—we found a square window-hole, up tolerable high, with just one stout board nailed across it. I says:

"Here's the ticket. This hole's big enough for Jim to get through if we wrench off the board."

Tom says:

"It's as simple as tit-tat-toe, three-in-a-row, and as easy as playing hooky. I should *hope* we can find a way that's a little more complicated than *that*, Huck Finn."

"Well, then," I says, "how'll it do to saw him out, the way I done before I was murdered that time?"

"That's more *like*," he says. "It's real mysterious, and troublesome, and good," he says; "but I bet we can find a way that's twice as long. There ain't no hurry; he's keep on looking around."

Betwixt the hut and the fence, on the back side, was a lean-to that joined the hut at the eaves, and was made out of plank. It was as long as the hut, but narrow—only about six foot wide. The door to it was at the south end, and was padlocked. Tom he went to the soap-kettle and searched around, and fetched back the iron thing they lift the lid with; so he took it and prized out one of the staples. The chain fell down, and we opened the door and went in, and shut it, and struck a match, and see the shed was only built against the cabin and hadn't no connection with it; and there warn't no floor to the shed, nor nothing in it but some old rusty played-out hoes and spades and picks and a crippled plow. The match went out, and so did we, and shoved in the staple again, and the door was locked as good as ever. Tom was joyful. He says:

"Now we're all right. We'll *dig* him out. It 'll take about a week! "

Then we started for the house, and I went in the back door—you only have to pull a buckskin latch-string, they don't fasten the doors—but that warn't romantical enough for Tom Sawyer; no way would do him but he must climb up the lightning-rod. But after he got up half-way about threc times, and missed fire and fell every time, and the last time most busted his brains out, he thought he'd got to give it up; but after he was rested he allowed he would give her one more turn for luck, and this time he made the trip.

In the morning we was up at break of day, and down to the nigger cabins to pet the dogs and make friends with the nigger that fed Jim—if it *was* Jim that was being fed. The niggers was just getting through breakfast and starting for the fields; and Jim's nigger was piling up a tin pan with bread and meat and things; and whilst the others was leaving, the key come from the house.

This nigger had a good-natured, chuckle-headed face, and his wool

was all tied up in little bunches with thread. That was to keep witches off. He said the witches was pestering him awful these nights, and making him see all kinds of strange things, and hear all kinds of strange words and noises, and he didn't believe he was ever witched so long before in his life. He got so worked up, and got to running on so about his troubles, he forgot all about what he'd been a-going to do. So Tom says:

"What's the vittles for? Going to feed the dogs?"

The nigger kind of smiled around graduly over his face, like when you heave a brickbat in a mud-puddle, and he says:

"Yes, Mars Sid, *a* dog. Cur'us dog, too. Does you want to go en look at 'im?"

"Yes."

I hunched Tom, and whispers:

"You going, right here in the daybreak? *That* warn't the plan."

"No, it warn't; but it's the plan *now*."

So, drat him, we went along, but I didn't like it much. When we got in we couldn't hardly see anything, it was so dark; but Jim was there, sure enough, and could see us; and he sings out:

"Why, *Huck!* En good *lan'!* ain' Dat Misto Tom?"

I just knowed how it would be; I just expected it. *I* didn't know nothing to do; and if I had I couldn't 'a' done it, because that nigger busted in and says:

"Why, de gracious sakes! do he know you genlmen?"

We could see pretty well now. Tom he looked at the nigger, steady and kind of wondering, and says:

"Does *who* know us?"

"Why, dis-yer runaway nigger."

"I don't reckon he does; but what put that into your head?"

"What *put* it dar? Didn' he jis' dis minute sing out like he knowed you?"

Tom says, in a puzzled-up kind of way:

"Well, that's mighty curious. *Who* sung out? *When* did he sing out? *What* did he sing out?" And turns to me, perfectly ca'm, and says, "Did *you* hear anybody sing out?"

Of course there warn't nothing to be said but the one thing; so I says:

"No; *I* ain't heard nobody say nothing."

Then he turns to Jim, and looks him over like he never see him before, and says:

"Did you sing out?"

"No, sah," says Jim; "*I* hain't said nothing, sah."

"Not a word?"

"No, sah, *I* hain't said a word."

"Did you ever see us before?"

"No, sah; not as *I* knows on."

So Tom turns to the nigger, which was looking wild and distressed

and says, kind of severe:

"What do you reckon's the matter with you, anyway? What made you think somebody sung out?"

"Oh, it's de dad-blame' witches, sah, en I wisht I was dead, I do. Dey's awluz at it, sah, en dey do mos' kill me, dey sk'yers me so. Please to don't tell nobody 'bout it sah, er ole Mars Silas he'll scole me; 'kase he say dey *ain't* no witches. I jis' wish to goodness he was heah now—*den* what would he say! I jis' bet he couldn' fine no way to git aroun' it *dis* time. But it's awluz jis' so; people dat's *sot*, stays sot; dey won't look into noth'n' en fine it out f'r deyselves, en when *you* fine it out en tell um 'bout it, dey doan' b'lieve you."

Tom give him a dime, and said we wouldn't tell nobody; and told him to buy some more thread to tie up his wool with; and then looks at Jim, and says:

"I wonder if Uncle Silas is going to hang this nigger. If I was to catch a nigger that was ungrateful enough to run away, *I* wouldn't give him up, I'd hang him." And whilst the nigger stepped to the door to look at the dime and bite it to see if it was good, he whispers to Jim and says:

"Don't ever let on to know us. And if you hear any digging going on nights, it's us; we're going to set you free."

Jim only had time to grab us by the hand and squeeze it; then the nigger come back, and we said we'd come again some time if the nigger wanted us to; and he said he would, more particular if it was dark, because the witches went for him mostly in the dark, and it was good to have folks around then.

CHAPTER XXXV

It would be most an hour yet till breakfast, so we left and struck down into the woods; because Tom said we got to have *some* light to see how to dig by, and a lantern makes too much, and might get us into trouble; what we must have was a lot of them rotten chunks that's called fox-fire, and just makes a soft kind of a glow when you lay them in a dark-place. We fetched an arnful and hid it in the weeds, and set down to rest, and Tom says, kind of dissatisfied:

"Blame it, this whole thing is just as easy and awkward as it can be. And so it makes it so rotten difficult to get up a difficult plan. There ain't no watchman to be drugged—now there *ought* to be a watchman. There ain't even a dog to give a sleeping-mixture to. And there's Jim chained by one leg, with a ten-foot chain, to the leg of his bed: why, all you got to do is to lift up the bedstead and slip off the chain. And Uncle Silas he trusts everybody; send the key to the pumpkin-headed nigger, and don't send nobody to watch the nigger. Jim could 'a' got out of that window-hole before this, only there wouldn't be no use trying to travel with a ten-foot chain on his leg. Why, drat it, Huck,

it's the stupidest arrangement I ever see. You got to invent *all* the difficulties. Well, we can't help it; we got to do the best we can with the materials we've got. Anyhow, there's one thing—there's more honor in getting him out through a lot of difficulties and dangers, where there warn't one of them furnished to you by the people who it was their duty to furnish them, and you had to contrive them all out of your own head. Now look at just that one thing of the lantern. When you come down to the cold facts, we simply got to *let on* that a lantern's resky. Why, we could work with a torchlight procession if we wanted to, I believe. Now, whilst I think of it, we got to hunt up something to make a saw out of the first chance we get."

"What do we want of a saw?"

"What do we *want* of a saw? Hain't we got to saw the leg of Jim's bed off, so as to get the chain loose?"

"Why, you just said a body could lift up the bedstead and slip the chain off."

"Well, if that ain't just like you, Huck Finn. You *can* get up the infant-schooliest ways of going at a thing. Why, hain't you ever read any books at all?—Baron Trenck, nor Casanova, nor Benvenuto Chel-leeny, nor Henri IV., nor none of them heroes? Who ever heard of getting a prisoner loose in such an old-maidy way as that? No; the way all the best authorities does is to saw the bed-leg in two, and leave it just so, and swallow the sawdust, so it can't be found, and put some dirt and grease around the sawed place so the very keenest seneskal can't see no sign of its being sawed, and thinks the bed-leg is perfectly sound. Then, the night you're ready, fetch the leg a kick, down she goes; slip off your chain, and there you are. Nothing to do but hitch your rope ladder to the battlements, shin down it, break your leg in the moat—because a rope ladder is nineteen foot too short, you know—and there's your horses and your trusty vassles, and they scoop you up and fling you across a saddle, and away you go to your native Langudoc, or Navarre, or wherever it is. It's gaudy, Huck. I wish there was a moat to this cabin. If we get time, the night of the escape, we'll dig one."

I says.

"What do we want of a moat when we're going to snake him out from under the cabin?"

But he never heard me. He had forgot me and everything else. He had his chin in his hand, thinking. Pretty soon he sighs and shakes his head; then sighs again, and says:

"No, it wouldn't do—there ain't necessity enough for it."

"For what?" I says.

"Why, to saw Jim's leg off," he says.

"Good land!" I says; "why, there ain't *no* necessity for it. And what would you want to saw his leg off for, anyway?"

"Well, some of the best authorities has done it. They couldn't get the chain off, so they just cut their hand off and shoved. And a leg

would be better still. But we got to let that go. There ain't necessity enough in this case; and, besides, Jim's a nigger, and wouldn't understand the reasons for it, and how it's the custom in Europe; so we'll let it go. But there's one thing—he can have a rope ladder; we can tear up our sheets and make him a rope ladder easy enough. And we can send it to him in a pie; it's mostly done that way. And I've et worse pies."

"Why, Tom Sawyer, how you talk," I says; "Jim ain't got no use for a rope ladder."

"He *has* got use for it. How *you* talk, you better say; you don't know nothing about it. He's *got* to have a rope ladder; they all do."

"What in the nation can he *do* with it?"

"*Do* with it? He can hide it in his bed, can't he? That's what they all do; and *he's* got to, too. Huck, you don't ever seem to want to do anything that's regular; you want to be starting something fresh all the time. S'pose he *don't* do nothing with it? ain't it there in his bed, for a clue after he's gone? and don't you reckon they'll want clues? Of course they will. And you wouldn't leave them any? That would be a *pretty* howdy-do, *wouldn't* it! I never heard of such a thing."

"Well," I says, "if it's in the regulations, and he's got to have it, all right, let him have it; because I don't wish to go back on no regulations; but there's one thing, Tom Sawyer—if we go to tearing up our sheets to make Jim a rope ladder, we're going to get into trouble with Aunt Sally, just as sure as you're born. Now, the way I look at it, a hickry-bark ladder don't cost nothing, and don't waste nothing, and is just as good to load up a pie with, and hide in a straw tick, as any rag ladder you can start; and as for Jim, he ain't had no experience, and so *he* don't care what kind of a—"

"Oh, shucks, Huck Finn, if I was as ignorant as you I'd keep still—that's what *I'd* do. Who ever heard of a state prisoner escaping by a hickry-bark ladder? Why, it's perfectly ridiculous."

"Well, all right, Tom, fix it your own way; but if you'll take my advice, you'll let me borrow a sheet off of the clothes-linen."

He said that would do. And that gave him another idea, and he says:

"Borrow a shirt, too."

"What do we want of a shirt, Tom?"

"Want it for Jim to keep a journal on."

"Journal your granny—*Jim* can't write."

"S'pose he *can't* write—he can make marks on the shirt, can't he, if we make him a pen out of an old pewter spoon or a piece of an old iron barrel-hoop?"

"Why, Tom, we can pull a feather out of a goose and make him a better one; and quicker, too."

"*Prisoners* don't have geese running around the donjon-keep to pull pens out of, you muggins. They *always* make their pens out of the hardest, toughest, troublesomest piece of old brass candlestick or

something like that they can get their hands on; and it takes them weeks and weeks and months and months to file it out, too, because they've got to do it by rubbing it on the wall. *They* wouldn't use a goose-quill if they had it. It ain't regular."

"Well, then, what 'll we make him the ink out of?"

"Many makes it out of iron-rust and tears; but that's the common sort and women; the best authorities uses their own blood. Jim can do that; and when he wants to send any little common ordinary mysterious message to let the world know where he's captivated, he can write it on the bottom of a tin plate with a fork and throw it out of the window. The Iron Mask always done that, and it's a blame' good way, too."

"Jim ain't got no tin plates. They feed him in a pan."

"That ain't nothing; we can get him some."

"Can't nobody *read* his plates."

"That ain't got anything to *do* with it, Huck Finn. All *he's* got to do is to write on the plate and throw it out. You don't *have* to be able to read it. Why, half the time you can't read anything a prisoner writes on a tin plate, or anywhere else."

"Well, then, what's the sense in wasting the plates?"

"Why, blame it all, it ain't the *prisoner's* plates."

"But it's *somebody's* plates, ain't it?"

"Well, spos'n it is? What does the *prisoner* care whose...."

He broke off there, because we heard the breakfast-horn blowing. So we cleared out for the house.

Along during the morning I borrowed a sheet and a white shirt off of the clothes-line; and I found an old sack and put them in it, and we went down and got the fox-fire, and put that in too. I called it borrowing, because that was what pap always called it; but Tom said it warn't borrowing, it was stealing. He said we was representing prisoners; and prisoners don't care how they get a thing so they get it, and nobody don't blame them for it, either. It ain't no crime in a prisoner to steal the thing he needs to get away with, Tom said; it's his right; and so, as long as we was representing a prisoner, we had a perfect right to steal anything on this place we had the least use for to get ourselves out of prison with. He said if we warn't prisoners it would be a very different thing, and nobody but a mean, ornery person would steal when he weren't a prisoner. So we allowed we would steal everything there was that come handy. And yet he made a mighty fuss, one day, after that, when I stole a watermelon out of the nigger patch and eat it; and he made me go and give the niggers a dime without telling them what it was for. Tom said that what he meant was, we could steal anything we *needed*. Well, I says, I needed the watermelon. But he said I didn't need it to get out of prison with; there's where the difference was. He said if I'd 'a' wanted it to hide a knife in, and smuggle it to Jim to kill the seneskal with, it would 'a' been all right. So I let it go at that, though I couldn't see no advantage

in my representing a prisoner if I got to set down and chaw over a lot of gold-leaf distinctions like that every time I see a chance to hog a watermelon.

Well, as I was saying, we waited that morning till everybody was settled down to business, and nobody in sight around the yard; then Tom he carried the sack into the lean-to whilst I stood off a piece to keep watch. By and by he come out, and we went and set down on the woodpile to talk. He says:

"Everything's all right now except tools; and that's easy fixed."

"Tools?" I says.

"Yes."

"Tools for what?"

"Why, to dig with. We ain't a-going to *gnaw* him out, are we?"

"Ain't them old crippled picks and things in there good enough to dig a nigger out with?" I says.

He turns on me, looking pitying enough to make a body cry, and says:

"Huck Finn, did you *ever* hear of a prisoner having picks and shovels, and all the modern conveniences in his wardrobe to dig himself out with? Now I want to ask you—if you got any reasonableness in you at all—what kind of a show would *that* give him to be a hero? Why, they might as well lend him the key and done with it. Picks and shovels—why, they wouldn't furnish 'em to a king."

"Well, then," I says, "if we don't want the picks and shovels, what do we want?"

"A couple of case-knives."

"To dig the foundations out from under that cabin with?"

"Yes."

"Confound it, it's foolish, Tom."

"It don't make no difference how foolish it is, it's the *right* way—and it's the regular way. And there ain't no *other* way, that ever I heard of, and I've read all the books that gives any information about these things. They always dig out with a case-knife—and not through dirt, mind you; generly it's through solid rock. And it takes them weeks and weeks and weeks, and for ever and ever. Why, look at one of them prisoners in the bottom dungeon of the Castle Deef, in the harbor of Marseilles, that dug himself out that way; how long was *he* at it, you reckon?"

"I don't know."

"Well, guess."

"I don't know. A month and a half."

"*Thirty-seven year*—and he come out in China. *That's* the kind. I wish the bottom of *this* fortress was solid rock."

"*Jim* don't know nobody in China."

"What's *that* got to do with it? Neither did that other fellow. But you're always a-wandering off on a side issue. Why can't you stick to the main point?"

"All right I don't care where he comes out, so he *comes* out; and Jim don't, either, I reckon. But there's one thing, anyway - Jim's too old to be dug out with a case-knife. He won't last."

"Yes he will *last*, too. You don't reckon it's going to take thirty-seven years to dig out through a *dirt* foundation, do you?"

"How long will it take, Tom?"

"Well, we can't resk being as long as we ought to, because it mayn't take very long for Uncle Silas to hear from down there by New Orleans. He'll hear Jim ain't from there. Then his next move will be to advertise Jim or something like that. So we can't resk being as long digging him out as we ought to. By rights I reckon we ought to be a couple of years; but we can't. Things being so uncertain, what I recommend is this: that we really dig right in, as quick as we can; and after that, we can *let on*, to ourselves, that we was at it thirty-seven years. Then we can snatch him out and rush him away the first time there's an alarm. Yes, I reckon that 'll be the best way."

"Now, there's *sense* in that," I says. "Letting on don't cost nothing; letting on ain't no trouble; and if it's any object, I don't mind letting on we was at it a hundred and fifty year. It wouldn't strain me none, after I got my hand in. So I'll mosey along now, and smouch a couple of case-knives."

"Smouch three," ne says; "we want one to make a saw out of."

"Tom, if it ain't unregular and irreligious to sejest it," I says, "there's an old rusty saw-blade around yonder sticking under the weather-boarding behind the smokehouse."

He looked kind of weary and discouraged-like, and says:

"It ain't no use to try to learn you nothing, Huck. Run along and smouch the knives—three of them." So I done it.

CHAPTER XXXVI

As soon as we reckoned everybody was asleep that night we went down the lightning-rod, and shut ourselves up in the lean-to, and got out our pile of fox-fire, and went to work. We cleared everything out of the way, about four or five foot along the middle of the bottom log. Tom said we was right behind Jim's bed now; and we'd dig in under it, and when we got through there couldn't nobody in the cabin ever know there was any hole there, because Jim's counterpin hung down most to the ground, and you'd have to raise it up and look under to see the hole. So we dug and dug with the case-knives till most midnight; and then we was dog-tired, and our hands was blistered, and yet you couldn't see we'd done anything hardly. At last I says:

"This ain't no thirty-seven-year job; this is a thirty-eight-year job, Tom Sawyer."

He never said nothing. But he sighed, and pretty soon he stopped

digging, and then for a good little while I knowed that he was thinking. Then he says:

"It ain't no use, Huck, it ain't a-going to work. If we was prisoners it would, because then we'd have as many years as we wanted, and no hurry; and we wouldn't get but a few minutes to dig, every day, while they was changing watches, and so our hands wouldn't get blistered, and we could keep it up right along, year in and year out, and do it right, and the way it ought to be done. But we can't fool along; we got to rush; we ain't got no time to spare. If we was to put in another night this way we'd have to knock off for a week to let our hands get well—couldn't touch a case-knife with them sooner."

"Well, then, what we going to do, Tom?"

"I'll tell you. It ain't right, and it ain't moral, and I wouldn't like it to get out; but there ain't only just the one way: we got to dig him out with the picks, and *let on* it's case-knives."

"*Now you're talking!*" I says; "your head gets leveler and leveler all the time, Tom Sawyer," I says. "Picks is the thing, moral or no moral; and as for me, I don't care shucks for the morality of it, nohow. When I start in to steal a nigger, or a watermelon, or a Sunday-school book, I ain't no ways particular how it's done so it's done. What I want is my nigger; or what I want is my watermelon; or what I want is my Sunday-school book; and if a pick's the handiest thing, that's the thing I'm a-going to dig that nigger or that watermelon or that Sunday-school book out with; and I don't give a dead rat what the authorities thinks about it nuther."

"Well," he says, "there's excuse for picks and letting on in a case like this; if it warn't so, I wouldn't approve of it, nor I wouldn't stand by and see the rules broke—because right is right, and wrong is wrong, and a body ain't got no business doing wrong when he ain't ignorant and knows better. It might answer for *you* to dig Jim out with a pick, *without* any letting on, because you don't know no better; but it wouldn't for me, because I do know better. Gimme a case-knife."

He had his own by him, but I handed him mine. He flung it down, and says:

"Gimme a *case-knife*."

I didn't know just what to do—but then I thought. I scratched around amongst the old tools, and got a pickaxe and give it to him, and he took it, and went to work, and never said a word.

He was always just that particular. Full of principle.

So then I got a shovel, and then we picked and shoveled, turn about, and made the fur fly. We stuck to it about a half an hour, which was as long as we could stand up; but we had a good deal of a hole to show for it. When I got up-stairs I looked out at the window and see Tom doing his level best with the lightning-rod, but he couldn't come it, his hands was so sore. At last he says:

"It ain't no use, it can't be done. What you reckon I better do? Can't you think of no way?"

"Yes," I says, "but I reckon it ain't regular. Come up the stairs, and let on it's a lightning-rod."

So he done it.

Next day Tom stole a pewter spoon and a brass candlestick in the house, for to make some pens for Jim out of, and six tallow candles; and I hung around the nigger cabins and laid for a chance, and stole three tin plates. Tom says it wasn't enough; but I said nobody wouldn't ever see the plates that Jim throwed out, because they'd fall in the dog-fennel and jimpson weeds under the window-hole—then we could tote them back and he could use them over again. So Tom was satisfied. Then he says:

"Now, the thing to study out is, how to get the things to Jim."

"Take them in through the hole," I says, "when we get it done."

He only just looked scornful, and said something about nobody ever heard of such an idiotic idea, and then he went to studying. By and by he said he had ciphered out two or three ways, but there warn't no need to decide on any of them yet. Said we'd got to post Jim first.

That night we went down the lightning-rod a little after ten, and took one of the candles along, and listened under the window-hole, and heard Jim snoring; so we pitched it in, and it didn't wake him. Then we whirled in with the pick and shovel, and in about two hours and a half the job was done. We crept in under Jim's bed and into the cabin, and pawed around and found the candle and lit it, and stood over Jim awhile, and found him looking hearty and healthy, and then we woke him up gentle and gradual. He was so glad to see us he most cried; and called us honey, and all the pet names he could think of; and was for having us hunt up a cold-chisel to cut the chain off of his leg with right away, and clearing out without losing any time. But Tom he showed him how unregular it would be, and set down and told him all about our plans, and how we could alter them in a minute any time there was an alarm; and not to be the least afraid, because we would see he got away, *sure*. So Jim he said it was all right, and we set there and talked over old times awhile, and then Tom asked a lot of questions, and when Jim told him Uncle Silas come in every day or two to pray with him, and Aunt Sally come in to see if he was comfortable and had plenty to eat, and both of them was kind as they could be, Tom says:

"Now I know how to fix it. We'll send you some things by them."

I said, "Don't do nothing of the kind; it's one of the most jackass ideas I ever struck"; but he never paid no attention to me; went right on. It was his way when he'd got his plans set.

So he told Jim how we'd have to smuggle in the rope-ladder pie and other large things by Nat, the nigger that fed him, and he must be on the lookout, and not be surprised, and not let Nat see him open them; and we would put small things in uncle's coat pockets and he must steal them out; and we would tie things to aunt's apron-strings

or put them in her apron pocket, if we got a chance; and told him what they would be and what they was for. And told him how to keep a journal on the shirt with his blood, and all that. He told him everything. Jim he couldn't see no sense in the most of it, but he allowed we was white folks and knowed better than him; so he was satisfied, and said he would do it all just as Tom said.

Jim had plenty corn-cob pipes and tobacco; so we had a right down good sociable time; then we crawled out through the hole, and so home to bed, with hands that looked like they'd been chewed. Tom was in high spirits. He said it was the best fun he ever had in his life, and the most intellectual; and said if he only could see his way to it we would keep it up all the rest of our lives and leave Jim to our children to get out; for he believed Jim would come to like it better and better the more he got used to it. He said that in that way it could be strung out to as much as eighty year, and would be the best time on record. And he said it would make us all celebrated that had a hand in it.

In the morning we went out to the woodpile and chopped up the brass candlestick into handy sizes, and Tom put them and the pewter spoon in his pocket. Then we went to the nigger cabins, and while I got Nat's notice off, Tom shoved a piece of candlestick into the middle of a corn-pone that was in Jim's pan, and we went along with Nat to see how it would work, and it just worked noble; when Jim bit into it it most nashed all his teeth out; and there warn't ever anything could 'a' worked better. Tom said so himself. Jim he never let on but what it was only just a piece of rock or something like that that's always getting into bread, you know; but after that he never bit into nothing but what he jabbed his fork into it in three or four places first.

And whilst we was a-standing there in the dimmish light, here comes a couple of the hounds bulging in from under Jim's bed; and they kept on piling in till there was eleven of them, and there warn't hardly room in there to get your breath. By jings, we forgot to fasten that lean-to door! The nigger Nat he only just hollered "Witches" once, and keeled over onto the floor amongst the dogs, and begun to groan like he was dying. Tom jerked the door open and flung out a slab of Jim's meat, and the dogs went for it, and in two seconds he was out himself and back again and shut the door, and I knowed he'd fixed the other door too. Then he went to work on the nigger, coaxing him and petting him, and asking him if he'd been imagining he saw something again. He raised up, and blinked his eyes around, and says:

"Mars Sid, you'll say I's a fool, but if I didn't b'lieve I see most a million dogs, er devils, er som'n, I wisht I may die right heah in dese tracks. I did, mos' sholy. Mars Sid, I *felt* um—I *felt* um, sah; dey was all over me. Dad fetch it, I jis' wisht I could git my han's on one er dein witches jis' wunst—on'y jis' wunst—it's all I'd ast. But mos'ly I wisht dey'd lemme 'lone, I does."

Tom says:

"Well, I tell you what *I* think. What makes them come here just at this runaway nigger's breakfast-time? It's because they're hungry; that's the reason. You make them a witch pie; that's the thing for *you* to do."

"But my lan', Mars Sid, how's I gwync to make 'm a witch pie? I doan' know how to make it. I hain't ever hearn er sich a thing b'fo'."

"Well, then, I'll have to make it myself."

"Will you do it, honey?—will you? I'll wusshup de groun' und' yo' foot, I will! "

"All right, I'll do it, seeing it's you, and you've been good to us and showed us the runaway nigger. But you got to be mighty careful. When we come around, you turn your back; and then whatever we've put in the pan, don't you let on you see it at all. And don't you look when Jim unloads the pan—something might happen, I don't know what. And above *all*, don't you *handle* the witch things."

"*Hannel* 'm, Mars Sid? What *is* you a-talkin' 'bout? I wouldn't lay de weight er my finger on um, not f'r ten hund'd thous'n billion dollars, I wouldn't."

CHAPTER XXXVII

That was all fixed. So then we went away and went to the rubbage-pile in the back yard, where they keep the old boots, and rags, and pieces of bottles, and wore-out tin things, and all such truck, and scratched around and found an old tin washpan, and stopped up the holes as well as we could, to bake the pie in, and took it down cellar and stole it full of flour and started for breakfast, and found a couple of shingle-nails that Tom said would be handy for a prisoner to scabble his name and sorrows on the dungeon walls with, and dropped one of them in Aunt Sally's apron pocket which was hanging on a chair, and t'other we stuck in the band of Uncle Silas's hat, which was on the bureau, because we heard the children say their pa and ma was going to the runaway nigger's house this morning, and then went to breakfast, and Tom dropped the pewter spoon in Uncle Silas's coat pocket, and Aunt Sally wasn't come yet, so we had to wait a little while.

And when she come she was hot and red and cross, and couldn't hardly wait for the blessing; and then she went to sluicing out coffee with one hand and cracking the handiest child's head with her thimble with the other, and says:

"I've hunted high and I've hunted low, and it does beat all what *has* become of your other shirt."

My heart fell down amongst my lungs and livers and things, and a hard piece of corn-crust started down my throat after it and got met on the road with a cough, and was shot across the table, and took one of the children in the eye and curled him up like a fishing-worm, and

let a cry out of him the size of a war-whoop, and Tom he turned kinder blue around the gills, and it all amounted to a considerable state of things for about a quarter of a minute or as much as that, and I would 'a' sold out for half price if there was a bidder. But after that we was all right again—it was the sudden surprise of it that knocked us so kind of cold. Uncle Silas he says:

"It's most uncommon curious, I can't understand it. I know perfectly well I took it *off*, because—"

"Because you hain't got but one *on*. Just *listen* at the man! I know you took it off, and know it by a better way than your wool-gathering memory, too, because it was on the clo's-line yesterday—I see it there myself. But it's gone, that's the long and the short of it, and you'll just have to change to a red flann'l one till I can get time to make a new one. And it'll be the third I've made in two years. It just keeps a body on the jump to keep you in shirts; and whatever you do manage to *do* with 'm all is more'n I can make out. A body'd think you *would* learn to take some sort of care of 'em at your time of life."

"I know it, Sally, and I do try all I can. But it oughtn't to be altogether my fault, because, you know, I don't see them nor have nothing to do with them except when they're on me; and I don't believe I've ever lost one of them *off* of me."

"Well, it ain't *your* fault if you haven't, Silas; you'd 'a' done it if you could, I reckon. And the shirt ain't all that's gone, nuther. Ther's a spoon gone; and *that* ain't all. There was ten, and now there's only nine. The calf got the shirt, I reckon, but the calf never took the spoon, *that's* certain."

"Why, what else is gone, Sally?"

"Ther's six *candles* gone—that's what. The rats could 'a' got the candles, and I reckon they did; I wonder they don't walk off with the whole place, the way you're always going to stop their holes and don't do it; and if they warn't fools they'd sleep in your hair, Silas—you'd never find it out; but you can't lay the *spoon* on the rats, and that I *know*."

"Well, Sally, I'm in fault, and I acknowledge it; I've been remiss; but I won't let to-morrow go by without stopping up them holes."

"Oh, I wouldn't hurry; next year 'll do. Matilda Angelina Araminta Phelps!"

Whack comes the thimble, and the child snatches her claws out of the sugar-bowl without fooling around any. Just then the nigger woman steps onto the passage, and says:

"Missus, dey's a sheet gone."

"A *sheet* gone! Well, for the land's sake!"

"I'll stop up them holes to-day," says Uncle Silas, looking sorrowful.

"Oh, *do* shet up! —s'pose the rats took the *sheet*? *Where's* it gone, Lize?"

"Clah to goodness I hain't no notion, Miss Sally. She wuz on de clo's-line yistiddy, but she done gone: she ain' dah no mo' now."

"I reckon the world *is* coming to an end. I *never* see the beat of it in all my born days. A shirt, and a sheet, and a spoon, and six can—"

"Missus," comes a young yaller wench, "dey's a brass cannelstick miss'n."

"Cler out from here, you hussy, er I'll take a skillet to ye!"

Well, she was just a-biling. I begun to lay for a chance; I reckoned I would sneak out and go for the woods till the weather moderated. She kept a-raging right along, running her insurrection all by herself, and everybody else mighty meek and quiet; and at last Uncle Silas, looking kind of foolish, fishes up that spoon out of his pocket. She stopped, with her mouth open and her hands up; and as for me, I wished I was in Jerusalem or somewheres. But not long, because she says:

"It's *just* I expected. So you had it in your pocket all the time; and like as not you've got the other things there, too. How'd it get there?"

"I reely don't know, Sally," he says, kind of apologizing, "or you know I would tell. I was a-studying over my text in Acts Seventeen before breakfast, and I reckon I put it in there, not noticing, meaning to put my Testament in, and it must be so, because my Testament ain't in; but I'll go and see; and if the Testament is where I had it, I'll know I didn't put it in, and that will show that I laid the Testament down and took up the spoon, and—"

"Oh, for the land's sake! Give a body a rest! Go 'long now, the whole kit and biling of ye; and don't come nigh me again till I've got back my peace of mind."

I'd 'a' heard her if she'd 'a' said it to herself, let alone speaking it out; and I'd 'a' got up and obeyed her if I'd 'a' been dead. As we was passing through the setting-room the old man he took up his hat, and the shingle-nail fell out on the floor, and he just merely picked it up and laid it on the mantel-shelf, and never said nothing, and went out. Tom see him do it, and remembered about the spoon, and says:

"Well, it ain't no use to send things by *him* no more, he ain't reliable." Then he says: "But he done us a good turn with the spoon, anyway, without knowing it, and so we'll go and do him one without *him* knowing it—stop up his rat-holes."

There was a noble good lot of them down cellar, and it took us a whole hour, but we done the job tight and good and shipshape. Then we heard steps on the stairs, and blowed out our light and hid; and here comes the old man, with a candle in one hand and a bundle of stuff in t'other, looking as absent-minded as year before last. He went a-mooning around, first to one rat-hole and then another, till he'd been to them all. Then he stood about five minutes, picking tallow-drip off of his candle and thinking. Then he turns off slow and dreamy towards the stairs, saying:

"Well, for the life of me I can't remember when I done it. I could show her now that I warn't to blame on account of the rats. But never mind—let it go. I reckon it wouldn't do no good."

And so he went on a-mumblin' up-stairs, and then we left. He was a mighty nice old man. And always is.

Tom was a good deal bothered about what to do for a spoon, but he said we'd got to have it; so he took a think. When he had ciphered it out he told me how we was to do; then we went and waited around the spoon-basket till we see Aunt Sally coming, and then Tom went to counting the spoons and laying them out to one side, and I slid one of them up my sleeve, and Tom says:

"Why, Aunt Sally, there ain't but nine spoons *yet*."

She says:

"Go 'long to your play, and don't bother me. I know better, I counted 'm myself."

"Well, I've counted them twice, Aunt, and I can't make but nine."

She looked out of all patience, but of course she come to count—anybody would."

"I declare to gracious ther' *ain't* but nine!" she says. "Why, what in the world—plague *take* the things, I'll count 'm again."

So I slipped back the one I had, and when she got done counting, she says:

"Hang the troublesome rubbage, ther's *ten* now!" and she looked huffy and bothered both. But Tom says:

"Why, Aunt, I don't think there's ten."

"You numskull, didn't you see me *count* 'm?"

"I know, but—"

"Well, I'll count 'm again."

So I smouched one, and they come out nine, same as the other time. Well, she was in a tearing way—just a-trembling all over, she was so mad. But she counted and counted till she got that addled she'd start to count in the *basket* for a spoon sometimes; and so, three times they come out right, and three times they come out wrong. Then she grabbed up the basket and slammed it across the house and knocked the cat galley-west; and she said cler out and let her have some peace, and if we come bothering around her again betwixt that and dinner she'd skin us. So we had the odd spoon, and dropped it in her apron pocket whilst she was a-giving us our sailing orders, and Jim got it all right, along with her shingle-nail, before noon. We was very well satisfied with this business, and Tom allowed it was worth twice the trouble it took, because he said *now* she couldn't ever count them spoons twice alike again to save her life; and wouldn't believe she'd counted them right if she *did*; and said that after she'd about counted her head off for the next three days he judged she'd give it up and offer to kill anybody that wanted her to ever count them any more.

So we put the sheet back on the line that night, and stole one out of her closet; and kept on putting it back and stealing it again for a

couple of days till she didn't know how many sheets she had any more, and she didn't *care*, and warn't a-going to bullyrag the rest of her soul out about it, and wouldn't count them again not to save her life; she druther die first.

So we was all right now, as to the shirt and the sheet and the spoon and the candles, by the help of the calf and the rats and the mixed-up counting; and as to the candle-stick, it warn't no consequence, it would blow over by and by.

But that pie was a job; we had no end of trouble with that pie. We fixed it up away down in the woods, and cooked it there; and we got it done at last, and very satisfactory, too; but not all in one day; and we had to use up three washpans full of flour before we got through, and we got burnt pretty much all over, in places, and eyes put out with the smoke; because, you see, we didn't want nothing but a crust and we couldn't prop it up right, and she would always cave in. But of course we thought of the right way at last—which was to cook the ladder, too, in the pie. So then we laid in with Jim the second night, and tore up the sheet all in little strings and twisted them together, and long before daylight we had a lovely rope that you could 'a' hung a person with. We let on it took nine months to make it.

And in the forenoon we took it down to the woods, but it wouldn't go into the pie. Being made of a whole sheet, that way, there was rope enough for forty pies if we'd 'a' wanted them, and plenty left over for soup, or sausage, or anything you choose. We could 'a' had a whole dinner.

But we didn't need it. All we needed was just enough for the pie, and so we throwed the rest away. We didn't cook none of the pies in the washpan—afraid the solder would melt; but Uncle Silas he had a noble brass warming-pan which he thought considerable of, because it belonged to one of his ancesters with a long wooden handle that come over from England with William the Conqueror in the *May-flower* or one of them early ships and was hid away up garret with a lot of other old pots and things that was valuable, not on account of being any account, because they warn't, but on account of them being relicts, you know, and we snaked her out, private, and took her down there, but she failed on the first pies, because we didn't know how, but she come up smiling on the last one. We took and lined her with dough, and set her in the coals, and loaded her up with rag rope, and put on a dough roof, and shut down the lid, and put hot embers on top, and stood off five foot, with the long handle, cool and comfortable, and in fifteen minutes she turned out a pie that was a satisfaction to look at. But the person that et it would want to fetch a couple of kags of toothpicks along, for if that rope ladder wouldn't cramp him down to business I don't know nothing what I'm talking about, and lay him in enough stomach-ache to last him till next time, too.

Nat didn't look when he put the witch pie in Jim's pan; and we put the three tin plates in the bottom of the pan under the vittles; and so

Jim got everything all right, and as soon as he was by himself he busted into the pie and hid the rope ladder inside of his straw tick, and scratched some marks on a tin plate and throwed it out of the window-hole.

CHAPTER XXXVIII

Making them pens was a distressid tough job, and so was the saw; and Jim allowed the inscription was going to be the toughest of all. That's the one which the prisoner has to scrabble on the wall. But he had to have it; Tom said he'd *got* to; there warn't no case of a state prisoner not scrabbling his inscription to leave behind, and his coat of arms.

"Look at Lady Jane Grey," he says: "look at Gilford Dudley; look at old Northumberland! Why, Huck, s'pose it *is* considerable trouble?—what you going to do?—how you going to get around it? Jim's *got* to do his inscription and coat of arms. They all do."

Jim says:

"Why, Mars Tom, I hain't got no coat o' arms; I hain't got nuffn but dish yer ole shirt, en you knows I got to keep de journal on dat."

"Oh, you don't understand, Jim; a coat of arms is very different."

"Well," I says, "Jim's right, anyway, when he says he ain't got no coat of arms, because he hain't."

"I reckon *I* knowed that," Tom says, "but you bet he'll have one before he goes out of this—because he's going out *right*, and there ain't going to be no flaws in his record."

So whilst me and Jim filed away at the pens on a brickbat apiece, Jim a-making his'n out of the brass and I making mine out of the spoon, Tom set to work to think out the coat of arms. By and by he said he'd struck so many good ones he didn't hardly know which to take, but there was one which he reckoned he'd decide on. He says:

"On the scutcheon we'll have a bend *or* in the dexter base, a saltire *murrey* in the fess, with a dog, couchant, for common charge, and under his foot a chain embattled, for slavery, with a chevron *vert* in a chief enrailed, and three invected lines on a field *azure*, with the nombril points rampant on a dancette indented; crest, a runaway nigger, *sable*, with his bundle over his shoulder on a bar sinister; and a couple of gules for supporters, which is you and me; motto, *Maggiore fretta, minore atto*. Got it out of a book—means the more haste the less speed."

"Geewhillikins," I says, "but what does the rest of it mean?"

"We ain't got no time to bother over that," he says; "we got to dig in like all git-out."

"Well, anyway," I says, "what's *some* of it? What's a fess?"

"A fess—a fess is—you don't need to know what a fess is. I'll show him how to make it when he gets to it."

"Shucks, Tom," I says, "I think you might tell a person. What's a bar sinister?"

"Oh, I don't know. But he's got to have it. All the nobility does."

That was just his way. If it didn't suit him to explain a thing to you, he wouldn't do it. You might pump at him a week, it wouldn't make no difference.

He'd got all that coat-of-arms business fixed, so now he started in to finish up the rest of that part of the work, which was to plan out a mournful inscription—said Jim got to have one, like they all done. He made up a lot, and wrote them out on a paper, and read them off, so:

1. *Here a captive heart busted.*

2. *Here a poor prisoner, forsook by the world and friends, fretted his sorrowful life.*

3. *Here a lonely heart broke, and a warm spirit went to its rest, after thirty-seven years of solitary captivity.*

4. *Here, homeless and friendless, after thirty-seven years of bitter captivity, perished a noble stranger, natural son of Louis XIV.*

Tom's voice trembled whilst he was reading them, and he most broke down. When he got done he couldn't no way make up his mind which one for Jim to scabble onto the wall, they was all so good; but at last he allowed he would let him scabble them all on. Jim said it would take him a year to scabble such a lot of truck onto the logs with a nail, and he didn't know how to make letters, besides; but Tom said he would block them out for him, and then he wouldn't have nothing to do but just follow the lines. Then pretty soon he says:

"Come to think, the logs ain't a-going to do; they don't have log walls in a dungeon: we got to dig the inscription into a rock. We'll fetch the rock."

Jim said the rock was worse than the logs, he said it would take him such a pison long time to dig them into a rock he wouldn't ever get out. But Tom said he would let me help him do it. Then he took a look to see how me and Jim was getting along with the pens. It was most pesky tedious hard work and slow, and didn't give my hands no show to get well of the sores, and we didn't seem to make no head-way, hardly; so Tom says:

"I know how to fix it. We got to have a rock for the coat of arms and mournful inscriptions, and we can kill two birds with that same rock. There's a gaudy big grindstone down at the mill, and we'll smouch it, and carve the things on it, and file out the pens and the saw on it, too."

It warn't no slouch of an idea; and it warn't no slouch of a grindstone nuther; but we allowed we'd tackle it. It warn't quite midnight yet, so we cleared out for the mill, leaving Jim at work. We smouched the grindstone, and set out to roll her home, but it was a most nation tough job. Sometimes, do what we could, we couldn't keep her from

falling over, and she come mighty near mashing us every time. Tom said she was going to get one of us, sure, before we got through. We got her half-way; and then we was plumb played out, and most drowned with sweat. We see it warn't no use; we got to go and fetch Jim. So he raised up his bed and slid the chain off of the bed-leg, and wrapt it round and round his neck, and we crawled out through our hole and down there, and Jim and me laid into that grindstone and walked her along like nothing; and Tom superintended. He could out-superintend any boy I ever see. He knowed how to do everything.

Our hole was pretty big, but it warn't big enough to get the grindstone through; but Jim he took the pick and soon made it big enough. Then Tom marked out them things on it with the nail, and set Jim to work on them, with the nail for a chisel and an iron bolt from the rubbage in the lean-to for a hammer, and told him to work till the rest of his candle quit on him, and then he could go to bed, and hide the grindstone under his straw tick and sleep on it. Then we helped him fix his chain back on the bed-leg, and was ready for bed ourselves. But Tom thought of something, and says:

"You got any spiders in here, Jim?"

"No, sah, thanks to goodness I hain't, Mars Tom."

"All right, we'll get you some."

"But bless you, honey, I doan' want none. I's afeard un um. I jis' 's soon have rattlesnakes aroun'."

Tom thought a minute or two, and says:

"It's a good idea. And I reckon it's been done. It *must* 'a' been done; it stands to reason. Yes it's a prime good idea. Where could you keep it?"

"Keep what, Mars Tom?"

"Why, a rattlesnake."

"De goodness gracious alive, Mars Tom! Why, if dey was a rattlesnake to come in heah I'd take en bust right out thoo dat log wall, I would, wid my head."

"Why, Jim, you wouldn't be afraid of it after a little. You could tame it."

"*Tame* it! "

"Yes—easy enough. Every animal is grateful for kindness and petting, and they wouldn't *think* of hurting a person that pets them. Any book will tell you that. You try—that's all I ask; just try for two or three days. Why, you can get him so in a little while that he'll love you; and sleep with you; and won't stay away from you a minute; and will let you wrap him round your neck and put his head in your mouth."

"*Please*, Mars Tom—doan' talk so! I can't *stan'* it! He' let me shove his head in my mouf—fer a favor, hain't it? I lay he'd wait a pow'ful long time 'fo' I *ast* him. En mo' en dat, I doan' want him to sleep wid me."

"Jim, don't act so foolish. A prisoner's *got* to have some kind of a

dumb pet, and if a rattlesnake hain't ever been tried, why, there's more glory to be gained in your being the first to ever try it than any other way you could ever think of to save your life."

"Why, Mars Tom, I doan' *want* no sich glory. Snake take 'n bite Jim's chin off, den *whah* is de glory? No, sah, I doan' want no sich doin's."

"Blame it, can't you *try*? I only *want* you to try—you needn't keep it up if it don't work."

"But de trouble all *done* ef de snake bite me while I's a-tryin' him. Mars Tom, I's willin' to tackle mos' anything 'at ain't onreasonable, but ef you en Huck fetches a rattlesnake in heah for me to tame, I's gwyne to *leave*, dat's *shore*."

"Well, then, let it go, let it go, if you're so bull-headed about it. We can get you some garter-snakes, and you can tie some buttons on their tails, and let on they're rattlesnakes, and I reckon that 'll have to do."

"I k'n stan' *dem*, Mars Tom, but blame' 'f I couldn' get along widout um, I tell you dat. I never knowed b'fo' 'twas so much bother and trouble to be a prisoner."

"Well, it *always* is when it's done right. You got any rats around here?"

"No, sah, I hain't seed none."

"Well, we'll get you some rats."

"Why, Mars Tom, I doan' *want* no rats. Dey's de dadblamedest creturs to 'sturb a body, en rustle roun' over 'im, en bite his feet, when he's tryin' to sleep, I ever see. No, sah, gimme g'yarter-snakes, 'f I'd got to have 'm, but doan' gimme no rats; I hain' got no use f'r um, skasely."

"But, Jim, you *got* to have 'em—they all do. So don't make no more fuss about it. Prisoners ain't ever without rats. There ain't no instance of it. And they train them, and pet them, and learn them tricks, and they get to be as sociable as flies. But you got to play music to them. You got anything to play music on?"

"I ain' got nuffn but a coase comb en a piece o' paper, en a juice-harp; but I reck'n dey wouldn' take no stock in a juice-harp."

"Yes, they would. *They* don't care what kind of music 'tis. A jew's-harp's plenty good enough for a rat. All animals like music—in a prison they dote on it. Specially, painful music; and you can't get no other kind out of a jew's-harp. It always interests them; they come out to see what's the matter with you. Yes, you're all right; you're fixed very well. You want to set on your bed nights before you go to sleep, and early in the mornings, and play your jew's-harp; play 'The Last Link is Broken'—that's the thing that'll scoop a rat quicker 'n anything else; and when you've played about two minutes you'll see all the rats, and the snakes, and spiders and things begin to feel worried about you, and come. And they'll just fairly swarm over you, and have a noble good time."

"Yes, *dey* will, I reck'n, Mars Tom, but what kine er time is *Jim* havin'? Blest if I kin see de pint. But I'll do it ef I got to. I reck'n I better keep de animals satisfied, en not have no trouble in de house."

Tom waited to think it over, and see if there wasn't nothing else; and pretty soon he says:

"Oh, there's one thing I forgot. Could you raise a flower here, do you reckon?"

"I doan' know but maybe I could, Mars Tom; but it's tolabable dark in heah, en I ain' got no use f'r no flower, nohow, en she'd be a pow'ful sight o' trouble."

"Well, you try it, anyway. Some other prisoners has done it."

"One er dem big cat-tail-lookin' mullen-stalks would grow in heah, Mars Tom, I reck'n, but she wouldn't be wuth half de trouble she'd coss."

"Don't you believe it. We'll fetch you a little one, and you plant it in the corner over there, and raise it. And don't call it mullen, call it Pitchiola—that's its right name when it's in a prison. And you want to water it with your tears."

"Why, I got plenty spring water, Mars Tom."

"You don't *want* spring water; you want to water it with your tears. It's the way they always do."

"Why, Mars Tom, I lay I kin raise one er dem mullen-stalks twyste wid spring water whiles another man's a *start'n* one wid tears."

"That ain't the idea. You *got* to do it with tears."

"She'll die on my han's, Mars Tom, she sholy will; kase I doan' skasely ever cry."

So Tom was stumped. But he studied it over, and then said Jim would have to worry along the best he could with an onion. He promised he would go to the nigger cabins and drop one, private, in Jim's coffee-pot, in the morning. Jim said he would "jis' 's soon have to-backer in his coffee"; and found so much fault with it, and with the work and bother of raising the mullen, and jew's-harping the rats, and petting and flattering up the snakes and spiders and things, on top of all the other work he had to do on pens, and inscriptions, and journals, and things, which made it more trouble and worry and responsibility to be a prisoner than anything he ever undertook, that Tom most lost all patience with him; and said he was just loadened down with more gaudier chances than a prisoner ever had in the world to make a name for himself, and yet he didn't know enough to appreciate them, and they was just about wasted on him. So Jim he was sorry, and said he wouldn't behave so no more, and then me and Tom shoved for bed.

CHAPTER XXXIX

In the morning we went up to the village and bought a wire rat-trap and fetched it down, and unstopped the best rat-hole, and in about an hour we had fifteen of the bulliest kind of ones; and then we took it

and put it in a safe place under Aunt Sally's bed. But while we was gone for spiders little Thomas Franklin Benjamin Jefferson Elexander Phelps found it there, and opened the door of it to see if the rats would come out, and they did; and Aunt Sally she come in, and when we got back she was a-standing on top of the bed raising Cain, and the rats was doing what they could to keep off the dull times for her. So she took and dusted us both with the hickry, and we was as much as two hours catching another fifteen or sixteen, drat that meddlesome cub, and they warn't the likeliest, nuther, because the first haul was the pick of the flock. I never see a likelier lot of rats than what that first haul was.

We got a splendid stock of sorted spiders, and bugs, and frogs, and caterpillars, and one thing or another; and we like-to got a hornet's nest, but we didn't. The family was at home. We didn't give it right up, but stayed with them as long as we could; because we allowed we'd tire them out or they'd got to tire us out, and they done it. Then we got allycumpain and rubbed on the places, and was pretty near all right again, but couldn't set down convenient. And so we went for the snakes, and grabbed a couple of dozen garters and house-snakes, and put them in a bag, and put it in our room, and by that time it was supper-time, and a rattling good honest day's work: and hungry?—oh, no, I reckon not! And there warn't a blessed snake up there when we went back—we didn't half tie the sack, and they worked out somehow, and left. But it didn't matter much, because they was still on the premises somewheres. So we judged we could get some of them again. No, there warn't no real scarcity of snakes about the house for a considerable spell. You'd see them dripping from the rafters and places every now and then; and they generly landed in your plate, or down the back of your neck, and most of the time where you didn't want them. Well, they was handsome and striped, and there warn't no harm in a million of them; but that never made no difference to Aunt Sally; she despised snakes, be the breed what they might, and she couldn't stand them no way you could fix it; and every time one of them flopped down on her, it didn't make no difference what she was doing, she would just lay that work down and light out. I never see such a woman. And you could hear her whoop to Jericho. You couldn't get her to take a-holt of one of them with the tongs. And if she turned over and found one in bed she would scramble out and lift a howl that you would think the house was afire. She disturbed the old man so that he could most wish there hadn't ever been no snakes created. Why, after every last snake had been gone clear out of the house for as much as a week Aunt Sally warn't over it yet; she warn't near over it; when she was setting thinking about something you could touch her on the back of her neck with a feather and she would jump right out of her stockings. It was vry curious. But Tom said all women was just so. He said they was made that way for some reason or other.

We got a licking every time one of our snakes come in her way, and

she allowed these lickings warn't nothing to what she would do if we ever loaded up the place again with them. I didn't mind the lickings, because they didn't amount to nothing; but I minded the trouble we had to lay in another lot. But we got them laid in, and all the other things; and you never see a cabin as blithesome as Jim's was when they'd all swarm out for music and go for him. Jim didn't like the spiders, and the spiders didn't like Jim; and so they'd lay for him, and make it mighty warm for him. And he said that between the rats and the snakes and the grindstone there warn't no room in bed for him, skasely; and when there was, a body couldn't sleep, it was so lively, and it was always lively, he said, because *they* never all slept at one time, but took turn about, so when the snakes was asleep the rats was on deck, and when the rats turned in the snakes come on watch, so he always had one gang under him, in his way, and t'other gang having a circus over him, and if he got up to hunt a new place the spiders would take a chance at him as he crossed over. He said if he ever got out this time he wouldn't ever be a prisoner again, not for a salary.

Well, by the end of three weeks everything was in pretty good shape. The shirt was sent in early, in a pie, and every time a rat bit Jim he would get up and write a line in his journal whilst the ink was fresh, the pens was made, the inscriptions and so on was all carved on the grindstone; the bed-leg was sawed in two, and we had et up the sawdust, and it gave us a most amazing stomach-ache. We reckoned we was all going to die, but didn't. It was the most undigestible sawdust I ever sec; and Tom said the same. But as I was saying, we'd got all the work done now, at last; and we was all pretty much fagged out, too, but mainly Jim. The old man had wrote a couple of times to the plantation below Orleans to come and get their runaway nigger, but hadn't got no answer, because there warn't no such plantation; so he allowed he would advertise Jim in the St. Louis and New Orleans papers; and when he mentioned the St. Louis ones it give me the cold shivers, and I see we hadn't no time to lose. So Tom said, now for the nonnamous letters.

"What's them?" I says.

"Warnings to the people that something is up. Sometimes it's done one way, sometimes another. But there's always somebody spying around that gives notice to the governor of the castle. When Louis XVI. was going to light out of the Tooleries a servant-girl done it. It's a very good way, and so is the nonnamous letters. We'll use them both. And it's usual for the prisoner's mother to change clothes with him, and she stays in, and he slides out in her clothes. We'll do that, too."

"But looky here, Tom, what do we want to *warn* anybody for that something's up? Let them find it out for themselves—it's their lookout."

"Yes, I know; but you can't depend on them. It's the way they've acted from the very start—left us to do *everything*. They're so con-

fiding and mullet-headed they don't take notice of nothing at all. So if we don't *give* them notice there won't be nobody nor nothing to interfere with us, and so after all our hard work and trouble this escape 'll go off perfectly flat; won't amount to nothing—won't be nothing *to* it."

"Well, as for me, Tom, that's the way I'd like."

"Shucks!" he says, and looked disgusted. So I says:

"But I ain't going to make no complaint. Any way that suits you suits me. What you going to do about the servant-girl?"

"You'll be her. You slide in, in the middle of the night, and hook that yaller girl's frock."

"Why, Tom, that 'll make trouble next morning; because, of course, she prob'ly hain't got any but that one."

"I know; but you don't want it but fifteen minutes, to carry the nonnamous letter and shove it under the front door."

"All right, then, I'll do it; but I could carry it just as handy in my own togs."

"You wouldn't look like a servant-girl *then*, would you?"

"No, but there won't be nobody to see what I look like, *anyway*."

"That ain't got nothing to do with it. The thing for us to do is just to do our *duty*, and not worry about whether anybody *sees* us do it or not. Hain't you got no principle at all?"

"All right, I ain't saying nothing, I'm the servant-girl. Who's Jim's mother?"

"I'm his mother. I'll hook a gown from Aunt Sally."

"Well, then, you'll have to stay in the cabin when me and Jim leaves."

"Not much. I'll stuff Jim's clothes full of straw and lay it on his bed to represent his mother in disguise, and Jim 'll take the nigger woman's gown off of me and wear it, and we'll all evade together. When a prisoner of style escapes it's called an evasion. It's always called so when a king escapes, frinstance. And the same with a king's son; it don't make no difference whether he's a natural one or an unnatural one."

So Tom he wrote the nonnamous letter, and I smouched the yaller wench's frock that night, and put it on, and shoved it under the front door, the way Tom told me to.

Beware Trouble is brewing. Keep a sharp lookout.

UNKNOWN FRIEND.

Next night we stuck a picture, which Tom drawed in blood, of a skull and crossbones on the front door; and next night another one of a coffin on the back door. I never see a family in such a sweat. They couldn't 'a' been worse scared if the place had 'a' been full of ghosts laying for them behind everything and under the beds and shivering through the air. If a door banged, Aunt Sally she jumped and said

"ouch!" if anything fell, she jumped and said "ouch!" if you happened to touch her, when she warn't noticing, she done the same; she couldn't face no way and be satisfied, because she allowed there was something behind her every time—so she was always a-whirling around sudden, and saying "ouch," and before she'd got two-thirds around she'd whirl back again, and say it again; and she was afraid to go to bed, but she dasn't set up. So the thing was working very well, Tom said; he said he never see a thing work more satisfactory. He said it showed it was done right.

So he said, now for the grand bulge! So the very next morning at the streak of dawn we got another letter ready, and was wondering what we better do with it, because we heard them say at supper they was going to have a nigger on watch at both doors all night. Tom he went down the lightning-rod to spy around; and the nigger at the back door was asleep, and he stuck it in the back of his neck and come back. This letter said:

Don't betray me, I wish to be your friend. There is a desprate gang of cut-throats from over in the Indian Territory going to steal your runaway nigger to-night, and they have been trying to scare you so as you will stay in the house and not bother them. I am one of the gang, but have got religgion and wish to quit it and lead an honest life again, and will betray the helish design. They will sneak down from northards, along the fence, at midnight exact, with a false key, and go in the nigger's cabin to get him. I am to be off a piece and blow a tin horn if I see any danger; but stead of that I will BA like a sheep soon as they get in and not blow at all; then whilst they are getting his chains loose, you slip there and lock them in, and can kill them at your leasure. Don't do anything but just the way I am telling you; if you do they will suspicion something and raise whoop-jamboreehoo. I do not wish any reward but to know I have done the right thing.

UNKNOWN FRIEND.

CHAPTER XL

We was feeling pretty good after breakfast, and took my canoe and went over the river a-fishing, with a lunch, and had a good time, and took a look at the raft and found her all right, and got home late to supper, and found them in such a sweat and worry they didn't know which end they was standing on, and made us go right off to bed the minute we was done supper, and wouldn't tell us what the trouble was, and never let on a word about the new letter, but didn't need to, because we knowed as much about it as anybody did, and as soon as we was half up-stairs and her back was turned we slid for the cellar cupboard and loaded up a good lunch and took it up to our room and went to bed, and got up about half past eleven, and Tom put on Aunt

Sally's dress that he stole and was going to start with the lunch, but says:

"Where's the butter?"

"I laid out a hunk of it," I says, "on a piece of a cornpone."

"Well, you *left* it laid out, then—it ain't here."

"We can get along without it," I says.

"We can get along *with* it, too," he says; "just you slide down cellar and fetch it. And then mosey right down the lightning-rod and come along. I'll go and stuff the straw into Jim's clothes to represent his mother in disguise, and be ready to *ba* like a sheep and shove soon as you get there."

So out he went, and down cellar went I. The hunk of butter, big as a person's fist, was where I had left it, so I took up the slab of cornpone with it on, and blowed out my light, and started up-stairs very stealthy, and got up to the main floor all right, but here comes Aunt Sally with a candle, and I clapped the truck in my hat, and clapped my hat on my head, and the next second she see me; and she says:

"You been down cellar?"

"Yes'm."

"What you been doing down there?"

"Noth'n."

"*Noth'n!*"

"No'm."

"Well, then, what possessed you to go down there this time of night?"

"I don't know 'm."

"You don't *know*?" Don't answer me that way. Tom, I want to know what you been *doing* down there."

"I hain't been doing a single thing, Aunt Sally, I hope to gracious if I have."

I reckoned she'd let me go now, and as a general thing she would; but I s'pose there was so many strange things going on she was just in a sweat about every little thing that warn't yard-stick straight; so she says, very decided:

"You just march into that setting-room and stay there till I come. You been up to something you no business to, and I lay I'll find out what it is before I'm done with you."

So she went away as I opened the door and walked into the setting-room. My, but there was a crowd there! Fifteen farmers, and every one of them had a gun. I was most powerful sick, and slunk to a chair and set down. They was setting around, some of them talking a little, in a low voice, and all of them fidgety and uneasy, but trying to look like they warn't; but I knowed they was, because they was always taking off their hats, and putting them on, and scratching their heads, and changing their seats, and fumbling with their buttons. I warn't easy myself, but I didn't take my hat off, all the same.

I did wish Aunt Sally would come, and get done with me, and lick

me, if she wanted to, and let me get away and tell Tom how we'd overdone this thing, and what a thundering hornet's nest we'd got ourselves into, so we could stop fooling around straight off, and clear out with Jim before these rips got out of patience and come for us.

At last she come and begun to ask me questions, but I *couldn't* answer them straight, I didn't know which end of me was up; because these men was in such a fidget now that some was wanting to start right *now* and lay for them desperadoes, and saying it warn't but a few minutes to midnight; and others was trying to get them to hold on and wait for the sheep-signal; and here was Auntie pegging away at the questions, and me a-shaking all over and ready to sink down in my tracks I was that seared; and the place getting hotter and hotter, and the butter beginning to melt and run down my neck and behind my ears; and pretty soon, when one of them says, "*I'm* for going and getting in the cabin *first* and right *now*, and catching them when they come," I most dropped; and a streak of butter come a-trickling down my forehead, and Aunt Sally she see it, and turns white as a sheet, and says.

"For the land's sake, what *is* the matter with the child? He's got the brain-fever as shore as you're born, and they're oozing out! "

And everybody runs to see, and she snatches off my hat, and out comes the bread and what was left of the hutter, and she grabbed me, and hugged me, and says:

"Oh, what a turn you did give me! and how glad and grateful I am it ain't no worse; for luck's against us, and it never rains but it pours, and when I see that truck I thought we'd lost you, for I knowed by the color and all it was just like your brains would be if Dear, dear, whydn't you *tell* me that was what you'd been down there for, I wouldn't 'a' cared. Now clear out to hed, and don't lemme see no more of you till morning! "

I was up-stairs in a second, and down the lightning-rod in another one, and shinning through the dark for the lean-to. I couldn't hardly get my words out, I was so anxious; but I told Tom as quick as I could we must jump for it now, and not a minute to lose the house full of men, yonder, with guns!

His eyes just blazed; and he says:

"No! is that so? *Ain't* it hully! Why, Huck, if it was to do over again, I bet I could fetch two hundred! If we could put it off till "

"Hurry! *hurry!* " I says. "Where's Jim?"

"Right at your elbow; if you reach out your arm you can touch him. He's dressed, and everything's ready. Now we'll slide out and give the sheep-signal."

But then we heard the tramp of men coming to the door, and heard them begin to fumble with the padlock, and heard a man say:

"I *told* you we'd be too soon; they haven't come the door is locked. Here, I'll lock some of you into the cabin, and you lay for 'em in the dark and kill 'em when they come; and the rest scatter around a

piece, and listen if you can hear 'em coming."

So in they come, but couldn't see us in the dark, and most trod on us whilst we was hustling to get under the bed. But we got under all right, and out through the hole, swift but soft Jim first, me next and Tom last, which was according to Tom's orders. Now we was in the lean-to, and heard trappings close by outside. So we crept to the door, and Tom stopped us there and put his eye to the crack, but couldn't make out nothing, it was so dark; and whispered and said he would listen for the steps to get further, and when he nudged us Jim must glide out first, and him last. So he set his ear to the crack and listened, and listened, and listened, and the steps a-scraping around out there all the time; and at last he nudged us, and we slid out, and stooped down, not breathing, and not making the least noise, and slipped stealthy towards the fence in Injun file, and got to it all right, and me and Jim over it; but Tom's britches caught fast on a splinter on the top rail, and then he hear the steps coming. so he had to pull loose, which snapped the splinter and made a noise. and as he dropped in our tracks and started somebody sings out:

"Who's that? Answer, or I'll shoot! "

But we didn't answer, we just unfurled our heels and shoved. Then there was a rush, and a *bang, bang, bang!* and the bullets fairly whizzed around us! We heard them sing out:

"Here they are! They've broke for the river! After 'em, boys, and turn loose the dogs! "

So here they come, full tilt. We could hear them because they wore boots and yelled, but we didn't wear no boots and didn't yell. We was in the path to the mill; and when they got pretty close onto us we dodged into the bush and let them go by, and then dropped in behind them. They'd had all the dogs shut up, so they wouldn't scare off the robbers; but by this time somebody had let them loose, and here they come, making powwow enough for a million; but they was our dogs; so we stopped in our tracks till they catched up; and when they see it warn't nobody but us, and no excitement to offer them, they only just said howdy, and tore right ahead towards the shouting and clattering; and then we up-steam again, and whizzed along after them till we was nearly to the mill, and then struck up through the bush to where my canoe was tied, and hopped in and pulled for dear life towards the middle of the river, but didn't make no more noise than we was obleeged to. Then we struck out, easy and comfortable, for the island where my raft was; and we could hear them yelling and barking at each other all up and down the bank, till we was so far away the sounds got dim and died out. And when we stepped onto the raft I says:

"Now, old Jim, you're a free man *again*, and I bet you won't ever be a slave no more."

"En a mighty good job it wuz, too, I luck. It 'uz planned beautiful, en it 'uz *done* beautiful; en dey ain't *nobody* kin git up a plan dat's mo' mixed up en splendid den what dat one wuz."

We was all glad as we could be, but Tom was the gladdest of all because he had a bullet in the calf of his leg.

When me and Jim heard that we didn't feel as brash as what we did before. It was hurting him considerable, and bleeding; so we laid him in the wigwam and tore up one of the duke's shirts for to bandage him, but he says:

"Gimme the rags; I can do it myself. Don't stop now; don't fool around here, and the evasion booming along so handsome; man the sweeps, and set her loose! Boys, we done it elegant! —'deed we did. I wish we'd 'a' had the handling of Louis XVI., there wouldn't 'a' been no 'Son of Saint Louis, ascend to heaven!' wrote down in *his* biography; no, sir, we'd 'a' whooped him over the *border*—that's what we'd 'a' done with *him*—and done it just as slick as nothing at all, too. Man the sweeps—man the sweeps!"

But me and Jim was consulting—and thinking. And after we'd thought a minute, I says:

"Say it, Jim."

So he says:

"Well, den, dis is de way it look to me, Huck. Ef it wuz *him* dat 'uz bein' sot free, en one er de boys wuz to git shot, would he say, 'Go on en save me, nemmine 'bout a doctor f'r to save dis one'? Is dat like Mars Tom Sawyer? Would he say dat? You *bet* he wouldn't! Well, den, is *Jim* gwyne to say it? No, sah—I doan' budge a step out'n dis place 'dout a *doctor*; not if it's forty year!"

I knowed he was white inside, and I reckoned he'd say what he did say—so it was all right now, and I told Tom I was a-going for a doctor. He raised considerable row about it, but me and Jim stuck to it and wouldn't budge; so he was for crawling out and setting the raft loose himself; but we wouldn't let him. Then he give us a piece of his mind, but it didn't do no good.

So when he sees me getting the canoe ready, he says:

"Well, then, if you're bound to go, I'll tell you the way to do when you get to the village. Shut the door and blindfold the doctor tight and fast, and make him swear to be silent as the grave, and put a purse full of gold in his hand, and then take and lead him all around the back alleys and everywheres in the dark, and then fetch him here in the canoe, in a roundabout way amongst the islands, and search him and take his chalk away from him, and don't give it back to him till you get him back to the village, or else he will chalk this raft so he can find it again. It's the way they all do."

So I said I would, and left, and Jim was to hide in the woods when he see the doctor coming till he was gone again.

CHAPTER XLI

The doctor was an old man; a very nice, kind-looking old man when I got him up. I told him me and my brother was over on Span-

ish Island hunting yesterday afternoon, and camped on a piece of a raft we found, and about midnight he must 'a' kicked his gun in his dreams, for it went off and shot him in the leg, and we wanted him to go over there and fix it and not say nothing about it, nor let anybody know, because we wanted to come home this evening and surprise the folks.

"Who is your folks?" he says.

"The Phelps, down yonder."

"Oh," he says. And after a minute, he says:

"How'd you say he got shot?"

"He had a dream," I says, "and it shot him."

"Singular dream," he says.

So he lit up his lantern, and got his saddle-bag, and we started. But when he see the canoe he didn't like the look of her—said she was big enough for one, but didn't look pretty safe for two. I says:

"Oh, you needn't be afeard, sir, she carried the three of us easy enough."

"What three?"

"Why, me and Sid, and—and—and *the guns*; that's what I mean."

"Oh," he says.

But he put his foot on the gunnel and rocked her, and shook his head, and said he reckoned he'd look around for a bigger one. But they was all locked and chained; so he took my canoe, and said for me to wait till he come back, or I could hunt around further, or maybe I better go down home and get them ready for the surprise if I wanted to. But I said I didn't; so I told him just how to find the raft, and then he started.

I struck an idea pretty soon. I says to myself, spos'n he can't fix that leg just in three shakes of a sheep's tail, as the saying is? spos'n it takes him three or four days? What are we going to do?—lay around there till he lets the cat out of the bag? No, sir; I know what I'll do. I'll wait, and when he comes back if he says he's got to go any more I'll get down there, too, if I swim; and we'll take and tie him, and keep him, and shove out down the river; and when Tom's done with him we'll give him what it's worth, or all we got, and then let him get ashore.

So then I crept into a lumber-pile to get some sleep; and next time I waked up the sun was away up over my head! I shot out and went for the doctor's house, but they told me he'd gone away in the night some time or other, and warn't back yet. Well, thinks I, that looks powerful bad for Tom, and I'll dig out for the island right off. So away I shoved, and turned the corner, and nearly rammed my head into Uncle Silas's stomach! He says:

"Why, Tom! Where you been all this time, you rascal?"

"I hain't been nowhere," I says, "only just hunting for the runaway nigger me and Sid."

"Why, where ever did you go?" he says. "Your aunt's been mighty uneasy."

"She needn't," I says, "because we was all right. We followed the men and the dogs, but they outrun us, and we lost them; but we thought we heard them on the water, so we got a canoe and took out after them and crossed over, but couldn't find nothing of them; so we cruised along up-shore till we got kind of tired and beat out; and tied up the canoe and went to sleep, and never waked up till about an hour ago; then we paddled over here to hear the news, and Sid's at the post-office to see what he can hear, and I'm a-branching out to get something to eat for us, and then we're going home."

So then we went to the post-office to get "Sid"; but just as I suspicioned, he warn't there; so the old man he got a letter out of the office, and we waited awhile longer, but Sid didn't come; so the old man said, come along, let Sid foot it home, or canoe it, when he got done fooling around—but we would ride. I couldn't get him to let me stay and wait for Sid; and he said there warn't no use in it, and I must come along, and let Aunt Sally see we was all right.

When we got home Aunt Sally was that glad to see me she laughed and cried both, and hugged me, and give me one of them lickings of hern that don't amount to shucks, and said she'd serve Sid the same when he come.

And the place was plums full of farmers and farmers' wives, to dinner; and such another clack a body never heard. Old Mrs. Hotchkiss was the worst; her tongue was a-going all the time. She says:

"Well, Sister Phelps, I've ransacked that-air cabin over, an' I b'lieve the nigger was crazy. I says to Sister Damrell—didn't I, Sister Damrell?—s' I, he's crazy, s' I—them's the very words I said. You all hearn me: he's crazy, s' I; everything shows it, s' I. Look at that-air grindstone, s' I; want to tell *me't* any cretur 't's in his right mind 's a-goin' to scrabble all them crazy things onto a grindstone? s' I. Here sich 'n sich a person busted his heart; 'n here so 'n so pegged along for thirty-seven year, 'n all that—natcher! son o' Louis somebody, 'n sich everlast'n rubbish. He's plumb crazy, s' I; it's what I says in the fust place, it's what I says in the middle, 'n it's what I says last 'n all the time—the nigger's crazy—crazy 's Nebokoodneezer, s' I."

"An' look at that-air ladder made out'n rags, Sister Hotchkiss," says old Mrs. Damrell; "what in the name o' goodness *could* he ever want of—"

"The very words I was a-sayin' no longer ago th'n this minute to Sister Utterback, 'n she'll tell you so herself. Sh-she, look at that-air rag ladder, sh-she; 'n s' I, yes *look* at it, s' I—what *could* he 'a' wanted of it? s' I. Sh-she, Sister Hotchkiss, sh-she—"

"But how in the nation'd they ever *git* that grindstone *in* there, anyway? 'n who dug that-air *hole*? 'n who—"

"My very words, Brer Penrod! I was a-sayin'—pass that-air sasser o' m'lasses, won't ye?—I was a-sayin' to Sister Dunlap, jist this minute, how *did* they git that grindstone in there? s' I. Without *help*, mind you—'thout *help*! *Thar's* where 'tis. Don't tell *me*, s' I; there wuz

help, s' l; 'n' wuz a plenty help, too, s' l; there's ben a *dozen* a-helpin' that nigger, 'n' I lay I'd skin every-last nigger on this place but I'd find out who done it, s' l; 'n' moreover, s' l "

"A *dozen* says you! -*forty* couldn't 'a' done everything that's been done. Look at them case-knife saws and things, how tedious they've ben made; look at that bed-leg sawed off with 'm, a week's work for six men: look at that nigger made out 'n straw on the bed; and look at -"

"You may *well* say it, Brer Hightower! It's jist as I was a-sayin' to Brer Phelps, his own self. S'e, what do *you* think of it, Sister Hotchkiss? s'e. Think o' what, Brer Phelps? s' l. Think o' that bed-leg sawed off that a way? s'e. *Think* of it? s' l. I lay it never sawed *itself* off, s' l -somebody *sawed* it, s' l; that's my opinion, take it or leave it, it mayn't be no 'count, s' l, but sich as 't is, it's my opinion, s' l, 'n' if anybody k'n start a better one, s' l, let him *do* it, s' l, that's all. I says to Sister Dunlap, s' l "

"Why, dog my cats, they must 'a' ben a house-full o' niggers in there every night for four weeks to 'a' done all that work, Sister Phelps. Look at that shirt—every last inch of it kivered over with secret African writ'n done with blood! Must 'a' ben a raft uv 'm at it right along, all the time, amost. Why, I'd give two dollars to have it read to me; 'n' as for the niggers that wrote it, I 'low I'd take 'n' lash 'm t'll—"

"People to *help* him, Brother Marples! Well, I reckon you'd *think* so if you'd 'a' been in this house for a while back. Why, they've stole everything they could lay their hands on—and we a-watching all the time, mind you. They stole that shirt right off o' the line! and as for that sheet they made the rag ladder out of, ther' ain't no telling how many times they *didn't* steal that; and flour, and candles, and candle-sticks, and spoons, and the old warming-pan and most a thousand things that I disremember now, and my new calico dress; and me and Silas and my Sid and Tom on the constant watch day *and* night, as I was a-telling you, and not a one of us could catch hide nor hair nor sight nor sound of them; and here at the last minute, lo and behold you, they slides right in under our noses and fools us, and not only fools *us* but the Injun Territory robbers too, and actuly gets *away* with that nigger safe and sound, and that with sixteen men and twenty-two dogs right on their very heels at that very time! I tell you, it just bangs anything I ever *heard* of. Why, *sperits* couldn't 'a' done better and been no smarter. And I reckon they must 'a' *been* sperits—because, *you* know our dogs, and ther' ain't no better; well, them dogs never even got on the *track* of 'm once! You explain *that* to me if you can! -*any* of you! "

"Well, it does beat—"

"Laws alive, I never—"

"So help me, I wouldn't 'a' be—"

"*House-thieves* as well as—"

"Goodnessgracioussakes, I'd 'a' ben afeard to *live* in sich a—"

"Fraid to *live*! —why, I was that scared I dasn't hardly go to bed, or get up, or lay down, or *set* down, Sister Ridgeway. Why, they'd steal the very—why goodness sakes, you can guess what kind of a fluster *I* was in by the time midnight come last night. I hope to gracious if I warn't afraid they'd steal some o' the family! I was just to that pass I didn't have no reasoning faculties no more. It looks foolish enough *now*, in the daytime; but I says to myself, there's my two poor boys asleep, 'way up-stairs in that lonesome room, and I declare to goodness I was that uneasy 't I crep' up there and locked 'em in! I *did*. And anybody would. Because, you know, when you get scared that way, and it keeps running on, and getting worse and worse all the time, and your wits gets to addling, and you get to doing all sorts o' wild things, and by and by you think to yourself, spos'n *I* was a boy, and was away up, there, and the door ain't locked, and you—" She stopped, looking kind of wondering, and then she turned her head around slow, and when her eye lit on me—I got up and took a walk.

Says I to myself, I can explain better how we come to not be in that room this morning if I go out to one side and study over it a little. So I done it. But I dasn't go fur, or she'd 'a' sent for me. And when it was late in the day the people all went, and then I come in and told her the noise and shooting waked up me and "Sid," and the door was locked, and we wanted to see the fun, so we went down the lightning-rod, and both of us got hurt a little, and we didn't never want to try *that* no more. And then I went on and told her all what I told Uncle Silas before; and then she said she'd forgive us, and maybe it was all right enough anyway, and about what a body might expect of boys, for all boys was a pretty harum-scarum lot as fur as she could see; and so, as long as no harm hadn't come of it, she judged she better put in her time being grateful we was alive and well and she had us still, stead of fretting over what was past and done. So then she kissed me, and patted me on the head, and dropped into a kind of a brown-study; and pretty soon jumps up, and says:

"Why, lawsamercy, it's most night, and Sid not come yet! What *has* become of that boy?"

"I see my chance; so I skips up and says:

"I'll run right up to town and get him," I says.

"No you won't," she says. "You'll stay right wher' you are; *one's* enough to be lost at a time. If he ain't here to supper, your uncle 'll go."

Well, he warn't there to supper, so right after supper uncle went.

He come back about ten a little bit uneasy; hadn't run across Tom's track. Aunt Sally was a good *deal* uneasy; but Uncle Silas he said there warn't no occasion to be—boys will be boys, he said, and you'll see this one turn up in the morning all sound and right. So she had to be satisfied. But she said she'd set up for him awhile anyway, and

keep a light burning so he could see it.

And then when I went up to bed she come up with me and fetched her candle, and tucked me in, and mothered me so good I felt mean, and like I couldn't look her in the face; and she set down on the bed and talked with me a long time, and said what a splendid boy Sid was, and didn't seem to want to ever stop talking about him; and kept asking me every now and then if I reckoned he could 'a' got lost, or hurt, or maybe drowned, and might be laying at this minute somewheres suffering or dead, and she not by him to help him, and so the tears would drip down silent, and I would tell her that Sid was all right, and would be home in the morning, sure; and she would squeeze my hand, or maybe kiss me, and tell me to say it again, and keep on saying it, because it done her good, and she was in so much trouble. And when she was going away she looked down in my eyes so steady and gentle, and says:

"The door ain't going to be locked, Tom, and there's the window and the rod; but you'll be good, *won't* you? And you won't go? For *my* sake."

Laws knows, I *wanted* to go bad enough to see about Tom, and was all intending to go; but after that I wouldn't 'a' went, not for kingdoms.

But she was on my mind and Tom was on my mind, so I slept very restless. And twice I went down the rod away in the night, and slipped around front, and see her setting there by her candle in the window with her eyes towards the road and the tears in them; and I wished I could do something for her, but I couldn't, only to swear that I wouldn't never do nothing to grieve her any more. And the third time I waked up at dawn, and slid down, and she was there yet, and her candle was most out, and her old gray head was resting on her hand, and she was asleep.

CHAPTER XLII

The old man was up-town again before breakfast, but couldn't get no track of Tom; and both of them set at the table thinking, and not saying nothing, and looking mournful, and their coffee getting cold, and not eating anything. And by and by the old man says:

"Did I give you the letter?"

"What letter?"

"The one I got yesterday out of the post-office."

"No, you didn't give me no letter."

"Well, I must 'a' forgot it."

So he rummaged his pockets, and then went off somewheres, where he had laid it down, and fetched it, and give it to her. She says:

"Why, it's from St. Petersburg—it's from Sis."

I allowed another walk would do me good; but I couldn't stir.

But before she could break it open she dropped it and run—for she see something. And so did I. It was Tom Sawyer on a mattress; and that old doctor; and Jim, in *her* calico dress, with his hands tied behind him; and a lot of people. I hid the letter behind the first thing that come handy, and rushed. She flung herself at Tom, crying, and says:

“Oh, he’s dead, he’s dead, I know he’s dead! ”

And Tom he turned his head a little, and muttered something or other, which showed he warn’t in his right mind; then she flung up her hands, and says:

“He’s alive, thank God! And that’s enough! ” and she snatched a kiss of him, and flew for the house to get the bed ready, and scattering orders right and left at the niggers and everybody else, as fast as her tongue could go, every jump of the way.

I followed the men to see what they was going to do with Jim; and the old doctor and Uncle Silas followed after Tom into the house. The men was very huffy, and some of them wanted to hang Jim for an example to all the other niggers around there, so they wouldn’t be trying to run away like Jim done, and making such a raft of trouble, and keeping a whole family scared most to death for days and nights. But the others said, don’t do it, it wouldn’t answer at all; he ain’t our nigger, and his owner would turn up and make us pay for him, sure. So that cooled them down a little, because the people that’s always the most anxious for to hang a nigger that hain’t done just right is always the very ones that ain’t the most anxious to pay for him when they’ve got their satisfaction out of him.

They cussed Jim considerable, though, and give him a cuff or two side the head once in a while, but Jim never said nothing, and he never let on to know me, and they took him to the same cabin, and put his own clothes on him, and chained him again, and not to no bed-leg this time, but to a big staple drove into the bottom log, and chained his hands, too, and both legs, and said he warn’t to have nothing but bread and water to eat after this till his owner come, or he was sold at auction because he didn’t come in a certain length of time, and filled up our hole, and said a couple of farmers with guns must stand watch around about the cabin every night, and a bulldog tied to the door in the daytime; and about this time they was through with the job and was tapering off with a kind of general good-by cussing, and then the old doctor comes and takes a look, and says:

“Don’t be no rougher on him than you’re obleeged to, because he ain’t a bad nigger. When I got to where I found the boy I see I couldn’t cut the bullet out without some help, and he warn’t in no condition for me to leave to go and get help; and he got a little worse and a little worse, and after a long time he went out of his head, and wouldn’t let me come a-nigh him any more, and said if I chalked his raft he’d kill me, and no end of wild foolishness like that, and I see I couldn’t do anything at all with him; so I says, I got to have *help*

somehow; and the minute I says it out crawls this nigger from somewhere and says he'll help, and he done it, too, and done it very well. Of course I judged he must be a runaway nigger, and there I *was!* and there I had to stick right straight along all the rest of the day and all night. It was a fix, I tell you! I had a couple of patients with the chills, and of course I'd of liked to run up to town and see them, but I dasn't, because the nigger might get away, and then I'd be to blame; and yet never a skiff come close enough for me to hail. So there I had to stick plumb until daylight this morning; and I never see a nigger that was a better nuss or faithfuler, and yet he was risking his freedom to do it, and was all tired out, too, and I see plain enough he'd been worked main hard lately. I liked the nigger for that; I tell you, gentlemen, a nigger like that is worth a thousand dollars—and kind treatment, too. I had everything I needed, and the boy was doing as well there as he would 'a' done at home—better, maybe, because it was so quiet; but there I *was*, with both of 'm on my hands, and there I had to stick till about dawn this morning; then some men in a skiff come by, and as good luck would have it the nigger was setting by the pallet with his head propped on his knees sound asleep; so I motioned them in quiet, and they slipped up on him and grabbed him and tied him before he knowed what he was about, and we never had no trouble. And the boy being in a kind of a flighty sleep, too, we muffled the oars and hitched the raft on, and towed her over very nice and quiet, and the nigger never made the least row nor said a word from the start. He ain't no bad nigger, gentlemen; that's what I think about him."

Somebody says:

"Well, it sounds very good, doctor, I'm obleeged to say."

Then the others softened up a little, too, and I was mighty thankful to that old doctor for doing Jim that good turn; and I was glad it was according to my judgment of him, too; because I thought he had a good heart in him and was a good man the first time I see him. Then they all agreed that Jim had acted very well, and was deserving to have some notice took of it, and reward. So every one of them promised, right out and hearty, that they wouldn't cuss him no more.

Then they come out and locked him up. I hoped they was going to say he could have one or two of the chains took off, because they was rotten heavy, or could have meat and greens with his bread and water; but they didn't think of it, and I reckoned it warn't best for me to mix in, but I judged I'd get the doctor's yarn to Aunt Sally somehow or other as soon as I'd got through the breakers that was laying just ahead of me—explanations, I mean, of how I forgot to mention about Sid being shot when I was telling how him and me put in that dratted night paddling around hunting the runaway nigger.

But I had plenty time. Aunt Sally she stuck to the sick-room all day and all night, and every time I see Uncle Silas mooning around I dogged him.

Next morning I heard Tom was a good deal better, and they said

Aunt Sally was gone to get a nap. So I slips to the sick-room, and if I found him awake I reckoned we could put up a yarn for the family that would wash. But he was sleeping, and sleeping very peaceful, too; and pale, not fire-faced the way he was when he come. So I set down and laid for him to wake. In about half an hour Aunt Sally comes gliding in, and there I was, up a stump again! She motioned me to be still, and set down by me, and begun to whisper, and said we could all be joyful now, because all the symptoms was first-rate, and he'd been sleeping like that for ever so long, and looking better and peacefuller all the time, and ten to one he'd wake up in his right mind.

So we set there watching, and by and by he stirs a bit, and opened his eyes very natural, and takes a look, and says:

"Hello! —why, I'm at *home*! How's that! Where's the raft?"

"It's all right," I says.

"And *Jim*?"

"The same," I says, but couldn't say it pretty brash. But he never noticed, but says:

"Good! Splendid! *Now* we're all right and safe! Did you tell Aunt?"

I was going to say yes; but she chipped in and says:

"About what, Sid?"

"Why, about the way the whole thing was done."

"What whole thing?"

"Why, *the* whole thing. There ain't but one; how we set the runaway nigger free—me and Tom."

"Good land! Set the run—What *is* the child talking about! Dear, dear, out of his head again!"

"*No*, I ain't out of my HEAD; I know all what I'm talking about. We *did* set him free—me and Tom. We laid out to do it, and we *done* it. And we done it elegant, too." He'd got a start, and she never checked him up, just set and stared and stared, and let him clip along, and I see it warn't no use for *me* to put in. "Why, Aunt, it cost us a power of work—weeks of it—hours and hours, every night; whilst you was all asleep. And we had to steal candles, and the sheet, and the shirt, and your dress, and spoons, and tin plates, and case-knives, and the warming-pan, and the grindstone, and flour, and just no end of things, and you can't think what work it was to make the saws, and pens, and inscriptions, and one thing or another, and you can't think *half* the fun it was. And we had to make up the pictures of coffins and things, and nonnamous letters from the robbers, and get up and down the lightning-rod, and dig the hole into the cabin, and make the rope ladder and send it in cooked up in a pie, and send in spoons and things to work with in your apron pocket—".

"Mercy sakes! "

"—and load up the cabin with rats and snakes and so on, for company for Jim; and then you kept Tom here so long with the butter in his hat that you come near spiling the whole business, because the

men come before we was out of the cabin, and we had to rush, and they heard us and let drive at us, and I got my share, and we dodged out of the path and let them go by, and when the dogs come they warn't interested in us, but went for the most noise, and we got our canoe, and made for the raft, and was all safe, and Jim was a free man, and we done it all by ourselves, and *wasn't* it bully, Auntie! "

"Well, I never heard the likes of it in all my born days! So it was *you*, you little rascallions, that's been making all this trouble, and turned everybody's wits clean inside out and scared us all most to death. I've as good a notion as ever I had in my life to take it out o' you this very minute. To think, here I've been, night after night, a—*you* just get well once, you young scamp, and I lay I'll tan the Old Harry out o' both o' ye! "

But Tom, he *was* so proud and joyful, he just *couldn't* hold in, and his tongue just *went* it—she a-chipping in, and spitting fire all along, and both of them going it at once, like a cat convention; and she says:

"*Well*, you get all the enjoyment you can out of it *now*, for mind I tell you if I catch you meddling with him again—"

"Meddling with *who*?" Tom says, dropping his smile and looking surprised.

"With *who*? Why, the runaway nigger, of course. Who'd you reckon?"

Tom looks at me very grave, and says:

"Tom, didn't you just tell me he was all right? Hasn't he got away?"

"*Him*?" says Aunt Sally; "the runaway nigger? 'Deed he hasn't. They've got him back, safe and sound, and he's in that cabin again, on bread and water, and loaded down with chains, till he's claimed or sold! "

Tom rose square up in bed, with his eye hot, and his nostrils opening and shutting like gills, and sings out to me:

"They hain't no *right* to shut him up! *Shove!* —and don't you lose a minute. Turn him loose! he ain't no slave; he's as free as any cretur that walks this earth! "

"What *does* the child mean?"

"I mean every word I *say*, Aunt Sally, and if somebody don't go, *I'll* go. I've knowed him all his life, and so has Tom, there. Old Miss Watson died two months ago, and she was ashamed she ever was going to sell him down the river, and *said* so; and she set him free in her will."

"Then what on earth did *you* want to set him free for, seeing he was already free?"

"Well, that *is* a question, I must say; and *just* like women! Why, I wanted the *adventure* of it; and I'd 'a' waded neck-deep in blood to—goodness alive, AUNT POLLY! "

If she warn't standing right there, just inside the door, looking as sweet and contented as an angel half full of pie, I wish I may never!

Aunt Sally jumped for her, and most hugged the head off of her,

and cried over her, and I found a good enough place for me under the bed, for it was getting pretty sultry for *us*, seemed to me. And I peeped out, and in a little while Tom's Aunt Polly shook herself loose and stood there looking across at Tom over her spectacles—kind of grinding him into the earth, you know. And then she says:

"Yes, you *better* turn y'r head away—I would if I was you, Tom."

"Oh, deary me!" says Aunt Sally; "*is* he changed so? Why, that ain't *Tom*, it's Sid; Tom's—Tom's—why, where is Tom? He was here a minute ago."

"You mean where's *Huck Finn*—that's what you mean! I reckon I hain't raised such a scamp as my Tom all these years not to know him when I see him. That *would* be a pretty howdy-do. Come out from under that bed, *Huck Finn*."

So I done it. But not feeling brash.

Aunt Sally she was one of the mixed-upset-looking persons I ever see—except one, and that was Uncle Silas, when he come in and they told it all to him. It kind of made him drunk, as you may say, and he didn't know nothing at all the rest of the day, and preached a prayer-meeting sermon that night that gave him a rattling reputation, because the oldest man in the world couldn't 'a' understood it. So Tom's Aunt Polly, she told all about who I was, and what; and I had to up and tell how I was in such a tight place that when Mrs. Phelps took me for Tom Sawyer—she chipped in and says, "Oh, go on and call me Aunt Sally, I'm used to it now, and 'taint no need to change"—that when Aunt Sally took me for Tom Sawyer I had to stand it—there warn't no other way, and I knowed he wouldn't mind, because it would be nuts for him, being a mystery, and he'd make an adventure out of it, and be perfectly satisfied. And so it turned out, and he let on to be Sid, and made things as soft as he could for me.

And his Aunt Polly she said Tom was right about old Miss Watson setting Jim free in her will; and so, sure enough, Tom Sawyer had gone and took all that trouble and bother to set a free nigger free! and I couldn't ever understand before, until that minute and that talk, how he *could* help a body set a nigger free with his bringing-up.

Well, Aunt Polly she said that when Aunt Sally wrote to her that Tom and *Sid* had come all right and safe, she says to herself:

"Look at that, now! I might have expected it, letting him go off that way without anybody to watch him. So now I got to go and trapse all the way down the river, eleven hundred mile, and find out what that creetur's up to *this* time, as long as I couldn't seem to get any answer out of you about it."

"Why, I never heard nothing from you," says Aunt Sally.

"Well, I wonder! Why, I wrote you twice to ask you what you could mean by Sid being here."

"Well, I never got 'em, Sis."

Aunt Polly she turns around slow and severe, and says:

"You, Tom?"

"Well—*what?*?" he says, kind of pettish.

"Don't you what *me*, you impudent thing—hand out them letters."

"What letters?"

"*Them* letters. I be bound, if I have to take a-holt of you I'll—"

"They're in the trunk. There, now. And they're just the same as they was when I got them out of the office. I hain't looked into them, I hain't touched them. But I knowed they'd make trouble, and I thought if you warn't in no hurry, I'd—"

"Well, you *do* need skinning, there ain't no mistake about it. And I wrote another one to tell you I was coming; and I s'pose he—"

"No, it come yesterday; I hain't read it yet, but *it's* all right, I've got that one."

I wanted to offer to bet two dollars she hadn't, but I reckoned maybe it was just as safe to not to. So I never said nothing.

CHAPTER THE LAST

The first time I caught Tom private I asked him what was his idea, time of the evasion?—what it was he'd planned to do if the evasion worked all right and he managed to set a nigger free that was already free before? And he said, what he had planned in his head from the start, if we got Jim out all safe, was for us to run him down the river on the raft, and have adventures plumb to the mouth of the river, and then tell him about his being free, and take him back up home on a steamboat, in style, and pay him for his lost time, and write word ahead and get out all the niggers around, and have them waltz him into town with a torchlight procession and a brass-band, and then he would be a hero, and so would we. But I reckoned it was about as well the way it was.

We had Jim out of the chains in no time, and when Aunt Polly and Uncle Silas and Aunt Sally found out how good he helped the doctor nurse Tom, they made a heap of fuss over him, and fixed him up prime, and give him all he wanted to eat, and a good time, and nothing to do. And we had him up to the sick-room, and had a high talk; and Tom give Jim forty dollars for being prisoner for us so patient, and doing it up so good, and Jim was pleased most to death, and busted out, and says:

"*Dah*, now, Huck, what I tell you?—what I tell you up dah on Jackson Islan? I *tole* you I got a hairy breas', en what's de sign un it; en I *tole* you I ben rich wunst, en gwineter to be rich *ag'in*; en it's come true; en heah she *is!* *Dah*, now! doan' talk to *me*—signs is *signs*, mine I tell you; en I knowed jis' 's well 'at I 'uz gwineter be rich *ag'in* as I's a-stannin' heah dis minute! "

And then Tom he talked along and talked along, and says, le's all three slide out of here one of these nights and get an outfit, and go for howling adventures amongst the Injuns, over in the territory, for a

couple of weeks or two; and I says, all right, that suits me, but I ain't got no money for to buy the outfit, and I reckon I couldn't get none from home, because it's likely pap's been back before now, and got it all away from Judge Thatcher and drunk it up.

"No, he hain't," Tom says; "it's all there yet—six thousand dollars and more; and your pap hain't ever been back since. Hadn't when I come away, anyhow."

Jim says, kind of solemn:

"He ain't a-comin' back no mo', Huck."

I says:

"Why, Jim?"

"Nemmine why, Huck—but he ain't comin' back no mo'."

But I kept at him; so at last he says:

"Doan' you 'member de house dat was float'n down de river, en dey wuz a man in dah, kivered up, en I went in en unkivered him and didn't let you come in? Well, den, you kin git yo' money when you wants it, kase dat wuz him."

Tom's most well now, and got his bullet around his neck on a watch-guard for a watch, and is always seeing what time it is, and so there ain't nothing more to write about, and I am rotten glad of it, because if I'd 'a' knowed what a trouble it was to make a book I wouldn't 'a' tackled it, and ain't a-going to no more. But I reckon I got to light out for the Territory ahead of the rest, because Aunt Sally she's going to adopt me and sivilize me, and I can't stand it. I been there before.

The End

CRITICISM

Публикуемая подборка является первой в советском литературоведении попыткой дать в исторической перспективе свод критических воззрений на один из шедевров американской и мировой литературы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твеина. Задача подборки — показать эволюцию восприятия романа в США и Англии (и косвенно всего творчества писателя), продемонстрировать с преимущественным вниманием к передовой материалистической критике различные точки зрения на роман и столкновение методологий. Публикуемые материалы призваны помочь читателю совместить опыт конкретного критического анализа с осмыслением историко-литературной полемики вокруг романа.

В подборку включены только работы американских и английских авторов в хронологическом порядке за период 1884—1970 гг. Среди отобранного материала — рецензии в периодике, напечатанные сразу по выходе романа, статьи в связи с его переизданием, развернутые высказывания известных писателей, извлечения из фундаментальных исследований по истории американской литературы и т. п. Большинство материалов приводится в сокращении.

Подборка сопровождается историко-литературным и методологическим комментарием, который является необходимым дополнением к вступительной статье.

При отборе текстов использовались как оригинальные издания, так и следующие сборники: *Mark Twain. Selected Criticism*. Ed. by Arthur L. Scott. Dallas, 1951; *Mark Twain. A Collection of Critical Essays*. Ed. by Henry Nash Smith, New York, 1961; Samuel L. Clemens. *The Adventures of Huckleberry Finn. The Annotated Text, Background and Sources. Essays in Criticism*. Ed. by Sculley Bradley and Richmond C. Beatty. New York, 1961; *Mark Twain. The Critical Heritage*. Ed. by Frederick Anderson and Kenneth M. Sanderson. London, 1971.

1884

UNSIGNED REVIEW

For some time past Mr. Clemens has been carried away by the ambition of seriousness and fine writing. In *Huckleberry Finn* he returns to his right mind, and is again the Mark Twain of old time. It is such a book as he, and he only, could have written. It is meant for boys; but there are few men (we should hope) who, once they take it up, will not delight in it. It forms a companion or sequel, to *Tom Sawyer*. *Huckleberry Finn*, as everybody knows, is one of Tom's closest friends; and the present volume is a record of the adventures which befell him soon after the event which made him a person of property and brought Tom Sawyer's story to a becoming conclusion. They are of the most surprising and delightful kind imaginable, and in the course of them we fall in with a number of types of character of singular freshness and novelty, besides being schooled in half a dozen extraordinary dialects—the Pike County dialect in all its forms, the dialect of the Missouri negro, and “the extremest form of the backwoods South-Western dialect,” to wit. *Huckleberry*, it may be noted, is stolen by his disreputable father, to escape from whom he contrives an appearance of robbery and murder in the paternal hut, goes off in a canoe, watches from afar the townsfolk hunting for his dead body, and encounters a runaway negro—Miss Watson's Jim—an old particular friend of Tom Sawyer and himself. With Jim he goes south down the river, and is the hero of such scrapes and experiences as make your mouth water (if you have ever been a boy) to read of them. We do not purpose to tell a single one; it would be unfair to author and reader alike. We shall content ourselves with repeating that the book is Mark Twain at his best, and remarking that Jim and *Huckleberry* are real creations, and the worthy peers of the illustrious Tom Sawyer.

(*Athenaeum*, 1884, December 27)

1885

BRANDER MATTHEWS

[...] *Huckleberry Finn* is not an attempt to do *Tom Sawyer* over again. It is a story quite as unlike its predecessor as it is like. Although Huck Finn appeared first in the earlier book, and although Tom

Sawyer reappears in the later, the scenes and the characters are otherwise wholly different. Above all, the atmosphere of the story is different. *Tom Sawyer* was a tale of boyish adventure in a village in Missouri, on the Mississippi river, and it was told by the author. *Huckleberry Finn* is autobiographic; it is a tale of boyish adventure along the Mississippi river told as it appeared to Huck Finn. There is not in *Huckleberry Finn* any one scene quite as funny as those in which Tom Sawyer gets his friends to whitewash the fence for him, and then uses the spoils thereby acquired to attain the highest situation of the Sunday school the next morning. Nor is there any distinction quite as thrilling as that awful moment in the cave when the boy and the girl are lost in the darkness, and when Tom Sawyer suddenly sees a human hand bearing a light, and then finds that the hand is the hand of Indian Joe, his one mortal enemy; we have always thought that the vision of the hand in the cave in *Tom Sawyer* is one of the very finest things in the literature of adventure since Robinson Crusoe first saw a single footprint in the sand of the seashore. But though *Huckleberry Finn* may not quite reach these two highest points of *Tom Sawyer*, we incline to the opinion that the general level of the later story is perhaps higher than that of the earlier. For one thing, the skill with which the character of Huck Finn is maintained is marvellous. We see everything through his eyes—and they are his eyes and not a pair of Mark Twain's spectacles. And the comments on what he sees are his comments—the comments of an ignorant, superstitious, sharp, healthy boy, brought up as Huck Finn had been brought up; they are not speeches put into his mouth by the author. One of the most artistic things in the book—and that Mark Twain is a literary artist of a very high order all who have considered his later writings critically cannot but confess—one of the most artistic things in *Huckleberry Finn* is the sober self-restraint with which Mr. Clemens lets Huck Finn set down, without any comment at all, scenes which would have afforded the ordinary writer matter for endless moral and political and sociological disquisition. We refer particularly to the account of the Grangerford-Shepherdson feud, and of the shooting of Boggs by Colonel Sherburn. Here are two incidents of the rough old life of the South-Western States, and of the Mississippi Valley forty or fifty years ago, of the old life which is now rapidly passing away under the influence of advancing civilization and increasing commercial prosperity, but which has not wholly disappeared even yet, although a slow revolution in public sentiment is taking place. The Grangerford-Shepherdson feud is a vendetta as deadly as any Corsican could wish, yet the parties to it were honest, brave, sincere, good Christian people, probably people of deep religious sentiment. Not the less we see them taking their guns to church, and, when occasion serves, joining in what is little better than a general massacre. The killing of Boggs by Colonel Sherburn is told with equal sobriety and truth; and the later scene in which Colonel Sherburn crows and lashes the mob which has set out to lynch him is

one of the most vigorous bits of writing Mark Twain has done.

In *Tom Sawyer* we saw Huckleberry Finn from the outside; in the present volume we see him from the inside. He is almost as much a delight to any one who has been a boy as was Tom Sawyer. But only he or she who has been a boy can truly enjoy this record of his adventures, and of his sentiments and of his sayings. Old maids of either sex will wholly fail to understand him or to like him, or to see his significance and his value. Like Tom Sawyer, Huck Finn is a genuine boy; he is neither a girl in boy's clothes like many of the modern heroes of juvenile fiction, nor is he a "little man", a full-grown man cut down; he is a boy, just a boy, only a boy. And his ways and modes of thought are boyish. As Mr. F. Anstey understands the English boy, and especially the English boy of the middle classes, so Mark Twain understands the American boy, and especially the American boy of the Mississippi Valley of forty or fifty years ago. The contrast between Tom Sawyer, who is the child of respectable parents, decently brought up, and Huckleberry Finn, who is the child of the town drunkard, not brought up at all, is made distinct by a hundred artistic touches, not the least natural of which is Huck's constant reference to Tom as his ideal of what a boy should be. When Huck escapes from the cabin where his drunken and worthless father had confined him, carefully manufacturing a mass of very circumstantial evidence to prove his own murder by robbers, he cannot help saying, "I did wish Tom Sawyer was there, I knowed he would take an interest in this kind of business, and throw in the fancy touches. Nobody could spread himself like Tom Sawyer in such a thing as that." Both boys have their full share of boyish imagination; and Tom Sawyer, being given to books, lets his imagination run on robbers and pirates and genies, with a perfect understanding with himself that, if you want to get fun out of this life, you must never hesitate to make believe very hard; and, with Tom's youth and health, he never finds it hard to make believe and to be a pirate at will, or to summon an attendant spirit, or to rescue a prisoner from the deepest dungeon 'neath the castle moat. But in Huck this imagination has turned to superstition; he is a walking repository of the juvenile folklore of the Mississippi Valley—a folklore partly traditional among the white settlers, but largely influenced by intimate association with the negroes. When Huck was in his room at night all by himself waiting for the signal Tom Sawyer was to give him at midnight, he felt so lonesome he wished he was dead. — [Quotes Ch. I "The stars was shining" to "you'd killed a spider", p. 27].

[...] Now, none of these sentiments are appropriate to Tom Sawyer, who had none of the feeling for nature which Huck Finn had caught during his numberless days and nights in the open air. Nor could Tom Sawyer either have seen or set down this instantaneous photograph of a summer storm. — [Quotes Ch. IX "It would get" to "you know", p. 59].

The romantic side of Tom Sawyer is shown in most delightfully humorous fashion in the account of his difficult devices to aid in the easy escape of Jim, a runaway negro. Jim is an admirably drawn character. There have been not a few fine and firm portraits of negroes in recent American fiction, of which Mr. Cable's Bras-Coupé in the *Grandissimes* is perhaps the most vigorous, and Mr. Harris's Mingo and Uncle Remus and Blue Dave are the most gentle. Jim is worthy to rank with these; and the essential simplicity and kindness and generosity of the Southern negro have never been better shown than here by Mark Twain. Nor are Tom Sawyer and Huck Finn and Jim the only fresh and original figures in Mr. Clemens's new book; on the contrary, there is scarcely a character of the many introduced who does not impress the reader at once as true to life—and therefore as new, for life is so varied that a portrait from life is sure to be as good as new. That Mr. Clemens draws from life, and yet lifts his work from the domain of the photograph to the region of art, is evident to any one who will give his work the honest attention which it deserves. Mr. John T. Raymond, the American comedian, who performs the character of Colonel Sellers to perfection, is wont to say that there is scarcely a town in the West and South-West where some man did not claim to be the original of the character. And as Mark Twain made Colonel Sellers, so has he made the chief players in the present drama of boyish adventure; they are taken from life, no doubt, but they are so aptly chosen and so broadly drawn that they are quite as typical as they are actual. They have one great charm, all of them—they are not written about and about; they are not described and dissected and analysed; they appear and play their parts and disappear; and yet they leave a sharp impression of indubitable vitality and individuality. No one, we venture to say, who reads this book will readily forget the Duke and the King, a pair of as pleasant "confidence operators" as one may meet in a day's journey, who leave the story in the most appropriate fashion, being clothed in tar and feathers and ridden on a rail. Of the more broadly humorous passages—and they abound—we have not left ourselves space to speak; they are to the full as funny as in any of Mark Twain's other books; and, perhaps, in no other book has the humourist shown so much artistic restraint, for there is in *Huckleberry Finn* no mere "comic copy," no straining after effect; one might almost say that there is no waste word in it. [...]

(*Saturday Review*, 1885, January 31)

1885

ROBERT BRIDGES

Mark Twain is a humorist or nothing. He is well aware of this fact himself, for he prefaces the *Adventures of Huckleberry Finn* with a brief notice, warning persons in search of a moral, a motive or plot

that they are liable to be persecuted, banished or shot. This is a nice little artifice to scare off the critics—a kind of “trespassers on these grounds will be dealt with according to law.”

However, as there is no penalty attached, we organized a search expedition for the humorous qualities of this book with the following hilarious results:

A very refined and delicate piece of narration by Huck Finn, describing his venerable and delapidated “pap” as afflicted with delirium tremens, rolling over and over, “kicking things every which way,” and “saying there was devils ahold of him.” This chapter is especially suited to amuse the children on long rainy afternoons.

An elevating and laughable description of how Huck killed a pig, smeared its blood on an axe and mixed in a little of his own hair, and then ran off, setting up a job on the old man and the community and leading them to believe him murdered. This little joke can be repeated by any smart boy for the amusement of his fond parents.

A graphic and romantic tale of a Southern family feud, which resulted in an elopement and from six to eight choice corpses.

A polite version of the “Giascutus” story, in which a nude man, striped with the colors of the rainbow, is exhibited as “The King’s Cameleopard; or, The Royal Nonesuch.” This is a good chapter for lenten parlor entertainments and church festivals.

A side-splitting account of a funeral, enlivened by a “sick melodeum”, a “long-legged undertaker,” and a rat episode in the cellar.

(*Life*, 1885, February 26)

1885

THOMAS SERGEANT PERRY

Mark Twain’s *Tom Sawyer* is an interesting record of boyish adventure; but, amusing as it is, it may yet be fair to ask whether its most marked fault is not too strong adherence to conventional literary models? [...]

This later book, *Huckleberry Finn*, has the great advantage of being written in autobiographical form. This secures a unity in the narration that is most valuable; every scene is given, not described; and the result is a vivid picture of Western life forty or fifty years ago. While *Tom Sawyer* is scarcely more than an apparently fortuitous collection of incidents, and its thread is one that has to do with murders, this story has a more intelligible plot. *Huckleberry*, its immortal hero, runs away from his worthless father, and floats down the Mississippi on a raft, in company with Jim, a runaway negro. This plot gives great opportunity for varying incidents. The travelers spend some time on an island; they outwit every one they meet; they acquire full know-

ledge of the hideous fringe of civilization that then adorned that valley; and the book is a most valuable record of an important part of our motley American civilization.

What makes it valuable is the evident truthfulness of the narrative, and where this is lacking and its place is taken by ingenious invention, the book suffers. What is inimitable, however, is the reflection of the whole varied series of adventures in the mind of the young scapegrace of a hero. His undying fertility of invention, his courage, his manliness in every trial, are an incarnation of the better side of the ruffianism that is one result of the independence of Americans, just as hypocrisy is one result of the English respect for civilization. The total absence of morbidness in the book—for the *mal du siècle* has not yet reached Arkansas—gives it a genuine charm; and it is interesting to notice the art with which this is brought out. The best instance is perhaps to be found in the account of the feud between the Shepherdsons and the Grangerfords, which is described only as it would appear to a semi-civilized boy of fourteen, without the slightest condemnation or surprise,—either of which would be bad art,—and yet nothing more vivid can be imagined. That is the way that a story is best told, by telling it, and letting it go to the reader unaccompanied by sign-posts or directions how he shall understand it and profit by it. Life teaches its lessons by implication, not by didactic preaching; and literature is at its best when it is an imitation of life and not an excuse for instruction.

As to the humor of Mark Twain, it is scarcely necessary to speak. It lends vividness to every page. The little touch in *Tom Sawyer*, page 105, where, after the murder of which Tom was an eye-witness, it seemed "that his school-mates would never get done holding inquests on dead cats and thus keeping the trouble present to his mind," and that in the account of the spidery six-armed girl of Emmeline's picture in *Huckleberry Finn*, are in the author's happiest vein. Another admirable instance is to be seen in *Huckleberry Finn*'s mixed feelings about rescuing Jim, the negro, from slavery. His perverted views regarding the unholiness of his actions are most instructive and amusing. It is possible to feel, however, that the fun in the long account of Tom Sawyer's artificial imitation of escapes from prison is somewhat forced; everywhere simplicity is a good rule, and while the account of the Southern *vendetta* is a masterpiece, the caricature of books of adventure leaves us cold. In one we have a bit of life; in the other Mark Twain is demolishing something that has no place in the book.

Yet the story is capital reading, and the reason of its great superiority to *Tom Sawyer* is that it is, for the most part, a consistent whole. If Mark Twain would follow his hero through manhood, he would condense a side of American life that, in a few years, will have to be delved out of newspapers, government reports, county histories, and misleading traditions by unsympathetic sociologists.

(*Century Magazine*, 1885, May)

ANDREW LANG

The Art of Mark Twain

[...] I am coming to suspect that the majority of Culture's modern disciples are a mere crowd of very slimly educated people, who have no natural taste or impulse; who do not really know the best things in literature; who have a feverish desire to admire the newest thing, to follow the latest artistic fashion; who prate about "style" without the faintest acquaintance with the ancient examples of style, in Greek, French, or English; who talk about the classics and criticise the classical critics and poets, without being able to read a line of them in the original. Nothing of the natural man is left in these people; their intellectual equipment is made up of ignorant vanity, and eager desire of novelty, and a yearning to be in the fashion.

Take, for example—and we have been a long time in coming to him—Mark Twain. If you praise him among the persons of Culture, they cannot believe that you are serious. They call him a Barbarian. They won't hear of him, they hurry from the subject; they pass by on the other side of the way. Now I do not mean to assert that Mark Twain is "an impeccable artist," but he is just as far from being a mere coarse buffoon. Like other people, he has his limitations. Even Mr. Gladstone, for instance, does not shine as a Biblical critic, nor Mark Twain as a critic of Italian art nor as a guide to the Holy Land. I have abstained from reading his work on an American at the Court of King Arthur, because here Mark Twain is not, and cannot be, at the proper point of view. He has not the knowledge which would enable him to be a sound critic of the ideal of the Middle Ages. An Arthurian Knight in New York or in Washington would find as much to blame, and justly, as a Yankee at Camelot. Let it be admitted that Mark Twain often and often sins against good taste, that some of his waggeries are mechanical, that his books are full of passages which were only good enough for the corner of a newspaper. Even so, the man who does not "let a laugh out of him"—like the Gruagach Gaire—at the story of the Old Ram, or of the Mexican Plug, or of the editing of the country newspaper, or of the Blue Jay, or at the lecture on the German language, can hardly have a laugh in him to let out. Chesterfield very gravely warns his son that it is wrong and vulgar to laugh; but the world has agreed to differ from Chesterfield. To "Homo Ridens" Mark Twain is a benefactor beyond most modern writers, and the Cultured, who do not laugh, are merely to be pitied.

[...] I have no hesitation in saying that Mark Twain is one among the greatest contemporary makers of fiction. For some reason, which may perhaps be guessed, he has only twice chosen to exercise this art seriously, in *Tom Sawyer* and in *Huckleberry Finn*. The reason, prob-

ably, is that old life on the Mississippi is the only form of life in which Mark Twain finds himself so well versed that he can deal with it in seriousness. Again, perhaps his natural and cultivated tendency to extravagance and caricature is only to be checked by working on the profound and candid seriousness of boyhood. These are unlucky limitations, if they really exist, for they have confined him, as a novelist, to a pair of brief works, masterpieces which a fallacious appearance has confounded with boys' books and facetiae. Of the two, by an unheard-of stroke of luck, the second, the sequel, is by far the better. I can never forget nor be ungrateful for the exquisite pleasure with which I read *Huckleberry Finn* for the first time, years ago. I read it again last night, deserting *Kenilworth* for Huck. I never laid it down till I had finished it. I perused several passages more than once, and rose from it with a higher opinion of its merits than ever.

What is it that we want in a novel? We want a vivid and original picture of life; we want character naturally displayed in action, and if we get the excitement of adventure into the bargain, and that adventure possible and plausible, I so far differ from the newest school of criticism as to think that we have additional cause for gratitude. If, moreover, there is an unstrained sense of humour in the narrator, we have a masterpiece, and *Huckleberry Finn* is nothing less. Once more. If the critics are right who think that art should so far imitate nature as to leave things at loose ends, as it were, not pursuing events to their conclusions, even here *Huckleberry Finn* should satisfy them. It is the story of the flight down the Mississippi of a white boy and a runaway slave. The stream takes them through the fringes of life on the river-side; they pass feuds and murders of men, and towns full of homicidal loafers, and are intermingled with the affairs of families, and meet friends whom they would wish to be friends always. But the current carries them on: they leave the murders unavenged, the lovers in full flight; the friends they lose for ever; we do not know, any more than in reality we would know, "what became of them all." They do not return, as in novels, they narrate their later adventures.

As to the truth of the life described, the life in little innocent towns, the religion, the Southern lawlessness, the feuds, the lynchings, only persons who have known this changed world can say if it be truly painted, but it looks like the very truth, like an historical document. Already *Huckleberry Finn* is an historical novel, and more valuable, perhaps, to the historian than *Uncle Tom's Cabin*, for it is written without partisanship, and without "a purpose." The drawing of character seems to be admirable, unsurpassed in its kind. By putting the tale in the mouth of the chief actor, Huck, Mark Twain was enabled to give it a seriousness not common in his work, and to abstain from comment. Nothing can be more true and more humorous than the narrative of this outcast boy, with a heart naturally good, with a conscience torn between the teachings of his world about slavery and the promptings of his nature. In one point Mark Twain is Homeric,

probably without knowing it. In the *Odyssey*, Odysseus frequently tells a false tale about himself, to account for his appearance and position when disguised on his own island. He shows extraordinary fertility and appropriateness of invention, wherein he is equalled by the feigned tales of Huckleberry Finn.

The casual characters met on the way are masterly: the woman who detects Huck in a girl's dress; the fighting families of Shepherdson and Grangerford; the homicidal Colonel Sherburn, who cruelly shoots old Boggs, and superbly quells the mob of would-be lynchers; the various old aunts and uncles, the negro Jim; the two wandering impostors; the hateful father of Huck himself. Then Huck's compliment to Miss Mary Jane, whom he thought of afterwards "a many and a many million times," how excellent it is! "In my opinion she had more sand in her than any girl I ever see; in my opinion she was just full of sand. It sounds like flattery, but it ain't no flattery. And when it comes to beauty—and goodness, too—she lays over them all."

No novel has better touches of natural description: the starlit nights on the great river, the storms, the whole landscape, the sketches of little rotting towns, of the woods, of the cotton-fields, are simple, natural, and visible to the mind's eye. The story, to be sure, ends by lapsing into burlesque, when Tom Sawyer insists on freeing the slave whom he knows to be free already, in a manner accordant with "the best authorities." But even the burlesque is redeemed by Tom's real unconscious heroism. There are defects of taste, or passages that to us seem deficient in taste, but the book remains a nearly flawless gem of romance and of humour. The world appreciates it, no doubt, but "cultural critics" are probably unaware of its singular value. A two-shilling novel by Mark Twain, with an ugly picture on the cover, "has no show," as Huck might say, and the great American novel has escaped the eyes of those who watch to see this new planet swim into their ken. And will Mark Twain never write such another? One is enough for him to live by, and for our gratitude, but not enough for our desire.

(Illustrated London News, 1891, February 14)

1893

FRANK R. STOCKTON

Mark Twain and His Recent Works

Mark Twain's most notable characteristic is courage. Few other men—even if the other men could think of such things—would dare to say the things that Mark Twain says. [...]

[...] In his humorous creations Mark Twain seldom plays upon

words, he plays upon ideas; and as a pun would have no value were the words played upon treated without reference to their legitimate use, so he never forgets what a character is in the habit of doing when he makes him do something out of the common, and in his comical situations he uses the antithesis as if he were making a pun or an epigram.

It is the disposition of humorists to be prudent; they are careful about the rebounds of their missiles. It would be hard to find one who would not be afraid to ask if Adam were dead. Mark Twain's courage is shown not only in his combinations but in his descriptions. Take this account of the father of Huckleberry Finn—

[Quotes Ch. V "He was" to "like a lid", p. 38].

[...] We who remember Mark Twain when his light first rose above the horizon cannot help thinking of him as a humorist above everything else, for it was as such he rose, and as such his radiance increased. We soon came to know that he was also a philosopher and after a time that he was a story-teller, but for all that and despite our added knowledge of him, we still think first of his brightness, and often forget that his surface may be inhabited or that he has an influence upon our tides.

His philosophy of course, came in with his humor and although the fact was not always noticed, it often formed part of it. Later this philosophic spirit grew and strengthened until it was able to stand alone, and in some of his more recent writings it not only stands up very steadily but it does some bold fighting. As illustrations of the workings of the reasoning powers in his characters, we give two extracts from *Huckleberry Finn*. In the first of these the boy deprecates the upbraiding of his conscience in a case where he was not at all to blame—

[Quotes Ch. XXXIII "But that's" to "nohow", p. 186].

In the following, Huckleberry is on a raft with Jim, a negro, who is trying to escape from slavery, and they are approaching Cairo, the nearest point of free soil—

[Quotes Ch. XVI "Jim said" to "hotter than ever", p. 86].

In these passages the humor is merely sprinkled on the rest of the substance. It is like the fun of a circus-clown taking the money at the door; he may be a queer fellow, but he means business.

These extracts lead us insensibly from the consideration of Mark Twain as a funny man and as an expert in logical processes, to Mark Twain as a story-teller. [...]

It was quite natural that Mark Twain should become a story-teller. The man of broad sympathies, who is able, with interest to himself and others, to evolve the *may be* from the *is*, is sure to end by writing stories, no matter how he begins. He may do it in verse or he may do it in prose, but he will do it. He may set out on his career by describing his own travels, but this field will surely become too small for him, no matter how deep he may dig down into it, or how high he may

build above it, and he will leap the wall into regions where he will make people who will travel wherever he chooses to send them, and do and say whatever he chooses to make them do and say. Thus came *Tom Sawyer* and *Huckleberry Finn*, and thus came shorter stories. [...]

It is well known that the actor of comedy often casts longing glances toward the tragic mask, and when he has an opportunity to put it on, he often wears it so well that one cannot say he has no right to it. [...]

[...] The figure with the tragic mask stalks through much of Mark Twain's work. In *The Prince and the Pauper* he darkens the page like a semi-weekly eclipse; while in the feud of the Shepherdsons and the Grangerfords in *Huckleberry Finn*, he throws himself with such earnestness into his tragic action that his comic mask drops unnoticed from his hand and might be lost forever, were it not caught on one of the six arms of the picture of the young woman about to jump from the bridge.

Long live that comic mask! With such a forest of points for it to catch upon, there will be no danger of its ever being lost, and while Mark Twain lives he will not cease to be the man of the double stroke—the Bismarck of humorists.

(*Forum*, XV, 1893, August)

1898

WALTER BESANT

My Favorite Novelist and His Best Book

I have been invited to write upon my "Favorite Novel." Alas, I have so many favorite novels! How can I incur the jealousy of all the others by selecting one as the favorite? Novels are live things; they love admiration; they resent neglect; they hate the preference of others. Like Charles Lamb, who loved every book because it was a book—except the Law List—I love every novel because it is a novel—except those which are not novels, but only shams. [...]

Of a novel I ask but one thing. "Seize me," I say—"seize me and hold me with a grip of steel. Make me deaf and blind to all the world so long as I read in thine enchanted pages. Carry me whither thou wilt. Play on me; do with me what thou wilt, at thine own sweet will. Make me shriek with pain; fill my eyes with tears and my heart with sorrow; let me laugh aloud, let me bubble over with the joy of silent mirth; let me forget that the earth is full of oppression and wickedness. Only seize me and hold me tight—immoveable, rapt, hypnotized; deaf and blind to all the world." [...]

These remarks prepare the way for a selection which is perhaps

unexpected. I do not respond to the invitation by taking one of the acknowledged masterpieces; nor shall I worry myself to find something fresh to say about a book which has already been reviewed over and over again. Cervantes, Fielding, Dickens, Thackeray—all these I leave to the professors of literature, and to the critic of the big and serious “appreciation”—to him who estimates influence, finds out blemishes, and explores the sources. [...]

The book which I have selected is Mark Twain's *Huckleberry Finn*. At the outset I observe, and intend to respect, a warning after the title page to the effect that any person who may try to find a motive in the narrative will be prosecuted; that any person who may try to find a moral in it will be banished, and that persons attempting to find a plot will be shot.

Let us repeat this warning. Let us not try to find in *Huckleberry Finn* either motive, moral, or plot.

I lay it down as one of the distinctive characteristics of a good story that it pleases—or rather, seizes—every period of life; that the child, and his elder brother, and his father, and his grandfather, may read it with like enjoyment—not equal enjoyment, because as a man gets older and understands more and more what the world of men and women means, he reads between the lines and sees things which the child cannot see and cannot understand. Very likely, if the painting is true to nature, he sees things which the artist himself could not see or understand. The note of genius is that it suggests so much more than it meant to suggest, and goes so much deeper than the poet himself intended. To discover and to read the superadded letterpress, the invisible part of the printed page, is one of the compensations of age.

The first quality that I claim for this book, then, is that it does appeal to all ages and every age. The boy of twelve reads it with delight beyond his power of words to express; the young man reads it; the old man reads it. The book is a joy to all alike. For my own part, I have read it over and over again, yet always with delight and always finding something new in its pages.

There is no motive in the book; there is no moral; there is no plot. The book is like a panorama in which the characters pass across the stage and do not return. They follow each other with the unexpectedness belonging to a voyage down a river. All happens by chance; the finger of providence—which means the finger of Mark Twain—is nowhere visible. There is no motive; there is no moral; there is no plot. This directing, intervening, meddlesome finger you will find very often in the novel which does not permit itself to be read; it sticks out in the carpenter's novel. You see the thumb—it wants washing—in the novel made by rule. It is nowhere visible in *Huckleberry Finn*.

The book commends itself, to begin with, by the humorous treatment of perfectly serious situations. It is unconsciously humorous, it is humorous because the narrator sees no humor in anything. In some places, when an English boy would have rolled on the floor with

laughing, the American boy relates the scene without a smile. Indeed, from beginning to end, there is hardly a smile. Yet, while all the situations lie open for sentiment, for moralizing, or for laughing, the actors are perfectly serious—and perfectly comic.

The reason of the serious nature of the performance is that the narrator is a boy whose experiences of life have not, so far, inclined him to look at things from a humorous point of view. He is the son of a drunken scoundrel, the disgrace and terror of the town. [...]

[...] With such a father; with no education; with no religion; living about in the woods, without respect of persons; untruthful whenever it seemed easier to conceal the truth; yielding when necessary; watchful of opportunities; not immoral, but unmoral—the boy starts off to tell his tale of adventure. Writers of fiction, of whom there are now so many, will understand the difficulty of getting inside the brain of that boy, seeing things as he saw them, writing as he would have written, and acting as he would have acted; and presenting to the world a true, faithful, and living *effigies* of that boy. The feat has been accomplished: there is no character in fiction more fully, more faithfully presented than the character of *Huckleberry Finn*. [...]

The earlier chapters, with *Tom Sawyer* and the other boys, are hardly worthy to be taken as an introduction to the book. But they are soon got over. The adventures really begin with the boy's life in the cabin where his father has taken him. [...]

The chapters with the *King* and the *Duke* are amazing for the sheer impudence of the two rogues and the remarks of the boy. He makes no remonstrance, he affects no indignation; he falls in with every pretense on which his assistance is required, and he watches all the time—watches for the chance to upset their little plans. And such plans! [...] The great *coup* was the personation of a man in England, brother of a man just deceased. This, in fact, very nearly came off; it would have come off, with a bag of six thousand dollars, but for the boy, who defeats their villainies. [...]

Also, though the book has no moral, one is pleased to find the “nigger” receiving his freedom at the end. And, although it has no plot, one is delighted to find that *Huckleberry* remains the same at the end as he began at the beginning. That blessed boy, who has told as many lies as there are pages in the book, is left impenitent.

I reckon I got to light out for the Territory ahead of the rest, because Aunt Sally she's going to adopt me and sivilize me, and I can't stand it. I been there before. [...]

There is another side of the book. It belongs to the fifties, the old time before the civil war, when the “institution” was flourishing against all the efforts of the Abolitionists. Without intending it—the book has no motive—the boy restores for us that life in the Southern States. It is now so far off that even those who are old enough to remember it think of it as a kind of dream. Consider how far off it is.

There is the elderly maiden lady, full of religion, who tries to teach the boy the way to heaven. She herself is living, she says, so as to go there. She has one old "nigger" who has been with her all her life—a faithful servant, an affectionate creature. This pious woman deliberately proposes to sell the man—to *sell* him—for the sum of eight hundred dollars, or one hundred and sixty pounds sterling. Only forty years ago! Yet how far off! How far off! Is there, anywhere in the Southern States of today, any living lady who could in cold blood sell an old servant into slavery among strangers? Then there is the feud between the families of the *Grangerfords* and the *Shepherdsons*. They have a feud—do families in the South have feuds and go shooting each other now? It seems so far off; so long ago. The *Shepherdsons* and the *Grangerfords* alike are all filled out with family pride; no descendant of all the kingly houses of Europe could be prouder of family than these obscure planters. They have no education; they shoot at each other whenever they meet; they murder even the boys of either family. It is only a glimpse we catch of them as we float down the Mississippi, but it belongs to a time so long ago—so long ago.

There is another glimpse—of a riverside town. [...] a drunken man rides amuck through the town, roaring and threatening. He threatens one prominent citizen so long that, after a while, the man says he has lost patience, and shoots the drunkard dead. It is all so long ago, you see. Or we are at a camp meeting—perhaps those meetings go on still, somewhere. [...]

If the scenes and characters of the book are all life-like and true to nature, still more life-like is the figure of the boy as he stands out, at the end, when we close the volume, self revealed.

He is, to begin with, shrewd. It is a word which may have a good or a bad meaning; in the former sense, I think that shrewdness is a more common characteristic of the American than of the Englishman. I mean that he is more ready to question, to doubt, to examine, to understand. He is far more ready to exercise freedom of thought; far less ready to accept authority. His individuality is more intense; he is one against the world; he is more readily on the defensive. Huckleberry, therefore, however it may be with his countrymen at large, is shrewd. He questions everything. For instance, he is told to pray for everything. He tries it; he prays for fish hooks. None come; he worries over the matter a while, and then he concludes to let it go. If he has no religion, however, he has plenty of superstition; he believes all the wonderful things the "nigger" *Jim* tells him: the ghosts and the signs of bad luck and good luck.

He has an immense natural love for the woods and forests; for the open air; for the great river laden with the rafts forever going down the stream; for the night as much as the day; for the dawn as much as the splendor of the noonday.

[Quotes Ch. XIX "Not a sound, anywheres" to "look that way", p. 106].

If he loves the still and solemn night and the woods, he loves also the creatures in the woods—squirrels, turtles, snakes. He is a boy who belongs to the river, which he will never desert. His lies and his thievings and his acquiescence in frauds—to be sure, he was forced—do not affect his nature; he passes through these things and will shake them off and forget them. All his life he will live in the present, which is a part of the nomadic spirit. He will look on without indignation at the things men do around him; but his home will be on Jackson's Island in a log hut, alone, and far from the haunts of men. And he will never grow weary of watching the lumber rafts go by; or of sitting beside the mighty flood; or of watching the day break, and the sun set; or of lying in the shade so long as he can look at the snakes and the turtles or listen while a couple of squirrels "set on a limb and jabber at him friendly." Because, you see, there is no moral in this book; and no motive; and no plot.

(*Munsey's Magazine*, 1898, February)

1900

BARRETT WENDELL

The earlier work of Mark Twain seemed broadly comic Humor—only another manifestation of that rollicking sort of journalistic fun which is generally ephemeral. As the years have passed, however, he has slowly distinguished himself more and more from anyone else. No other living writer, for one thing, so completely exemplifies the kind of humor which is most characteristically American—a shrewd sense of fact expressing itself in an inextricable confusion of literal statement and wild extravagance, uttered with no lapse from what seems unmoved gravity of manner.

But this is by no means the sum of him, nor yet his deepest merit. His more careful books show a grasp of his subject, a power of composition on the grand scale, unapproached by any other popular American. For all its faults of superficial taste, and for all its extravagance of dialect, *Huckleberry Finn* proves, as one compares it with its rough material, carelessly collected in *Life on the Mississippi*, nothing short of a masterpiece. And it proves as well, when one has read it over and over again, to be among the few books in any literature which preserve something like a comprehensive picture of an entire state of society. In this aspect it is Odyssean, just as *Don Quixote* is. There are moods when one is tempted to call it, despite its shortcomings, the masterpiece of literature in America.

(*A History of Literature in America*. N. Y., 1900)

WILLIAM DEAN HOWELLS

Mark Twain: An Inquiry

Two Recent Events have concurred to offer criticism a fresh excuse, if not a fresh occasion, for examining the literary work of Mr. Samuel L. Clemens, better known to the human family by his pseudonym of Mark Twain. One of these events is the publication of his writings in a uniform edition, which it is to be hoped will remain indefinitely incomplete; the other is his return to his own country after an absence so long [ten years] as to form a psychological perspective in which his characteristics make a new appeal.... So far as I know, Mr. Clemens is the first writer to use in extended writing the fashion we all use in thinking, and to set down the thing that comes into his mind without fear or favor of the thing that went before or the thing that may be about to follow [...] He would take whatever offered itself to his hand out of that mystical chaos, that divine ragbag, which we call the mind, and leave the reader to look after relevancies and sequences for himself [...]

[...] his method may be the secret of his vast popularity, but it cannot be the whole secret of it. Anyone may compose a scrapbook and offer it to the public with nothing of Mark Twain's good fortune. Everything seems to depend upon the nature of the scraps, after all [...] Life itself has that sort of appearance as it goes on; it is an essay with moments of drama in it rather than a drama; it is a lesson, with the precepts appearing haphazard, and not precept upon precept; it is a school, but not always a school-room; it is a temple, but the priests are not always in their sacerdotal robes; sometimes they are eating the sacrifice behind the altar and pouring the libations for the god through the channels of their dusty old throats. An instinct of something chaotic, ironic, empiric in the order of experience seems to have been the inspiration of our humorist's art. [...]

But his great charm is his absolute freedom in a region where most of us are fettered and shackled by immemorial convention. He saunters out into the trim world of letters, and lounges across its neatly kept paths, and walks about on the grass at will, in spite of all the signs that have been put up from the beginning of literature, warning people of dangers and penalties for the slightest trespass.

One of the characteristics I observe in him is his single-minded use of words, which he employs as Grant did to express the plain, straight meaning their common acceptance has given them with no regard to their structural significance or their philological implications. He writes English as if it were a primitive and not a derivative language, without Gothic or Latin or Greek behind it, or German and French beside it. The result is the English in which the most vital works of

English literature are cast, rather than the English of Milton and Thackeray and Mr. Henry James. [...] It has a thing to say, and it says it in the word [...] that surely and strongly conveys intention from the author's mind to the reader's. It is the Abraham Lincolnian word, not the Charles Sumnerian; it is American, Western.

Now that Mark Twain has become a fame so world-wide, we should be in some danger of forgetting, but for his help, how entirely American he is, and we have already forgotten, perhaps, how truly Western he is, though his work, from first to last, is always reminding us of the fact. But here I should like to distinguish. It is not alone in its generous humor, with more honest laughter in it than humor ever had in the world till now, that his work is so Western. Anyone who has really known the West (and really to know it one must have lived it) is aware of the profoundly serious, the almost tragical strain which is the fundamental tone in the movement of such music as it has [...]

[...] while he was still a pioneer, a hunter, a trapper, he found himself confronted with the financier, the scholar, the gentleman. They seemed to him, with the world they represented, at first very droll, and he laughed. Then they set him thinking, and, as he never was afraid of anything, he thought over the whole field and demanded explanations of all his prepossessions—of equality, of humanity, of representative government and revealed religion. When they had not their answers ready, without accepting the conventions of the modern world as solutions or in any manner final, he laughed again, not mockingly, but patiently, compassionately. Such, or somewhat like this, was the genesis and evolution of Mark Twain.

Missouri was Western, but it was also Southern, not only in the institution of slavery, to the custom and acceptance of which Mark Twain was born and bred without any applied doubt of its divinity, but in the peculiar social civilization of the older South from which his native State was settled. It would be reaching too far out to claim that American humor, of the now prevailing Western type, is of Southern origin, but without staying to attempt it I will say that I think the fact could be established; and I think one of the most notably Southern traits of Mark Twain's humor is its power of seeing the fun of Southern seriousness, but this vision did not come to him till after his liberation from neighborhood in the vaster Far West. He was the first, if not the only, man of his section to betray a consciousness of the grotesque absurdities in the Southern inversion of the civilized ideals in behalf of slavery, which must have them upside down in order to walk over them safely.

No American of Northern birth or breeding could have imagined the spiritual struggle of Huck Finn in deciding to help the negro Jim to his freedom, even though he should be forever despised as a negro thief in his native town, and perhaps eternally lost through the blackness of his sin. No Northerner could have come so close to the heart of a Kentucky feud, and revealed it so perfectly, with the whimsical-

ity playing through its carnage, or could have so brought us into the presence of the sardonic comi-tragedy of the squalid little river town where the store-keeping magnate shoots down his drunken tormentor in the arms of the drunkard's daughter, and then crows with bitter mockery the mob that comes to lynch him.

[...] It is true that his beginnings were in short sketches, more or less inventive, and studies of life in which he let his imagination play freely; but it was not till he had written *Tom Sawyer* that he could be called a novelist. Even now I think he should rather be called a romancer, though such a book as *Huckleberry Finn* takes itself out of the order of romance and places itself with the great things in picaresque fiction. Still, it is more poetic than picaresque, and of a deeper psychology. The probable and credible soul that the author divines in the son of the town drunkard is one which we might each own brother, and the art which portrays this nature at first hand in the person and language of the hero, without pose of affectation, is fine art. In the boy's history the author's fancy works realistically to an end as high as it has reached elsewhere, if not higher; and I who like *The Connecticut Yankee in King Arthur's Court* so much have half a mind to give my whole heart to *Huckleberry Finn*. [...]

His imagination is always dramatic in its conceptions, but not always in its expressions; the talk of his people is often inadequate caricature in the ordinary exigencies, and his art contents itself with makeshift in the minor action. Even in *Huck Finn*, so admirably proportioned and honestly studied, you find a piece of lawless extravagance hurled in, like the episode of the two strolling actors in the flat-boat; their broad burlesque is redeemed by their final tragedy—a prodigiously real and moving passage—but the friend of the book cannot help wishing the burlesque was not there. One laughs, and then despises one's self for laughing, and this is not what Mark Twain often makes you do. There are things in him that shock, and more things that we think shocking, but this may not be so much because of their nature as because of our want of naturalness; they wound our conventions rather than our convictions. [...]

At heart he was always deeply and essentially romantic, and once must have expected life itself to be a fairy dream. When it did not turn out so he found it tremendously amusing still, and his expectation not the least amusing thing in it, but without rancor, without grudge or bitterness in his disillusion, so that his latest word is as sweet as his first. He is deeply and essentially romantic in his literary conceptions, but when it comes to working them out he is helplessly literal and real; he is the impassioned lover, the helpless slave of the concrete. For this reason, for his wish, his necessity, first to ascertain his facts, his logic is as irresistible as his laugh.

[...] I know nothing finer in him than his perception that in this curiously contrived mechanism men suffer for their sorrows rather oftener than they suffer for their sins; and when they suffer for their

sorrows they have a right not only to our pity but to our help. He always gives his help, even when he seems to leave the pity to others, and it may be safely said that no writer has dealt with so many phases of life with more unfailing justice [...] being always in the presence of the under dog, he came to feel for him as under with him. If the knowledge and vision of slavery did not tinge all life with potential tragedy, perhaps it was this which lighted in the future humorist the indignation at injustice which glows in his page. His indignation relieves itself as often as not in a laugh; injustice is the most ridiculous thing in the world, after all, and indignation with it feels its own absurdity.

It is supposable, if not more than supposable, that the ludicrous incongruity of a slaveholding democracy nurtured upon the Declaration of Independence, and the comical spectacle of white labor owning black labor, had something to do in quickening the sense of contrast which is the fountain of humor, or is said to be so. But not to drive too hard a conjecture which must remain conjecture, we may reasonably hope to find in the untrammelled, the almost unconditional life of the later and farther West, with its individualism limited by nothing but individualism, the outside causes of the first overflow of the spring. [...]

[...] In Mark Twain's novels, whether they are for boys or for men, the episodes are only those that illustrate the main narrative or relate to it, though he might have allowed himself somewhat larger latitude in the old-fashioned tradition which he has oftenest observed in them. When it comes to the critical writings, which again are personal, and which, whether they are criticisms of literature or of life, are always so striking, he is quite relentlessly logical and coherent. Here there is no lounging or sauntering, with entertaining or edifying digressions. The object is in view from the first, and the reasoning is straightforwardly to it throughout [...] The facts are first ascertained with a conscience uncommon in critical writing of any kind, and then they are handled with vigor and precision till the polemic is over. It does not so much matter whether you agree with the critic or not; what you have to own is that here is a man of strong convictions, clear ideas, and ardent sentiments, based mainly upon common sense of extraordinary depth and breadth. [...]

Looking back over his work now, the later reader would probably be able to point out to earlier readers the evidence of a constant growth in the direction of something like recognized authority in matters of public import, especially those that were subject to the action of the public conscience as well as the public interest, until now hardly any man writing upon such matters is heard so willingly by all sorts of men. All of us, for instance, have read somewhat of the conditions in South Africa which have eventuated in the present effort of certain British politicians to destroy two free republics in the interest of certain British speculators; but I doubt if we have

found the case anywhere so well stated as in the closing chapters of Mark Twain's *Following the Equator*. His estimate of the military character of the belligerents on either side is of the prophetic cast which can come only from the thorough assimilation of accomplished facts; and in those passages the student of the actual war can spell its anticipative history. It is by such handling of such questions, unpremeditated and almost casual as it seems, that Mark Twain has won his claim to be heard on any public matter, and achieved the odd sort of primacy which he now enjoys.

But it would be rather awful if the general recognition of his prophetic function should implicate the renunciation of the humor that has endeared him to mankind. [...]

What we all should wish to do is to keep Mark Twain what he has always been: a comic force unique in the power of charming us out of our cares and troubles, united with as potent an ethic sense of the duties, public and private, which no man denies in himself without being false to other men. I think we may hope for the best he can do to help us deserve our self-respect, without forming Mark Twain societies to read philanthropic meanings into his jokes, or studying the Jumping Frog as the allegory of an imperializing republic. I trust the time may be far distant when the Meditation at the Tomb of Adam shall be memorized and declaimed by ingenuous youth as a mystical appeal for human solidarity.

(*North American Review*, CLXXII, 1901, February)

1911

ARCHIBALD HENDERSON

The quality with which Mark Twain invests his disquisitions upon morals, upon conscience, upon human foibles and failings, is the charm of the humorist always—never the grimness of the moralist or the coldness of the philosopher. He observes all human traits, whether of moral sophistry or ethical casuistry, with the genial sympathy of a lover of his kind irradiated with the riant comprehension of the humorist. And yet at times there creeps into his tone a note of sincere and manly pathos, unmistakable, irresistible.

In our first joyous and headlong interest in the narrative of *Huckleberry Finn*, its rapid succession of continuously arresting incidents, its omnipresent yet never intrusive humour, the deeper significance of many a passage in that contemporary classic is likely to escape notice. Sir Walter Besant, who revelled in it as one of the most completely satisfying and delightful of books, speaks of it deliberately as a book without a moral. Perhaps he was deceived by the foreword: "Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted; per-

sons attempting to find a moral in it will be banished; persons attempting to find a plot in it will be shot." There never was a more easy-going, care-free, unpuritanical lot than Huck and Jim, the two farcical "hoboes," Tom Sawyer, and the rest. And yet in the light of Mark Twain's later writings one cannot but see in that picaresque romance, with its pleasingly loose moral atmosphere, and underlying seriousness and conviction. Jim is a simple, harmless negro, childlike and primitive; yet, so marvellous, so restrained is the art of the narrator, that imperceptibly, unconsciously, one comes to feel not only a deep interest in, but a genuine respect for, this innocent fugitive from slavery. Mr. Booker Washington, a distinguished representative of his race, said he could not help feeling that, in the character of Jim, Mark Twain had, perhaps unconsciously, exhibited his sympathy for and interest in the masses of the negro people.

Indeed, to the reflective mind—and it is to be presumed that by that standard Mark Twain's works will ultimately be judged—there is no more significant passage in *Huckleberry Finn* than that in which Huck struggles with his conscience over the knotty problem of his moral responsibility for compassing Jim's emancipation. Nothing else is needed to show at once Mark Twain's preoccupation with the workings of human conscience in the unsophisticated mind and his conviction that, with the "lights that he had," Huck was justified in his courageous decision.

(Mark Twain, L., 1911)

1911

REUBEN POST HALLECK

[...] The works by which Mark Twain will probably be longest known are those dealing with the scenes of his youth. He is the historian of an epoch that will never return. His works that reveal the bygone life of the Mississippi Valley are not unlikely to increase in fame as the years pass. He resembles Hawthorne in presenting the early history of a section of our country. New England was old when Hawthorne was a boy, and he imaginatively reconstructed the life of its former days. When Mark Twain was young, the West was new; hence his task in literature was to preserve contemporary life. He has accomplished this mission better than any other writer of the middle West. [...]

Huckleberry Finn (1885) has been called the Odyssey of the Mississippi. This is a story of life on and along the great river, just before the middle of the nineteenth century. *Huckleberry Finn*, the son of a drunkard, and the friend of Tom Sawyer, is the hero of the book. The reader becomes deeply interested in the fortunes of Jim, a runaway slave, who accompanies Huck on a raft down the river, and who

is almost hourly in danger of being caught and returned or again enslaved by some chance white man. One of the strongest scenes in the story is where Huck debates with himself whether he shall write the owner where to capture Jim, or whether he shall aid the poor creature to secure his freedom. Since Huck was a child of the South, there was no doubt in his mind that punishment in the great hereafter awaited one who deprived another of his property, and Jim was worth eight hundred dollars. Huck did not wish to lose his soul, and so he wrote a letter to the owner. Before sending it, however, he, like Hamlet, argued the case with himself. Should he send the letter or forfeit human respect and his soul? The conclusion that Huck reached is thoroughly characteristic of Mark Twain's attitude toward the weak. The thirty-first chapter of *Huckleberry Finn*, in which this incident occurs, could not have been written by one who did not thoroughly appreciate the way in which the South regarded those who aided in the escape of a slave. Another unique episode of the story is the remarkable dramatic description of the deadly feud between the families of the Shepherdsons and the Grangerfords.

This story is Mark Twain's masterpiece, and it is not improbable that it will continue to be read as long as the Mississippi flows toward the Gulf. Of Mark Twain's achievement in these two tales, Professor William Lyon Phelps of Yale says: "He has done something which many popular novelists have signally failed to accomplish—he has created real characters. His two wonderful boys, Tom Sawyer and Huckleberry Finn, are wonderful in quite different ways. The creator of Tom exhibited remarkable observation; the creator of Huck showed the divine touch of imagination... *Tom Sawyer* and *Huckleberry Finn* are prose epics of American life." [...]

(*History of American Literature*. N. Y., 1911)

1912

ALBERT BIGELOW PAINE

[...] he loved the river in its every mood and aspect and detail, and not only the river, but a steamboat; and still more, perhaps, the freedom of the pilot's life and its prestige. Wherever he has written of the river—and in one way or another he was always writing of it—we feel the claim of the old captivity and that it still holds him. In the *Huckleberry Finn* book, during those nights and days with Huck and Nigger Jim on the raft—whether in stormlit blackness, still noontide, or the lifting mists of morning—we can fairly "smell" the river, as Huck himself would say, and we know that it is because the writer loved it with his heart of hearts and literally drank in its environment and atmosphere during those halcyon pilot days.

The story of *Huck Finn* will probably stand as the best of Mark

Twain's purely fictional writings. A sequel to *Tom Sawyer*, it is greater than its predecessor; greater artistically, though perhaps with less immediate interest for the juvenile reader. [...] The tale of Huck and Nigger Jim drifting down the mighty river on a raft, cross-sectioning the various primitive aspects of human existence, constitutes one of the most impressive examples of picaresque fiction in any language. It has been ranked greater than *Gil Blas*, greater even than *Don Quixote*; certainly it is more convincing, more human, than either of these tales.

Take the story as a whole, it is a succession of startling and unique pictures. [...] these are of no time or literary fashion and will never lose their flavor nor change their freshness so long as humanity itself does not change. [...] It is the way things happen in reality; and the quiet, unexcited frame of mind in which Huck is prompted to set them down would seem to be the last word in literary art.

It was Huck Finn's morality that caused the book to be excluded from the Concord Library, and from other libraries here and there at a later day. The orthodox mental attitude of certain directors of juvenile literature could not condone Huck's looseness in the matter of statement and property rights. [...]

Able critics have declared that the psychology of Huck Finn is the book's large feature: Huck's moral point of view—the struggle between his heart and his conscience concerning the sin of Jim's concealment, and his final decision of self-sacrifice. Time may show that as an epic of the river, the picture of a vanished day, it will rank even greater. The problems of conscience we have always with us, but periods once passed are gone forever.

Huck is what he is because, being made so, he cannot well be otherwise. He is a boy throughout—such a boy as Mark Twain had known and in some degree had been. One may pettily pick a flaw here and there in the tale's construction if so minded, but the moral character of Huck himself is not open to criticism. And indeed any criticism of this the greatest of Mark Twain's tales of modern life would be as the mere scratching of the granite of an imperishable structure. *Huck Finn* is a monument that no puny pecking will destroy. It is built of indestructible blocks of human nature; and if the blocks do not always fit, and the ornaments do not always agree, we need not fear. Time will blur the incongruities and moss over the mistakes. The edifice will grow more beautiful with the years. [...]

(*Mark Twain. A Biography.* N. Y., 1912)

1913

JOHN MACY

[...] To say in the face of that towering popularity that he is greater than his reputation may seem praise beyond reason, and it may be presumptuous to suggest that the millions who admire him do not all

know how great a man they admire or what in him is most admirable. Nevertheless it is true that this incorrigible and prolific joker has kept the world chuckling so continuously that it has not sobered down to comprehend what a powerful, original thinker he is. [...]

Like all true books about boys, *Tom Sawyer* gives glimpses of the social conditions and habits of the older generation. There are wider glimpses in *Huckleberry Finn*. Indeed this is more than a boy's book or a book about boys. It is a study of many kinds of society seen through eyes at once innocent and prematurely sage. Those who are fond of classifying books may see in *Huckleberry Finn* a new specimen of the picaresque novel of adventure; some classifiers, going back further for analogies, have called it the "Odyssey of the Mississippi," which is strikingly inept. It is a piece of modern realism, original, deep and broad, and it is in American literature deplorably solitary. It is one of the unaccountable triumphs of creative power that seem to happen now and again, as *Robinson Crusoe* happened, and the surrounding intellectual territory has not its comrade.

Huck's dialect is a marvel of artistry. As Clemens says in a significant preface, the shadings in the dialects reported by Huck "have not been done in a haphazard fashion, or by guesswork; but painstakingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with these several forms of speech." To maintain Huck's idiom and through it to describe a storm on the Mississippi with intense vividness; through the same dialect to narrate the tragic feud between the Grangerfords and the Shepherdsons; to hint profound social facts through the mouth of a boy and not violate his point of view—this is the work of a very great imagination. Huck's reflection on Tom Sawyer's proposal to "steal a nigger out of slavery" is a more dramatic revelation of the slaveholder's state of mind than *Uncle Tom's Cabin*, and expresses more powerfully than a thousand treatises the fact that "morality" is based on economic and social conditions:

Well, one thing was dead sure, and that was Tom Sawyer was in earnest, and was actually going to help steal that nigger out of slavery. That was the thing that was too many for me. Here was a boy that was respectable and well brung up; and had a character to lose; and folks at home that had characters; and he was bright and not leather-headed; and knowing and not ignorant; and not mean, but kind; and yet here he was, without any more pride, or rightness, or feeling, than to stoop to this business, and make himself a shame, before everybody.

Colonel Sherburn's speech to the crowd that came to lynch him is a sermon on cowardice and valour delivered to the American bully. It is Mark Twain uttering one of his favourite ideas through the Colonel. (Perhaps Huck would not have reported the Colonel's words so accurately.)

[Quotes Ch. XXII "They swarmed up in front" to "I didn't want to", p. 126]. [...]

Mark Twain's mind was of universal proportions; he meditated on all the deep problems, and somewhere in his work he touches upon most of the vital things that men commonly think about and wonder about. [...]

The final philosophy of this lover of boys and men and women and cats is, as he says, "a desolating doctrine." That is, it is desolating to timidity, but very brave for those who can square their shoulders and look things straight in the eye. It teaches that we have an interior Master whom our conduct must satisfy and whom nothing but good conduct will leave in peace. It eliminates all extraneous bribes to be good. It is like the religion which is preached in a work by another austere moralist—in Mr. Bernard Shaw's *The Showing-Up of Blanco Posnet*. And it bears some resemblance to the humane scepticism of Mr. Thomas Hardy. Without studying or caring at all for official philosophy (and all the wiser for the omission), Mark Twain came to a position of ethical and materialistic determinism which is rife in the thought of our time and is in one aspect as old as the Greek who said: "Character is fate." For his philosophy most readers quite properly care nothing. They care for his portrait of Mankind. And that is the greatest canvas that any American has painted.

(*The Spirit of American Literature*. N. Y., 1913)

1913

H. L. MENCKEN

The Burden of Humor

[...] I believe, there is a plausible explanation of the popular, and even of the critical attitude toward the late Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain). Unless I am so wholly mistaken that my only expiation lies in suicide, Mark was the noblest literary artist, who ever set pen to paper on American soil, and not only the noblest artist, but also one of the most profound and sagacious philosophers. From the beginning of his maturity down to his old age he dealt constantly and earnestly with the deepest problems of life and living, and to his consideration of them he brought a truly amazing instinct for the truth, an almost uncanny talent for ridding the essential thing of its deceptive husks of tradition, prejudice, flubdub and balderdash. No man, not even Nietzsche, ever did greater execution against those puerilities of fancy which so many men mistake for religion, and over which they are so eager to dispute and break heads. No man had a keener eye for that element of pretense which is bound to intrude itself into all human thinking, however serious, however painstaking, however honest in intent. And yet, because the man had humor as

well as acumen, because he laughed at human weakness instead of weeping over it, because he turned now and then from the riddle of life to the joy of life—because of this habit of mind it is the custom to regard him lightly and somewhat apologetically, as one debarred from greatness by unfortunate infirmities.

I believe that *Huckleberry Finn* is one of the great masterpieces of the world, that it is the full equal of *Don Quixote* and *Robinson Crusoe*, that it is vastly better than *Gil Blas*, *Tristram Shandy*, *Nicholas Nickleby* or *Tom Jones*. I believe that it will be read by human beings of all ages, not as a solemn duty but for the honest love of it, and over and over again, long after every book written in America between the years 1800 and 1860, with perhaps three exceptions, has disappeared entirely save as a classroom fossil. I believe that Mark Twain had a clearer vision of life, that he came nearer to its elementals and was less deceived by its false appearances, than any other American who has ever presumed to manufacture generalizations, not excepting Emerson. I believe that, admitting all his defects, he wrote better English, in the sense of cleaner, straighter, vividder, saner English, than either Irving or Hawthorne. I believe that four of his books—*Huck*, *Life on the Mississippi*, *Captain Stormfield's Visit to Heaven*, and *A Connecticut Yankee*—are alone worth more, as works of art and as criticisms of life, than the whole output of Cooper, Irving, Homes, Mitchell, Stedman, Whittier and Bryant. I believe that he ranks well above Whitman and certainly not below Poe. I believe that he was the true father of our national literature, the first genuinely American artist of the blood royal. [...]

[...] He was one of the great artists of all time. He was the full equal of Cervantes and Molière, Swift and Defoe. He was and is the one authentic giant of our national literature.

(*Smart Set*. 1913, February)

1919

WALDO FRANK

[...] Out of the bitter wreckage of his long life, one great work emerges by whose contrasting fire we can observe the darkness. This work is *Huckleberry Finn*. It must go down in history, not as the expression of a rich national culture like the books of Chaucer, Rabelais, Cervantes, but as the voice of American chaos, the voice of a precultural epoch. Mark Twain kept this book long at his side. Ostensibly, it was the sequel to *The Adventures of Tom Sawyer* which appeared in 1875. "Huck" came nine years later. In it for once, the soul of Mark Twain burst its bonds of false instruction and false ideal, and found voice. Mark Twain lived twenty-six years longer. That voice never spoke again.

Huckleberry Finn is the simple story of a young white lad, born on the banks of the Mississippi who, with an escaped slave named Jim, builds a raft and floats down the mighty current. Mark Twain originally had meant it to be nothing else; had meant it for the mere sequel of another tale. But his theme was too apt a symbol. Into it he poured his soul.

Huck is a candid ignorant courageous child. He is full of the cunning and virtue of the resilient savage. He wears the habiliments of the civilization from which he comes, loosely, like trinkets about his neck. He and his companion build a raft and float. At night they veer their craft into the shallows or sleep on land. They have many adventures. The adventures that Huck has are the material of pioneering life. He always *happens* upon them. At times, he is a mere spectator: at time enforced accessory. Always, he is passive before a vaster fact. Huck is America. And Huck *floats* down the current of a mighty Stream.

Huckleberry Finn is the American epic hero. Greece had Ulysses. America must be content with an illiterate lad. He expresses our germinal past. He expresses the movement of the American soul through all the sultry climaxes of the Nineteenth Century.

The Mississippi with its countless squalid towns and its palatial steamboats was a ferment of commingled and insoluble life. All the elements of the American East and all the elements of Europe seethed here, in the hunt of wealth. A delirium of dreams and schemes and passions, out of which shaped our genius for invention and exploitation. The whole gamut of American beginnings ran with the river. And Huck along. One rises from the book, lost in the beat of a great rhythmic flow: the unceasing elemental march of a vast life, cutting a continent, feeding its soil. And upon the heaving surface of this Flood, a human child: ignorant, joyous and courageous. The American soul like a midge upon the tide of a world.

Mark Twain was fifty when this work appeared. The balance of his literary life, before and after, went mostly to the wastage of half-baked, half-believed, half-clownish labor. And underneath the gibes and antics of the professional jester, brooded the hatred and resentment of a tortured child. Mark Twain, in his conscious mind, shared his people's attitude of contempt for "art and spiritual matters"—shared their standards of success. Mark Twain strove to make money and to please! This great soul came to New York and felt ashamed before the little dancing-masters of the magazines; felt humble before Richard Watson Gilder and William Dean Howells! Shared their conviction that he was only a crude, funny writer from Missouri; changed the texts of his books to suit their fancy. Mark Twain did not believe in his soul, and his soul suffered. Mark Twain believed, with his fellows, that the great sin was to be unpopular and poor, and his soul died. His one great work was the result of a burst of spirit over the dikes of social inhibition and intellectual fear. *Leaves of Grass* came in consequence of a similar bursting of the floodgates. American ex-

pression has ever had to break through the bars of pioneer conviction. But in the case of Whitman, the spirit remained free. [...]

(*Our America*. N. Y., 1919)

1920

VAN WYCK BROOKS

There was a reason for Mark Twain's pessimism, a reason for that chagrin, that fear of solitude, that tortured conscience, those fantastic self-accusations, that indubitable self-contempt. It is an established fact, if I am not mistaken, that these morbid feelings of sin, which have no evident cause, are the result of having transgressed some inalienable life-demand peculiar to one's nature. It is as old as Milton that there are talents which are "death to hide," and I suggest that Mark Twain's "talent" was just so hidden. That bitterness of his was the effect of a certain miscarriage in his creative life, a balked personality, an arrested development of which he himself was almost wholly unaware, but which for him destroyed the meaning of life. The spirit of the artist in him, like the genie at last released from the bottle, overspread in a gloomy vapor the mind it had never quite been able to possess. [...]

If Jane Clemens had been a woman of wide experience and independent mind, in proportion to the strength of her character, Mark Twain's career might have been wholly different. Had she been catholic in her sympathies, in her understanding of life, then, no matter how more than maternal her attachment to her son was, she might have placed before him and encouraged him to pursue interests and activities amid which he could eventually have recovered his balance, reduced the filial bond to its normal measure and stood on his own feet. But that is to wish for a type of woman our old pioneer society could never have produced. We are told that the Aunt Polly of *Tom Sawyer* is a speaking portrait of Jane Clemens, and Aunt Polly, as we know, was the symbol of all the taboos. The stronger her will was, the more comprehensive were her repressions, the more certainly she became the inflexible guardian of tradition in a social regime where tradition was inalterably opposed to every sort of personal deviation from the accepted type.

Already, I think we divine what was bound to happen in the soul of Mark Twain. The story of Huckleberry Finn turns, as we remember, upon a conflict: "The author," says Mr. Paine, "makes Huck's struggle a psychological one between conscience and the law, on one side, and sympathy on the other." In the famous episode of Nigger Jim, "sympathy," the cause of individual freedom, wins. "We found," says the boy who tells the story [of "The Mysterious Stranger"],

"that we were not manly enough nor brave enough to do a generous action when there was a chance that it could get us into trouble." Conscience and the law, we see, had long prevailed in the spirit of Mark Twain, but what is the conscience of a boy who checks a humane impulse but "boy terror," as Mr. Paine calls it, an instinctive fear of custom, of tribal authority? The conflict in *Huckleberry Finn* is simply the conflict of Mark Twain's own childhood. He solved it successfully, he fulfilled his desire, in the book, as an author can. In actual life he did not solve it at all; he surrendered.

As we can see now, it was affection rather than material self-interest that was leading Mark Twain onward and upward. It had always been affection! He had never at bottom wanted to "make good" for any other reason than to please his mother, and in order to get on he had had to adopt his mother's values of life; he had had to repress the deepest instinct in him and accept the guidance of those who knew the ropes of success. As the ward of his mother, he had never consciously broken with the traditions of Western society. Now, a candidate for gentility on terms wholly foreign to his nature, he found the filial bond of old renewed with tenfold intensity in a fresh relationship. He had to "make good" in his wife's eyes, and that was a far more complicated obligation. As we shall see, Mark Twain rebelled against her will, just as he had rebelled against his mother's, yet could not seriously or finally question anything she thought or did. "He adored her as little less than a saint," we are told: which is only another way of saying that, automatically, her gods had become his. [...]

It was *The Prince and the Pauper*, a book that anybody might have written but whose romantic medievalism was equally respectable in its tendency and infantile in its appeal, that Mrs. Clemens felt so proud of: "Nobody," adds Mr. Paine, "appears to have been especially concerned about Huck, except, possibly the publisher." Plainly it was very little encouragement that Mark Twain's natural genius received from these relentless critics to whom he stood in such subjection, to whom he offered such devotion; for Mr. Howells, too, if we are to accept Mr. Paine's record, seconded him as often as not in these innocuous, infantile ventures, abetting him in the production of "blindfold novelettes" and plays of an abysmal foolishness. As for Mark Twain's unique masterpiece, *Huckleberry Finn*; "I like it only tolerably well, as far as I have got," he writes, "and may possibly pigeonhole or burn the MS when it is done"; to which Mr. Paine adds: "It did not fascinate him as did the story of the wandering prince. He persevered only as the story moved him. [...] Apparently, he had not yet acquired confidence or pride enough in poor Huck to exhibit him, even to friends."

Through the character of Huck, that disreputable, illiterate little boy, as Mrs. Clemens no doubt thought him, he was licensed to let himself go. We have seen how indifferent his sponsors were to the writing and the fate of this book. [...] The more indifferent they

were, the freer was Mark Twain! Anything that little vagabond said might be safely trusted to pass the censor, just because he was a little vagabond, just because, as an irresponsible boy, he could not, in the eyes of the mighty ones of this world, know anything in any case about life, morals and civilization. That Mark Twain was almost, if not quite, conscious of his opportunity, we can see from his introductory note to the book: "Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be banished; persons attempting to find a plot in it will be shot." He feels so secure of himself that he can actually challenge the censor to accuse him of having a motive! Huck's illiteracy, Huck's disreputableness and general outrageousness are so many shields behind which Mark Twain can let all the cats out of the bag with impunity. He must, I say, have had a certain sense of his unusual security when he wrote some of the more cynically satirical passages of the book, when he permitted Colonel Sherburn to taunt the mob, when he drew that picture of the audience who had been taken in by the Duke proceeding to sell the rest of their townspeople, when he had the King put up the notice, "Ladies and Children not Admitted," and add: "There, if that line don't fetch them, I don't know Arkansaw!" The withering contempt for humankind expressed in these episodes was of the sort that Mark Twain expressed more and more openly, as time went on, in his own person; but he was not indulging in that costly kind of cynicism in the days when he wrote *Huckleberry Finn*. He must, therefore, have appreciated the license that little vagabond, like the puppet on the lap of a ventriloquist, afforded him. This, however, was only a trivial detail in his general sense of happy expansion, of ecstatic liberation. "Other places do seem so cramped up and smothery, but a raft don't," says Huck, on the river; "you feel mighty free and easy and comfortable on a raft." Mark Twain himself was free at last! —that raft and river to him were something more than mere material facts. His whole unconscious life, the pent-up river on his own soul, had burst its bonds and rushed forth, a joyous torrent! Do we need any other explanation of the abandon, the beauty, the eternal freshness of *Huckleberry Finn*? Perhaps we can say that a lifetime of moral slavery and repression was not too much to pay for it. Certainly, if it flies like a gay, bright, shining arrow through the tepid atmosphere of American literature, it is because of the straining of the bow, the tautness of the string, that gave it its momentum.

Yes, if we did not know, if we did not feel, that Mark Twain was intended for a vastly greater destiny, for the role of a demiurge, in fact, we might have been glad of all those pretty restrictions and misprisions he had undergone, restrictions that had prepared the way for this joyous release. No smoking on Sundays! No "swearing" allowed! Neckties having to be bothered over! That everlasting diet of Ps and Qs, petty Ps and pettier Qs, to which Mark Twain had had to submit, the domestic diet of Mrs. Clemens, the literary diet of Mr. Ho-

wells, those second parents who had taken the place of his first—we have to thank it, after all, for the vengeful solace we find in the promiscuous and general revolt of Huckleberry Finn.

(*The Ordeal of Mark Twain*. N. Y., 1920)

1921

STUART P. SHERMAN

Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens, more widely known as Mark Twain, was of the "bully breed" which Whitman had prophesied. Writing outside "the genteel tradition," he avowedly sought to please the masses, and he was elected to his high place in American literature by a tremendous popular vote, which was justified even in the opinion of severe critics by his exhibition of a masterpiece or so not unworthy of Le Sage or Cervantes. Time will diminish his bulk as it must that of every author of twenty-five volumes; but the great public which discovered him still cherishes most of his books; and his works, his character, and his career have now, and will continue to have, in addition to their strictly literary significance, a large illustrative value, which has been happily emphasized by Albert Bigelow Paine's admirable biography and collection of letters. Mark Twain is one of our great representative men. He is a fulfilled promise of American life. He proves the virtues of the land and the society in which he was born and fostered. He incarnates the spirit of an epoch of American history when the nation, territorially and spiritually enlarged, entered lustily upon new adventures. In the retrospect he looms for us with Whitman and Lincoln, recognizably his countrymen out of the shadows of the Civil War, an unmistakable native son of an eager, westward-moving people—unconventional, self-reliant, mirthful, profane, realistic, cynical, boisterous, popular, tender-hearted, touched with chivalry, and permeated to the marrow of his bones with the sentiment of democratic society and with loyalty to American institutions. [...]

Huckleberry Finn exceeds even *Tom Sawyer* almost as clearly as *Tom Sawyer* exceeds *The Prince and the Pauper*. Mark Twain had conceived the tale in 1876 as a sequel to the story of Tom. In the course of its long gestation he had revisited the Mississippi Valley and had published his superb commemoration of his own early life on the river. He wrote his second masterpiece of Mississippi fiction with a desire to express what in *Tom Sawyer* he had hardly attempted, what, indeed, came slowly into his possession, his sense of the half-barbaric charm and the romantic possibilities in that grey wilderness of moving water and the rough men who trafficked on it. He had

given power to the earlier story by the representation of characters and incidents which are typical of the whole of American boyhood in rural communities in many parts of the country. He gave power to *Huckleberry Finn* by a selection of unusual characters and extraordinary incidents which are inseparably related to and illustrative of their special environment. He shifted heroes, displacing quick-witted, imaginative Tom by the village drunkard's son, because Huck in his hard, nonchalant, adventurous adolescence is a more distinctive product of the frontier. He changed the narrator, letting Huck tell his own story, in order to invest the entire narrative in its native garb and colour. Huck perhaps exhibits now and then a little more humour and feeling for nature than a picaro is entitled to possess; but in the main his point of view is well maintained. His strange captivity in his father's cabin, the great flight down the river, the mysteries of fog and night and current, the colloquy on King Sollermun, the superbly incidental narrative of the Grangerford-Shepherdson feud, the appealing devotion and affectionateness of Nigger Jim, Huck's case of conscience,—all are stamped with the peculiar comment of Huck's earthy, callous, but not insensitive soul. The stuff and manner of the tale are unique, and it is as imperishably substantial as *Robinson Crusoe*, whether one admire it with Andrew Lang as "a nearly flawless gem of romance and humour" or with Professor Matthews as "a marvellously accurate portrayal of a whole civilization."

(*The Cambridge History of American Literature*. Ed. by William P. Trent, John Erskine, S. P. Sherman, Carl Van Doren, Vol. 3, N. Y., 1921)

1930

VERNON LOUIS PARRINGTON

As Whitman contemplated the feeble literature purveyed by the worshippers of the genteel he asked with some irritation: "What is the reason in our time, our lands, that we see no fresh local courage, sanity, of our own—the Mississippi, stalwart Western men, real mental and physical facts, Southerners, etc., in the body of our literature?" That was in 1870 and the answer was at hand in the person of Mark Twain. Here at last was an authentic American—a native writer thinking his own thoughts, using his own eyes, speaking his own dialect—everything European fallen away, the last shred of feudal culture gone, local and western yet continental. A strange and uncouth figure in the eyes of Thomas Bailey Aldrich, yet the very embodiment of the turbulent frontier that had long been shaping a native psychology, and that now at last was turning eastward to Americanize the Atlantic seaboard. [...]

[...] To know Mark Twain is to know the strange and puzzling contradictions of the Gilded Age. With unconscious fidelity he reveals its crudity, its want of knowledge, discipline, historical perspective; its intellectual incapacity to deal with the complexities of a world passing through the twin revolutions of industrialism and science. And he reflects with equal fidelity certain other qualities that go far to redeem the meanness: a great creative power; an eager idealism, somewhat vague but still fine; a generous sympathy; a manly independence that strove to think honestly; a passionate hatred of wrong and injustice and an honest democratic respect for men as men. A significant if not an unsoiled or heroic document!

That in his later years an impassable gulf opened between Mark Twain and his generation, that the buoyant humorist of the seventies ripened into the bitter satirist of the nineties, is a matter that has been much remarked upon. The fact is clear enough but the explanation is not so clear. In part no doubt—as Van Wyck Brooks has pointed out—the change resulted from a thwarting of the creative artist by a disastrous surrender to the ideals of the Gilded Age; in part, also, it was the inevitable toll exacted by the passing years. A humane and generous spirit cannot long watch with indifference the motley human caravan hastening to eternity—cannot find food for laughter alone in the incredible meanness and folly of men cheating and quarreling in a wilderness of graves. Tenderness, chivalry, love of justice, are poor bucklers to withstand the blows of fate, and Mark Twain had little skill in defense. The humorist like the poet is sensitively responsive to life and the scars multiply fast. Endowed with a nature not unlike Swift's in its fierce rage at inhumanity, not unlike Sir Philip Sidney's in its romantic chivalry, he was not a stoic to endure with equanimity. He was foredoomed to suffer vicariously. [...]

There is no more pathetic figure in American literature than Mark Twain, alone and solitary amid the blatant American crowd, living in a dreary wash of speeches and banquets, spinning the threads of a rebellious philosophy out of his own bowels, unaware of what others were spinning, regarding himself as a dangerous fellow and stowing away in his strong-box intellectual bombs that he thought too explosive for the Gilded Age to play with. In his intellectual isolation he could not take the measure of his speculations and he did not realize how common were such conclusions—that his own generation indeed, under the tutelage of the physical sciences, was fast drifting in the same direction, and that the clouds of pessimism were obscuring for many the brighter horizons of an earlier day. [...]

The slow drift of Mark Twain's thought from humor to satire—it smacks of Philistinism to call it progress with its many false alarms and excursions and its huge frontier wastefulness—is plain enough to anyone who will take the trouble to chart his course. [...]

He had opened [in *The Gilded Age*] another door to his genius

and discovered the satirist. There lay the real Mark Twain. But the wares of the satirist were not in demand at the barbecue, so he closed the door and fell to purveying what the public wanted. *Tom Sawyer* was in part a malicious thrust at the Sunday School tale, and in part a whimsical pronouncement of the natural rights of the small boy. But it is in *Huckleberry Finn*—the one great picaresque tale of the frontier—that the western philosophy of Mark Twain, a philosophy that derives straight from the old naturalistic school, crops out most sharply. It is a drama of the struggle between the individual and the village *mores*, set in a loose picturesque framework, and exemplifying the familiar thesis that the stuff of life springs strong and wholesome from the great common stock. Huck Finn is a child of nature who has lived close to the simple facts of life, unperturbed by the tyrannies of the village that would make a good boy of him. He had got his schooling from the unfenced woods, from the great river that swept past him as he idly fished, from the folk-tales of negroes and poor whites, from queer adventures with Tom Sawyer; and from such experiences he had got a code of natural ethics. Then he found himself on the raft with Jim the runaway nigger, and his little pagan soul felt the stirrings of the problem of right and wrong. The village code and the natural code clashed and the conflict was terrifying. The village code warned him that hell yawned for one who helped a slave escape, and the human code warned him that betrayal was a blackguardly thing. With the fear of hell upon him he wrote to Miss Watson, and then his sense of the kindness of Jim, the honest humanity under the black skin, rose up in fierce protest.

It was a close place. I took [the letter] up, and held it in my hands. I was a-trembling, because I'd got to decide, forever, betwixt two things, and I knowed it. I studied for a minute, sort of holding my breath, and then says to myself:

"All right, then, I'll go to hell"—and tore it up.

It was awful thoughts and awful words, but they was said. And I let them stay said; and never thought no more about reforming.

It was a triumph over the sacred tribal law of conformity—the assertion of the individual will in opposition to society—and it reveals the heart of Mark Twain's philosophy. The rebel Huck is no other than the rebel Mark Twain whose wrath was quick to flame up against the unrighteous customs and laws of caste. If men were only honest realists—that is, if they were men and not credulous fools—how quickly the stables might be cleansed and life become decent and humane. If only the good brains could be segregated and trained in a real "man-factory," the history of civilization might become something the angels need not weep over as they read it. It all comes back to an honest realism that in accepting fact will clear away the superstitious fogs in which men have floundered and suffered hitherto. The one

sacred duty laid on every rational being is the duty of rebellion against sham—to deny the divinity of clothes, to thrust out quack kings and priests and lords, to refuse a witless loaylty to things. This creed of the rebel is written all through Mark Twain's later work, edging his satire and lending an Emersonian note to his individualism.... [...]

(*Main Currents in American Thought*, N. Y., 1930, vol. 3)

1932

STEPHEN LEACOCK

[...] But when Mark Twain turned from the Thames of 1550 to the Mississippi of 1850, that was another story. The appearance in print of the *Adventures of Huckleberry Finn* marks the highest reach of his achievement.

All the world has read the story of the ragged little outcast, Huckleberry Finn, floating down the Mississippi on a raft, his companion the runaway Nigger Jim. Every reader has felt the wonderful charm of the scenery and setting—the broad flood of the river, the islands tangled with wild vines, the sand-bars and the current swirling past the sunken snags: the stillness of the night with voices coming from the lumber rafts far over the water: the fascination of the passing steamboat, its lighted windows and its trail of sparks breaking the black night; and then the dawn and the sun clearing the mist from the waters.

The writer seems to have groped his way into the book like a treasure-seeker. It opens to a wrong start—Tom Sawyer and his boy-chums and pirate games—that would never have gone far. Then it drifts to Huck Finn and his drunken, dissolute, unkempt father, "pap" ("His hair was long and tangled and greasy, and hung down, and you could see his eyes shining through like he was behind vines"); Huck a prisoner in a hut in the hands of the drunkard; his escape; the raft; the finding of Nigger Jim, and with that we float away on the bosom of the river. There are tragic episodes of the river, the feud, the murder, the false claim of the inheritance, the bag of money in the coffin. The story pushes hard against burlesque here and there, as when the raft is invaded by the down-and-out bummers, the "King" and the "Duke." Artistically it almost breaks here—yet oddly enough this is the very part that readers who care nothing for art like best—the sheer roaring fun of it. The Duke getting ready a performance to be given in passing a town and furbishing up his recollections of Shakespeare in the form of—

"*To be or not to be; that is the bare bodkin,*" is as typically and triumphantly Mark Twain as anything he ever wrote.

In the end the raft floats to Arkansas; Huck is cast up at Silas

Phelps's farm and Tom Sawyer gets back into the book—and spoils it. As soon as he comes all the depth of meaning, all the breadth of the picture is lost. It is just backyard stuff—the kind of thing they make “comic strips” of.

But the bulk of the book is marvellous. The vision of American institutions—above all, of slavery—as seen through the unsullied mind of little Huck; the pathos and charm of the Negro race shining through the soul of Nigger Jim—the western scene, the frontier people—it is the epic of a vanished America.

Strange that anyone could imagine that such a book as *Joan of Arc*—conventional, imitative, unnatural—could compare with this. Yet Mark Twain supposed it far superior, and the pundits and stodges, belly-heavy with culture, all agreed. Yet there are those, there must be, who consider the *Adventures of Huckleberry Finn* the greatest book ever written in America.

An outstanding feature of the book is that it is American literature. Whatever the works of Washington Irving and Fenimore Cooper and Longfellow were, there is no doubt about *Huckleberry Finn*. Every now and then the dispute breaks out in the colleges and spills over into the press as to what *American* literature was and is, and when it began. Like all controversies, the dispute is bottomless and involves a hopeless number of definitions of terms. But by American literature in the proper sense we ought to mean literature written in an American way, with an American turn of language and an American cast of thought. The test is that it couldn't have been written anywhere else. When we read the books of O. Henry we know that they were not written in England; they couldn't have been. Longfellow may have written about America, but the form of his language and his thought was the same as that of his English contemporaries. He shared in their heritage, and added to the common stock. Judged in this sense—in order to make the point clear and rob it of all venom—there is as yet no Canadian literature, though many books have been written in Canada, including some very bad ones.

But *Huckleberry Finn* was triumphantly obvious and undeniably American.

(Mark Twain. Edinburgh, 1932)

1932

V. F. CALVERTON

While Walt Whitman should be described as the first American poet, Mark Twain must be credited with being the first American prose writer of any importance. Both men were products of the frontier force, which...was not something that was confined to its own region; it was a force that swept abroad in the land; gathering energy

from its source, it arose like an intellectual typhoon, spiralling this way and that as it acquired momentum, and scattering itself in a myriad fragments as it spread. Even Europe felt its impact. [...]

Beginning as a pure frontier product, reeling off in his prose all the spontaneity of that region, its hilarious gaieties and irresponsible enthusiasms, he ended in the East as a convinced pessimist and dyspeptic philosopher not less desperate in his despairs than Leopardi. In a way, he was the Charlie Chaplin of American literature. Ever eager, especially in his latter days, to be a Hamlet, he was forced to remain a Falstaff. There were, thus, two Mark Twains and not one, and those who have tried to interpret the contradictions in his character have tripped up very often by their failure to see that this dichotomy in his personality had as much to do with the environment as with the immediate conflict of his soul. The youthful Mark Twain, the Mark Twain of the West, the avatar of the frontier, who loved pilots, and miners, and the common run of people, who felt himself part of the region he described, and who in humorous form gave life to those people and to that region—that Mark Twain was an optimist, a lover of life, a devotee of the soil and of the country which he cherished with such childish pride. The other Mark Twain, the older Mark Twain, the Mark Twain of the East, the Mark Twain who was successful, had lost the optimism and zest, had lost the faith of his youth. The America that he saw growing up about him was not the America of his dream. The promise of the frontier had begun to grow stale. The era of the trusty boatmen had vanished. Industry had overcome the nation, and subdued the land and those who had once controlled it. [...]

The Mark Twain we are interested in, however, the Mark Twain who is important to American literature, is the early Mark Twain, the Mark Twain who was the author of *Innocents Abroad*, *The Gilded Age*, and *Huckleberry Finn*, and not the older Mark Twain, the Mark Twain who was the author of *What Is Man* and *The Mysterious Stranger*. *What Is Man*, for example, voicing the disenchantment of spirit that overcame him toward the end of his life, is a revealing philosophic exercise but nothing more. Its literary significance is infinitesimal. *Huckleberry Finn*, on the other hand, expressing the philosophy of his earlier life, and carrying within it the seeds of his own experience and the spirit of his native environment, is a significant fiction. Indeed, its literary importance has increased instead of decreased with the years. Representing the younger Mark Twain who meant more to American literature than the older, and representing the America which at that time was the most American, *Huckleberry Finn* stands out not only as Twain's best work but also as one of the few American classics. [...]

[...] The frontier with its petty bourgeois psychology believed in the free man, the freedom of the individual man from the tyranny of aristocrats as well as plutocrats. It believed in itself, as we have

said, it believed in its own principles and potentialities. [...]

At no time, except perhaps when he became so obsequious over the Oxford degree that was bestowed upon him, did Twain desert his forthright petty bourgeois point of view; at no time did he "sell out" his philosophy to the upper bourgeoisie of the East. In the twentieth century, if he had lived until our day, it is even likely that he might have joined in with Dreiser and taken a communistic stand. But living when he did, when all of America, even its labor movement, was dominated by a petty bourgeois instead of a proletarian psychology, the petty bourgeois position was the most advanced one of his type could take. To such as Twain it often seemed the stand of the revolutionary. [...]

[...] Even in *Huckleberry Finn*, the virtues extolled are those of the petty bourgeois frontiers-man. Huck is a western lad, embodying the independent, dare-devil spirit of the region, a rascal type contemptuous of rules and regulations, scornful of Sunday-school and even of civilization—scornful of everything but himself and what he regards as right. Huck, an epic embodiment of the frontier in knepants, sticks by himself in defiance of what others think, in defiance even of institutions and all the moral paraphernalia of the conventional world.

(*The Liberation of American Literature*. N. Y., 1932)

1932

BERNARD DE VOTO

As an accessory of literature, American journalism attained its highest reach in the February or Midwinter number of the *Century Magazine* for 1885. That issue carried "Royalty on the Mississippi" the last of three selections from *The Adventures of Huckleberry Finn*. It had also the ninth and tenth chapters of *The Rise of Silas Lapham* and began the serialization of *The Bostonians*. No comparable enterprise has ever been undertaken by a magazine.

To Mark, Howell's novel seemed "dazzling—masterly—incomparable." But as for Henry James's, he "would rather be damned to John Bunyan's heaven than read that." Both judgments were inevitable to him, but they neglect to understand a coincidence that joined the two novels with his in the climax of the national literature which followed the Civil War. The coincidence provides a yardstick for comparative measurements.

Both novels are exquisitely conceived and written. Both employ a more mature technique than our fiction had experienced before them. Both, to the full extent of their powers, embody the truth about their themes sensitively studied and imaginatively projected. But both are

wonderfully innocent of the world, their time and their nation. They are insulated from America. They are the genteel tradition attaining its complete expression in fiction but also irrevocably revealing its anæmia. Their impotence could be no more dramatically exhibited than by Gilder's accompanying them with selections from the novel in which nineteenth-century America exists with a vitality, a finality, and a greatness it has had nowhere else. [...]

The opening is just *Tom Sawyer* and pretty poor *Tom Sawyer* at that. Huck's report of his emotions while ghosts are talking to him in the wind is a promise of what is to come, but Tom Sawyer's gang commenting on *Don Quixote* lacks the fineness of its predecessor. Discussions of ransom and Tom's exposition of Aladdin's lamp are feeble; such finish as they have comes from Huck's tolerant but obstinate common sense, here making its first experiments. But no flavor of the real Odyssey appears until Miss Watson forbids him to avert by magic the bad luck made inevitable by spilled salt, thus precipitating his trouble, and he immediately finds in the snow the impression of a boot heel in which nails make a cross to keep off the devil. [...] The concluding episodes of the attempted fraud on the Wilks family are weak in their technical devices—the manipulation required to postpone the detection of imposture, for instance, is annoying. Thereafter the narrative runs downhill through a steadily growing incredibility. The use of ghosts, the deceptions practiced on Aunt Sally and Uncle Silas, the whole episode built around the delivery of Jim from prison—all these are far below the accomplishment of what has gone before. [...]

So, though I regard comparisons as worthless in æsthetics, the obligation of a critic of Mark Twain rests on me to point out these self-same faults in the only American novel which even enthusiasm can offer to dispute the preëminence of *The Adventures of Huckleberry Finn*. Much more identity than has ever been noticed in print exists in the careers of Mark Twain and Herman Melville, whose minds were as antipathetic as religion and reality or the subjective and the objective world can be. Similarly, Jonathan Edwards's successor, when he came to write his masterpiece, plentifully anticipated the errors of Mark Twain and went beyond them. [...] And, though Melville could write great prose, his book frequently escapes into a passionately swooning rhetoric that is unconscious burlesque. He was no surer than Mark, he was in fact less sure, of the true object of his book, and much less sure of the technical instruments necessary to achieve it. That much of weakness the two novels have in common. It is convenient to point out, this much having been said, that they are otherwise antipathies. *Moby Dick* opposes metaphysics to the objective reality of *Huckleberry Finn*.

The title announces the structure: a picaresque novel concerned with the adventures of Huckleberry Finn. The form is the one most native to Mark Twain and so best adapted to his use. No more than

Huck and the river's motion gives continuity to a series of episodes which are in essence only developed anecdotes. They originate in the tradition of newspaper humor, but the once uncomplicated form becomes here the instrument of great fiction. The lineage goes back to a native art; the novel derives from the folk and embodies their mode of thought more purely and more completely than any other ever written. Toward the beginning of this preface it was asserted that the life of the southwestern frontier was umbilical to the mind of Mark Twain. The blood and tissue of *Huckleberry Finn* have been formed in no other way. That life here finds issue more memorably than it has anywhere else, and since the frontier is a phase through which most of the nation has passed, the book comes nearer than any other to identity with the national life. The gigantic amorphousness of our past makes impossible, or merely idle, any attempt to fix in the form of idea the meaning of nationality. But more truly with *Huckleberry Finn* than with any other book, inquiry may satisfy itself: here is America. [...]

The arrival of Huck's father lifts the narrative from the occupations of boyhood to as mature intelligence as fiction has anywhere. The new interest begins on a major chord, for old man Finn is the perfect portrait of the squatter. Behind him are the observations of hundreds of anonymous or forgotten realists who essayed to present the clay eaters or piney-woods people, as well as lifelong interest of Mark Twain's. It is amazing how few pages of type he occupies; the effect is as of a prolonged, minute analysis. There is no analysis; a clear light is focused on him and the dispassionate, final knowledge of his creator permits him to reveal himself. We learn of him only that he had heard about Huck's money "away down the river," but a complete biography shines through his speech. This rises to the drunken monologue about a government that can't take a-hold of a prowling, thieving, white-shirted free nigger. The old man subsides to an attack of snakes, is heard rowing his skiff in darkness, and then is just a frowsy corpse, shot in the back, which drifts downstream with the flood. [...]

But in such passages as this, the clearly seen individuals merge into something greater, a social whole, a civilization, seen just as clearly. Pokeville, where the King is converted at the camp meeting, Bricks-ville, and the town below the P'int where a tanner has died are one with Dawson's Landing and Napoleon—but more concentrated and thereby more final. It seems unnecessary to linger in consideration of this society. At the time of its appearance in 1885 a number of other novelists, perhaps fecundated by *The Gilded Age*, were considering similar themes. The name of any one of them—Charles Egbert Crad-dock or Mary E. Wilkins or Edward Eggleston will do—is enough to distinguish honest talent from genius. The impulse weakened under the æstheticism of the Nineties, and it was not till after the World War that the countryside again received consideration in these terms. To set Bricksville against Gopher Prairie or Winesburg is to perceive

at once the finality of Mark Twain. The long lanky man in a white stovepipe hat who rehearses the death of Boggs has recorded this society with an unemotional certainty beside which either Mr. Lewis's anger or Mr. Anderson's misery seems a transitory hysterics. [...]

The portraiture which begins among the dregs with old man Finn ends with the Grangerfords. Between these strata has come every level of the South. What is the integrity of an artist? It would seem to consist in an intelligence which holds itself to the statement of a perceived truth, refusing to color it with an emotion of the artist's consequent to the truth.... These scenes are warm with an originality and a gusto that exist nowhere else in American fiction, and yet they are most notable for Mark Twain's detachment. There is no coloration, no resentment, no comment of any kind. The thing itself is rendered. If repudiation is complete, it exists implicitly in the thing.

The differentiation of the speech these people use is so subtly done that Mark had to defend himself against an accusation of carelessness. He did not want readers to "suppose that all these characters were trying to talk alike and not succeeding." Superlatives are accurate once more: no equal sensitiveness to American speech has ever been brought to fiction. But a triumph in dialect is after all one of the smaller triumphs of novel-writing, and the important thing to be observed about Huckleberry's speech is its achievement in making the vernacular a perfect instrument for all the necessities of fiction. Like Melville, Mark Twain could write empty rhetoric enough when the mood was on him, and the set pieces of description in the travel books are as trying as the McGuffey selections which may have influenced them, while a willingness to let tears flow menaces a good many effects elsewhere. Yet his writing is never mediocre and is mostly, even in the least pretentious efforts, a formidable strength. Beginning with *Life on the Mississippi* it becomes, as Mr. Ford has remarked, one of the great styles of English literature. No analysis need be made here: its basis is simplicity, adaptability, an intimate liaison with the senses, and fidelity to the idioms of speech. Against the assertions of criticism, it should be remembered that such a style is not developed inattentively, nor are infants born with one by God's providence. Mark's lifelong pleasure in the peculiarities of language, which has distressed commentators, was the interest of any artist in his tools. [...] The successful use of an American vernacular as the sole prose medium of a masterpiece is a triumph in technique. Such attempts have been common in two and a half centuries of English fiction, but no other attempt on the highest level has succeeded. In this respect, too, *Huckleberry Finn* is unique. Patently, American literature has nothing to compare with it. Huck's language is a sensitive, subtle, and versatile instrument—capable of every effect it is called upon to manage. Whether it be the purely descriptive necessity of recording the river's mystery, or the notation of psychological states so minute and tran-

sitory as the effect on a boy of ghosts crying in the wind, or the fixation of individuality in dialogue, or the charged finality that may be typified by the King's "Hain't we got all the fools in town on our side? And ain't that a big enough majority in any town?"—the prose fulfills its obligation with the casual competence of genius. The fiction of Mark Twain had brought many innovations to the national literature—themes, lives, and interests of the greatest originality. This superb adaptation of vernacular to the purposes of art is another innovation, one which has only in the last few years begun to have a dim and crude but still perceptible fruition.

A tradition almost as old as prose narrative joins to the novel another tributary of world literature when a purely American wandering brings two further creatures of twilight to the raft.

The two rogues are formed from the nation's scum. They are products of chance and opportunity, drifters down rivers and across the countryside in the service of themselves. American universals meet here; once more, this is a whole history, and into these drifters is poured an enormous store of the nation's experience. They have begotten hordes of successors since 1885 but none that joins their immortality. They belong with Colonel Sellers: they are the pure stuff of comedy. Their destiny is guile: to collect the tax which freedom and wit levy on respectability. Their voyage is down a river deep in the American continent; they are born of a purely American scene. Yet the river becomes one of the world's roads and these disreputables join, of right, a select fellowship. They are Diana's foresters: the brotherhood that receives them, approving their passage, is immortal in the assenting dreams of literature. Such freed spirits as Panurge, Falstaff, Gil Blas and the Abbé Coignard are of that fellowship; no Americans except the Duke and the Dauphin have joined it. None seems likely to.

Yet the fabric on which all this richness is embroidered is the journey of Huck and Jim down the Mississippi on the Junc rise. There, finally, the book's glamour resides. To discuss that glamour would be futile. In a sense, Huck speaks to the national shrewdness [...] exists for a delight or wonder inseparable from the American race. This passage down the flooded river, through pageantry and spectacle, amidst an infinite variety of life, something of surprise or gratification surely to be met with each new incident—it is the heritage of a nation not unjustly symbolized by the river's flow. Huck sleeping under the stars or wakefully drifting through an immensity dotted only by far lights or scurrying to a cave while the forest bends under a cloudburst satisfies blind gropings of the mind. The margin widens to obscurity. Beyond awareness, a need for freedom, an insatiable hunger for its use, finds in him a kind of satisfaction. At the margin, too, the endless flow speaks for something quite as immediate. It is movement, not quiet. By day or darkness the current is unceasing; its rhythm, at the obscure margin, speak affirmatively. For life is movement—a down-

river voyage amidst strangeness.

Go warily in the obscurity. One does not care to leave Huck in the twilight at such a threshold, among the dim shapes about which no one can speak with authority. Unquestionably something of him is resident there—with something of Tom, the disreputables, Colonel Sellers and some others. But first he is a shrewd boy who takes a raft down the Mississippi, through a world incomparably alive. With him goes a fullness made and shaped wholly of America. It is only because the world he passes through is real and only because it is American life that his journey escapes into universals and is immortal. His book is American life formed into great fiction.

Somewhere in the person of Mark Twain, who wrote it, must have been an artist—as American. [...]

(*Mark Twain's America*. N. Y., 1932)

1935

THEODORE DREISER

Mark The Double Twain

A psychologic as well as literary enigma that has much troubled me, as it has many another who has surveyed American literature, is Mark Twain. Middle West American of quite humble Tennessee and Missouri village and farm backgrounds—with a few parent- and relative-owned slaves to complicate the picture—he remains to this hour, in the minds of most Americans, not the powerful and original and amazingly pessimistic thinker that he really was, and that several of his most distinguished contributions to American letters prove—but rather, and to this hour, the incorrigible and prolific joker and, at best, humorist who, up to the time of his death and since, has kept the world chuckling so continuously that it has not even now sobered sufficiently to detect in him the gloomy and wholly mechanistic thinker. [...]

What interests me, however, is this seeming duality of Twain, for, of course, there were not any two Mark Twains, just one. From the beginning, there was only the conventionally envired Twain who did not arrive, for instance, at the reading of Pepys's *Diary* until he was forty, and whose amazed curiosity as to Spencer, Darwin, Huxley, following his first trip abroad (*Innocents Abroad* [1869]), led naturally, if interruptedly that is by way of fame to introduction to the literary pundits of the East, marriage into a conservative and well-to-do family, the Langdons of Elmira, New York, the undying friendship

and guidance of the conservative and even moralistic William Dean Howells, Charles Dudley Warner, Thomas Bailey Aldrich, and, naturally, Harper and Brothers, to name but a few. Also to such modified social protests (with brakes) as *The Prince and the Pauper*, *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, etc. But not to the *Personal Recollections of Joan of Arc* or at long last to "The Man Who Corrupted Hadleyberg," *The Mysterious Stranger*, or *What Is Man?* As I have said, these last two, though written in 1898, were not published in his lifetime. And his old-time contemporaries never lived to see them.

But of what was Twain so terrified? For contemporary with him was Zola--of equal fame--and D'Annunzio, and Chekhov, and Dostoevski, and De Maupassant, and Strindberg, and Ibsen. And he must have heard of Whitman and Herman Melville, ostracized for so wild a thing as *Type*. He most certainly did hear of Maxim Gorky, for when, in 1905, he and his Russian actress sweetheart arrived in America, neither he nor Howells--their reputations as well as their social connections prohibiting--would attend a reception in his honor. And yet Twain could write not only *1601* but the stories that his publishers think should never be published! And his daughter Jean, writing of him that, "at home, he talked largely of serious things with only an occasional humorous remark thrown in."

His letters to his Eastern friends, the pundits and powers, were different.

My suspicion is that it was the secondary social and conventional forces enveloping him after his early success and marriage, and playing on this sympathetic, and, at times, seemingly weak humanist, that succeeded for a time in diverting him almost completely from a serious, realistic, and I might say Dostoevskian, presentation of the anachronisms, the cruelties, as well as the sufferings, of the individual and the world which, at bottom, seem most genuinely to have concerned him. For, to a study of these he would have turned, had it not been, I think, for the noisy and quite vacuous applause accorded him as Genius Jester to the American booboisie. And by that I mean almost the entire American world of his time. He was too warmhearted--among the tenderest of the humanists--and, as such, almost refuting his own worst charges. [...]

[...] later he could write movingly of the Prince and the Pauper, and what it meant or could have meant to a prince to learn of poverty through the accident of circumstance! More, he could write movingly and beautifully, even tragically, of the temperament and sufferings of Joan of Arc--even of the tortured peasants of the Romanoff Czar! But not, for instance, of any phase of the War of the Rebellion in which, except for one attempt at organizing a confederate guerilla band whose activities appear to have come to nothing, he did not take any part. The best he did for the Negro at any time was to set over against Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom, the more or less Sambo portrait of the Negro Jim who, with Huckleberry Finn, occupied the

raft that was the stage of that masterly record of youthful life, *Huckleberry Finn*.

But why? For most certainly in addition to, and in spite of, his humorous bent, he was a realist at heart, and a most extraordinary one. One need only thumb through the *Innocents Abroad*, or *Roughing It*, or *Tom Sawyer*, or *Huckleberry Finn*, or *The Gilded Age*, to find page after page, character after character, scene after scene, drawn movingly as well as brilliantly enough, and this, in spite of his Brobdingnagian humor, from the life about him. I hardly need remind you of the fortunes and misfortunes of the Colonel Mulberry Sellers's family where, despite the colossally comic aspects of the colonel's ambitions and his methods (*There Are Millions in It*), the pathos of his career, and that of his wife and children, rings sonorously and sadly.

Again, in *Roughing It* consider its virility and its importance as a reconstruction of a fantastic and yet absolutely real phase of American history—an unforgettable and most important section of our national life. True, belly-shaking caricature plays over a cold sense of fact, yet the tragedy of the silver-boom town is as apparent as its comedy and takes permanent and accurate shape for the benefit, I hope, of an inquisitive posterity. In *Huckleberry Finn* consider the Grangerford-Shepherdson feud. And, in spite of the wholly humorous report of it, the tragic implications of it all. A single turn of the pen at any point in this narrative, and you would have a story which would startle, terrify, as well as thrill and entertain, the most avid seekers of realistic truth. The same is true of Colonel Sherburn's reception of and speech to the crowd that came to lynch him. No humor there, as you will note: only the hard, cold reality of a courageous man's confrontation of a reasonless, meaningless mob. It could as well have come out of Balzac, of Tolstoi, of Saltykoff. Here is no yielding to the necessity for humor, nor the exaggeration of jest, for Twain in his soberer moods was always the realist—and a great one. Yet, for reason of that bent of his toward caricature and towering exaggeration, almost wholly uppermost in his youth and early manhood, he was slow in coming to the more balanced aspects of his later work. One wishes at times that, like Shakespeare, he could have balanced the fantastically ridiculous with the truly tragic, and in some lovely American picture have dealt with what he knew to be the true features and factors of the period in which he lived. [...]

Not that I am calling on Twain to be anything that he was not. It is he, himself, who has indicated in all that he feared, to publish in life that he was really calling on himself to do differently and to be different. But convention—convention, the dross of a worthless and meaningless current opinion—this was the thing that restrained him. [...]

[...] Twain was *not* two people, but one – a gifted but partially dissuaded Genius who, in time, and by degrees changed into his natural self. This second Twain was observing the world as it truly is; but alas! as I have shown, he had already been inducted into the social world of which, temperamentally, he was not truly a part, and which, at bottom, he resented. In short, the raw genius of the river raft and the mining camp, and the western newspaper of that day, was confused and, for a time, hypnotized by this audacious and insistent authoritarian world of convention, into which, thoughtlessly, he had drifted.

Yet below all this, and that on which his feet were resting, was the solid rock of his own temperament and understanding. And with this as his point of vantage and departure, and despite the impact of the meretricious life that was spinning about him, came the final conviction that most of what he saw and was so busy with was mere sound and fury, signifying nothing – tinsel and tawdry make-believe which could only detract from his true stature. The truth of it is apparent, and not only that, but confessed, in his *Autobiography*, and in those really deathless works which his tinsel contemporaries never knew. I refer again to *The Mysterious Stranger* still sold if you will believe it, as a Christmas book for children, and *What Is Man?* read by a corporal's guard of the initiated, in the course of, let us say, a year, if so often.

(*English Journal*, 1935, October)

1937

STERLING BROWN

[...] Twain's first treatment of Negroes in *The Gilded Age* (1873), however, is largely traditional, unlike "A True Story (Repeated Word For Word As I Heard It)" which is a bitter memory of cruelty and separation, contradicting Thomas Nelson Page's formula stories.

In *Huckleberry Finn* (1884) the callousness of the South to the Negro is indicated briefly, without preaching, but impellingly. Huck informs Aunt Sally that a steamboat blew out a cylinder head:

"Good gracious! anybody hurt?"

"No'm. Killed a nigger."

"Well, it's lucky because sometimes people do get hurt..."

In this book Twain deepens the characterization of Jim, who, like Tom and Huck and the rest of that fine company, was drawn from life. He is no longer the simple-minded, mysterious guide in the ways of dead cats, doodle-bugs and signs of *The Adventures of Tom Sawyer*. Running away from old Miss Watson, who, though religious, "peeks

on" him all the time, treats him "pooty rough" and-wants a trader's eight hundred dollars for him, Jim joins Huck on the immortal journey down the Mississippi. His talks enlivens the voyage. He is at his comic best in detailing his experience with high finance—he once owned fourteen dollars. But the fun is brought up sharp by Jim's

Yes, en I's rich now, come to look at it. I owns myself en I's wuth eight hund'd dollars. I wisht I had de money, I wouldn't want no mo'.

But he did want more. He wanted to get to a free state and work and save money so he could buy his wife, and then they would both work to buy their children, or get an abolitionist to go steal them. Huck is "frozen at such thoughts," torn between what he had been taught was moral and his friendliness for an underdog. Jim is the best example in nineteenth century fiction of the average Negro slave (not the tragic mulatto or the noble savage), illiterate, superstitious, yet clinging to his hope for freedom, to his love for his own. And he is completely believable, whether arguing that Frenchman should talk like people, or doing most of the work on the raft, or forgiving Huck whose trick caused him to be bitten by a snake, or sympathizing with the poor little Dauphin, who, since America has no kings, "cain't git no situation." He tells of his little daughter, whom he had struck, not knowing she disobeyed because she had become deaf from scarlet fever:

[Quotes Ch. XXIII "What makes me feel" to "a-treating her so! ", p. 133].

(*The Negro in American Fiction*. Washington, 1937)

1943

JAMES T. FARRELL

Twain's Huckleberry Finn and the Era He Lived In

Mark Twain has often been made the sport of critical fashions. During his lifetime he was slow in gaining recognition, except as a humorist. His writing, especially because of his views on the institution of monarchy, disturbed some of the literary democrats of the Eastern seaboard. His masterpiece, *The Adventures of Huckleberry Finn*, was barred from some public libraries. In general, too much of the critical writing on Mark Twain has stressed his failures and his limitations.

[...] Twain's source of inspiration was the frontier. He is the literary summation of pioneer America. And in *The Adventures of Huckleberry Finn*, he distilled and transmuted his material in terms of great writing.

Mark Twain was both a genuine democrat and a cynic. As a democrat he defended the Jacobins. Democratic ideas seemed to be part of his very blood and flesh. His individualism, and consequently his sense of the worth of human beings, is a direct product of democratic ideas. And he expressed these magnificently when he made an unschooled boy and a runaway slave the heroes of what is truly an American odyssey. His cynicism is related to the many disillusioning observations of the failure of democratic ideas. In his most buoyant and productive periods, this cynicism is not sharply contradictory to his democratic feelings. Rather, it suggests something of the healthy cynicism of the *sansculottes*. In his latter days he witnessed the triumph of industrialism and the rapid expansion of American capitalism. His conscience was disturbed, as were the consciences of many writers and thinking people in both Europe and America. Then he became a bleak determinist somewhat of the order of the late Clarence Darrow. His cynicism concerning "the damned human race" became corrosive. He visioned the individual man alone in a dreary waste of empty space. But his two boys, Tom and Huck, rise above his discouragement, they are his strongest expression of democratic hopes. Most particularly, Huck Finn is an ideal expression of the positive side of Mark Twain.

It is significant that Tom and Huck are boys rather than men and therefore the more easily surrounded with an aura of optimism. Whereas the adults in their Mississippi village look down on Negro slaves as if they were not human beings, Tom and Huck tend even to envy them. Less influenced by the village standards, they can associate more freely with Negroes than can adults. And consequently, Huck is able to come to grips with the moral problems posed by the very existence of the institution of chattel slavery. Huck lives like a pioneer, like a squatter in miniature. His respect for property rights is almost nil. To filch watermelons and other food, to "borrow" someone else's canoe, to ignore conventions and moral standards—none of this troubles his conscience. But when it so happens that property rights involve another human being, then he faces a moral problem. This problem cuts into the heart of pre-Civil-War America. And Huck resolves the problem by deciding he will have to help the Negro, Jim, even at the risk of eternal damnation. [...]

[...] we see Huck affirming the value of a living human being of the present as against the claims justified in an institution of the past. And this affirmation is the very core of Mark Twain's own sense of the worth of human beings. To continue: Tom and Huck are shrewd, daring, ingenious. These are traits that Mark Twain admired. Tom Sawyer is the type of boy who could grow up to be a Pudd'nhead Wilson. The resourcefulness of Huck parallels that of the Connecticut

Yankee. Thus, when Tom and Huck outwit adults, we must not interpret these passages merely as humour. Through his two unspoiled boys Twain forcefully emphasized his own attitudes and values.

The Adventures of Tom Sawyer is a boy's book. Its sequel, *The Adventures of Huckleberry Finn*, is an adult's novel. However, the two books should not be considered separately, for Tom and Huck are contrasts. Tom is a romantic; Huck, a realist. At first this temperamental difference seems paradoxical when we think of the circumstances of their lives. Tom lives a regular life. [...] Tom seeks to escape from regularity by romanticism. He feeds on detective and adventure stories (in fact, the very characterization of Tom constitutes a satire on this form of writing), and he strives to translate what he reads into the real world around him. Huck, on the contrary, is a realist living under romantic circumstances. There is no order in his life. He is a child of whim and impulse, heedless of authority and convention. The other boys are warned by their parents and their teacher not to associate with him. But Huck represents common sense as opposed to romanticism. Since his problems are of a life-and-death character, he must be a realist in order to survive. Tom's real problems are settled for him, so that he is more concerned with those of his imagination. Huck, equally adventurous, cannot afford the luxury of romanticism.

As a result of these differences, Huck appears to be more mature than Tom, although they are of the same age. At the conclusion of *The Adventures of Huckleberry Finn*, Tom seems to be the same charming boy he was when we first met him, while Huck has developed and grown in character, having acquired a clearer and purer sense of moral values. It is this fact that explains the difference between the two books—revealed also in the humour, which is much more pointed in the second novel. There was usually a devastating attack behind the playfulness and humour of Mark Twain. The extravaganza, the burlesque included in the saga of Huck Finn is pointed at the old South and cuts to the heart of a whole society. The sharpest humour in *The Adventures of Tom Sawyer* strikes less deeply; it is directed at adventure writing and at the school system of the period. But, taken together, both boys stand in contrast to "the damned human race."

The institution of chattel slavery always forms the background against which these boys live. It forces itself into the very content of consciousness, not only of Tom and Huck, but of all the members of their village. As Bernard De Voto has pointed out, the existence of slavery explains the role that superstition plays in the minds of Tom and Huck. Here Mark Twain made a neat social comment. He told us, in effect, that if we preserve the institution of slavery it will permeate our entire culture and become a formidable barrier to progress. Just as slavery produces meanness and brutality, so does it perpetuate magic. Briefly, the backwardness of the slaves, treated as property rather than as human beings, will blunt the moral and intellectual de-

velopment of the masters. Twain's penetrating revelation of the moral and social consequences of slavery is focused in the relationship between Huck and Jim, the runaway slave, for it is through intimate association with him that Huck's moral landscape is broadened. Huck must even learn that a Negro can love his family as tenderly as white folks do. Jim shines through the novel as a man with dignity, loyalty, and courage. Drifting along the Mississippi, he assumes heroic proportions, demonstrating by contrast that many of the white men surrounding him are cruel or foolish. This is most clearly drawn in the case of the King and the Duke, who are rascals, but who are also symbolic figures, representing the dead institutions of the past. And Huck makes the symbolism explicit when he tells Jim that they are not at all bad when one considers what real kings and dukes have done in history.

It need not be stressed that Mark Twain re-created almost a full sense of life on the Mississippi. This is undisputed. He wrote with ease and buoyance: there is humour, sensibility, and beauty in his style. But there is real penetration, too. He evokes an entire epoch, by giving it form, solidity, depth.

Generations of Americans have read of these two boys. They have become part of the consciousness of most literate people in this country, and one feels, on rereading their stories, as if one is meeting old and imperishable friends. But they do not represent merely the idyllic times of boyhood. The world in which they lived was full of its own cruelties. One reason they are so charming is that we see their unspoiled images flashed against the mirror of that world. Tom and Huck are symbols of the possibilities in human beings. Today they stand as a test not only of ourselves but of the whole of American society. They are, with all their charm, like two accusing figures, with their fingers pointing down the decades of American history. Their very characters seem to ask why—why has this promise not been realized? Why is it so rarely that the man becomes what the boy gave promise of becoming? This is part of their significance as enduring characters in American literature.

(The New York Times Book Review, 1943, December)

1946

RALPH ELLISON

[...] Obviously the experiences of Negroes—slavery, the grueling and continuing fight for full citizenship since Emancipation, the stigma of color, the enforced alienation which constantly knifes into our natural identification with our country—have not been that of white Americans. And though as passionate believers in democracy Negroes identi-

fy themselves with the broader American ideals, their sense of reality springs, in part, from an American experience which most white men not only have not had, but one with which they are reluctant to identify themselves even when presented in forms of the imagination. Thus when the white American, holding up most twentieth-century fiction, says, "This is American reality," the Negro tends to answer (not at all concerned that Americans tend generally to fight against any but the most flattering imaginative depictions of their lives), "Perhaps; but you've left out this, and this, and this. And most of all, what you'd have the world accept as *me* isn't even human."

Nor does he refer only to second-rate works but to those of our most representative authors. Either like Hemingway and Steinbeck (in whose joint works I recall not more than five American Negroes) they tend to ignore them, or like the early Faulkner, who distorted Negro humanity to fit his personal versions of Southern myth, they seldom conceive Negro characters possessing the full, complex ambiguity of the human. Too often what is presented as the American Negro (a most complex example of Western man) emerges an oversimplified clown, a beast or an angel. Seldom is he drawn as that sensitively focused process of opposites, of good and evil, of instinct and intellect, of passion and spirituality, which great literary art has projected as the image of man. Naturally, the attitude of Negroes toward this writing is one of great reservation. Which, indeed, bears out Richard Wright's remark that there is in progress between black and white Americans a struggle over the nature of reality. [...]

[...] How is it then that our naturalistic prose—one of the most vital bodies of twentieth-century fiction, perhaps the brightest instrument for recording sociological fact, physical action, the nuance of speech, yet achieved—becomes suddenly dull when confronting the Negro?

[...] For perspective let us begin with Mark Twain's great classic, *Huckleberry Finn*. Recall that Huckleberry has run away from his father, Miss Watson and the Widow Douglas (indeed the whole community, in relation to which he is a young outcast) and has with him as companion on the raft upon which they are sailing down the Mississippi the Widow Watson's runaway Negro slave, Jim. Recall, too, that Jim, during the critical moment of the novel, is stolen by two scoundrels and sold to another master, presenting Huck with the problem of freeing Jim once more. Two ways are open: he can rely upon his own ingenuity and "steal" Jim into freedom or he might write the Widow Watson and request reward money to have Jim returned to her. But there is a danger in this course, remember, since the angry widow might sell the slave down the river into a harsher slavery. It is this course which Huck starts to take, but as he composes the letter he wavers. [Quotes Ch. XXXI "it was" to "a slave again", p. 172].

And a little later, in defending his decision to Tom Sawyer, Huck comments, "I know you'll say it's dirty, low-down business but *I'm* low-down. And I'm going to steal him..."

We have arrived at a key point of the novel and, by an ironic reversal, of American fiction, a pivotal moment announcing a change of direction in the plot, a reversal as well as a recognition scene (like that in which Oedipus discovers his true identity) wherein a new definition of necessity is being formulated. Huck Finn has struggled with the problem poised by the clash between property rights and human rights, between what the community considered to be the proper attitude toward an escaped slave and his knowledge of Jim's humanity, gained through their adventures as fugitives together. He has made his decision on the side of humanity. In this passage Twain has stated the basic moral issue centering around Negroes and the white American's democratic ethics. It dramatizes as well the highest point of tension generated by the clash between the direct, human relationships of the frontier and the abstract, inhuman, market-dominated relationships fostered by the rising middle class—which in Twain's day was already compromising dangerously with the most inhuman aspects of the defeated slave system. And just as politically these forces reached their sharpest tension in the outbreak of the Civil War, in *Huckleberry Finn* (both the boy and the novel) their human implications come to sharpest focus around the figure of the Negro.

Huckleberry Finn knew, as did Mark Twain, that Jim was not only a slave but a human being, a man who in some ways was to be envied, and who expressed his essential humanity in his desire for freedom, his will to possess his own labor, in his loyalty and capacity for friendship and in his love for his wife and child. Yet Twain, though guilty of the 'sentimentality' common to humorists, does not idealize the slave. Jim is drawn in all his ignorance and superstition, with his good traits and his bad. He, like all men, is ambiguous, limited in circumstance but not in possibility. And it will be noted that when Huck makes his decision he identifies himself with Jim and accepts the judgment of his superego—that internalized representative of the community—that his action is evil. Like Prometheus, who for mankind stole fire from the gods, he embraces the evil implicit in his act in order to affirm his belief in humanity. Jim, therefore, is not simply a slave, he is a symbol of humanity, and in freeing Jim, Huck makes a bid to free himself of the conventionalized evil taken for civilization by the town.

This conception of the Negro as a symbol of Man—the reversal of what he represents in most contemporary thought—was organic to nineteenth-century literature. It occurs not only in Twain but in Emerson, Thoreau, Whitman and Melville (whole symbol of evil,

incidentally, was white), all of whom were men publicly involved in various forms of deeply personal rebellion. And while the Negro and the color black were associated with the concept of evil and ugliness far back in the Christian era, the Negro's emergence as a symbol of value came, I believe, with Rationalism and the rise of the romantic individual of the eighteenth century. This, perhaps, because the romantic was in revolt against the old moral authority, and if he suffered a sense of guilt, his passion for personal freedom was such that he was willing to accept evil (a tragic attitude) even to identifying himself with the "noble slave" who symbolized the darker, unknown potential side of his personality, that underground side, turgid with possibility, which might, if given a chance, toss a fistful of mud into the sky and create a "shining star." [...]

[...] Huck Finn's acceptance of the evil implicit in his "emancipation" of Jim represents Twain's acceptance of his personal responsibility in the condition of society. This was the tragic face behind his comic mask.

But by the twentieth century this attitude of tragic responsibility had disappeared from our literature along with that broad conception of democracy which vitalized the work of our greatest writers. After Twain's compelling image of black and white fraternity the Negro generally disappears from fiction as a rounded human being. And if already in Twain's time a novel which was optimistic concerning a democracy which would include all men could not escape being banned from public libraries, by our day his great drama of interracial fraternity had become, for most Americans at least, an amusing boy's story and nothing more. But, while a boy, Huck Finn has become by the somersault motion of what William Empson terms "pastoral," an embodiment of the heroic, and an exponent of humanism. Indeed, the historical and artistic justification for his adolescence lies in the fact that Twain was depicting a transitional period of American life; its artistic justification is that adolescence is the time of the "great confusion" during which both individuals and nations flounder between accepting and rejecting the responsibilities of adulthood. Accordingly, Huck's relationship to Jim, the river, and all they symbolize, is that of a humanist; in his relation to the community he is an individualist. He embodies the two major conflicting drives operating in nineteenth-century America. And if humanism is man's basic attitude toward a social order which he accepts, and individualism his basic attitude toward one he rejects, one might say that Twain, by allowing these two attitudes to argue dialectically in his work of art, was as highly moral an artist as he was a believer in democracy, and vice versa.

(Written in 1946. Published in *Confluence*, December, 1953).

DIXON WECTER

Mark Twain

Three years after *The Gilded Age* Twain published *Tom Sawyer*, the first of three great books about the Mississippi River of his youth. Beyond question, *Huckleberry Finn* (1885), *Life on the Mississippi* (1883), and *Tom Sawyer* (1876) are, in that order, his finest works. The reasons for their superiority are not far to seek. In plotting a book his structural sense was always weak; intoxicated by a hunch, he seldom saw far ahead, and too many of his stories peter out from the author's fatigue or surfeit. His wayward technique, as Howells recognized, came close to free association:

So far as I know, Mr. Clemens is the first writer to use in extended writing the fashion we all use in thinking, and to set down the thing that comes into his mind without fear or favor of the thing that went before or the thing that may be about to follow.

This method served him best after he had conjured up characters from long ago, who on coming to life wrote the narrative for him, passing from incident to incident with a grace their creator could never achieve in manipulating an artificial plot. In travel books and other autobiography written under the heat of recent experience, Mark Twain seemingly put in everything, mixing the trivial, inane, and farcical with his best-grade ore. But in the remembrance of things past, time has dissolved the alloy, leaving only gold. The nostalgia for a youth's paradise "over the hills and far away," for the fast-vanishing freedom of the West, appealed deeply to the age of boyhood sentiment enriched by Longfellow and Whittier. It also led to Mark Twain's strength; namely, the world of the senses and physical action. What he felt was always better expressed than what he had thought or speculated about. A boy's world freed him from those economic and political perplexities, adult dilemmas and introspections, where in rages and knotty casuistries he lost the sureness of touch that came to him through the report of his five senses, or through the championship of justice when the issue was as simple as the conflict between bullies and little folk.

In his heart Mark Twain must have realized that essentially he was a man of feeling, too sensitive to serve merely as a comedian, too undisciplined to be the philosopher he sometimes fancied himself. His forte was to recapture the sheer joy of living, when to be young was very heaven. A great river flowing through the wilderness set the stage for a boy's own dream of self-sufficiency, of being a new Robinson Crusoe on Jackson's Island. In the background moved the pageantry

of life, colored by humor, make-believe, and pure melodrama; but the complexity of the machine age and the city lay far, far away.

Mark Twain did not write his first books about this dream world, but let the haze of ideality collect about it, reserving it luckily for the high noon of his powers.

To a stranger in 1887 he described this book as "simply a hymn, put into prose form to give it a worldly air." These lads no more resemble Peck's Bad Boy than they do the model children of that improving story-teller, Jacob Abbott. Within a framework of superb dialogue and setting, of sensitive perceptions that turn now and again into poetry, against a background where flicker shadows of adult humanitarianism and irony, Tom and Huck grow visibly as we follow them. The pranks and make-believe of early chapters whitewashing the fence, releasing a pinchbug in church, playing pirate in Tom Sawyer, and in sequel the rout of a Sunday school picnic under the guise of attacking a desert caravan are dimmed as the human values deepen and occasional moral issues appear. The Tom who takes Becky's punishment in school, and testifies for the innocent Muff Potter at risk of the murderer's revenge, parallels the development of Huck from a happy-go-lucky gamin to the epitome of generosity and loyalty. Mark Twain makes no account of rigid consistencies in time. His boys vary between the attitudes of nine-year-olds and those of thirteen or fourteen, despite the fact that Tom Sawyer's time span is one Missouri summer, and that of Huckleberry Finn a few more unbroken months. Like the creator of perennial comic-strip characters, Twain arrests or syncopates the march of time as he pleases. In the latter novel he also ignores the fact that Nigger Jim could have escaped by swimming across to the free soil of Illinois early in the book, and commits other sins against literalism which he would have ridiculed unmercifully in the pages of his *bête noire* James Fenimore Cooper.

Huckleberry Finn is clearly the finer book, showing a more mature point of view and exploring richer strata of human experience. A joy forever, it is unquestionably one of the masterpieces of American and of world literature. Here Twain returned to his first idea of having the chief actor tell the story, with better results. Huck's speech is saltier than Tom's, his mind freer from the claptrap of romance and sophistication. Huck is poised midway between the town-bred Tom and scion of woodlore and primitive superstition Nigger Jim, toward whom Huck with his margin of superior worldliness stands in somewhat the same relation that Tom stands toward Huck. When Tom and Huck are together, our sympathy turns invariably toward the latter. A homeless river rat, cheerful in his rags, suspicious of every attempt to civilize him, *Huck has none of the unimportant virtues and all the essential ones*. The school of bard knocks has taught him skepticism, horse sense, and a *tenacious grasp on reality*. But it has not toughened him into cynicism or crime. Nature gave him a stanch and faithful heart, friendly to all underdogs and instantly hostile toward bullies and all

shapes of overmastering power. One critic has called him *the type of the common folk, sample of the run-of-the-mill democracy in America*. Twain himself might have objected to the label, for he once declared "there are no common people, except in the highest spheres of society." Huck always displays a frontier neighborliness, even trying to provide a rescue for three murderers dying marooned on a wrecked boat, because "there ain't no telling but I might come to be a murderer myself, yet, and then how would I like it?" Money does not tempt him to betray his friend Nigger Jim, though at times his conscience is troubled by the voice of convention, preaching the sacredness of property even in the guise of flesh and blood and he trembles on the brink of surrender. Nor can he resist sometimes the provocation offered by Jim's innocent credulity, only to be cut to the quick when his friend bears with dignity the discovery that his trustfulness has been made game of. Even as Huck surpasses Tom in qualities of courage and heart, so Nigger Jim excels even Huck in fidelity and innate manliness, to emerge as the book's noblest character.

The final draft of *Huckleberry Finn* was intimately bound up with the writing of Twain's third great volume about his river days, *Life on the Mississippi*. Fourteen chapters of these recollections had been published in the *Atlantic* in 1875; before expanding them into a book Twain made a memorable trip in 1882 back to the scenes of his youth. In working more or less simultaneously on both long-unfinished books, he lifted a scene intended for *Huckleberry Finn* about Huck and the raftsmen to flavor the other book, but the great gainer from his trip was not the memoir but the novel. The relative pallor of *Life on the Mississippi*, Part II, is due in a measure to the fact that so much lifeblood of reminiscence is drained off into the veins of *Huckleberry Finn*. The travel notes of 1882, written up soon after Twain's return home, are suffused with some of the finest situations in his novel: the Grangerford-Shepherdson feud, Colonel Sherburn and the mob, and the two seedy vagabonds who come on-stage as the Duke and the King, with a posse in their wake, who "said they hadn't been doing nothing, and was being chased for it."

Mark Twain's renewed contact with life among the river towns quickened his sense of realism. For *Huckleberry Finn*, save in its passages about the peace and freedom of Jackson's Island, is no longer "simply a hymn," and so dim has grown the dream of adolescent romancing that Becky Thatcher reappears but perfunctorily under the careless label of "Bessie" Thatcher. The odyssey of Huck's voyage through the South reveals aspects of life darker than the occasional melodrama of Tom Sawyer. We are shown the sloth and sadism of poor whites, backwoods loafers with their plug tobacco and Barlow knives, who sick dogs on stray sows and "laugh at the fun and look grateful for the noise," or drench a stray cur with turpentine and set him afire. We remark the cowardice of lynching parties; the chicanery of patient medicine fakers, revivalists, and exploiters of rustic ribald-

ry; the senseless feudlings of the gentry. In the background broods fear: not only a boy's apprehension of ghosts, African superstitions, and the terrors of the night, not the adults' dread of black insurrection, *but the endless implicated strands of robbery, floggings, drowning, and murder. Death by violence lurks at every bend of road or river.* Self-preservation becomes the ruling motive, squaring perfectly with the role of the principal characters, Huck the foot-loose orphan and his friend Jim the fugitive—puny in all strengths save loyalty, as they wander among the Brobdingnagian boots of white adult supremacy. The pair belong to the immortals of fiction.

Never keen at self-criticism, Mark Twain passed without soundings from these depths to the adjacent shallows of burlesque and extravaganza. The last fifth of this superb novel, *Huckleberry Finn*, brings back the romantic Tom Sawyer, with a hilarious, intricate, and needless plot for rescuing Jim from captivity. The story thus closes upon the farcical note with which the Hannibal cycle has begun, in the whitewashing episode. On the same note many years later Mark Twain tried to revive his most famous characters, in *Tom Sawyer Abroad* (1894), with Tom, Huck, and Jim as passengers of a mad balloonist and their subsequent adventures in Egypt. Though inferior to its great predecessors, this book does not lack humor, gusto, and rich characterization. *Tom Sawyer, Detective* (1896) dishes up a melodrama of stolen diamonds, double-crossing thieves, and that immortal device of Plautus and Shakespeare, identical twins, whose charm custom could not stale for Mark Twain. Here haste, artifice, and creative fatigue grow painfully apparent.

(*Literary History of the United States*. Ed. by Robert Spiller, Willard Thorpe a. o. N. Y., 1948)

1950

T. S. ELIOT

The Adventures of Huckleberry Finn is the only one of Mark Twain's various books which can be called a masterpiece. I do not suggest that it is his only book of permanent interest; but it is the only one in which his genius is completely realized, and the only one which creates its own category. There are pages in *Tom Sawyer* and in *Life on the Mississippi* which are, within their limits, as good as anything with which one can compare them in *Huckleberry Finn*; and in other books there are drolleries just as good of their kind. But when we find one book by a prolific author which is very much superior to all the rest, we look for the peculiar accident or concourse of accidents which made that book possible. In the writing of *Huckleberry Finn* Mark Twain had two elements which, when treated with his sensibili-

ty and his experience, formed a great book: these two are the Boy and the River. [...]

Tom Sawyer did not prepare me for what I was to find its sequel to be. *Tom Sawyer* seems to me to be a boys' book, and a very good one. The River and the Boy make their appearance in it; the narrative is good; and there is also a very good picture of society in a small mid-Western river town (for St. Petersburg is more Western than Southern) a hundred years ago. But the point of view of the narrator is that of an adult observing a boy. And Tom is the ordinary boy, though of quicker wits, and livelier imagination, than most. Tom is, I suppose, very much the boy that Mark Twain had been: he is remembered and described as he seemed to his elders, rather than created. Huck Finn, on the other hand, is the boy that Mark Twain still was, at the time of writing his adventures. We look at Tom as the smiling adult does: Huck we do not look at—we see the world through his eyes. The two boys are not merely different types; they were brought into existence by different processes. [...] Tom has the imagination of a lively boy who has read a good deal of romantic fiction: he might, of course, become a writer—he might become Mark Twain. Or rather, he might become the more commonplace aspect of Mark Twain. Huck has not imagination, in the sense in which Tom has it: he has, instead, vision. He sees the real world: and he does not judge it—he allows it to judge itself.

Tom Sawyer is an orphan. But he has his aunt; he has, as we learn later, other relatives; and he has the environment into which he fits. He is wholly a social being. When there is a secret band to be formed, it is Tom who organizes it and prescribes the rules. Huck Finn is alone: there is no more solitary character in fiction. The fact that he has a father only emphasizes his loneliness: and he views his father with a terrifying detachment. So we come to see Huck himself in the end as one of the permanent symbolic figures of fiction; not unworthy to take a place with Ulysses, Faust, Don Quixote, Don Juan, Hamlet and other great discoveries that man has made about himself.

It would seem that Mark Twain was a man who—perhaps like most of us—never became in all respects mature. We might even say that the adult side of him was boyish, and that only the boy in him, that was Huck Finn, was adult. As Tom Sawyer grown up, he wanted success and applause (Tom himself always needs an audience). He wanted prosperity, a happy domestic life of a conventional kind, universal approval, and fame. All of these things he obtained. As Huck Finn he was indifferent to all these things; and being composite of the two, Mark Twain both strove for them, and resented their violation of his integrity. Hence he became the humorist and even clown: with his gifts, a certain way to success, for everyone could enjoy his writings without the slightest feeling of discomfort, self-consciousness or self-criticism. And hence, on the other hand, his pessimism and misanthropy. To be a misanthrope is to be in some way divided; or it is a sign of an uneasy conscience. The pessimism which Mark Twain discharged

into *The Man That Corrupted Hadleyburg* and *What is Man?* springs less from observation of society, than from his hatred of himself for allowing society to tempt and corrupt him and give him what he wanted. There is no wisdom in it. But all this personal problem has been diligently examined by Mr. Van Wyck Brooks; and it is not Mark Twain, but *Huckleberry Finn*, that is the subject of this introduction.

You cannot say that Huck himself is either a humorist or a misanthrope. He is the impassive observer: he does not interfere, and, as I have said, he does not judge. Many of the episodes that occur on the voyage down the river, after he is joined by the Duke and the King (whose fancies about themselves are akin to the kind of fancy that Tom Sawyer enjoys) are in themselves farcical; and if it were not for the presence of Huck as the reporter of them, they would be no more than farce. But, seen through the eyes of Huck, there is a deep human pathos in these scoundrels. On the other hand, the story of the feud between the Grangerfords and the Shepherdsons is a masterpiece in itself: yet Mark Twain could not have written it so, with that economy and restraint, with just the right details and no more, and leaving to the reader to make his own moral reflections, unless he had been writing in the person of Huck. And the *style* of the book, which is the style of Huck, is what makes it a far more convincing indictment of slavery than the sensationalist propaganda of *Uncle Tom's Cabin*. Huck is passive and impassive, apparently always the victim of events; and yet, in his acceptance of his world and of what it does to him and others, he is more powerful than his world, because he is more *aware* than any other person in it.

Repeated readings of the book only confirm and deepen one's admiration of the consistency and perfect adaptation of the writing. This is a style which at the period, whether in America or in England, was an innovation, a new discovery in the English language. Other authors had achieved natural speech in relation to particular characters—Scott with characters talking Lowland Scots, Dickens with cockneys: but no one else had kept it up through the whole of a book. Thackeray's *Yellowplush*, impressive as he is, is an obvious artifice in comparison. In *Huckleberry Finn* there is no exaggeration of grammar or spelling or speech, there is no sentence or phrase to destroy the illusion that these are Huck's own words. It is not only in the way in which he tells his story, but in the details he remembers, that Huck is true to himself. There is, for instance, the description of the Grangerford interior as Huck sees it on his arrival; there is the list of the objects which Huck and Jim salvaged from the derelict house:

[Quotes Ch. IX "We got" to "a good haul", p.60-61]. This is the sort of list that a boy reader should pore over with delight; but the paragraph performs other functions of which the boy reader would be unaware. It provides the right counterpoise to the horror of the wrecked house and the corpse; it has a grim precision which tells the reader all he needs to know about the way of life of the human

derelicts who had used the house; and (especially the wooden leg, and the fruitless search for its mate) reminds us at the right moment of the kinship of mind and the sympathy between the boy outcast from society and the negro fugitive from the injustice of society.

Huck in fact would be incomplete without Jim, who is almost as notable a creation as Huck himself. Huck is the passive observer of men and events, Jim the submissive sufferer from them; and they are equal in dignity. There is no passage in which their relationship is brought out more clearly than the conclusion of the chapter in which, after the two have become separated in the fog, Huck in the canoe and Jim on the raft, Huck, in his impulse of boyish mischief, persuades Jim for a time that the latter had dreamt the whole episode.

[Quotes Ch. XV "my hart wuz" to "for it afterwards neither", p. 84-85]

This passage has been quoted before; and if I quote it again, it is because I wish to elicit from it one meaning that is, I think, usually overlooked. What is obvious in it is the pathos and dignity of Jim, and this is moving enough; but what I find still more disturbing, and still more unusual in literature, is the pathos and dignity of the boy, when reminded so humbly and humiliatingly, that his position in the world is not that of other boys, entitled from time to time to a practical joke; but that he must bear, and bear alone, the responsibility of a man.

It is Huck who gives the book style. The River gives the book its form. But for the River, the book might be only a sequence of adventures with a happy ending. A river, a very big and powerful river, is the only natural force that can wholly determine the course of human peregrination. At sea, the wanderer may sail or be carried by winds and currents in one direction or another; a change of wind or tide may determine fortune. In the prairie, the direction of movement is more or less at the choice of the caravan; among mountains there will often be an alternative, a guess at the most likely pass. But the river with its strong, swift current is the dictator to the raft or to the steamboat. It is a treacherous and capricious dictator. At one season, it may move sluggishly in a channel so narrow that, encountering it for the first time at that point, one can hardly believe that it has travelled already for hundreds of miles, and has yet many hundreds of miles to go; at another season, it may obliterate the low Illinois shore to a horizon of water, while in its bed it runs with a speed such that no man or beast can survive in it. At such times, it carries down human bodies, cattle and houses. At least twice, at St. Louis, the western and the eastern shores have been separated by the fall of bridges, until the designer of the great Eads Bridge devised a structure which could resist the floods. In my own childhood, it was not unusual for the spring freshet to interrupt railway travel; and then the traveller to the East had to take steamboat from the levee up to Alton, at a higher level on the Illinois shore, before he could begin his rail journey. The river is never wholly chartable; it changes its pace, it shifts its channel,

unaccountably; it may suddenly efface a sandbar, and throw up another bar where before was navigable water.

It is the River that controls the voyage of Huck and Jim; that will not let them land at Cairo, where Jim could have reached freedom; it is the River that separates them and deposits Huck for a time in the Grangerford household; the River that re-unites them, and then compels upon them the unwelcome company of the King and the Duke. Recurrently we are reminded of its presence and its power.—

[Quotes Ch. VII "When I woke up" to "to put it in", p. 49 and Ch. XII "It was kind" to "was asleep", p. 70].

We come to understand the River by seeing it through the eyes of the Boy; but the Boy is also the spirit of the River. *Huckleberry Finn*, like other great works of imagination, can give to every reader whatever he is capable of taking from it. On the most superficial level of observation, Huck is convincing as a boy. On the same level, the picture of social life on the shores of the Mississippi a hundred years ago is, I feel sure, accurate. On any level, Mark Twain makes you see the River, as it is and was and always will be, more clearly than the author of any other description of a river known to me. But you do not merely see the River, you do not merely become acquainted with it through the senses; you experience the River. Mark Twain, in his later years of success and fame, referred to his early life as a steamboat pilot as the happiest he had known. With all allowance for the illusions of age, we can agree that those years were the years in which he was most fully alive. Certainly, but for his having practised that calling, earned his living by that profession, he would never have gained the understanding which his genius for expression communicates in this book. In the pilot's daily struggle with the River, in the satisfaction of activity, in the constant attention to the River's unpredictable vagaries, his consciousness was fully occupied, and he absorbed knowledge of which, as an artist, he later made use. There are, perhaps, only two ways in which a writer can acquire the understanding of environment which he can later turn to account: by having spent his childhood in that environment—that is, living in it at a period of life in which one experiences much more than one is aware of; and by having had to struggle for a livelihood in that environment—a livelihood bearing no direct relation to any intention of writing about it, of *using* it as literary material. Most of Joseph Conrad's understanding came to him in the latter way. Mark Twain knew the Mississippi in both ways: he had spent his childhood on its banks, and he had earned his living matching his wits against its currents.

Thus the River makes the book a great book. As with Conrad, we are continually reminded of the power and terror of Nature, and the isolation and feebleness of Man. Conrad remains always the European observer of the tropics, the white man's eye contemplating the Congo and its black gods. But Mark Twain is a native, and the River God is his God. It is as a native that he accepts the River God, and it is the subjection of Man that gives to Man his dignity. For without some

kind of God, Man is not even very interesting. [...]

In *Huckleberry Finn* Mark Twain wrote a much greater book than he could have known he was writing. Perhaps all great works of art mean much more than the author could have been aware of meaning: certainly, *Huckleberry Finn* is the one book of Mark Twain's which, as a whole, has this unconsciousness. So what seems to be the rightness, of reverting at the end of the book to the mood of *Tom Sawyer*, was perhaps unconscious art. For *Huckleberry Finn*, neither a tragic nor a happy ending would be suitable. No worldly success or social satisfaction, no domestic consummation would be worthy of him; a tragic end also would reduce him to the level of those whom we pity. Huck Finn must come from nowhere and be bound for nowhere. His is not the independence of the typical or symbolic American Pioneer, but the independence of the vagabond. His existence questions the values of America as much as the values of Europe; he is as much an affront to the "pioneer spirit" as he is to "business enterprise"; he is in a state of nature as detached as the state of the saint. In a busy world, he represents the loafer; in an acquisitive and competitive world, he insists on living from hand to mouth. He could not be exhibited in any amorous encounters or engagements, in any of the juvenile affections which are appropriate to *Tom Sawyer*. He belongs neither to the Sunday School nor to the Reformatory. He has no beginning and no end. Hence, he can only disappear; and his disappearance can only be accomplished by bringing forward another performer to obscure the disappearance in a cloud of whimsicalities.

Like *Huckleberry Finn*, the River itself has no beginning or end. In its beginning, it is not yet the River; in its end, it is no longer the River. What we call its headwaters is only a selection from among the innumerable sources which flow together to compose it. At what point in its course does the Mississippi become what the Mississippi *means*? It is both one and many; it is the Mississippi of this book only after its union with the Big Muddy the Missouri; it derives some of its character from the Ohio, the Tennessee and other confluents. And at the end it merely disappears among its deltas: it is no longer there, but it is still where it was, hundreds of miles to the North. The River cannot tolerate any design, to a story which is its story, that might interfere with its dominance. Things must merely happen, here and there, to the people who live along its shores or who commit themselves to its current. And it is as impossible for Huck as for the River to have a beginning or end—a *career*. So the book has the right, the only possible concluding sentence. I do not think that any book ever written ends more certainly with the right words:

"But I reckon I got to light out for the Territory ahead of the rest, because Aunt Sally she's going to adopt me and sivilize me, and I can't stand it. I been there before."

(Introduction to "*The Adventures of Huckleberry Finn*,"
L. The Crosset Press, 1950)

W. H. AUDEN

Huck and Oliver

About six months ago I re-read *Huckleberry Finn*, by Mark Twain, for the first time since I was a boy, and I was trying when I read it to put myself back in the position of what it would seem like to re-read the book without knowing the United States very well. Because *Huckleberry Finn* is one of those books which is a key book for understanding the United States; just as I think one could take other books, English books—shall I say *Oliver Twist*?—as corresponding pictures of a British attitude.

When you read *Huckleberry Finn*, the first thing maybe that strikes somebody who comes from England about it is the difference in nature and in the attitude towards nature. You will find the Mississippi, and nature generally, very big, very formidable, very inhuman. When Oliver goes to stay in the country with Mrs. Maylie, Dickens writes:

Who can describe the pleasure and delight and peace of mind and tranquillity the sickly boy felt in the balmy air, and among the green hills and rich woods of an inland village.

All very human, very comforting. Huck describes how he gets lost in a fog on the Mississippi, and he writes as follows:

I was floating along, of course, four or five miles an hour; but you don't ever think of that. No, you *feel* like you are laying dead still on the water; and if a little glimpse of a snag slips by, you don't think to yourself how fast *you're* going, but you catch your breath and think, my! how that snag's tearing along. If you think it ain't dismal and lonesome out in a fog that way, by yourself, in the night, you try it once—you'll see.

One of the great differences between Europe in general and America is in the attitude towards nature. To us over here, perhaps, nature is always, in a sense, the mother or the wife: something with which you enter into a semi-personal relation. In the United States, nature is something much more savage; it is much more like—shall we say?—St. George and the dragon. Nature is the dragon, against which St. George proves his manhood. The trouble about that, of course, is that if you succeed in conquering the dragon, there is nothing you can do with the dragon except enslave it, so that there is always the danger with a wild and difficult climate of alternating, if you like, between respecting it as an enemy and exploiting it as a slave.

The second thing that will strike any European reader in reading *Huckleberry Finn* is the amazing stoicism of this little boy. Here he is, with a father who is a greater and more horrible monster than almost any I can think of in fiction, who very properly gets murdered later. He runs into every kind of danger; he observes a blood feud in which there is a terrible massacre, and he cannot even bear, as he writes afterwards, to think exactly what happened. Yet, in spite of all these things, which one would expect to reduce a small child either into becoming a criminal or a trembling nervous wreck, Huck takes them as Acts of God which pass away, and yet one side of this stoicism is an attitude towards time in which the immediate present is accepted as the immediate present; there is no reason to suppose that the future will be the same, and therefore it does not, perhaps, have to affect the future in the same kind of way as it does here.

Then, more interestingly, the European reader is puzzled by the nature of the moral decision that Huck takes. Here Huck is with his runaway slave, Jim, and he decides that he is not going to give Jim up, he is going to try to get him into safety. When I first read *Huckleberry Finn* as a boy, I took Huck's decision as being a sudden realization, although he had grown up in a slave-owning community, that slavery was wrong. Therefore I completely failed to understand one of the most wonderful passages in the book, where Huck wrestles with his conscience. Here are two phrases. He says:

I was trying to make my mouth say I would do the right thing and the clean thing, and go and write to that nigger's owner and tell where he was; but deep down inside I knowed it was a lie, and He knowed it. You can't pray a lie—I found that out.

He decides that he will save Jim. He says:

I will go to work and steal Jim out of slavery again; and if I could think up anything worse, I would do that, too; because as long as I was in, and in for good, I might as well go the whole hog.

When I first read the book I took this to be abolitionist satire on Mark Twain's part. It is not that at all. What Huck does is a pure act of moral improvisation. What he decides tells him nothing about what he should do on other occasions, or what other people should do on other occasions; and here we come to a very profound difference between American and European culture. I believe that all Europeans, whatever their political opinions, whatever their religious creed, do believe in a doctrine of natural law of some kind. That is to say there are certain things about human nature, and about man as a historical creature, not only as a natural creature, which are eternally true. If a man is a conservative, he thinks that law has already been discovered. If he is a revolutionary he thinks he has just discovered it; nobody

knew anything in the past, but now it is known. If he is a liberal, he thinks we know something about it and we shall gradually know more. But neither the conservative, nor the revolutionary, nor the liberal has really any doubt that a natural law exists.

It is very hard for an American to believe that there is anything in human nature that will not change. Americans are often called, and sometimes even believe themselves to be, liberal optimists who think that the world is gradually getting better and better. I do not really believe that is true, and I think the evidence of their literature is against it. One should say, rather, that deep down inside they think that all things pass: the evils we know will disappear, but so will the goods.

For that very reason you might say that America is a country of amateurs. Here is Huck who makes an essentially amateur moral decision. The distinction between an amateur and a professional, of course is not necessarily a matter of learning: an amateur might be a very learned person, but his knowledge would be, so to speak, the result of his own choice of reading and chance. *Vice versa*, a professional is not necessarily unoriginal, but he will always tend to check his results against the past and with his colleagues. The word "intellectual" in Europe has always meant, basically, the person who knew what the law was, in whatever sphere, whether it was religion, medicine, or what have you. There has always been a distrust in the States of the person who claimed in advance to know what the law was. Naturally, in any country where people are faced with situations which are really new, the amateur often is right where the professional is wrong; we sometimes use the phrase "professional caution," and that sometimes applies when situations are quite different. On the other hand, the amateur tends, necessarily, to think in terms of immediate problems and to demand immediate solutions, because if you believe that everything is going to be completely different the day after tomorrow, it is no good trying to think about that.

A third thing, coupled with that, is that on reading *Huckleberry Finn* most Europeans will find the book emotionally very sad. *Oliver Twist* has been through all kinds of adventures; he has met people who have become his friends, and you feel they are going to be his friends for life. Huck has had a relationship with Jim much more intense than any that Oliver has known, and yet, at the end of the book, you know that they are going to part and never see each other again. There hangs over the book a kind of sadness, as if freedom and love were incompatible. At the end of the book Oliver the orphan is adopted by Mr. Brownlow, and that is really the summit of his day-dream—to be accepted into a loving home. Almost the last paragraph of *Oliver Twist* runs:

Mr. Brownlow went on, from day to day, filling the mind of his adopted child with stores of knowledge...becoming attached to him, more and more, as

his nature developed itself, and showed the thriving seeds of all he wished him to become....

How does Huck end:

I reckon I got to light out for the Territory ahead of the rest, because Aunt Sally she's going to adopt me and sivilise me, and I can't stand it. I been there before.

In that way, of course, he is like a character in *Oliver Twist*—the Artful Dodger. But in the case of the Artful Dodger, Dickens shows us this charming young man as nevertheless corrupt, and over him hangs always the shadow of the gallows; he is not the natural hero, as Huck is in *Huckleberry Finn*.

In addition to the attitude towards nature, the attitude towards natural law, there are two more things one might take up briefly; the attitude towards time, and the attitude towards money. Imagine two events in history, (a) followed by (b), which in some way are analogous. The danger to the European will be to think of them as identical, so that if I know what to do over (a), I shall know exactly what to do with (b). The danger in America will be to see no relation between these things at all, so that any knowledge I have about (a) will not help me to understand (b). The European fails to see the element of novelty; the American fails to see the element of repetition. You may remember that both Oliver and Huck come into some money. In Oliver's case it is money that is his by right of legal inheritance. In Huck's case, it is pure luck. He and Tom Sawyer found a robber's cache. The money came to them only because it could not be restored to its rightful owners. The money, therefore, is not something that you ever think of inheriting by right.

One might put it this way: in Europe, money represents power—that is to say, freedom from having to do what other people want you to do, and freedom to do what you yourself want to do; so that in a sense all Europeans feel they would like to have as much money themselves as possible, and other people to have as little as possible.

In the States, money, which is thought of as something you extract in your battle with the dragon of nature, represents a proof of your manhood. The important thing is not to have money, but to have made it. Once you have made it you can perfectly well give it all away. There are advantages and disadvantages on both sides. The disadvantage in Europe is a tendency towards avarice and meanness; the danger in America is anxiety because, since this quantitative thing of money is regarded as a proof of your manhood, and to make a little more of it would make you even more manly, it becomes difficult to know where to stop. This ties up with something that always annoys me: when I see Europeans accusing Americans of being materialists. The real truth about Americans is they do not care about matter

enough. What is shocking is waste; just as what shocks Americans in Europe is avarice.

(*The Listener*, 1953, 'October)

1958

WRIGHT MORRIS

The Available Past

And yet I can't go away from the boyhood period and write because capital (that is, personal experience) is not sufficient by itself and I lack the other essential: interest in handling the men and experience of later times.

Deleted from a letter to an unidentified person

The man who marks the spot where our literature began, according to Ernest Hemingway, is the author of two world classics about boys. *Tom Sawyer* is about boys, for boys; *Huckleberry Finn* is about boys, for men. Mark Twain ran the gamut of life from Tom Sawyer to Huckleberry Finn. This, as he put it himself, was his capital. In America it was not a small thing. From a boyhood idyl of the good life to a boy's criticism of that life is the natural range and habitat of the American mind. The green breast of the world at its greenest to the breast of that world at its brownest is roughly the line of descent from Twain to Hemingway. The Mississippi and the Big Two-Hearted River represent the starting points, soon defiled, the past that is exploited and corrupted, and Hemingway's exile is a judgment on things as they are; the green dream burned over, the clear streams polluted, the natural beauty corrupted beyond repair. [...]

We need not challenge the accuracy of Hemingway's judgment to understand its source. In both Hemingway and Twain it lies in their boyhood: a timeless river idyl for that young rebel Huckleberry Finn; for Hemingway the Big Two-Hearted River deep in the Michigan woods. An affinity more intimate than style, a brotherhood of great promise and quick disillusion, unites the young men of *The Sun Also Rises* with the skeptical idyll of Huckleberry Finn. In both, we must remember, there is no green territory up ahead. Up there lies Aunt Sally, with her civilizing ways, and we know about that. [...]

Huck Finn's pilgrimage the boy who lit out for the territory ahead, but never found it is the true-to-life story of Mark Twain. A natural a man who learned to write the way a river pilot learns the feel of a channel—he had the capital, he was well equipped, he thought, for the writer's trade.

Saturated with facts of a raw-material nature, but isolated from facts of a cultural nature, the cultural isolation proved to be the most

irreparable. The facts of life—loss of money, loss of youth, loss of loved ones—left Twain, as it does all men, with less and less facts, and more and more thoughts. But a thought—a thought was the one fact he could not trust. This cultural fact, more durable since more immaterial, seemed to contradict the world of raw-material facts in which he was at home. His innocence, of which he made capital in his many ventures abroad, ended by making him an exile from both worlds, the mythic facts of his boyhood and the cultural facts of his manhood, leaving him to wander forlorn in a world without a God, without a Universe, without Aunt Sally.

It may seem hard to believe that Henry James and Mark Twain were *contemporaries*... Between the natural phenomenon, like Twain, and the cultural phenomenon, like James, there may lie a stretch of time similar to the stretch of continent. The essential paradox of these two men of genius, of *Life on the Mississippi* with the *Life in the Mind* of James, is that between raw material and technique, between nonconsciousness and supreme consciousness carried to one of its peaks. [...]

Nothing could better illustrate the raw-material range and promise of the American imagination than the thought of Henry James meeting Mark Twain, an innocent abroad. The innocent doing his level best to dispense with all that highfalutin cultural nonsense, at the moment that James was trying to bring the new world to terms with it. In this imaginary encounter of James and Twain, the cultural fact and the natural fact, the supreme technician and the natural yarn spinner, we have two poles, the opposing worlds of American sensibility. [...] The old world had been processed so many times that the raw-material savor had gone out of it, but Twain did not know that the process, not nature, put the savor back into it. [...] He began, he was always beginning, a fresh start, a boy's clear-eyed look at the world around his boyhood—a look that had no outlook, a boy who was obliged to never grow up. In the dreamy, shifting mirror of the Mississippi, fiction and fact softly blurred at the edges. But in one moment of vision, a state of hallowed reminiscence, he seemed to grasp the distinction, his genius flowed into it. Into *Life on the Mississippi* he poured the facts; into *Huckleberry Finn* he poured the fiction. Having done so, he lost all the awareness of what he had done. In each case, as it appears to us now, the memory was processed by the same emotion—a dream of nostalgia centered on a growing boy, and a growing young man. But the eternal river, the majestic river seen through the eyes of both of these travellers, from a steamboat or the raft, turns out to be pretty much the same. Both rivers are fiction. They have been processed, that is, into permanence. At this moment, at this critical juncture of raw material and the imagination, Mark Twain, the great natural, joined hands with that genius of artifice, Henry James.

Since the literature of the world affords us no finer example of raw material in the process of becoming fiction, it will pay to observe how this is done. In the nineteenth chapter of *Huckleberry Finn*, the boy on the raft describes what he sees in this manner: [Quotes "The first thing" to "going it", p. 000] As fine as this is, it is the memory of a man, processed up to appear as the vision of a boy. A citizen of Harvard, a husband and good provider, who chooses to remember what he fancies he misses, the smell of woods and flowers, and the songbirds just going it. There is knowledge acquired later, as a river pilot, put into the language of a boy, and a man's emotion is processed to suit the substance of the memory. [...]

Once the wealth of impressions start to flow, once this lyrical fountainhead is tapped, the prose flows like the river, without interruption, merely snagged here and there by commas and semicolons, but too grand and majestically alive to be stopped by something like a period.

[...] it is here, in the grip of this passion for what has escaped him, that the emotion has processed the memory into art. What that boy, Huck Finn, had lost through knowledge, through the territory of life ruled over by Aunt Sally, the man was able to recover in this lucid moment of reminiscence and craft. It was the knowledge of the loss—the man's knowledge—that generated what was timeless in the boy's impressions. No more beautiful or instructive example of the artist's dilemma, of the source of his passions, and how, if ever, he must lovingly resolve them, is available to us than the passion of Mark Twain, resolved in *Huckleberry Finn*.

Although his imagination had restored to him what he had given up for lost—afforded him possession of it for the first time—his sensible down-to-earth mind remained convinced that it was the facts, the lost facts, that truly mattered. The great majestic river, like his boyhood, was lost to him forever. Knowledge and experience—those disillusioning specters—had muddied the waters of the river of life. The deplorable world of Aunt Sally—the ordeal of Mark Twain with Hartford and Mrs. Clemens—left nothing but staleness and disenchantment in its wake. At the moment his creative mind hung in the balance, imagining the green morning of the world in *Huckleberry Finn*, his conscious practical mind, brooding on the sorry facts, had already relegated the past to limbo. The good old days, and the great majestic river, were gone. Nothing remained to him but debts, business ventures, and failures, trips abroad and flights of fancy, the loss of his loved ones and the raw-material bankruptcy of *What Is Man?*

(*The Territory Ahead*. N. Y., 1958)

PHILIP FONER

The Adventures of Huckleberry Finn

The idea for *Huckleberry Finn* was forming in Mark Twain's mind at the time he wrote "A True Story"; hence it is not surprising that his greatest work should contain numerous passages which are almost a continuation and development of the brief story. And if, in the earlier work, Twain created one of the finest woman characters in American literature, so in *The Adventures of Huckleberry Finn*, published in 1884, he gave us one of the greatest male characters. Huck Finn's companion and friend, the Negro runaway slave, Jim. "Jim," Sterling Brown has pointed out, "is the best example in 19th century fiction of the average Negro slave (not the tragic mulatto or the noble savage), illiterate, superstitious, yet clinging to his hope for freedom, to his love for his own. And he is completely believable."

Jim is the real hero of the novel. He is a warm human being, lovable and admirable. His nobility shines through the entire book. Whether it was risking his life and freedom to save Tom Sawyer or shielding little Huck from the knowledge that the corpse aboard the raft is Huck's father, Jim represents all that is good in man. Even the doctor, steeped in the Southern white supremacy ideology, pays tribute to Jim's courage in aiding Tom when he was wounded. He tells the slave hunters who have captured Jim after his escape from slavery, that he never saw a Negro who "was a better nuss or faithfuller and yet he was risking his freedom to do it." Twain does not portray Jim's devotion to Tom in the servile stereotyped manner typical of the plantation tradition novels. Rather he shows Jim as naturally kind, staunch and brave.

Huck's development is a constant struggle. He has the task of throwing off the load of slave society conventions. The true greatness of the book lies in its exposition of how this is accomplished.

Huck begins by regarding Jim very much as the white Southerner regarded a slave. Gradually, he discovers that Jim, despite the efforts of society to brutalize him, is a noble human being who deserves his protection, friendship and love. This change takes place slowly in Huck, always accompanied by an inner struggle between the ideology and mores of a slave society and the humanity of the boy. In one instance, Huck, having hurt Jim's feelings by a particularly mean trick, says, "It was fifteen minutes before I could work myself up to go and humble myself to a nigger; but I done it, and I warn't ever sorry for it afterward, neither. I didn't do him no mean tricks, and I wouldn't done that one if I'd 'a' knowed it would make him feel that way." On another occasion, Huck awakens on the raft and hears Jim moaning to himself. Huck is puzzled but he finally concludes: "I knowed what

it was about. He was thinking about his wife and children, up yonder, and he was low and homesick... I do believe he cared just as much for his people as white folks does for their'n. It don't seem natural, but I reckon it's so."

But it is in the famous "conscience" scene, growing out of Jim's escape to freedom, that Huck makes his final break with the conventions of Southern slave society. One day Jim learns to his horrified amazement that he was about to be sold "down the river." As Jim explains to Huck: [Quotes Ch. VIII "Well, you see" to "I tell you", p. 55].

In Jim's plight, Twain dramatizes the cruelty of slavery. He is to be sold down the river for the sufficient reason that he will bring \$800 in New Orleans. Moreover, everyone in the village is entirely reconciled to such inhumanity; none felt it to be inconsistent with their praise of the Declaration of Independence on the fourth of July. Even generous-hearted Huck, a person of no family—his father having "no more quality than a sudeat"—shares the village's attitude toward slavery. He cannot understand Tom Sawyer's proposal to help Jim escape from bondage: "Well, one thing was dead sure, and that was that Tom Sawyer was in earnest, and was actually going to help steal that nigger out of slavery. That was the thing that was too many for me. Here was a boy that was respectable and well brung up; and had a character to lose; and folks at home that had character; and he was bright and not leather-headed; and knowing and not ignorant; and not mean, but kind; and yet here he was, without any more pride, or rightness, or feeling, than to stoop to this business, and make himself a shame, before everybody." When he is asked to assist in the escape, Huck contemplates with horror the thought of being called a "nigger-stealer" or "low-down" abolitionist. In an unpublished comment in his notebook, set down in 1895, Twain explains Huck's feelings:

In those old slave-holding days the whole community was agreed as to one thing—the awful sacredness of slave property. To help steal a horse or a cow was a low crime, but to help a hunted slave, or feed him or shelter him, or hide him, or comfort him, in his trouble, his terrors, his despair, or hesitate to promptly betray him to the slave-catcher when opportunity offered was a much baser crime, & carried with it a stain, a moral smirch which nothing could wipe away. That this sentiment should exist among slave-owners is comprehensible—there were good commercial reasons for it—but that it should exist & did exist among the paupers, the loafers, the tag-rag & bobtail of the community, & in a passionate & uncompromising form, is not in our remote day realizable. It seemed natural enough that Huck & his father the worthless loafer should feel it & approve it, though it seems now absurd. It shows that that strange thing, the conscience—the unerring monitor—can be trained to approve any wild thing you *want* it to approve if you begin its education early & stick to it.

Huck decides to help Jim make good his escape, but he is constantly wrestling with his "ill-trained conscience," as Twain put it in his notebook. In one of his many moments of vacillation, his soul tormented by the "crime" he is committing, he takes pity on "poor Miss Watson" who is being deprived of her "property": "Conscience says to me, 'What had poor Miss Watson done to you that you could see her nigger go off right under your eyes and never say one single word? What did that poor old woman do to you that you could treat her so mean?' " When Huck hears Jim describe his plan, once he had gained his freedom, to buy his wife and children out of slavery, all his Southern rearing comes to the fore:

[Quotes Ch. XVI "It most froze" to "done me no harm.", p. 86].

Huck weighs the question of betraying Jim. He tries to persuade himself that Jim would be better off at home, after all, with his family. He considers the advantage to himself, realizing that he would become a hero in the eyes of his home town. But he cannot do it. His conscience pulls at him in all directions:

[Quotes Ch. XXI "My conscience" to "I can't get out...", p. 86].

Huck decides to try to find an answer through prayer. He tells himself that if he had gone to Sunday School he would not be in this predicament, that he would have learned that helping a slave gain his freedom meant going to "everlasting fire.... So I kneeled down. But the words wouldn't come...I was trying to make my mouth say I would do the right thing and the clean thing, and go and write to that nigger's owner, and tell where he was; but deep down in me I knowed it was a lie, and He knowed it. You can't pray a lie—I found that out." At last Huck had an idea, astonishing in its simplicity. Why, he'd write the letter first and then try to pray. So he wrote a letter to Miss Watson informing her of Jim's whereabouts:

[Quotes Ch. XXXI "I felt good" to "tore it up", p. 173-174].

"A sound heart & a deformed conscience came into collision & conscience suffers defeat," Twain summed it up, years later, in his notebook. The conscience scene on the river is one of the most moving in American literature. Nowhere else is so effectively pictured the contradiction between the holy institutions which upheld slavery and the humane feelings of a decent human being.

Huck's tearing up the letter is the crux of the novel, but the book is filled with devastating thrusts at the whole idea of white supremacy. When a free Negro from Ohio comes to town with a white shirt, a gold watch and chain and a silver-headed cane, who is it that flies into a rage and sounds off about shiftless Negroes? Why, it is Huck's drunken old father, who never did a stroke of work in his life if he could help it. Who is it who insists that the Negroes deserve to be enslaved because they are not mentally equipped to be free? Why, it is the same whites who show how stupid they are by falling prey to two old frauds who swindle them by posing as the Duke of Bilgewater and The Dauphin of France. Who is it who claims that the Negroes are sav-

ages? Why, none other than the whites who spend their time feuding with each other for nothing.

The Adventures of Huckleberry Finn is climaxed by the remarkable piece of irony towards the end of the novel in which Huck explains that the delay in the boat's arrival was caused by the blowing of a cylinderhead. "Goodness gracious! anybody hurt?" Aunt Sally, a pious Christian woman asks. "No'm. Killed a nigger," Huck answers. "Well, it's lucky; because sometimes people do get hurt," Aunt Sally says thankfully.

It is in such eloquent passages, especially the "Conscience" scene, notes De Voto, that "literature does what it can to repay the bondman's 250 years of unrequited toil." Twain, like his fellow novelist and lecture companion, George W. Cable, helped to counterbalance the derogatory stereotypes of the Negro characteristic of most American fiction in the post-Reconstruction era. With "Mark Twain's Jim," notes the London *Times Literary Supplement* in 1954, evaluating the development of American literature, "there begins an attempt to portray the Negro as an individual rather than as a stock character." There begins, too, the attempt to demolish in literature the myth that the Negro slave was acquiescent and subservient to the slavocracy. The historical truth, as set forth in *Huckleberry Finn* and before it, in "A True Story," is that the Negro slave challenged, through struggle, the whole system of oppression in the South.

Small wonder, then, that *Huckleberry Finn* was barred from certain libraries and schools. While the reasons advanced by the authorities was "the book's endemic lying, the petty thefts, the denigration of respectability and religion, the bad language, and the bad grammar," it was clear to anyone who read the attacks on the book thoughtfully, that the authorities regarded the exposure of the evils of slavery and the heroic portrayals of the Negro characters as "hideously subversive." And, as Twain pointed out biting, the fathers of these same authorities had "shouted the same blasphemies a generation earlier when they were closing their doors against the hunted slave, beating his handful of humane defenders with Bible text, and billies, and pocketing the insults and licking the shoes of his Southern masters."

(*Mark Twain: Social Critic*. N. Y., 1958)

1960

WALTER BLAIR

Huck and Tom

A year after finishing *Tom Sawyer*, while reading chapter proofs for that book, Mark Twain started, as a sequel, *Adventures of Huckleberry Finn*, subtitled "Tom Sawyer's Comrade." Because of juxtapo-

sitions in time and subject matter the two books were closely related. One result was that, just as other writings had rehearsed parts of *Tom Sawyer*, that book rehearsed parts of the later novel.

On Jackson's Island, in Chapter XIII of the book bearing his name, Tom talks about the superiority of a pirate's life over a hermit's:

" 'You see,' said Tom, 'people don't go much on hermits, now-a-days...but a pirate's always respected. And a hermit's got to sleep on the hardest place he can find, and put sack-cloth and ashes on his head, and stand out in the rain, and--'

" 'What does he put sack-cloth and ashes on his head for?' inquired Huck.

" 'I dono. But they've got to do it. Hermits always do. You'd have to do that if you was a hermit.'

" 'Dern'd if I would,' said Huck.

" 'Well what would you do?'

" 'I dono. But I wouldn't do that.'

" 'Why Huck, you'd *have* to. How'd you get around it?'

" 'Why I just wouldn't stand it. I'd run away.'

" 'Run away! Well you *would* be a nice old slouch of a hermit. You'd be a disgrace.'"

Tom's skimpy knowledge and his pedantic acceptance of books as authorities as contrasted with Huck's ignorance, his respect for Tom's learning, and his common sense are ingredients of this passage. The same incongruities occur in Chapters XXV, XXXIII, and XXXV, when Tom and Huck discuss robber gangs, and in Chapter XXVI, when they consider Robin Hood.

At the start of *Huck*, the same pair have an almost identical talk about robbers, and in Chapter III Tom discourses on genies—"as tall as a tree and as big around as a church":

" 'Well,' I says, 's'pose we got some genies to help *us*—can't we lick the other crowd then?'

" 'How you going to get them?'

" 'I don't know. How do *they* get them?'

" 'Why, they rub an old tin lamp or an iron ring, and then the genies come tearing in...and everything they're told to do they up and do it....'

" 'Who makes them tear around so?'

" 'Why, whoever rubs the lamp or the ring. They belong to whoever rubs the lamp or the ring, and they've got to do whatever he says....'

" 'Well,' says I, 'I think they are a pack of flat-heads.... And what's more—if I was one of them I would see a man in Jericho before I would drop my business and come to him for the rubbing of an old tin lamp....'

" 'Shucks, it ain't no use to talk to you.... You don't seem to know anything, somehow—perfect sap-head.' "

The humor is essentially the same. At the end of the new novel, Tom again lectures—this time on prisoners' escapes—through a series of chapters.

A prediction made by Huck in Chapter XXV of the earlier novel about what would happen if he found a treasure is fulfilled in the sequel; indeed, it may have suggested an inciting force: "Pap would come back to thish-er town some day and get his claws on it if I didn't hurry up [and get rid of it]." Pap does return and in an attempt to get hold of the treasure seizes his son. To avoid Pap's abuse and being "sivilized" by Widow Douglas, Huck escapes to Jackson's Island.

There, just as he and Tom and Joe Harper do in Chapter XIV of *Tom Sawyer*, Huck watches the ferryboat hunt for his drowned body:

"Well, I was dozing off again, when I thinks I hears a deep sound of 'boom!' away up the river. I rouses up and rests on my elbow and listens; pretty soon I hears it again. I hopped up, and went and looked out at a hole in the leaves, and I see a bunch of smoke laying on the water a long ways up—about abreast the ferry. And there was the ferry-boat full of people, floating along down. I knowed what was the matter now. 'Boom!' I see the white smoke squirt out of the ferry-boat's side. You see, they was firing cannon over the water, trying to make my carcass come to the top."

In chapter XXVIII of *Tom Sawyer*, Huck plans to sleep in the Rogers' hayloft with the consent of the slave, Uncle Jake:

"I tote water for Uncle Jake whenever he wants me to, and any time I ask him he gives me a little something to eat if he can spare it. That's a mighty good nigger, Tom. He likes me, becuz I don't ever act as if I was above him. Sometimes I've set right down and eat *with* him. But you needn't tell that. A body's got to do things when he's awful hungry he wouldn't want to do as a steady thing."

This is a crude pencil sketch of the escaping slave Jim, who joins Huck on the island and later goes down the river with him. And the vein of satire dealing with moral anomalies in a slaveholding society here briefly exposed was to be brilliantly exploited.

During the journey downstream, Huck does some reading and for a time he is to uneducated but commonsensible Jim what Tom is to Huck in *Tom Sawyer*—an argumentative instructor. The two investigate such topics as King Solomon, the French language, and the ways of royalty and nobility.

These and other repetitions relate the two novels. Nevertheless, there would be tremendous differences between these books, close in time though they were.

Comparison of even brief excerpts indicates one great difference—in the styles. The descriptions of daybreak preceding this chapter are an instance. In *Tom*, two squirrels (one in apologetic quotation marks) "skurry along...to inspect and to chatter at the boys"; in *Huck*, "a couple of squirrels set on a limb and jabbered at me very friendly." In

Tom, "All Nature [with a capital N] was awake and stirring, now"; in *Huck*, "I could see the sun out at one or two holes." In *Tom*, "long lances of sunlight pierced down through the dense foliage far and near"; in *Huck*, "it was big trees all about, and gloomy in there," and "there was freckled places on the ground where the light sifted down through the leaves." If the earlier passage misses the contrived "prettiness" and artiness of a Victorian description, it barely does so; but the later passage appears to have no more concern with prettiness or artiness than *Huck* does. If the earlier passage gets its effect, it does so despite the handicap of its all but trite style. If the latter passage gets its effect, it does so largely because it is in a style which handles the detail naturally and in phrases striking enough to be memorable.

The shift to *Huck* as narrator would liberate Mark Twain from many limitations which an overweening desire to haul off and be literary in the third person had imposed. *Huck's* character, of course, would have a great deal to do with this. A boy so sensitive and so shrewd was bound to record scenes and actions with insight; but since he was unabashedly uncouth, he was bound to do this naturally and unpretentiously. Since he was almost completely humorless, he was bound to be incongruously naïve and somber on many laugh-provoking occasions. The author's experience would help him climb into *Huck's* skin. He too was sensitive and perceptive, and he too had been informed of his lack of manners and culture. And for purposes of both written and oral humor he had often impersonated a similar character, using language homely to him which had given him a freedom that the literary language of the day could not afford.

And the ideas in the new book would be more vital to Twain—and to his readers—than those in the earlier novel. *Tom* is a light book suitable for children and for adults satisfied with a funny story; *Huck* is a funny book suitable for children, too; but grownups who read it find depths in its humor and in its meanings which as childish readers they completely missed.

In *Tom Sawyer*, Mark Twain pictures with amusement and sympathy youngsters who were currently labeled Bad Boys, and he concludes by showing such youngsters triumphant. In a sense, therefore, the book was rebellious. But its attack was a playful one. The boys can resist civilization blamelessly and comically—blamelessly because they are not responsible, comically because their innocent insurrections contrast incongruously with the tensions of responsible grownups. *Tom* and his companions—even *Huck*—do not question the standards, nor does Mark. In 1875, when he finished this novel, he could make his happy ending a boy's attainment of respectability.

But in the new book, while *Tom's* character would be greatly simplified, *Huck's* would be made far more complex, and this outcast would be the narrator and the protagonist. Pap Finn, not on the scene in *Tom Sawyer*, would figure prominently because *Huck* was to live with him and escape from him. Jim would be pictured at full length

because Huck would spend days and nights with him out on Jackson's Island, on the raft drifting downstream or ashore away from everybody else. On his journey, this waif would meet and come to know many other characters who could not have invaded Tom's childhood world except as melodramatic figures. Most of them would be adults. The civilization which they represent would differ greatly from that of godly St. Petersburg. Twain's attitude toward this civilization, moreover, would be very different. Many of its standards he would not accept but would question and reject. Huck would struggle with his own problems not in a childish but in an adult fashion. And whereas the ending of *Tom* shows the boy initiated into society, the new book would show the much more mature Huck fleeing from society.

These changes would come about because of the life the author led, the books he read, his ponderings, and the conclusions he reached about humanity during the seven-year period of the book's composition.

(*Mark Twain and Huckleberry Finn*, N. Y., 1960)

1962

HENRY NASH SMITH

A Sound Heart and a Deformed Conscience

In writing *Huckleberry Finn* Mark Twain found a way to organize into a larger structure the insights that earlier humorists had recorded in their brief anecdotes. This technical accomplishment was of course inseparable from the process of discovering new meanings in his material. His development as a writer was a dialectic interplay in which the reach of his imagination imposed a constant strain on his technical resources, and innovations of method in turn opened up new vistas before his imagination.

The dialectic process is particularly striking in the gestation of *Huckleberry Finn*. The use of Huck as a narrative persona, with the consequent elimination of the author as an intruding presence in the story, resolved the difficulties about point of view and style that had been so conspicuous in the earlier books. But turning the story over to Huck brought into view previously unsuspected literary potentialities in the vernacular perspective, particularly the possibility of using vernacular speech for serious purposes and of transforming the vernacular narrator from a mere persona into a character with human depth. Mark Twain's response to the challenge made *Huckleberry Finn* the greatest of his books and one of the two or three acknowledged masterpieces of American literature. Yet this triumph created a new technical problem to which there was no solution; for what had begun as a comic story developed incipiently tragic implications contradicting the premises of comedy.

Huckleberry Finn thus contains three main elements. The most conspicuous is the story of Huck's and Jim's adventures in their flight toward freedom. Jim is running away from actual slavery, Huck from the cruelty of his father, from the well-intentioned "civilizing" efforts of Miss Watson and the Widow Douglas, from respectability and routine in general. The second element in the novel is social satire of the towns along the river. The satire is often transcendently funny, especially in episodes involving the rascally Duke and King, but it can also deal in appalling violence, as in the Grangerford-Shepherdson feud or Colonel Sherburn's murder of the helpless Boggs. The third major element in the book is the developing characterization of Huck.

All three elements must have been present to Mark Twain's mind in some sense from the beginning, for much of the book's greatness lies in its basic coherence, the complex interrelation of its parts. Nevertheless, the intensive study devoted to it in recent years, particularly Walter Blair's establishment of the chronology of its composition, has demonstrated that Mark Twain's search for a structure capable of doing justice to his conceptions of theme and character passed through several stages. He did not see clearly where he was going when he began to write, and we can observe him in the act of making discoveries both in meaning and in method as he goes along.

The narrative tends to increase in depth as it moves from the adventure story of the early chapters into the social satire of the long middle section, and thence to the ultimate psychological penetration of Huck's character in the moral crisis of Chapter 31. Since the crisis is brought on by the shock of the definitive failure of Huck's effort to help Jim, it marks the real end of the quest for freedom. The perplexing final sequence on the Phelps plantation is best regarded as a manoeuvre by which Mark Twain beats his way back from incipient tragedy to the comic resolution called for by the original conception of the story.

(*Mark Twain: The Development of a Writer*.
Harvard University Press, 1962)

1970

MAXWELL GEISMAR

The River and the Raft

This was Clemens' most celebrated book, although not by any means, as so often claimed, his single great book; nor was this redoubtable genius of our native literature confined, in my view, to the world of childhood, or to the "natural boy" of a Rousseauism which Mark Twain had never heard of. Indeed it was most clearly Clemens'

deep sense of the early world of childhood and of natural pleasure which made his view of maturity and of society so penetrating, so caustic, so comic, and so wise. [...]

[...] Did the *Adventures of Huckleberry Finn* actually mark the climax of his career, and a decline in his creative powers as suggested by his most recent biographer, Justin Kaplan? Was Twain caught up in his idyll of western adolescence to the point of retreating from all contemporary reality, or even, let us say, from artistic maturity itself? This curious vein of Mark Twain criticism was also propounded in various ways by such critics as Van Wyck Brooks in the twenties, Bernard De Voto in the forties, Mr. Kaplan and Charles Neider in the fifties and sixties. What nonsense, really! *Huck Finn* did indeed take eight years and seven other books before it was finished; but was this a mark of deep inner conflict or perhaps of Clemens' deep intuitive sense of craftsmanship—or of both, as occurs usually with such great books? [...]

Tom Sawyer had satirized, as we know, all the conventional values of "maturity," social success and social power and place. But from the very outset *Huckleberry Finn* defied all the proprieties, including also wealth, success, social position, and conventional religion of the time. It was outrageous what Clemens got away with. It is curious, too, that Twain's Freudian biographer did not stress the opening fantasy of Huck's horrid father (as projected by the outcast prince, Huck-Sam) who was the evil guardian, in Clemens' mind, of the natural child. Like any good primitive myth, the opening of *Huck Finn* is heavy with dubious and shifting oedipal imagery; it is through this drunken, outcast, scheming, cruel—also impotent, pathetic, and helpless—father figure that Huck achieves his escape from the Widow and "sivilization." (First, Huck gives up his inheritance to Judge Thatcher for a consideration of one dollar; no more cash nexus.) And Huck appeals to "Nigger Jim" in his urgent need for charms and witchcraft to help him against the villainous parent. [...]

[...] We enter the primeval world of the great river and the western wilderness. [...]

[...] Civilization comes back to them briefly, and anticipatorily, in the lurid episode of the floating river boat, the three robbers, and their own hasty, terrified escape—the ominous hint of violence in Eden—while Huck gradually comes to a truer realization of Jim's "black soul." Their conversations are grand affairs where Huck is "teaching" Jim. When Jim doesn't accept the lesson or the moral and wins the argument, Huck takes refuge in the white man's superiority. "I see it warn't no use wasting words—you can't learn a nigger to argue. So I quit." But Jim of course is teaching Huck much more about nature, life, and human beings, as Huck has the grace to admit. "Well, he was right; he was most always right; he had an uncommon level head for a nigger." [...]

[...] Sometimes Jim's natural heroic splendor makes Huck feel so

ordinary and mean that he humbles himself before the Negro—and “warn’t very sorry for it afterward, neither.” This is another stage in the developing relationship between what you might call the poor-white-trash boy and the runaway slave: these mutual outcasts who fashion their own world of affection, pleasure, and “underground” trust and responsibility. And the language? [...] The different dialects in his book are convincing and consistent within themselves as a literary achievement “based on” southern Negro language, if one can’t quite attest to their social and historical verisimilitude. [...]

[...] And with what simplicity, irony, and grandeur prevailing over deep social taboos, does Huck finally resolve that he might as well do evil and *not* betray his friend. [...] In the caricature of Huck resolving to do “good or bad” depending on which was most convenient, wasn’t Twain reaching for a still deeper human impulse: namely, a basic indifference to morality for its own sake and a simple deference to those habits and customs, whether moral or not, which are socially acceptable—convenient—at any given historical moment. [...]

[...] It was the whole concept of the Negro as subhuman, as animal—a concept assiduously cultivated by the slave-owning classes, and then the post Civil War south, and still insidiously established in the white man’s psyche in the latter half of the twentieth century—that Huck’s great innocent “discoveries” were being directed at the mid 1880s. And just as Twain’s double-barreled use of the word “conscience” means with Huck only a tribal custom at first; so his hero’s original use of the word “natural” meant cultural and societal. What the book reveals is Huck’s discovery of both a true conscience, his own, and a true use of “natural” as being often *antisocial*: a defiance of stale (or evil) customs.

[...] reducing all the “mature” values of ambition, competition, possession, material wealth, fame, and success to these boyhood fits of admiration, envy, rage, jealousy, yearning and emulation, scorn, trickery, revenge, Clemens displayed his deepest and central vein of edenic-satanic feeling. Life here was a cosmic kind of merriment—and this theme, this tone, this concept had never appeared before in the national letters so clearly and purely all its own. [...]

[...] Proclaiming himself a Marat Sansculotte, via the reactionary Carlyle, at this golden noon of Clemens’ career—why, then, what becomes of the critical orthodoxy which holds that Mark Twain’s “black despair” came out of his depths of frustration, financial loss, family pain, and suffering? That it was simply a “bitter old man,” perhaps even a drunkard, who penned those brilliant, flaming, sardonic, pulsing revolutionary papers of his later period, and toward the very close of his life? What was most curious, indeed, was the exact opposite of this thesis—that Clemens’ spirit was virtually untouched by his own fame, wealth, and popular success, or by his showy and extravagant way of life, or his friendships with men of great status in life, or even with the robber barons of the time who courted him so assiduously.

By what remarkable and untoward streak of genius, what innate perversity of feeling, so to say, or originality of vision was it that the more successful Samuel Clemens was, the more rebellious, radical, or revolutionary in essence his inner spirit became!

It was actually the "river and the raft" that sweet spirit of the garden, infancy, and childhood untouched by the temptations and corruptions of civilization—which saved him. Like Huck, he could not seem to abide conventional American civilization. He had no use for this kind of schooling and "learning," and would rather put in his time loafing and playing, searching his soul, and thinking his own private thoughts. Social fame, success, respectability were all right in their place. But he had been there.

(Mark Twain: An American Prophet. N. Y., 1970)



КОММЕНТАРИИ



Один из многочисленных американских исследователей творчества Марка Твена писал: "*Huckleberry Finn* is valuable as informal social history; taken along with selected chapters of *Life on the Mississippi*, it is a compendium of dress, interior decoration, manners, social conventions, and economic realities of the antebellum culture. Whether the scientific linguist gives any support to Clemens' own claim about the accuracy of the dialects, their volume is inexhaustible in its verbal delight. We have Pap's illiterate and profane fulminations, the pseudo-literary pretensions of the Duke, Mrs. Loftus' housewifely locutions, Jim's Negro dialect, Colonel Sherburn's polished eloquence, and the incomparable gabble of old Mrs. Hotchkiss at the Phelps. Above all, we have Huck's own vulgar but richly beautiful lingo, which carries the narration along as smoothly and majestically as the river itself."¹ В этом высказывании косвенным образом намечено и то, что — в особенности для иноязычного читателя — может потребовать комментариев, а именно, реалии романа и его язык. Предлагаемые комментарии, соответственно, состоят из двух разделов.

В первом из них (как обычно, по ходу чтения текста, с указанием страницы) приводятся исторические, биографические, географические, а также текстологические данные, раскрываются литературные и библейские аллюзии и реминисценции, описываются различные черты уклада и быта, обычаи и законы, социальные установления и т. п.; кроме того, здесь же отмечаются отдельные образные выражения, некоторые каламбуры, которые могут пройти незамеченными, и ряд других специфических особенностей текста.

Во втором разделе — глоссарии — составляющие его единицы расположены в алфавитном порядке, поскольку многие из них встречаются неоднократно на протяжении всего повествования и потребовали бы при ином их расположении, то есть по

¹ F. Baldanza. *Mark Twain. An Introduction and Interpretation*. New York, 1961, p. 120.

ходу чтения текста, слишком частых отсылок назад, к той странице, где они встретились в первый раз. Здесь разъясняются слова как знаменательные, так и служебные, фразеологизмы, имена собственные, грамматические формы и, кроме того, те фонетические и орфографические варианты слов и словосочетаний, графическое оформление которых может вызвать затруднения в восприятии и понимании данного контекста. О последних стоит сказать подробнее.

Поскольку роман написан от первого лица, в нем дана только прямая речь — самого повествователя и других персонажей, переданная им. Все они почти без исключения говорят на том или ином из южных диалектов, о чем Марк Твен специально предупреждает своих читателей. Большинство персонажей романа, как и его герой, говорят и на так называемом "просторечии", систематически употребляя разнообразные "сниженные" языковые единицы и формы, причем диалектные свойства их речи переплетены с просторечными зачастую настолько тесно, что их иногда трудно бывает разграничить. Автор романа ставил своей целью воспроизвести максимально точно именно звучание этой прямой речи, в особенности в диалоге. О своем методе работы он говорил: "I amend dialect stuff by talking and talking and *talking* it till it sounds right."¹ По единодушному признанию американских исследователей, достичь этой цели ему удалось и удалось весьма успешно.

Чтобы заставить читателя "услышать", как звучит речь его персонажей, Марк Твен прибегает к ставшему в американской литературе уже вполне принятому способу — изменяет стандартную орфографию, используя эти изменения как своего рода фонетическую транскрипцию. В его "транскрипции", однако, может броситься в глаза некоторое видимое отсутствие единообразия. Так, например, одно и то же слово *because* модифицируется как *becuz*, *bekase*, *'cuz*, *kase*, *'kase*, *kaze*, причем разные его формы могут встречаться в речи одного и того же лица. Но вот что пишет в данной связи один из американских лингвистов (J. N. Tidwell), которые исследовали воспроизведение в романе речи негров: "Mark Twain revealed the salient, low colloquial Southern and Negro features of Jim's speech, not by a thoroughly 'consistent' spelling of every word, but what is better, an accurate one."² И в другой статье: "His failure to systemize his spelling allowed him to write each word as it would sound in a given sentence, and thus he could represent in full detail the nuances of Jim's pronunciation."³

¹ Цит. по: D. Ferguson. *Mark Twain. Man and Legend*. Indianapolis and New York, 1963, p. 175.

² Цит. по: Ph. Sh. Foner. *Mark Twain: Social Critic*. Berlin, 1975, p. 279.

³ Цит. по: Th. A. Tenney. *Mark Twain: A Reference Guide*. Boston, p. 152.

То же самое можно сказать и о воспроизведении "нюансов" речи всех других персонажей романа.

Варианты слов и словосочетаний, воспроизводящие эти нюансы, даются в глоссарии в виде минимальных, то есть графически оформленных в одно целое, единиц. Так, например, из предложения: "en I tole you I ben rich wunst, en gwineter to be rich agin" в глоссарий вошли: en, tolc, ben, wunst, gwincter, agin. Было бы невозможно, однако, поместить в глоссарий все подобные варианты. Представляется, что многие из них, например: ab'litionist (=abolitionist), bran-new (=brand new), buil' (=build), ca'm (=calm), didn' (=didn't), sof' (=soft), 'terpret (=interpret), могут быть поняты из контекста и не требуют специальных пояснений.

Помимо фонстических, в романе встречаются и чисто орфографические варианты (некоторые из них также приводятся в глоссарии), которые выполняют, по-видимому, две функции. Одни соответствуют произношению данного слова более точно, чем его принятое написание, например: vittles (=vituals), и используются для того, чтобы акцентировать звучание прямой речи. В других, например, sivilize (=civilize), намеренная орфографическая ошибка используется как способ лишний раз подчеркнуть общую "сниженную" тональность звучания просторечия.

Грамматика диалектов и просторечия представлена в глоссарии отдельными, по преимуществу глагольными, формами. Помимо того, следует оговорить особо ряд ее закономерностей, обнаруживающихся в тексте романа.

1. Регулярно употребляется т. н. "двойное отрицание": I couldn't stand it no longer.

2. Часто опускаются как определенный, так и неопределенный артикли: I slid out from shore.

3. Вместо определенного артикля или указательного местоимения употребляется them: She put me in them new clothes.

4. Некоторые существительные (fence, leg, frame-house), не имеющие характеристики пола, заменяются местоимениями he и (чаще) she.

5. Некоторые существительные, в особенности обозначения мер длины, употребляются в единственном числе вместо множественного: seven mile below.

6. Формы наречий и прилагательных часто совпадают: considering how dismal (=dismally) regular and decent the widow was.

7. Во многих случаях отдается предпочтение суффиксальному способу образования степеней сравнения прилагательных: one of the carelessest and foolishhest things, которое может для усиления сопровождаться наречиями more или most: the king said it was all the more homely and more pleasanter.

8. Личные местоимения часто стоят в общем падеже вместо именительного: him and the duke began to...

9. Иную, чем в нормативном употреблении, картину представляет собой система глагольных форм:

(а) "перераспределяются" личные формы: *we, you, they + is, was; I, you, they + belongs, calls, hears, knows*;

(б) "видоизменяются" временные формы: *catched, drawed, knowed, seed, throwed*; некоторые глаголы (*eat, hear, run*) сохраняют инфинитивную форму в простом прошедшем времени: *he see me and went for me*;

(в) формы простого прошедшего времени могут совпадать с причастными: *the light begun to come* и наоборот: *and be forgot forever*;

(г) причастия настоящего времени часто употребляются с приставкой *a-*, акцентирующей категорию состояния: *something was a-stirring*;

(д) ряд глаголов (*be, go, take*) образуют перфектные формы с глаголом *be*: *Is something gone wrong?*

(е) часто не соблюдается согласование времен: *he tore it up and says*.

10. Синтаксические конструкции выступают у Твена одним из основных средств имитации живой разговорной речи, где естественны и закономерны самые разнообразные эллиptические и инвертированные словосочетания и предложения, смысл которых, как правило, понятен и не требует пояснений.

Пояснений не требуют и большинство диалектных, просторечных, и индивидуально-авторских особенностей словоупотребления (в частности, использование иных, чем общепринятой в литературной речи предлогов или союзов) и словообразования (например: *miserableness, to outgaze, roseleafy, saddish, dangerous, timid-like* и т. п.), а также многие прозрачные фразеологизмы и идиоматические выражения: *you fly around and get him something to eat; it is as mild as goose-milk; my souls, but I was scared*.

Следует отметить и чрезвычайное обилие и разнообразие звфемизмов. Поскольку, согласно традициям и правилам того времени, в книгах для детей и о детях употребление каких-либо ругательств и "божбы" было непозволительно, Марк Твен проявил здесь поистине виртуозную изобретательность, используя как практически все бытовавшие "заменители" (см. глоссарий), так и множество новообразований (*great guns! the bad place*), которые, как правило, не комментируются.

Весь разнородный языковой материал, вошедший в глоссарий, разъясняется с помощью общепринятых лексикографических помет. К ним добавлена помета *негр.*, выделяющая среди прочих диалектизмов черты, свойственные только речи негров американского Юга. Пометы *прост.* и *диал.*, характеризующие произношение, грамматику, лексические единицы и значения, а также фразеологию, часто сопровождают одну и ту же единицу

и не только потому, что, как уже отмечалось, просторечие и диалект порой трудно разграничить. Носители диалекта в романе различаются по своему социальному статусу, образованию и т. д., отсюда в речи одних (например, полковник Шерберн) элементы просторечия могут отсутствовать совсем, а речь других (например, отец Гека) может изобиловать ими, в результате чего и возникает регистрируемое сочетанием этих двух помет "совмещение".

Оба раздела комментариев выступают как бы дополнением к Англо-русскому словарю под ред. В. К. Мюллера (изд. 17-ое и след.), в котором можно найти не комментируемые здесь слова, выражения, грамматические формы, а также сведения справочного характера.

Роман был опубликован в Англии в декабре 1884 г. и в феврале 1885 г. в США.

Титульный лист первого издания гласил: "THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN/(TOM SAWYER'S COMRADE)/ Scene: The Mississippi Valley/Time: Forty to Fifty Years Ago/BY/ MARK TWAIN/(SAMUEL L. CLEMENS)/ WITH 174 ILLUSTRATIONS/LONDON/CHATTO & WINDUS, PICCADILLY/1884/ All rights reserved".

25. Pike County — Пайк, округ штата Миссури, место действия начальных глав романа.

26. my sugar-hogshead again — "местожительство" Гека в предыдущем романе ("Приключения Тома Сойера").

a poor lost lamb — библейская реминисценция; ср. a lost sheep — заблудшая овца (здесь sheep заменяется на lamb в соответствии с возрастом героя).

26-27. Moses and the Bulrushers (=bulrushes) — библейская аллюзия: Фараон Египта "всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку; а всякую дочь оставляйте в живых". Тогда одна женщина положила своего младенца в просмоленную корзинку и оставила ее в прибрежном тростнике. Корзинку нашла дочь фараона, которая отдала ребенка на воспитание, и, когда он вырос, он "был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей" (Исход, 1:22, 2:1-10).

the bad place...the good place — звфемистические обозначения ада и рая.

the niggers — Следует отметить, что в то время в южных штатах это слово было общеупотребительным, и Гек, который, вполне вероятно, не знал никакого другого, употребляет его без каких-либо уничижительных оттенков.

32. it would be wicked to do it on Sunday — Согласно религиозным установлениям протестантов, по воскресеньям запрещалось, например, вести торговлю, играть в карты, бильярд и дру-

гие азартные игры, охотиться и т. п.

34. *Sunday school* — Американские воскресные школы, в которых детям давалось только религиозное воспитание и образование, получили широкое распространение в стране сразу после Войны за независимость 1775—1783 гг. К 1830 г. их насчитывалось там более 5000 с 350 000 учащихся. Официально их посещение не было обязательным, но тем не менее отношение к воскресной школе выступало своеобразным показателем "респектабельности".

37. *it was so slick it felt greasy* — Поддельные монеты отличались от настоящих серебряных своей чересчур блестящей и гладкой (как у никелированных изделий) поверхностью.

39. *something about General Washington and the wars* — Эпизоды из биографии главнокомандующего американских войск в Войне за независимость Джорджа Вашингтона (1732—1799) широко использовались и используются по сей день в американской детской литературе и в школьных учебниках.

You git me that money to-morrow—I want it — По закону родители имели право распоряжаться собственностью и капиталом своих несовершеннолетних детей (отсюда и передача Гекком денег судье, см. выше, с. 36—37).

43. *A body would 'a' thought he was Adam—he was just all mud* — библейская аллюзия; ср. "And the Lord God formed man of the dust of the ground..." (*Gen.* 11:7) — И создал Господь Бог человека из праха земного... (*Бытие*, 2:7).

44. *and he said it laid over him, too; but I reckon that was sort of piling it on* — каламбур, в котором обыгрываются прямое и переносное значение глаголов *to lay over* (1. класть поверх; 2. *амер. разг.* превосходить, затмевать) и *to pile up* (1. нагромождать; 2. *разг.* превосходить, увеличивать).

51. *Bessie Thatcher* — В предыдущем романе имя героини Бессу.

52. *a person had cut one of my breaths in two and I only got half, and the short half, too* — Здесь обыгрывается выражение *short of breath* — задыхающийся, страдающий одышкой.

55. *sell me down to Orleans (New Orleans)* — Вот что говорится об аналогичной ситуации в другом романе Марка Твена: "It was equivalent to condemning them to hell! No Missouri negro doubted this." (*Pudd'nhead Wilson*, Ch. 2). Проданных в южные штаты негров ждала тяжелая работа на хлопковых плантациях.

56. *...take to de woods on de Illinois side* — Расположенный на противоположном, восточном, берегу Миссисипи Иллинойс не был рабовладельческим штатом, однако, согласно его законам, беглых негров арестовывали и отправляли на принудительные работы; кроме того, там действовали "специалисты" по вылавливанию таких беглецов.

57. *Balum's (=Balaam's) Ass* (*библ.*) — валаамова ослица

(внезапно заговорившая — Числа, 22).

60. ...and beeswax — наличие кусочка воска в дамском ридикюле было вполне естественно: нитки перед шитьем обычно наващивались (для крепости).

64. getting lynched — В описываемое время, в особенности на только осваиваемых территориях, линчевание имело место прежде всего там, где еще не действовали суды и полицейский надзор; было стихийной мерой борьбы с преступностью; наиболее распространенной казнью являлось повешение.

67. St. Petersburg — В отличие от упомянутых выше (Hookerville, Goshen), здесь это название вымышленного местечка.

70. St. Louis — г. Сент-Луис, штат Миссури. Ср. "Captain Marryat writing forty-five years ago, says: 'St. Louis has 200,000 inhabitants. The river abreast of the town is crowded with steamboats, lying in two or three tiers.'" (*Life on the Mississippi*—LOM,—Ch. 22).

71. Kingdom Come — Здесь обыгрывается (с изменением грамматического значения) фраза из молитвы "Отче наш": "Thy Kingdom Come" — "Да придет царствие твое".

76. the Walter Scott — Подобные названия судам на Миссисипи в описываемое время, как правило, не давали. Однако имя английского писателя-романтика В. Скотта (1771—1832) присвоено в романе потерпевшему крушение пароходу отнюдь не случайно. Марк Твен считал, что произведения Скотта имели для американского "южного сознания" роковые последствия: ср. "Then comes Sir Walter Scott with his enchantments, and by his single might checks the wave of progress and even turns it back; sets the world in love with dreams and fanthoms; with decayed and swinish forms of religion; with decayed and degraded systems of government; with the silliness and emptiness, sham grandeurs, sham gauds and sham chivalries of a brainless and worthless long-vanished society. He did measureless harm; more real and lasting harm, perhaps, than any individual that ever wrote. Most of the world has now outlived good part of these harms, though by no means all of them; but in our South they flourish pretty forcefully still. Not so forcefully as half a generation ago, perhaps, but still forcefully. There, the genuine and wholesome civilization of the nineteenth century is curiously confused and commingled with the Walter Scott Middle-Age sham civilization, and so you have practical common sense, progressive ideas, and progressive works, mixed up with the duel, the inflated speech, and the jejeune romanticism of an absurd past that is dead, and out of charity ought to be buried. But for the Sir Walter Scott disease, the character of the Southerner [...] would be wholly modern, in place of modern and medieval mixed, and the South would be fully a generation further advanced than it is." (LOM, Ch. 46).

78. dat chile dat he 'uz gwyne to chop in two — По библейскому преданию, известному своей мудростью царю Соломону при-

шлось решать спор между двумя женщинами, каждая из которых утверждала, что является матерью одного и того же младенца. "И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его; она его мать (3-я Царств, 3:16–28).

79. about Louis (the) Sixteenth...and about his little boy — Сын казненного во время Французской революции короля Людовика XVI (пр. 1774–1792) дофин Луи-Шарль (1785–1795?), согласно официальной версии, умер в тюрьме от болезни. Среди роялистов, однако, ходили легенды о том, что он остался жив, так как его удалось подменить другим ребенком.

80. Polly-vo-ou-franzy (искаж.) — Имеется в виду Parlez-vous français (фр.) — Вы говорите по-французски?

Cairo — г. Кейро, до широкого распространения железных дорог, когда основная часть грузов перевозилась по рекам, был центром торговых связей (и пассажирского сообщения) между Севером и Югом.

85. ...and waited — В рукописи романа 1876 г. после этого абзаца следовал текст, который Марк Твен в последний момент изъял из наборного экземпляра 1884 г. Это так называемый "Raft Passage", использованный писателем в третьей главе книги "Жизнь на Миссисипи" (1883).

in a slave country — После г. Кейро, ниже по течению, рабовладельческие штаты были уже по обоим берегам: на западном — Миссури и Арканзас, на восточном — Кентукки и Теннесси.

91. Be done, boys! — команда собакам.

94. a cover made out of beautiful oilcloth — Клеенка тогда имела скорее декоративное назначение, и ее английское название соответствовало буквальному значению: см., например, определение из словаря, составленного соотечественником Твена: "A cloth or canvas having on one side a thick coat of oil paint" (Joseph E. Worcester, *Dictionary of the English Language*, London, 1859, p. 988).

95. (The) "Pilgrim's Progress" — "Путь паломника", произведение классика английской литературы Джона Беньяна (Випуап, 1628–1688), аллегорически повествующее о "странствиях" человеческой души.

"Friendship's Offering" — название одного из литературно-художественных альманахов, весьма популярных в то время как "подарочные издания".

Henry Clay — Генри Клей (1777–1852), южанин, один из ве-

душих политических деятелей своего времени, которого называли "The Great Pacifier", так как ему удалось способствовать предотвращению ряда серьезных конфликтов между Югом и Севером.

Lafayette — Жильбер Мотье, маркиз де Лафайет (1757—1849), французский аристократ, который девятнадцатилетним юношей отправился в Америку для участия в Войне за независимость; стал генерал-майором революционных войск; в его честь в США названы два города (см. коммент. к с. 176).

Highland Mary — Очевидно, имеется в виду шотландская королева Мария Стюарт (1542—1587).

"Signing the Declaration" — Имеется в виду подписание Декларации независимости, принятой 4 июля 1776 г. Континентальным конгрессом и провозгласившей образование самостоятельного государства — США.

96. ODE... — это стихотворение являет собой легко узнаваемую современниками Твена пародию на слащаво-сентиментальные стихи ряда популярных тогда поэтов (Julia A. Moore, Bloodgate H. Cutter, William McGonagall, Seba Smith).

Despised — В данном случае -ed произносится как отдельный слог (для размера).

97. ...tin pans in it — В то время действительно изготавливали домашние фортепьяно со звукоусиливающими приспособлениями.

"The Last Link is Broken" ... "The Battle of Prague" — Это были весьма популярные в те годы мелодии; о последней Твен писал: "all the horrors of 'The Battle of Prague', that venerable shivaree..." (*A Tramp Abroad*, X).

Col. Grangerford — Этот титул вполне мог быть т. н. "почетным", ср. "It was Sir Walter [Scott] that made every gentleman in the South a major or a colonel, or a general or a judge, before the war; and it was he also, that made these gentlemen value these bogus decorations. For it was he that created rank and caste down there, and also reverence for rank and caste and pride and pleasure in them." (LOM, продолжение цитаты, см. коммент. к с. 76).

106. there warn't no home like a raft — Ср. There is no place like home.

109. ...the enamel along with it — Факт, имевший, по свидетельству одной из нью-йоркских газет того времени, место в действительности.

tar and feather me and ride me on a rail — широко распространенный в то время и в тех местах способ расправы с мошенниками и шарлатанами.

take a turn to mesmerism and phrenology — Имеется в виду, что персонаж давал сеансы гипноза и предсказывал судьбу, определяя характер человека по строению черепа (месмеризм — учение в медицине, выдвинутое австрийским врачом Ф. Месмером

во второй половине XVIII в. в основе которого — понятие о "животном магнетизме", как первоначально называли гипноз, посредством которого якобы можно изменять состояние организма. Френология — псевдонаучная теория, согласно которой существует связь между психическими функциями человека и животных и строением их черепа).

Layin' on o' hands — Имеется в виду лечение "наложением рук" (через обмен "токами" между лечащим и больным).

110. the Duke of Bridgewater — Этот герцогский род к тому времени уже прекратил свое существование.

"Your Grace"..."My Lord"..."Your Lordship" — Из вышеперечисленных титулов только первый употребляется при обращении к герцогу (герцогине).

Bilgewater — характерная для просторечия замена "r" на "l" и перестановка гласного; в результате получилось слово со значением "трюмная вода".

111. Marry Antonette (прав. Marie Antoinette) — Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI, как и ее муж, казнена во время Французской революции.

You! At your age! — см. текст на с. 108 ("seventy or upwards") и коммент. к с. 79.

Charlemagne — Карл Великий (742—814), король франков, с 809 г. император Священной Римской империи.

114. on the blank day of blank — Слово blank обозначает здесь пропуск (пустое место) в тексте афиши.

Garrick the Younger, of Drury Lane — Используется имя знаменитого английского актера Давида Гаррика (1717—1789), игравшего на сцене лондонского театра Друри-Лейн ("Гаррик Младший" — плод фантазии этого персонажа).

the sword-fight in 'Richard III.' — Имеется в виду финальная сцена этой шекспировской трагедии.

the king could be Juliet — Основным препятствием здесь был (о чем и говорится ниже) только возраст Короля. Как отмечает один из американских исследователей (Dixon Wester), в то время и в тех местах женщина появиться на сцене не могла, поэтому женские роли исполнялись (как в Англии XVI-XVII вв.) мальчиками и молодыми мужчинами.

119. Capet — Капет. Это название французской королевской династии стало фамилией Людовика XVI после его низложения: он предстал перед судом Конвента как "гражданин Луи Капет".

To be or not to be... — Источники этого попури из шекспировских текстов приведены ниже, прямые заимствования выделены курсивом.

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark

Hamlet: "'Tis not alone my inky cloak, good mother,
Nor customary suits of solemn black, [...]
That can denote me truly; [...]

(I, 2, 77-78, 83)

Horatio: Two nights together had these gentlemen,
Marcellus and Bernardo, on their watch,
In the dead vast and middle of the night,
Been thus encounter'd; a figure like your father,
[...]
Appears before them.

(I, 2, 196-201)

Hamlet: ...why the sepulchre,
Wherein we saw thee quietly inurn'd,
Hath *op'd his ponderous and marble jaws,*
To cast thee up again.

(I, 4, 48-51)

Hamlet: *To be, or not to be: that is the question:*
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them? to die: to sleep;
No more: and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, *'tis a consummation*
Devoutly to be wish'd, To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of dispriz'd love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his *quietus* make
With *a bare bodkin?* *Who would fardels bear,*
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover'd country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution

*Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn away,
And lose the name of action, Soft you now!
The fair Ophelia! Nymph in thy orisons
Be all my sins remember'd.*

(III, I, 56-90)

Hamlet: If thou dost marry, I'll give thee this plague for thy dowry:
be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shall not escape
calumny. *Get thee to a nunnery, go;* farewell. Or if thou wilt
needs marry, marry a fool; for the wise men know well enough
what monsters you make of them. *To a nunnery, go;* and
quickly too. Farewell.

(III, I, 141-148.)

Hamlet: 'Tis now the very witching time of night,
*When churchyards yawn and hell itself breathes out
Contagion to this world:* now could I drink but hot blood
And do such bitter business as the day
(Would quake to look on, Soft! now to my mother.

(III, 2, 413-417)

Macbeth

Lady Macbeth: And live a coward in thine own esteem,
Letting 'I dare not' wait upon 'I would',
Like the poor cat i' the adage?

(I, 7, 43-45)

Macbeth: Methought I heard a voice cry, 'Sleep no more!
Macbeth does *murder sleep*,' the innocent sleep;
Sleep, that knits up the ravell'd sleeve of care,
The death of each day's life, sore labour's bath,
Balm of hurt minds, *great nature's second course*,
Chief nourisher in life's feast; —

(II, 2, 36-41)

Macbeth: To know my deed, 't were best not know myself.

[knocking within]

Wake Duncan with thy knocking! I would thou couldst!

(II, 2, 73-74)

Macbeth: ...Fear not, *till Birnam Wood*

Do come to Dunsinane...

(V, 2, 36-37)

The Tragedy of King Richard the Third

Gloucester: Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house

In the deep bosom of the ocean buried.

(1, 1, 1-4)

120. SHAKSPEREAN REVIVAL — Текст этой афиши представляет собой путаницу имен и названий. В театре Друри-Лейн играли Д. Гаррик (см. коммент. к с. 114) и знаменитые английские трагики Эдмунд Кин Старший (1787?–1833) и Чарльз Джон Кин Младший (1811?–1868). Театр "Хеймаркет" не является королевским и расположен на улице того же названия, а не в Уайтчепле, беднейшем районе лондонского Ист-Энда. Пуддинг-Лейн отнюдь не принадлежит к числу известнейших мест Лондона и, скорее всего, представляет собой вымышленное название. Пиккадилли — одна из главных улиц центральной части Лондона.

131. You read about them once—you'll see — В этом антимонархическом выступлении героя упоминаются английские короли Эдуард II (пр. 1307–1327), Ричард III (пр. 1483–1485), Генрих VIII (пр. 1509–1547), Карл II (пр. 1680–1685), Яков II (пр. 1685–1688) и французские — Людовик XIV (пр. 1643–1715) и Людовик XV (пр. 1715–1774). Все они — каждый в своем роде — вполне уместны в качестве примеров. Однако биография Генриха VIII (который был женат шесть раз) смешивается с сюжетом "Тысячи и одной ночи" (где султан Шахрияр в течение трех лет казнил каждое утро очередную жену). Кроме того, упоминая здесь жертвы супружеского произвола Генриха VIII, Гек допускает анахронизм, поскольку прекрасная Розамунда была любовницей английского короля Генриха II (XII в.), Джейн Шор — любовницей английского короля Эдуарда IV (XV в.), а Нелл Гвин — любовницей Карла II. Так называемое "Бостонское чаепитие" (The Boston Tea-party) — инцидент в порту города, когда переодетые индейцами колонисты в знак протеста против налоговой политики метрополии проникли на английские корабли и выбросили в море принадлежавшие английской Ост-индской компании тюки с чаем на сумму 150 000 фунтов стерлингов; "Бостонское чаепитие", имевшее место в декабре 1773 г., было одним из первых актов неповиновения, приведших впоследствии к Американской революции. И, наконец, Артур Уэлсли, герцог Веллингтонский (1769–1852) не имел никаких родственных связей с британской королевской фамилией, а был военачальником, командовал англо-голландской армией в сражении с армией Наполеона при Ватерлоо (1815), в 1828–1830 гг. был премьер-министром; в бочке же с мальвазией был, по преданию, утоплен герцог Кларенс, брат Ричарда III.

134. out of the ark — Имеется в виду Ноев ковчег.

Leviticus — это не имя человека, а название третьей книги Ветхого завета ("Левит").

135. Cincinnati — г. Цинциннати (штат Огайо), расположенный на р. Огайо, был тогда одним из крупнейших внутренних портов США.

136. a dissenting (=dissenting) minister — Имеется в виду священник, не принадлежащий государственной церкви (the Anglican Church, or the Church of England); таковыми являются методисты, баптисты, конгрегационалисты и др.

139. Louisville — г. Луисвилл, штат Кентукки, крупный порт на р. Огайо, расположен на значительном расстоянии от места описываемых событий.

140. Bilge — Эта сокращенная форма искаженного имени герцога (см. коммент. к с. 110) также оказывается каламбуром: bilge — *амер. разг.* — ерунда, чепуха.

141. the vale of sorrers (sorrows) — уместная в речи священника реминисценция, ср. "...going through the vale of misery..." (*The Book of Common Prayer, Psalms, LXXXIV, 6*).

142. It's a word that's made up out'n... — В то время священники в своих проповедях прибегали к этимологизированию, что нередко приводило к появлению квазиэтимологий, подобных данной.

144. William (the) Fourth — английский король Вильгельм IV (пр. 1830—1837).

152. Memphis — Мемфис, ставший впоследствии самым крупным городом штата Теннесси, в то время мало чем отличался от описываемых здесь местечек; ср. "Memphis seems to have consisted mainly of one long street of loghouses, with some outlying cabins sprinkled around rearward towards the woods; and now and then a pig, and no end of mud. That was fifty five years ago." (LOM, Ch. 29).

159. pluribus-unum — Здесь используется девиз, воспроизведенный на Большой государственной печати США (*The Great Seal of the United States*): "E pluribus unum" (*лат.*) — "Из многих единое".

160. looking his level pisonest — Таков текст первого издания романа, однако после проведенного одним из американских исследователей (B. De Voto) анализа рукописи есть основания считать, что последним словом должно быть "piousest" (ср. продолжение этой фразы).

176. Lafayette — г. Лафайет, штат Луизиана; см. коммент. к с. 95.

178. the...Lally Rook (Lalla Rookh) — Этот пароход (характерно, что он, как и "Вальтер Скотт", терпит аварию) назван по имени индийской принцессы, героини чрезвычайно популярной в свое время одноименной поэмы английского романтика Томаса Мура (Moore, 1779-1852).

Baton Rouge — г. Батон-Руж, с 1849 г. столица штата Луизиана, расположен много ниже по течению от плантации Фелпсов в Арканзасе.

180. White River — р. Уайт-Ривер, впадающая в р. Арканзас, которая, в свою очередь, впадает в Миссисипи (места впаде-

ния расположены на весьма небольшом расстоянии друг от друга).

183. a stranger from Hicksville, Ohio — Поскольку г. Хиксвилл расположен на самом севере своего штата, у Великих озер, Том выглядел, как человек, приехавший с другого конца страны.

191. Baron Trenck ... Casanova ... Benvenuto Cheleeny (Cellini) ... Henri IV. — Все четверо: прусский офицер Фридрих фон Тренк (1726—1798); итальянец Джакомо Джироламо Казанова (1725—1798) — известный авантюрист и покоритель сердец; Бенвенуто Челлини (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор и ювелир; французский король Генрих IV Наваррский (пр. 1589—1610), действительно, — каждый в свое время — либо успешно бежали из тюрьмы, либо делали к тому дерзкие попытки.

Langudoc (Languedoc) — Лангедок, историческая область во Франции.

Navarre (ист.) — Наварра, средневековое королевство, располагавшееся по обе стороны Пиренеев на территории современных Франции и Испании.

193. The Iron Mask — "Железная маска", во время правления Людовика XIV легендарный узник Бастилии, имя которого держалось в тайне и который носил маску, покрытую черным бархатом; личность узника так и не установлена.

194. Castle Deef (D'If) — Замок-крепость, расположенная на острове Иф неподалеку от Марселя, служила тюрьмой для особо важных преступников, описана в романе А. Дюма "Граф Монте-Кристо".

201. Miss Sally — На юге США до сего времени распространено употребление Miss в сочетании с именем, нередко уменьшительным при обращении к женщине независимо от возраста и семейного положения; негры так называли свою хозяйку; ср. Mars (Глоссарий).

my text in Acts Seventeen — В качестве названия и темы церковной проповеди берется обычно библейский текст, в данном случае его источник — глава XVII из евангельской книги "Деяния святых Апостолов" (*The Acts of the Apostles*). Как отмечают американские исследователи (Allison Ensor, R. D. Arner), это был, скорее всего, 27-ой стих: "and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth..." — "от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли...", что в пределах рабовладельческого Юга звучало как горькая ирония.

203. that come over from England with William the Conqueror in the Mayflower — В этой гиперболе используется имя Вильгельма Завоевателя, который в 1066 г. высадился в Англии (т. н. Нормандское завоевание Англии) и, разбив при Гастингсе войска англосаксонского короля Гарольда II, стал королем Англии,

а также название знаменитого корабля "Мейфлауэр", на котором группа английских переселенцев-пуритан (более ста человек) прибыла в 1620 г. в Северную Америку и основала поселение Новый Плимут, положившее начало колониям Новой Англии.

204. *Lady Jane Grey...Gilford Dudley...Northumberland* — Здесь названы участники одного из драматических эпизодов английской истории. В 1553 г. герцог Нортумберлендский возвел на английский престол свою шестнадцатилетнюю невестку Джейн Грей. Однако другой претендентке, будущей королеве Марии Тюдор, удалось взять верх, после чего герцог Нортумберлендский, леди Джейн, впоследствии прозванная "nine day queen of England" и ее муж Гилфорд Дадли были казнены по обвинению в государственной измене.

He says: "On the scutcheon..." — Том начинает говорить здесь на языке геральдических описаний, которым не так уж плохо владеет. Геральдическое описание (blazon) использует специфические обозначения и грамматику, ср., например, относительно простое описание щита (основной детали герба) Дж. Вашингтона: "Argent, two bars gules, in chief three mullets, of the second", что означает: "серебряное поле, две красные горизонтальные полосы, в верхней трети (щита) пятиконечные звезды второго (т. е. красного) цвета". Ср. также русский перевод Н. Дарузес: "На рыцарском щите у нас будет золотой пояс; внизу справа — косою червлёный крест и повязка, и на нем лежащая собака — это значит опасность, а под лапой у нее цепь, украшенная зубцами — это рабство; зелёный шеврон с зарубками в верхней части, три вогнутые линии в лазурном поле, а в середине щита — герб и кругом зазубрины; сверху беглый негр, чернью, с узелком через плечо, на черной полосе с левой стороны, а внизу две червлёные подставки поддерживают щит — это мы с тобой..." (Собр. соч., т. 6, М. Гослитгиздат, 1960, с. 270).

208. *Pitchiola (Picciola)* (ит.) — стебелек, цветочек. Так назывался роман французского писателя Жозефа Ксавье Сентина (наст. имя Бонифас, 1798—1865); герой романа, узник благородного происхождения, выращивает в темнице цветок.

209. *Thomas Franklin Benjamin Jefferson Elexander (Alexander) Phelps* — В англоязычных странах существовала (и продолжает существовать) традиция, по которой в качестве имени (одного из имен) используется фамилия какой-либо знаменитой личности, родственника или близкого человека, названия места и т. п. В данном случае получилось весьма курьезное сочетание: имя автора проекта Декларации независимости, третьего президента США Томаса Джефферсона (1743—1826) предшествует фамилии американского ученого, философа и государственного деятеля Бенджамина Франклина (1706—1790) и наоборот.

210. *the Tooleries (Tuileries)* — Тюильри, королевский дворец

в Париже, где некоторое время содержался (после неудачного побега) Людовик XVI с семьей.

211. the nigger woman's gown — Некоторые исследователи (например, P. Covey) предполагают, что это ошибка и что здесь должно быть нечто вроде "Aunt Sally's gown," поскольку выше Том говорит: "I'll hook a gown from Aunt Sally," а ниже (с. 213) сказано: "Tom put on Aunt Sally's dress that he stole."

212. the Indian Territory — название индейской резервации, которая в описываемое время находилась на территории нынешнего штата Оклахома; эти места служили и прибежищем разного рода людей, стоявших "вне закона".

218. Sister Phelps — Такое обращение могло быть принято у прихожан одной и той же церкви ("братья и сестры во Христе"); ср. ниже Brer (Brother) Penrod.

crazy 's Nebokoodneezzer (=Nebuchadnezzar) — Здесь имеется в виду вавилонский царь Навуходоносор, согласно библейскому преданию (Даниил, 1—5), временами впадавший в безумие.

ГЛОССАРИЙ

- a* *прост. диал.* предлог в значении *on, upon, at, of*
'a' = have
- a-* *диал.* приставка, которая у герундия и прич. наст. времени акцентирует категорию состояния, у других глагольных форм значения не меняет
- abear* *диал.* нести; переносить, выдерживать
- acrost* *прост. диал.* = *across*
- afaint* *диал.* слабо
- afeard* *уст. диал.* испуганный
- afterward* *диал.* = *afterwards*
- a-front* *диал.* = *in front*
- agin* *прост.* = *again*
- ag'in* *негр.* = *again*
- a-gwyne* *негр.* = *a-going*
- a-ha'nting* *негр.* = *a-haunting*
- ahold, a-hold, aholt-, a-holt* *диал.* to take *a.* крепко схватить (ся);
 to have *a.* крепко держать (ся)
- a-link* (*нареч.*) *диал.* соединившись, сцепившись
- all* *диал.* friends all, см. *you-all*
- allow* предполагать
- allycumpain* = *allay cum pain* болеутолитель (вероятно, название патентованного лекарства)
- aluz* *прост.* = *always*
- alwuz* *негр.* = *always*
- amaz'n* *прост.* = *amazing*
- amighty* *негр.* = *almighty*
- almost* *диал.* = *almost*
- an'* = *and*
- anear, a-near* *диал.* возле, рядом с кем-л., чем-л.
- any* *диал. разг.* и все такое прочее (паразитическое слово)
- anyways* *диал.* = *anyway*
- anywheres* *диал.* = *anywhere*
- a-plenty* *прост.* изрядно, в изобилии
- a-purpose* *прост. диал.* нарочно, намеренно (ср. *on purpose*)

A-rabs *зд. прост. диал.* = Arabs

Arkansaw = Arkansas (указание на произношение)

aroun't *негр.* = around

arter *негр.* = after

ash-hopper *амер. уст.* ящик для золы, использовавшейся для изготовления мыла (в домашних условиях)

asho *негр.* = ashore

ast *негр.* = asked

a-stannin' *негр.* = a-standing

'at *прост.* = that

alwuz *негр.* = always

awready *диал.* = already

ax *негр.* = ask

ba=baa *амер.* блять

back: to know smb by the b. *разг.* знать кого-л. как облуленного

Balum — см. коммент. к с. 57

banks: to give down the b. *разг.* ругать, выговаривать

Barlow knife большой складной карманный нож (по названию фирмы-изготовителя)

beatenest *диал.* замечательный, удивительный, необычный (употребляется в превосходной степени)

becuz *прост. диал.* = because

behine *негр.* = behind

bekase *негр.* = because

belt *амер. разг.* наносить сильный удар

ben *негр.* прич. прош. вр. от to be

better'n = better than

b'fo' *негр.* = before

'big-bug *сленг* важное лицо, "шишка"

bile *диал.* = boil

biler 1. *негр.* металлический чайник (ср. bile) 2. *диал.* = boiler, паровой котел (словосочетание biler-fact(o)ry в данном контексте может быть истолковано двояко)

bit and grain *диал.* малое количество

bitts *мор.* кнехты (гумбы для закрепления канатов)

blam', blame, blamed *диал. эвфемистически вместо damn(ed)*

blanket *сокр. от blanket-cloth* (из ткани для одеял также делал куртки, пальто, шапки)

blat *амер.* 1. блять 2. *разг.* болтать

blimblammin' *негр.* = blimblaming; *зд.* гвалт, шумная перебранка (ср. blame)

blister *амер. сленг* надоедливый человек, "прилипала"

blossom 1. *диал.* цветок 2. *сленг* тип, субъект, "фрукт"

blow on smb *разг.* предать, "продать" кого-л.

blue-jay *амер.* род голубой сойки

- bo'd'n-house** *негр.* =boarding house
bofe *негр.* =both
bolt-head головка болта
boo-hoo громко рыдать или смеяться
boom *амер.* стремительно нестись вперед
booming *амер. разг.* процветающий, потрясающий
borry'd *прост.* =borrowed
boss (*в функции определения*) *амер.* превосходный, перво-
 классный, высшего качества
brace oneself up напрячь все силы; собраться с силами, с ду-
 хом
breff *негр.* =breath
brisen *амер. уст.* оживлять, делать наряднее
brung *диал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to bring
bub *амер. разг.* малыш, мальчуган
Buck *уменьшит. от Buckley* (муж. имя)
buck *амер. уст. разг.* взрослый негр или индеец
bug *сленг* помешанный, "чокнутый"
bug out *амер.* вылезать на лоб (о глазах)
bulge *уст. разг.* (грандиозное) предприятие
bulge in *амер.* врываться
bull *разг.* "переть" (как бык)
bull frog лягушка-вол, лягушка-бык (достигает 20 см в дли-
 ну)
bulrusher *диал.* =bulrush камыш, *библ.* тростник (добавление
 суффикса -er во многих случаях не меняет значения слова), см.
 также коммент. к с. 27
bust *диал.* совпадает в основных значениях с to burst и to
 break
'but =about
bymeby *амер. разг.* вскоре, сейчас

cain't *прост. диал.* =can't
cameleopard *уст.* камелеопард, жираф (в древности воспри-
 нимался как "помесь" верблюда и леопарда)
cannelstick *негр.* =candlestick
cantelope *прост.* =cantaloup канталупа, дыня мускусная
careened: the c. side *зд.* борт парохода, противоположный
 нависшему над водой
catfish *амер.* название многих пресноводных рыб, *зд.* род
 сома ("I have seen a Mississippi catfish that was more than six feet
 long, and weighed two hundred and fifty pounds" (LOM, Ch. 2)
chanst *прост. диал.* =chance
charge *геральд.* фигура
cheat *диал.* костер (сорняк)
cheer *прост. диал.* =chair
chevron *геральд.* шеврон (линия или полоска углом)

chile, chillen *негр.* = child, children
 chimbley *диал.* труба (дымовая, вытяжная)
 chipper up *диал.* веселить, бодрить
 clah *негр.* = clear
 cler *диал.* = clear
 close-fit *амер. разг.* критический момент
 close place *амер.* опасное рискованное положение
 cloud bank *диал.* гряда туч
 clo's-line *прост.* = clothes-line
 clost (*нареч.*) *прост. диал.* = close
 clumb *диал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to climb
 coarse hand *амер.* (написанное) крупными буквами
 coase *негр.* = coarse
 cob pipe курительная трубка из стержня початка кукурузы
 cold shake (с опред. арт.) *сленг* отставка
 concern *разг.* употребляется как thing
 Congress water минеральная вода (по названию источника
 в г. Саратога, штат Нью-Йорк)
 conesekens *негр.* = consequence
 considerable (*нареч.*) *прост. диал.* много, в большом коли-
 честве
 cordwood поленья дров стандартной длины ≈ 120 см (от
 cord корд, мера объема $\approx 3,63 \text{ м}^3$)
 cork up *сленг* заткнуть рот кому-л.
 corn beef = corned beef солонина
 corn-crib заком для кукурузных початков
 corn-pone *диал.* хлеб и хлебные изделия из кукурузной
 муки
 coss *негр.* = costs
 cotton wood тополь трехгранный
 couchant *геральд.* в лежачем положении с поднятой головой
 (об изображении животного)
 couldst *уст.* 2 л. ед. ч. прош. вр. от can
 'count *прост.* = account
 counterpin *диал.* стеганое покрывало (на кровати)
 country jake *диал.* деревенщина, неотесанный парень
 course *прост.* = of course
 cravat *сленг* петля, веревка палача (ср. "пеньковый галстук")
 crawfish *амер. разг.* пятиться назад (подобно раку)
 'crease = increase
 cretur *прост. диал.* = creature
 crockery фаянс, керамика (материал и *собирает.* изделия)
 crepe *диал.* пр. прош. вр. от to creep
 cross off пересекать
 crossing участок реки, годный для переправы
 cur'us *негр.* = curious
 'cuz *прост.* because

cylinder-head мор. головка (крышка) цилиндра; головка блока цилиндров

d' прост.=do

'd прост.=did

dad, dad blamed, dad fetch – эвфемистически вместо God,
God damn(ed)

dah негр.=there

dan негр.=than

dancette геральд. горизонтальная с тремя зазубринками
полоска посреди щита

dasn't диал.=dare (dares, dared) not

dat негр.=that

dat-detchedest диал. эвфемистически вместо God damned

daytimes прост. диал. днем, в дневное время

de негр.=the

Deacon амер. церковная должность у протестантов, которую
занимает один из прихожан; в его обязанности входит помощь
священнику в ведении церковных дел и участие в богослужении

dead water – стоячая вода

dec'd сокр.=deceased

'deed прост.=indeed

deef диал.=deaf

deffersit, defficit прост.=deficit

den негр.=then

dern эвфемистически вместо damn(ed)

dese негр.=these

despise диал. не переносить, испытывать отвращение

dey негр.=they, their, there

deyselves негр.=themselves

diffunt негр.=different

ding-busted эвфемистически вместо damned

dingnation эвфемистически вместо damnation

dis негр.=this

diseased ошибочно вместо deceased

dish-yer, dis-yer негр.=this here (см.)

disremember диал. забывать, быть не в состоянии вспомнить

dissenting прост.=dissenting. (см. коммент. к с. 136)

distressid=distressed уст. крайне утомительный (-id здесь ука-
зывает на произношение)

dis-yer негр.=this here (см.)

do' негр.=door

doan, doan't негр.=don't

dog my cats амер. проклятье! черт возьми! (dog эвфемисти-
чески вместо damn)

dog fennel – собачья ромашка, купавка вонючая

dog-irons – железная подставка для дров в камине

dog-leg сленг дешевый или низкого качества табак
 doin't *прост.* зд. doing in it
 dolphin зд. ошибочно вместо dauphin
 double house *амер.* дом, в котором жилые комнаты расположены по обе стороны от центрального входа и холла (ср. описание современника: "the ordinary American double house...with a passage through the center, the stairs in the passage, and a short corridor to communicate with the rooms above" (цит. по: *Dictionary of American English*, vol. I, p. 801))

double-hull в функции определения мор. двухкорпусный
 'dout *негр.* = without
 doxolojer *прост.* = doxology, церк. славословие
 drift canoe зд. снесенный течением челнок (ср. drift-wood)
 drot эвфемистически вместо damn (от "God rot! ")
 drown *прост.* диал. = drown
 drunk *прост.* состояние опьянения, "хмель"
 druther = d'rather

easy water *диал.* замедленное течение

edge *уст.* самое начало (о времени)

ef *негр.* = if

Elxander *прост.* диал. = Alexander

embattled *геральд.* украшенный зубцами

engrail *геральд.* украшать зубцами

en *негр.* = and

en' *негр.* = end

er¹ = her

er² *прост.* диал. = of

er³ *прост.* диал. = or

erysiplas *прост.* = erysipelas рожа, рожистое воспаление

et *диал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to eat

everywheres *прост.* диал. = everywhere

every which way *амер. разг.* по всем направлениям, туда и сюда

'f = if

fantods беспокойное или тревожное состояние; нервные суетливые движения

felon *уст.* злодей, негодяй

fer *негр.* = for

fess = fesse *геральд.* горизонтальная полоса или перекладина

щита

field *геральд.* поле щита

first *диал.* прежде чем ...; f. you know не успеешь оглянуться (ср. before you know)

fitten (*прилагат.*) *диал.* подходящий, годный

flapper сленг рука

flathead *разг.* простак, глупец

f'm *прост.* = from
 fo' *негр.* = four
 'fo' *негр.* before
 fogive *негр.* = forgive
 fool along *амер. разг.* болтаться, тянуть время
 fool'n' *негр.* fooling
 'ford *негр.* = afford
 forgit *диал.* = forget
 for'rard *диал.* = forward
 forty-rod *сленг* дешевый или низкопробный виски
 forwards *диал.* = forward (произносится без "w", ср. for'rard)
 foteen *негр.* = fourteen
 fox-fire *амер.* фосфоресцирующий свет гнилого дерева
 fr (*амер. произношение*) = for
 frame *амер.* 1. деревянный каркас здания 2. деревянное здание 3. как определение употребляется, чтобы обозначить деревянное строение в отличие от кирпичного или каменного
 fum *негр.* = from
 fur¹ make the f. fly *разг.* задать жару
 fur² *диал.* = far
 fur³ *негр.* = for
 funder *негр.* = further
 furrin *прост.* = foreign
 fust *диал.* = first

 gabble *разг.* болтовня, треп
 gal *диал.* = girl
 galley-west (*наrech.*) *разг.* 1. из всех сил 2. вверх тормашками
 gar *диал.* 1. (сущ.) зевок 2. (гл.) зевать
 gar *диал.* = garfish, *амер.* род щуки
 garter-snake *амер.* неядовитая змея (с продольными полосками на спине)
 gashley *негр.* = ghastly
 gaudy *уст.* = блистательный, великолепный
 geewhilikins *диал.* воскл. ну и ну!
 George, my G. — эвфемистически вместо my God
 G. G. *зд. сокр.* от governor general
 gimme *прост.* = give me
 gin (gin, gin) *диал.* совпадает в основных значениях с to give
 git *диал.* = get
 g'long *прост.* = go along
 glory: get to g. *уст. разг.* умереть, "отправиться в рай"
 gold-leaf *амер.* прекрасный, отменный
 Goliath *прост.* = Goliath 1. *библ.* Голиаф 2. *перен.* гигант, великан
 good and (перед прилагат.) *амер. разг.* очень, весьма (good and tired очень устал)

- good book (с *опр. арт.*) Библия
 google *амер.* булькать
 govment=government
 gracious (в *функции междомет.*) боже! (выражает удивление, испуг)
 graduly *прост.*=gradually
 great guns (воскл.) *амер.* вот те на! вот так так!
 greencorn *амер.* незрелые или молодые початки кукурузы
 guard *амер.* часть палубы парохода, выступающая над колесом
 guy *мор.* трос; канат (для поднятия груза)
 gwineter *негр.*=going to
 gwyne *негр.*=going
 g'yarter *негр.*=garter
 g'yirl *прост. диал.*=girl

 hain't *прост. диал.*=haven't, hasn't
 hair *разг.*=haircloth материал из волоса
 halt *уст.* хромой
 hang fire *разг.* медлить, откладывать
 hannel *негр.*=handle
 Hanner *прост. диал.*=Hannah (жен. имя)
 ha'nt *негр.*=haunt
 han't *негр.*=hand
 hard-looking *амер.* с видом хулигана или бандита
 hard lot *амер. разг.* бездельник, ни на что не годный человек
 Harry, the Old H. *звфемистически вместо* the devil
 head-line *мор.* носовой швартов или конец
 heah¹ *негр.*=hear
 heah² *негр.*=here
 hearn *диал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to hear
 heal *сленг* сбежать, "смыться"
 he'p *прост.*=help
 hern *диал.*=hers
 hickry, hick'ry *прост.*=hickory 1. гикори (род сев.-амер. орешника) 2. зд. розга (из орешника)
 hid'n *негр.*=hiding
 hifalut'n *прост.*=high falutin(g) напыщенный
 his'n *диал.*=his (абсолютная форма)
 hisself *диал.*=himself
 hive *диал.* 1. прибирать, запасть 2. запирать(ся) 3. держать под замком
 hog-driver погонщик свиней
 holt *диал.* опора (в прямом и переносном смысле) I let go all
 holts — меня как подкосило
 hookey=hookey, to play h. *амер. разг.* бездельничать, прогуливать
 horse-ferry паром, приводимый в движение лошадьми

hoss *диал.* = horse; old h. старина, приятель (ср. old chap)
house snake *амер.* неядовитая змея
how'd *прост. диал.* how did
howdy *разг.* = how do you do
hub: up to the h. до отказа, по уши
hum *диал.* нестись вперед
hump: h. oneself, h. it *амер. разг.* сделать решительное усилие; собрать все силы
hunch *диал.* толкать (ся)
h'yer *прост. диал.* = here

ignorant *уст.* неизвестный, неясный, маловразумительный
indeedy *прост.* = indeed
innerds *негр.* = inwards
innerds *диал.* = inward
inning *амер.* 1. поворот 2. изменение состояния
intellectual *эд. прост.* = intellectual
invected *геральд.* заканчивающийся рядом полусферических долек

intrust *прост.* = interest
Irish potato *амер. редк.* картофель, картофелина
irreligious *уст.* безбожный, грешный, нечестивый

Jackson = jackson *диал.* дурак, глупец (от Jack's son)

janders *прост.* = jaundice желтуха, разлитие желчи

jaw *уст.* нахлынуть волнами

Jawge *негр.* = George

jedge *диал.* = judge

Jericho *эвфемистически вместо* hell

jes' *негр.*, jest *диал.* = just

jimcrack *уст.* = jimcrack безделушка

Jimminy *эвфемистически вместо* Jesus

jimpson-weeds = jimson weeds дурман (трава)

jings употребляется как ругательство

jint *диал.* = giant

jis, jis', jist *негр.* = just

Joanner *прост. диал.* = Joanna (жен. имя)

jour printer *разг.* = journeyman printer печатник, наборщик, работающий поденно

Judus = Judas

julery *прост.* = jewellery

kag *диал.* = keg бочонок

kase, 'kase, kaze *негр.* = because

ketch *прост. диал.* = catch

kin *диал.* = can

kinder *прост. диал.* = kind of

kiner *негр.* = kind of
kivered *диал.* = covered
k'leck *негр.* = collect
k'n = can
k'yard *диал.* = card
k'yer *диал.* = care

labboard *диал.* = larboard *мор.* левый борт ("The term 'larboard' is never used at sea now, to signify the left hand; but was always used on the river in my time," LOM, Ch. 12)

land: good l., my l. *эвфемистически вместо* good God, my God

laws, lawsy *эвфемистически вместо* Lord

lay (laid, laid) совпадает в основных значениях с to lie (лежать)

lay for *разг.* поджидать, подкарауливать

lazy *уст. диал.* бездельничать, лентяйничать

learn *диал.* учить ("Teach is not in the river vocabulary" LOM, Ch. 8)

leastways *диал.* = leastwise по крайней мере

leather-face (*прилагат.*) *амер. разг.* с каменным или непроницаемым лицом

leggo *прост.* = let go

lemme *прост.* let me

le's *прост.* let's

Leviticus *библ.* Левит (книга Ветхого завета)

liberty-pole *амер. ист.* высокий шест с фригийским колпаком или каким-л. другим символом свободы на верхушке (устанавливать его — традиция, восходившая к периоду Войны за независимость)

light out *сленг* уйти, "смыться"

like *диал.* 1. (*нареч.*) = likely, as it were 2. (*союз*) = as, as if, as though

like-to (*нареч.*) *диал.* почти, чуть было не...

line out читать отдельно по одной строчке псалом или гимн, чтобы прихожане могли его петь (объясняется в тексте)

list *уст. поэт.* = listen

loaden *уст. диал.* погружать

longside *прост.* = alongside

long-tailed длиннополый

looard *диал.* = labboard (см.)

look *диал.* совпадает в основных значениях с to see

looky *прост.* = look (в повелит. накл.)

Looy = Louis (*фр.*) Луи

lordy *прост.* = Lord

'low *прост.* = allow

'm, m'am = ma'am

Maim *уменьшит. от* Mary

main (нареч.) диал. чрезвычайно
mamsey прост.=malmsey мальвазия

Mars негр.=Master (перед именем мальчика или юноши, а также "по традиции" независимо от возраста перед именем своего хозяина и членов его семьи; ср. употребление Miss — коммент. к с. 201)

marster негр.=master

mash расплющивать

match играть в орлянку

mawnin' негр.=morning

meedyevil прост.=medieval

meeku прост. диал. становиться кротким, послушным

melodeum=melodeon мелодеон (музыкальный инструмент типа органа)

'member негр.=remember

me't=me that

Methusalem эд. искаж.=Methuselah 1. библ. Мафусаил 2. перен. должжитель (ср. as old as M.)

middling (нареч.) разг. довольно-таки, средне, так себе и т. п.

mind: a m. to do smth настроение или желание сделать что-л.

mine¹ негр.=mind

mine² негр.=remind

misable прост.=miserable

miss'n прост.=missing

missus прост. хозяйка

Misto негр.=Mister

m'lasses прост.=molasses меласса, черная патока

mo' негр.=more

mo'er=more or

mongs'=amongst

monstrous (в функции нареч.) уст. очень, чрезвычайно, необыкновенно

more'n прост.=more than

Mort уменьшит. от Mortimer (муж. имя)

mouf негр.=mouth

most диал.=almost

mourner амер. уст. кающийся, раскаивающийся ("Persons on the 'anxious seat'... at revival meetings are technically termed 'mourners'; that is persons mourning for their sins." Цит. по: *Oxford English Dictionary*)

mud-cat разновидность сома (catfish)

mud-turkle прост. диал.=mud-turtle амер. род речной черепахи

mulatter прост.=mulatto

mullen прост.=mullein коровяк

mullet-headed разг. глупый, тупой

mum диал.=ma'am

mushmelon *дуал.* канталупа, дыня мускусная (ср. muskmelon)
Muddy (с *опр. арт.*) образное название р. Миссури (обычно the big M.)

- n, 'n, n' 1. and (слабая форма) 2. *прост.* one 3. *прост.* than
natcherel *прост.* = natural
nation *эвфемистически вместо* damnation
Nebokoodneezar *зд. искаж.* = Nebuchadnezzar *библ.* Навуходо-
носор (см. коммент. к с. 218)
nemmine *негр.* = never mind
Newrleans *прост.* = New Orleans
nigger-head *сленг* черный жевательный табак
nights, night-times *дуал.* ночью, в ночное время
No'm = no, ma'am
nombril *геральд.* середина щита
nommo *негр.* = no more
nonesuch = nonsuch *верх* совершенства, нечто единственное в
своем роде; образец, идеал
nonnamous *зд. искаж.* = anonymous
northhards *прост. дуал.* = northwards
no-siree-bob *разг.* нет, "нетушки"
noth'n, noth'n' *прост.* = nothing
nough *зд. эмфат.* = no!
nowheres *дуал.* = nowhere
now't = now that
nuffin *негр.* = nothing
nuss *дуал.* = nurse
nussery *дуал.* = nursery
nuther *дуал.* = neither

obleege *дуал.* = oblige
off: be o. for smth. *дуал.* быть чем-л. обеспокоенным, иметь
что-л. в наличии, в распоряжении
off'n, offen *дуал.* предлог в значении from, off, off from, off
of
ole *негр.* = old
on- (*приставка*) *дуал.* = un-; ср. oneasy, oncomfortable, onless,
onreasonable
one-laigged *негр.* = one-legged
onkore = encore
Orleans *разг. сокр. от* New Orleans
ornery *дуал.* скверный
orter, oughter = ought to
ourn *дуал.* = outs
out (*гл. неизм.*) *прост. дуал.* 1. выйти (вперед), выскочить
2. сказать что-л., "выпасть" 3. be o. *уст.* ошибаться

outen, outer, out'n (*предл.*) употребляется в значении out of
owdacious *диал.*=audacious

pard *прост.* товарищ, компаньон

partickler *прост.*=particular

passel *разг.* большое количество, "уйма"

pearl *диал.* бодрый, веселый

peck at, on *разг.* бранить, "пилить"

peel: to p. an eye (at) *сленг* смотреть (на), видеть; *ср. русск.*
"разуть глаза"

peg *сленг* бежать; to move a p. зашевелиться, начать действо-
вать

pie *сленг* нечто превосходное (часто вместе с old или в срав-
нениях: as polite as p. предельно вежлив)

piece (*с неопр. арт. в функции нареч.*) немного, чуть-чуть
(о времени и пространстве)

pile up *разг.* преувеличивать

pint *диал.*=point

pison *диал.* 1.=poison 2.=poisonous 3. (как *усилит. слово*)
Чертовски

plumb *диал.* вплоть до

plunkety-plunk *зд.* звукоподражательное слово

po' *негр.*=poor

polish off *разг.* закончить, "закруглиться"

pooty *негр.*=pretty

post *зд.* наладить почтовую связь

powerful (*в функции нареч.*) *прост. диал.* сильно, очень

powwow *амер. разг.* 1. (*сущ.*) (шумное) совещание, собра-
ние, обсуждение 2. (*гл.*) (громко) совещаться, (бурно) обсуж-
дать; вести дружескую беседу

preforeordination слияние двух слов predestination и foreordi-
nation (и то и другое переводится как "предопределение" —
одно из основных понятий кальвинизма)

primer class начальный класс

p'simmon=persimmon хурма

puncheon floor *амер.* дощатый пол

pungle *диал.* платить, раскошеливаться

punkin *прост.*=pumpkin

punkin-head *прост.*=pumpkin-head

raf, raff *негр.*=raft

rag-carpet лоскутный ковер или дорожка

rair *уст.*=goat

raise *диал.* совпадает в основных знач. с to rise

rank *диал.* штабель

raspy раздражительный, раздражающий

rattling (*нареч.*) *разг.* потрясаяще

razberries=raspberries

reely *прост. диал.*=really

relict *уст. диал.*=relic

remainders *уст. диал.* останки

resk, resky *диал.* risk, risky

revival у американских протестантов религиозное собрание (часто экстатического характера)

right up *амер.* приводить в порядок, в чувство

rip 1. (*суц.*) *прост.* ничтожество 2. (*гл.*) *диал.* сквернословить 3. *г. and tear разг.* неистовствовать

Rosamun *прост.* Rosamond, Rosamund (жен. имя)

round-log *амер.* необтесанное бревно

roust *диал.* 1. вытаскивать 2. *г. out* — поднимать с постели

rubbage *диал.*=rubbish

rummy *сленг* алкоголик, пьяница, завсегдатай пивных

ruther *диал.*=rather

Ryo Janeiro *прост.*=Rio de Janeiro

's=as

saddle-bags *зд.* образн. глагол, образованный от saddle-bags — дорожные сумки, прикрепляемые по обе стороны от седла

sadful *уст. диал.* печальный, грустный

sah *негр.*=sir

sake: s. alive, my sakes восклицания, выражающие удивление

saltire *геральд.* андреевский крест

sand *сленг* смелость, выдержка; to have much s. in one's craw *разг.* быть решительным, мужественным

sass *амер.* 1. (*суц.*) дерзкий ответ, пререкания 2. (*гл.*) резко возражать, пререкаться

sasser *диал.*=saucer

saw-log *амер.* бревно, размер которого подходит для лесопилки

scole *негр.*=scold

scoot мчаться

scratch *сленг* деньги

scrouge *диал.* толкаться, давиться

s'e=says he

sech *диал.*=such

seegar *прост.*=cigar

sejest *диал.*=suggest

sence *диал.*=since

seneskal=seneschal *уст.* сенешаль (главный управляющий королевским дворцом)

set (set, set) *диал.* совпадает в основных знач. с to sit; s. around сидеть да посиживать

setting room *диал.*=sitting room

seven-up *амер.* азартная карточная игра

shackly *дуал.* шаткий, неустойчивый; разболтанный, ветхий
 shake¹ *сленг* шанс (от a shake of the dice)
 shake² *сленг* бросать кого-л.; избавиться от кого-л. s. the
 reefs out of one's hind legs
 sh'd=should
 shet *дуал.*=shut
 sho¹ *негр.*=shore
 sho² *sholy негр.*=sure, surely
 shore *дуал.*=sure
 short: be smb/smith s. стать меньше на ...
 shot-tower *уст.* башня для изготовления пушечных ядер (че-
 рез отверстия наверху башни лили расплавленный свинец, кото-
 рый падал в воду внизу)
 shovel: put in smb's s. *разг.* вмешиваться, "встревать"
 show *дуал.* возможность, шанс
 sh-she=says she
 shut: be s. of *дуал.* избавиться
 s'I=says I
 sich *негр.*=such
 sickly (*гл.*) *уст.* вызывать болезнь
 sis *амср. разг.* sister
 sivilize, sivilized=civilize, civilized
 skaddle=scuddle *дуал.* спастись бегством
 skasely *негр.*=scarcely
 skift *негр.*=skiff
 skreeky *негр.*=screaky
 sk'yarlet *негр.*=scarlet
 sk'yerd, sk'yers *негр.*=scared, scares
 slouch *разг.* лодырь; недотепа; по s. of *зд.* что-то дается не-
 легко
 sluice *уст.* 1. (*сущ.*) поток 2. (*гл.*) выплескивать(ся)
 smarty *разг.* присяжный остро слов; "остряк-самоучка"
 smouch воровать, таскать
 snake *разг.* волочить, тащить
 soldier-plum *возможно* soldier's plume плюмаж
 sole *негр.*=sold
 Sollermun *прост.*=Solomon; см. коммент к с. 78
 som'n *негр.*=someone
 som'ers=somewheres *дуал.*=somewhere
 sont *негр.*=sent
 sorrers *прост. дуал.*=sorrows
 sorter=sort of
 sot¹ *уст.* дурак, глупец
 sot² *дуал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to set
 soul-butter *сленг* благочестивые или сентиментальные разгла-
 гольтвования
 sour раздражаться, быть недовольным

Spanish moss испанский бородавчатый мох (растение, свисающее с деревьев; характерно для глубокого Юга)

spec, 'spec' *негр.* = expect

speculat'n *прост.* = speculating

sperit *диал.* = spirit

spiling *диал.* = spoiling

spite *прост. диал.* = in spite

split-bottom(ed) *прост.* = splint-bottom(ed) с шлетеным сиденьем (о стульях)

spondulicks (мн. ч.) *сленг* деньги, "монеты"

spoon vittles (=victuals) *амер.* блюда, которые едят ложкой

spos'n *прост.* = supposing

'spute *негр.* dispute

squah *негр.* = square

squash *диал.* рухнуть, обрушиться

stabboard *диал.* = starboard *мор.* правый борт

stannin' *негр.* = standing

start *уст.* найти, обнаружить

start'n *прост.* = starting

state's evidence *юр.* подсудимый, дающий показания против соучастников в преступлении, в котором он обвиняется вместе с ними

staving *диал.* замечательный, великолепный

'stead *прост.* = instead

steam-ferry пароход-паром

stern табанить (гребти в обратном направлении)

stretcher кровать, небылица

'sturb *прост.* = disturb

sumf'n, sumfn, sumpn *негр.* = something

sumter = sumpter вьючный

surge резкий скачок; рывок

suspicion (гл.) *диал.* подозревать

suthin' *прост.* = something

swab подтирать, вытирать

swaller *прост.* = swallow

swap колыхаться; s. knives *разг.* менять тактику, планы

sweat *разг.* беспокойство, волнение; in a s. в нетерпении

swush *зд.* звукоподражательное слово

't *диал.* 1. = it 2. = but

take on *разг.* суетиться, устраивать суматоху

take out *диал.* бежать

take out in давать выход чему-л. или находить выход в чем-л.

talky-talk *разг.* многословие

taller *негр.* = tallow жир, сало (для свечей, мыла)

tap-yard кожевенный завод

taper off *разг.* убывать, "таять"

- tartar зубной камень
 tell *негр.* = till
 texas *амер.* рубка речного судна
 thar *диал.* = there
 that *прост. диал.* употребляется в значении so
 that air *диал.* that there (см.)
 that there *диал.* тот (вот)
 their'n *диал.* theirs
 them *прост. диал.* употребляется в знач. 1. those 2. they
 3. themselves
 they *прост. диал.* употребляется как there в обороте с
 to be
 thicken темнеть, мрачнеть, затуманиваться
 this here *диал.* этот (вот)
 thish-yer *прост. диал.* = this here
 th'n = than
 thoo *негр.* = through
 tick *амер.* матрац (с чехлом из тика)
 Tige кличка собаки
 tight *диал.* сильно, основательно, крепко
 times (*сущ. ед. ч.*) = time (ср. ways)
 t'll *прост.* = till
 tobacker *прост. диал.* = tobacco
 tolable *негр.* = tolerable
 tole *прост. диал.* пр. прош. вр. от to tell
 tolerable (*в функции нареч.*) *диал.* весьма
 tother, t'other *диал.* = the other
 tow-linen грубая льняная ткань (из оческов)
 trading scow *диал.* речное грузовое судно
 tree 1. загнать на дерево 2. *перен.* поймать
 tree-toad = tree-frog древесная лягушка
 trot line леска с несколькими рыболовными крючками, пере-
 мет
 tuck¹ *амер.* сила, энергия; to take the t. out of smb. лишить
 (кого-л.) сил, решимости; выбить из колеи
 tuck² *диал.* пр. прош. вр. и прич. прош. вр. от to take
 turrible *диал.* = terrible
 twarn't см. warn't
 twyste *диал.* twice

 'ud = would
 'um = them
 un (*предл.*) *диал.* употребляется в знач. of
 und' *негр.* = under
 underside плоскость или поверхность, расположенная под
 чем-л. или внизу
 unkivered *диал.* = uncovered

up (з.л.) разг. 1. высказывать 2. to u. and do smth. взять и сделать что-л.

up'ards прост. дуал.=upward(s)

up-end поставить перпендикулярно, придать вертикальное положение

up-steam разг. "дать ходу"

use дуал. часто посещать, часто бывать где-л.

uv негр.=of

'uz прост.=was

'v=of

valley=valel

various дуал. несовместимый; to be v. with быть в ссоре

vassles=vassals

vittles=victuals 1. уст. продовольствие 2. уст. поэт. пища, еда

wadding 1. упаковочный материал 2. уст. материал для изготовления пыжей (к ружьям, заряжавшимся с дула)

wages (с з.л. в ед. ч.) уст. поэт. возмездие, расплата (восходит к Библии)

waltz 1. идти пританцовывая 2. амер. таскать

warm: to make it w. for smb. сленг сделать чье-л. существование или пребывание где-л. опасным или невыносимым

warm' негр.=warm't (см.)

warm't прост. дуал.=wasn't, weren't

waseful негр.=wasteful

waw-path дуал.=var-path

'way негр.=away

ways (сущ. ед. ч.) дуал. 1.=way (ср. times) 2.=while

weather-boarding обшивочные доски

wench амер. уст. разг. негритянка или мулатка

whack разг. бухнуть, разразиться

whah негр.=where

whar дуал.=where

whar'd=where did

wharf-boat мор. плавучая пристань

what'r=what are

whiles прост. дуал.=while

whippowill прост.=whip-roor-will козодой жалобный

whither дуал. сюда

whollop дуал.=wallop тяжело ступать, ходить вперевалку

whoop-jamboree-hoo сленг крик, вопль; галдеж, "базар"

whydn't=why did... not

wid негр.=with

widder негр.=widow

widout негр.=without

wisht=wished

without (союз) *прост. диал.* употребляется в знач. unless
wood-flat *диал.* плоскодонная лодка для перевозки леса
wood-rank см. rank

woods: out of the w. вне опасности; оставив позади все затруднения

woodyard лесной или дровяной склад

wool-gathering *диал.* = wool-gathering рассеянный, мечтательный

wore out *диал.* = worn out

would *уст.* хотел бы

wrack *негр.* = wreck

writ'n *прост.* = writing

wunst *диал.* = once

wusshup *негр.* = worship

wust *прост. диал.* = worst

wuth *негр.* = worth

wuz *диал.* = was

w'y *негр.* = why

yaller *прост. диал.* = yellow (см.)

yellocute глагол, образованный от yellocution (см.)

yellocution каламбурное обозначение красноречия, образованное слиянием слов yell и elocution

yellow *амер.* светлокожий (о мулате)

yellow boy *уст. сленг* золотая монета

yellow dog *амер.* дворняжка; паршивый пес

yellow jacket *уст. сленг* банкнот, беспроцентный кредитный билет, выпускавшийся банком и заменявший в обращении металлические деньги (первые бумажные деньги "greenbacks" были выпущены федеральным правительством в 1861—1862 гг.)

yer¹ *диал.* = here

yer² *негр.* = your

yisterday *диал.* = yesterday

yistiddy *негр.* = yesterday

yit *диал.* = yet

yo' *негр.* = your

yonder *диал.* употребляется как 1. that, those 2. there; y. way в той стороне

yo'sef *негр.* = yourself

y'other *прост.* = the other

you-all *прост.* = you (в обращении к двум и более лицам, иногда и к одному лицу)

youm *диал.* = yours

y'r = your

yuther *негр.* = other

А. И. Полторацкий

КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛУ КРИТИКИ

Unsigned Review

Анонимная рецензия, опубликованная в лондонском литературно-художественном журнале *Athenæum*, считается первым печатным откликом на выход "Приключений Гекльберри Финна" (англ. изд., декабрь 1884 г.). Предполагают, что рецензия принадлежит Уильяму Э. Хенли (1849–1903), английскому литератору, поэту, другу Роберта Л. Стивенсона, в соавторстве с которым он написал несколько пьес.

Brander Matthews

Брандер Мэтьюз (1852–1929) — драматург и театровед, эссеист, прозаик; профессор Колумбийского университета (1892–1924). Был одним из учредителей "Клуба писателей" в Нью-Йорке (1882), член Национального Института искусств и литературы и его президент в 1913–1914 гг. Современники называли Мэтьюза "последним представителем джентльменской школы критиков и эссеистов в Америке".

Публикуемая статья — первый развернутый отзыв о романе. Мэтьюз впоследствии неоднократно обращался к творчеству Твена (в книге "Виды прозы" — *Aspects of Fiction*, 1896; предисловие к нью-йоркскому изданию "Гекльберри Финна" 1918 г.; статья "Марк Твен и искусство прозы", 1922), где подробно разобрал особенности стиля писателя.

233. Mr. F. Anstey — Ф. Анстей (наст. имя Thomas Anstey Guthrie, 1856–1934), английский писатель, автор сказочных и юмористических романов; наиболее известен "Шиворот-навыворот, или Урок отцам" (*Vice Versa*, 1882), герой которого под действием волшебных сил принимает облик своего сына-школьника, а тот превращается в отца.

234. Mr. Cable's *Bras-Coupé* — Бра-Купе, легендарный африканский принц, персонаж романа Джорджа У. Кейбла (1844–1925) "Грандиссимы. Повесть из креольской жизни" (1880), написан

ного на материале нью-орлеанского быта начала XIX в. В ноябре 1884 — феврале 1885 г. Кейбл совершил с Твенем поездку по США и Канаде с публичными лекциями.

Mr. Harris's Uncle Remus — дядюшка Римус, пожилой добродушный чернокожий рассказчик-слуга в серии книг Джоэла Чендлера Харриса (1848—1908). Харрис был одним из первых, кто оценил "Гекльберри Финна". В связи с 50-летием Твена он отправил редакторам журнала *Critic* письмо, где говорилось: "В нашей художественной литературе нет более полезной книги, чем "Гекльберри Финн". Это история, это романтика, это жизнь... Мы видим людей, которые живут и растут на наших глазах, мы смеемся вместе с ними, мы делим их горести и незаметно для себя усваиваем урок честности, справедливости и милосердия".

Mingo, Blue Dave — Минго, Голубой Дейв, персонажи книги рассказов Харриса "Минго и другие черно-белые скетчи" (1882), реалистично воссоздающих жизнь негров Джорджии как до Гражданской войны, так и в эпоху Реконструкции.

Robert Bridges

Роберт Бриджес (1858—1941) — обозреватель юмористического журнала *Life* (1883—1936), пользовавшегося успехом у нью-йоркской элиты рубежа столетий. Впоследствии был редактором в ряде журналов, литературным консультантом и директором издательства "Чарлз Скрибнерс санз".

Thomas Sergeant Perry

Томас Сарджент Перри (1845—1928) — филолог, историк, знаток зарубежных литератур. Был дружен с У. Д. Хоуэллсом, Г. Джеймсом, И. С. Тургеневым. Публикуемая статья демонстрирует помимо прочего интерес Перри к теоретическим проблемам реализма, характерный для его выступлений в журналах *Nation*, *Atlantic* и др.

236. *mal du siècle* (*фр.*) — болезнь века.

Andrew Lang

Эндрью Лэнг (1844—1912) — шотландский филолог, историк, фольклорист, поэт, романист, переводчик Гомера и Феокрита, библиофил. Существует мнение, что публикуемая статья (ко-

торая была перепечатана американским журналом *Critic*) является как бы ответом на известное письмо Твена (1890): "Приходится признать, что обо мне с самого начала судили неправильно. Я никогда не пытался служить дальнейшему образованию образованного класса... Меня с самого начала влекла куда более крупная дичь — народные массы". (Марк Твен. Собрание сочинений в 12-и тт., М., 1961, т. 12, с. 608).

237. *Mr. Gladstone* — Уильям Юверт Гладстон (1809—1898), английский государственный деятель, неоднократно занимавший пост премьер-министра; автор ряда трудов по вопросам церкви, государства и религии.

Mark Twain as a critic of Italian art nor as a guide to the Holy Land — Лэнг имеет в виду юмористические очерки Твена "Простак за границей".

Chesterfield — Филип Дормер Стенкоп Честерфилд (1694—1773), английский писатель и дипломат, автор знаменитых "Писем к сыну" (1774).

Homo Ridens (лат.) — человек смеющийся.

238. "*Kenilworth*" — "Кенилворт", исторический роман В. Скотта (1821), изображающий политические нравы при дворе королевы Елизаветы (XVI в.). Не исключено, что упоминание Скотта — полемический прием, понятный в контексте резко отрицательного отношения Твена к английскому романисту.

Frank R. Stockton

Фрэнк Стоктон (1834—1902) — романист и новеллист; начинал как детский писатель, работал редактором в журнале для детей *St. Nicholas*. Известность Стоктону принес юмористический приключенческий роман "Плавучая ферма" (*Rudder Grange*, 1879) и его продолжения. В 90-е годы написал ряд научно-фантастических романов. Собрание сочинений Стоктона, выпущенное в 1899—1904 гг., составляет 23 тома.

Показательно, что публикуемая статья была напечатана в солидном общественно-политическом журнале *Forum*.

Walter Besant

Уолтер Безант (1836—1901) — английский прозаик. Начинал как литературовед: "Ранняя французская поэзия" (1868) и "Французские юмористы" (1873). Автор ряда исторических романов, хотя большей популярностью пользовались его романы на современные темы "Люди всяких состояний и положений"

(*All Sorts of Conditions of Men*, 1882) и "Дети Гибсона" (*Children of Gibeon*, 1886). Участвовал в создании английского "Общества писателей" (1884). В работе "Перо и книга" (*The Pen and the Book*, 1899) затронул вопрос материального положения литераторов.

Статья является ответом на анкету журнала *Munsey's Magazine*, в которой приняли участие У. Хоуэллс, Ф. Брет Гарт, А. Конан Дойл и другие известные писатели.

Barrett Wendell

Барретт Уэнделл (1855–1921) — литературовед, профессор английской филологии в Гарвардском университете (1880–1917). Автор биографии Коттона Мэзера (1891), книги о Шекспире (1894) и др. Его "История американской литературы" (1900) весьма критически рассматривает творчество американских писателей, которых, как было впоследствии отмечено в "Литературной истории США" под ред. Р. Спиллера и др. (1848), автор "судит с высоты английской традиции".

William Dean Howells

Уильям Дин Хоуэллс (1837–1920) — прозаик, автор 35 романов, критик, редактор, драматург, поэт, один из основоположников реализма в США, влиятельная литературная фигура своего времени. Уроженец Огайо, способствовал проникновению духа "фронтира" в культуру Новой Англии. В 1908 г. был избран президентом Американской академии искусств и литературы.

Начав с нравоописательных романов в русле "жантильной традиции", в 80-е годы перешел к социальной тематике. Испытал влияние Л. Толстого; по определению В. Л. Паррингтона, был "первым крупным американским писателем, вставшим на позиции Марковского социализма". Среди теоретических работ Хоуэллса выделяется книга "Критика и литература" (*Criticism and Fiction*, 1891), где отстаиваются принципы реализма и нравственная функция искусства. В качестве критика и редактора поддерживал Г. Джеймса, Х. Гарленда, С. Крейна, Ф. Норриса, Р. Херрика. Предпринятое в 1968 г. издание "Избранных произведений" Хоуэллса составит 41 том.

Знакомство Твена с Хоуэллсом относится к 1869 г., когда тот положительно отзывался о "Простаках за границей": "Книга должна завоевать ему более высокую репутацию, нежели неопределенное положение автора популярного чтения... Думается, что

он совершенно непохож на всех остальных юмористов, которых подарила нам Калифорния". В 1874 г. Хоуэллс напечатал в "Атлантике", который он редактировал (1866—1881), рассказ Твена "Простая история". Вместе с Твенем написал пьесу "Полковник Селлерс" (*Colonel Sellers*, 1883), которая прослеживает дальнейшую судьбу персонажа из "Позолоченного века" (впоследствии Твен переделал ее в роман "Американский претендент" — *The American Claimant*, 1892). Многолетняя, охватывающая 1872—1910 гг., переписка Твена и Хоуэллса собрана Генри Н. Смитом и Уильямом М. Гибсоном в двухтомном издании (1960).

246. *as Grant did* — Юлиссис Симпсон Грант (1822—1885), военачальник в армии северян в период Гражданской войны, впоследствии 18-й президент США. Его "Личные мемуары" в 2-х томах (1885—1886) отличаются прямой изложением, были выпущены издательством Твена "Чарлз Узбстер и компания" и стали бестселлером.

247. *not the Charles Sumnerian* — т. е. не как у Чарлза Самнера. Чарлз Самнер (1811—1874), юрист, видный деятель республиканской партии, сторонник равноправия для негров. Славился красноречием.

Archibald Henderson

Арчибальд Хендерсон (1877—?) — математик, историк, биограф. Практически всю жизнь преподавал в университете Северной Каролины. Выпустил несколько книг о Бернарде Шоу. Автор работ о европейской драматургии (1919) и "Очерка в память О. Генри" (*O. Henry. A Memorial Essay*, 1914). Книга Хендерсона о Твене содержит самую богатую для того времени библиографию — около 250 названий.

Reuben Post Halleck

Рейбен Пост Хеллек (1859—?) — ректор Высшей мужской школы в Луисвилле, Кентукки, автор работ "Психология и психическая культура" (1895), "Новая английская литература" (1913), "История нашей страны" (1923) и др.

252. *Professor... Phelps* — Уильям Лайон Фелпс (1865—1943) — известный литературовед, сорок лет занимал должность профессора в Йейлском университете, был обозревателем журнала *Scribner's Monthly* в области гуманитарной проблематики.

Алберт Биглоу Пейн (1861—1937) — писатель, редактор. С 1906 г. литературный секретарь Твена; в его присутствии Твен диктовал стенографистке свою "Автобиографию". Пейн — первый хранитель и публикатор твеновского литературного наследия, которым он пользовался весьма выборочно и осторожно, не желая вызвать недовольство родственников писателя. Его трехтомная биография Твена в значительной мере основана на высказываниях и архивах писателя. В 1917 г. подготовил комментированное издание писем Твена, а в 1924 г. издал "Автобиографию" Твена, куда по подсчету следующего хранителя архива писателя Б. Де Вото включил примерно половину рукописи.

John Macy

Джон Мейси (1877—1932) — литературный критик. В остро-полемиической книге "Дух американской литературы" (1913), отчасти предвосхитившей концепции В. В. Брукса и В. Л. Паррингтона, выступил с весьма резкой оценкой достижений национальной классики, однако "Гек Финн" остался в его глазах "образцом современного реализма, прискорбно одиноким в нашей литературе", а его автор — "могучим и оригинальным мыслителем", вставшим на позицию "этического и материалистического детерминизма".

Перу Мейси также принадлежит работа "Социализм в Америке" (1916); им составлена антология "Американские писатели об американской литературе" (1932).

H. L. Mencken

Генри Менкен (1880—1956) — эссеист, критик, интеллектуальный бунтарь, высмеивавший "Болвануса Американуса" (*Boobus Americanus*), т. е. отечественное мещанство. Начиная книгами о Шоу (1905) и Ницше (1908). С 1908 г. — обозреватель, позднее редактор умеренно-сатирического нью-йоркского журнала *Smart Set*. Вместе с Джорджем Дж. Нейтеном основал журнал *American Mercury* (1924), поддерживал писателей критико-реалистического направления. Главной работой Менкена считается "Американский язык" (1919), неоднократно переиздававшаяся. В 30—40-е годы влияние Менкена упало.

Уолдо Дэвид Фрэнк (1889–1967) — писатель, публицист, один из основателей и редакторов радикального журнала *Seven Arts* (1916–1917). После посещения СССР написал книгу "Заря над Россией" (1932). Наиболее известный роман — "Смерть и рождение Дэвида Маркенда" (1934). В 1935 г. — председатель Лиги американских писателей. Впоследствии отошел от общественной деятельности, однако в книге "Остров Надежды. Портрет Кубы" (*The Prophetic Island: A Portrait of Cuba*, 1961) выразил симпатии к персонам в стране.

Книга "Наша Америка" представляет собой критический обзор общественной жизни США "машинного века". К ней примыкает "Новое открытие Америки" (*The Rediscovery of America*, 1928).

257. Richard Watson Gilder — Ричард Уотсон Гилдер (1844–1909), поэт, журналист. В качестве заместителя главного редактора литературного журнала *Scribner's Monthly* (1870–1881) и главного редактора *Century* (1881–1909) пользовался влиянием в нью-йоркских интеллектуальных кругах.

Van Wyck Brooks

Ван Вик Брукс (1886–1963) — историк литературы, критик, эссеист демократического направления. В книгах "Вино пуритан" (*The Wine of the Puritans*, 1909) и "Америка на пороге зрелости" (*America's Coming-of-Age*, 1915) выдвинул тезис о губительном влиянии пуританского наследия и буржуазного уклада на духовную жизнь страны. В "Паломничестве Генри Джеймса" (*The Pilgrimage of Henry James*, 1925) объяснял творческий кризис писателя отрывом от родной земли. Автор пятитомного труда "Творцы и первооткрыватели" (*Makers and Finders*, 1936–1952), дающего панораму литературной жизни Америки с конца XVII в. до кануна первой мировой войны. Современной проблематике посвящены книги "О литературе сегодня" (*On Literature Today*, 1941) и "Писатель в Америке" (*The Writer in America*, 1953), в которой подвергнуты критике модернистское искусство и упадническая философия.

Полемический тон ранних работ Брукса объясняется стремлением расчистить почву для критического реализма в литературе США. Впоследствии занял более лояльную позицию в отношении к национальной классике.

Стюарт Прэт Шерман (1881–1926) — литературовед, близкий к элитарно-консервативной школе т. н. "нового гуманизма". Первые книги — "Как изучать Мэтью Арнольда" (*Matthew Arnold: How to Know Him*, 1917) и "О современной литературе" (1917). Вместе с Уильямом П. Трентом, Джоном Эрскином, Карлом Ван Дореном был редактором четырехтомной "Кембриджской истории американской литературы" (1917–1921), в создании которой приняло участие более 60 авторов. Публикуемый отрывок взят из главы о Твене, написанной Шерманом.

Vernon Louis Parrington

Вернон Луис Паррингтон (1871–1929) — исследователь американской литературы, представитель культурно-исторической школы, профессор Вашингтонского университета (1908–1929).

Автор книг "Коннектикутские остроумцы" (*The Connecticut Wits*, 1926), "Синклер Льюис — наш Диоген" (*Sinclair Lewis, Our Own Diogenes*, 1927) и капитального трехтомного труда "Основные течения американской мысли" (*Main Currents in American Thought*, 1927–1930), в котором предложена социологическая интерпретация общественно-литературного процесса в США от начала XVII в. до перв. четв. XX в. Первые два тома удостоены Пулитцеровской премии, третий — "Возникновение критического реализма в Америке" (1860–1920) — вышел уже после смерти автора. Рассматривая в нем период после Гражданской войны, Паррингтон определил его по названию романа Твена "Позолоченный век" — *The Gilded Age*.

262. Aldrich—Томас Бейли Олдрич (1836–1907) — журналист, поэт, прозаик, близкий к "традиции утонченности", заметная фигура в интеллектуальных кругах Бостона, редактор *The Atlantic Monthly* (1881–1890). Наиболее известен как автор полуавтобиографической "Истории скверного мальчишки" (*The Story of a Bad Boy*, 1870), отчасти предвосхитившей книги Твена.

Stephen Leacock

Стивен Батлер Ликок (1869–1944) — канадский писатель, политолог и экономист, автор ряда научных трудов. Выпустив в 1910 г. сборник "Литературные ляпсусы" (*Literary Lapses*),

вскоре завоевал известность как юморист и сатирик. Автор трех книг по теории юмора. Помимо работы о Твене написал биографию Диккенса (1933).

V. F. Calverton

Виктор Фрэнсис Калвертон (1900–1944) — критик, близкий к марксистскому направлению в литературоведении, выступавший с социологической интерпретацией литературных явлений. Автор исторической работы "Пробуждение Америки" (*The Awakening of America*, 1939) и книги об утопических начинаниях в США: "Куда не ступали ангелы" (*Where Angels Feared to Tread*, 1941).

Bernard De Voto

Бернард Де Вото (1897–1955) — литературовед, историк, романист, профессор Северо-Западного (Эванстон, Иллинойс) и Гарвардского университетов. В 1936–1938 гг. редактор *Saturday Review of Literature*, с 1935 по 1955 г. обозреватель *Harper's Magazine*. Автор ряда исторических работ — в т. ч. об освоении американского Запада.

В качестве хранителя архивов Твена опубликовал очередной том его автобиографии "Марк Твен — непотухший вулкан" (*Mark Twain in Eruption*, 1940), куда включил неизвестные ранее диктовки писателя 1906–1908 гг. В 1942 г. издал книгу "Марк Твен за работой" (*Mark Twain at Work*), где, сосредоточившись на позднем периоде жизни и творчества Твена, во многом пересмотрел свою раннюю концепцию.

269. Edwards — Джонатан Эдвардс (1703–1758), философ-теолог и проповедник. Его произведения отличаются хорошим слогом, образностью и отмечены идеей трагического несовершенства мира, что в целом не свойственно пуританской доктрине.

271. McGuffey — Уильям Холмс Макгаффи (1800–1873) — филолог, получивший известность как составитель школьных "Собранных хрестоматий" (*Eclectic Readers*), содержащих отрывки из разных авторов на разные темы. Шесть выпусков "Хрестоматий" разошлись тиражом свыше 120 млн. экземпляров.

Mr. Ford — Форд Мэддокс Форд (1873–1939), английский романист, автор монографий о Генри Джеймсе (1913) и Дж. Конраде (1924), в соавторстве с которым написал два романа.

272. Abbé Coignard — аббат Куаньяр, герой философско-сатирической прозы Анатоля Франса — книг "Харчевня королевы

Гусиные лапки" (1892) и "Суждения господина Жерома Куанья-ра" (1893).

Theodore Dreiser

Статья Драйзера "Два Марка Твена", написанная в связи со столетием со дня рождения Твена, продиктована насущными проблемами литературно-общественной борьбы в США и продолжает размышления писателя о положении искусства в Америке, "стране, которая так глубоко погрязла в практицизме", как писал он еще в очерке 1917 г. "Жизнь, искусство и Америка". Завышенная оценка Драйзером "Таинственного незнакомца" и других поздних произведений Твена объясняется известным влиянием на него в те годы спенсерианства. Вместе с тем, как отмечал он, "в своих серьезных сочинениях Твен оставался в душе реалистом, и притом необыкновенным реалистом".

273. *Pepys' Diary* — "Дневник" Пипса; речь идет о тайнописных заметках, которые вел с 1659 по 1669 гг. служивший чиновником адмиралтейства Сэмюэл Пипс (1633—1703). Дневник Пипса, полностью расшифрованный и изданный только в конце XIX в., дает достоверную картину политических и частных нравов Англии эпохи Реставрации.

Sterling Brown

Стерлинг Браун (р. 1901) — поэт, критик, историк литературы, около полувека преподававший в Гарвардском университете. Первый поэтический сборник — "Южная дорога" (*Southern Road*, 1932). В 1979 г. вышел том его избранных стихов. Автор истории негритянской поэзии и драмы, рассматриваемой им сквозь призму свободолюбивых традиций своего народа. Работа "Негр в американской прозе" переиздана в 1969 г.

276. *Page* — Томас Нелсон Пейдж (1853—1922), прозаик и публицист, представитель консервативной "плантаторской" традиции в литературе Юга.

James T. Farrell

Джеймс Томас Фаррелл (1904—1979) — прозаик, автор романов о судьбах потомков ирландских иммигрантов в США.

Наиболее известна его трилогия о Стадсе Лоннигане (1932—1935). Некоторые романы Фаррелла грешат натуралистической одномерностью. Публикуемая статья вошла впоследствии в сборник литературно-критических работ Фаррелла "Лига перепуганных филистеров" (*The League of Frightened Philistines*, 1945).

278. Darrow — Клэрэнс Сьюэрд Дэрроу (1857—1938), юрист и реформатор, представлял защиту на многих громких процессах (Ю. Дебса, "обезьяньем процессе" 1925 г. и др.). Разделял теорию, согласно которой поведение человека определяется неизвестными ему социальными, биологическими, психическими силами.

Ralph Ellison

Ральф Эллисон (р. 1914) — прозаик, автор романа "Невидимка" (*Invisible Man*, 1952) и нескольких рассказов. Публикуемая статья написана в 1946 г., впервые напечатана в журнале *Confluence* в декабре 1953 г., впоследствии вошла в сборник эссе Эллисона "Тень и действие" (*Shadow and Act*, 1964).

283. Empson — Уильям Эмпсон (р. 1906), английский теоретик литературы и поэт. Автор работы "Семь видов двойственности" (*Seven Types of Ambiguity*, 1930), оказавшей значительное влияние на формальные направления в западном литературоведении.

Dixon Wecter

Диксон Уэктер (ум. в 1951) — литературовед. В 1949 г. издал "Любовные письма Марка Твена" (*Love Letters of Mark Twain*). Посмертно опубликована его книга "Сэм Клеменс из Ганнибала" (1952), которая должна была стать первым томом задуманной Уэктером биографии Твена.

285. Peck's Bad Boy — Джордж Уилбер Пек (1840—1916), журналист, автор юмористических зарисовок, составивших сборник "Скверный мальчишка Пека и его папана" (*Peck's Bad Boy and His Pa*, 1883), который открыл серию книг о мальчугане-озорнике.

Abbott — Джейкоб Эббот (1803—1879), священнослужитель и педагог, выпустивший множество дидактических сочинений. Наиболее известен как автор серии назидательных повестей для детей, которые он писал начиная с 1834 г. 28 выпусков этой серии считаются характерным образцом т. н. "книжек для воск-

ресных школ", неоднократно высмеянных Твенем.

bête noire (фр.) — противное существо, объект неприязни.

T. S. Eliot

Томас Стернз Элиот (1888–1965), англо-американский поэт и критик. Прошел путь от трагической поэзии, запечатлевшей опустошение личности в условиях буржуазной цивилизации, к проповеди христианских этических норм и метафизической трактовке "вечных тем". Как теоретик литературы выдвинул — в противовес идеям творческой индивидуальности и свободы — "классический принцип", т. е. доктрину безусловного следования культурной традиции, однако понятие традиции часто утрачивает у Элиота конкретно-историческое содержание. Формальные школы англоязычного литературоведения во многом опираются на идеи Элиота.

W. H. Auden

Уистан Хью Оден (1907–1973) — англо-американский поэт, эссеист. В публикуемой статье Гек Финн рассматривается как носитель черт американского национального характера в сопоставлении с Оливером Твистом, воплощающим типичного английского подростка.

Wright Morris

Райт Моррис (р. 1910) — прозаик, автор около двадцати романов, в которых на материале жизни Среднего Запада разрабатывает преимущественно одну тему — американской самобытности. Публикуемая статья, взятая из сборника эссе Морриса "Индийская территория впереди" (*Territory Ahead*, 1958), любознательна попыткой найти точки соприкосновения двух традиций в литературе США — Марка Твена и Генри Джеймса.

Philip Foner

Филип Шелдон Фонер (р. 1910) — марксистский историк и литературовед, профессор университета Линкольна (Оксфорд, Пенсильвания), первого учебного заведения для негров, учрежденного в 1854 г. Среди исторических исследований Фонера

четырёхтомная "История рабочего движения в США" (1947–1965). Автор книг о Джеке Лондоне (1947) и Джо Хилле (1958).

Walter Blair

Уолтер Блэр – профессор Чикагского университета, автор многочисленных работ о Твене. Составитель комментированной антологии "Почвенный американский юмор" (*Native American Humor*, 1937). В 1942 г. издал книгу "Здравый смысл в американском юморе" (*Horse Sense in American Humor*). Публикуемый материал, где на основе глубокого анализа текстов прослежены внутренние связи между романами "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна", представляет собой главу из ставшей канонической монографии "Марк Твен и Гекльберри Финн" (1960).

Henry Nash Smith

Генри Нэш Смит – литературовед, профессор Калифорнийского университета; с 1955 г. – хранитель архива Твена. Автор книги "Марк Твен – предприниматель" (*Mark Twain of the Enterprise*, 1957). В 1960 г. вместе с У. М. Гибсоном издал том переписки Твена и Хоуэллса, а в 1963 г. выступил редактором книги "Марк Твен. Собрание критических статей" (по которому печатается ряд материалов в наст. издании). Воспроизводимая вступительная часть к главе о Гекльберри Финне из книги "Развитие писателя" (1962) в емкой форме содержит основные положения раздела и дает представление о строгой фактологичности, чуткости исследователя к социальным и нравственным основам творчества Твена и вместе с тем выдает его склонность к структурно-формальному методу. В название главы – "Здоровое сердце и большая совесть" – вынесено твеновское определение внутреннего конфликта Гека.

Maxwell Geismar

Максуэлл Гейсмар (р. 1909) – литературовед, критик демократического направления. Автор многочисленных работ об американском романе. Книга Гейсмара "Марк Твен – американский пророк" получила высокую оценку марксистской печати США (статья Дж. Порта "Я выдвигаю Гейсмара" в *American Dialogue*, 1972, No 2).

Г. П. Злобин

МАРК ТВЕН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

(На английском языке)

КРИТИКА

Составитель Георгий Павлович Злобин

Издательство "Радуга"

Выходит в свет

Английская поэзия XX века в русских переводах: Сборник. На англ. яз. с параллельным русским текстом.

Антология является непосредственным продолжением выпущенного в 1981 году однотомного издания английской поэзии XIV–XIX вв. В сборнике представлены крупнейшие английские поэты разных школ XX века: Т. Гарди, Р. Киплинг, Р. Олдингтон, Т. С. Элиот, У. Оден, З. Сассун, Р. Грейвз, Д. Томас, Ф. Ларкин и др. Переводы выполнены виднейшими советскими поэтами и переводчиками: М. Лозинским, С. Маршаком, К. Симоновым, М. Алигер, Е. Евтушенко, П. Грушко, А. Сергеевым.

Издание включает предисловие, библиографические справки об английских поэтах и комментарии к текстам. Книга адресована широкому кругу любителей поэзии.

Издательство "Радуга"

Выходит в свет

Современный английский театр: Сборник.
На англ. яз.

Сборник знакомит читателей с современной драматургией Великобритании: пьесами Дж. Осборна, Г. Пинтера, Э. Боида, К. Хэмптона и др. Все пьесы сборника объединяет критическое осмысление их авторами современной буржуазной действительности, скрытых и явных противоречий, присущих современному английскому обществу.

Издание включает предисловие и комментарии.

Издательство "Радуга"

Выходит в свет

ШЕКСПИР У. Сонеты. На англ. яз. с параллельным русским текстом.

В издании представлены сонеты Уильяма Шекспира (1564–1616) на языке оригинала с параллельным русским переводом известного советского поэта и переводчика С. Маршака.

В приложение включены варианты переводов, сделанные Б. Пастернаком и другими.

ИБ № 1154

Издательский редактор *В. Я. Бонар*

Художник *Б. А. Алимов*

Художественный редактор *Т. В. Иващенко*

Технический редактор *Е. Ф. Фонченко*

Корректоры *Л. В. Данинбург* и *Е. В. Солнцева*

Сдано в набор 01.12.83. Подписано в печать 22.05.84. Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Услови. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 39,59. Уч.-изд. л. 27,95. Тираж 50 000 экз. Заказ № 238. Цена 3 р. Изд. № 474.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

г. Калинин, пр. Ленина, 5.

